

An impressionist painting of a landscape. The scene is dominated by a path or road that winds through a wooded area. The brushwork is visible and textured, with a palette of muted blues, greys, and earthy tones. The lighting is soft and diffused, creating a sense of atmosphere and depth. The overall composition is somewhat abstract, focusing on light and color rather than clear lines and forms.

Марсель Пруст
ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ

© Алексей Годин, перевод и примечания, 2010
alekseygodin.wordpress.com/archivm/proust

Текст распространяется по лицензии Open Secret GPL
alekseygodin.wordpress.com/opensecret

Версия текста: 2.17

Марсель Пруст
ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ

Мне бы и не стоило, впрочем, рассказывать об этой поездке в Комбре, ведь в ту пору моей жизни о Комбре я думал меньше всего, если бы именно там, пусть предварительно, не подтвердились мысли, впервые посетившие меня на стороне Германта, а также другие, пришедшие на стороне Мезеглиза.¹ Каждый вечер я снова отправлялся на прогулку, хотя и в другом направлении, — так когда-то в Комбре мы гуляли днем у Мезеглиза. Но в Тансонвиле ужинали в тот час, когда в Комбре, в те времена, все давно уже спали. И поскольку стояла жара, а днем Жильберта рисовала в дворцовой часовне, выходили мы не раньше чем за два часа до ужина. Раньше, возвращаясь домой, я любовался на багряные небеса, окаймившие кальварий или плещущиеся в Вивоне; а теперь я полюбил другое: бродить в сумерках, когда в деревне никого не встретишь, лишь голубоватый, неправильный и подвижный треугольник бредущего навстречу стада овец. Над полями, с одного края, догорал закат, с другого — светила луна, и вскоре всё было залито ею. Иногда Жильберта отпускала меня пройтись в одиночку, и я устремлялся вперед, бросая тень позади, словно ладья в заколдованные просторы; но обычно она меня сопровождала. Довольно часто мы ходили там, где я гулял в детстве; и разве я мог не переживать, и гораздо сильнее,

чем когда-то на стороне Германтов, из-за горького чувства, что я никогда не смогу писать, ведь теперь, когда я видел, насколько мне безразличен Комбре, оно усугублялось другим: что мое воображение, моя восприимчивость заметно ослабли? С грустью я думал о том, что детские годы больше не оживают во мне. Когда я смотрел с бечевой полоски на Вивону, она казалась мне узкой и безобразной. Нельзя сказать, что в моих воспоминаниях обнаружились существенные материальные неточности. Но между мной и местами, которые довелось посетить вновь, теперь пролегла целая жизнь; между нами не было соприкосновения, в котором заискрится, прежде чем успеешь заметить ее, мгновенная, восхитительная и всеозаряющая вспышка памяти. Однако я не разбирался в ее природе, я с грустью думал, что моя способность чувствовать и воображать, наверное, сильно ослабла, если эти прогулки уже не доставляют мне радости. Жильберта, понимавшая меня и того хуже, разделяла это изумление и лишь нагоняла на меня тоску. «Разве вы ничего не чувствуете, — говорила она, — когда снова бредете по этой тропке?»² Но и сама Жильберта изменилась так сильно, что больше не казалась мне прекрасной, да и прекрасной, в сущности, уже не была. Куда мы только не забредали на прогулках: приходилось карабкаться на пригорки, а оттуда тропка сбегала вниз. Болтать с Жильбертой было приятно, хотя не обходилось без затруднений. Во многих людях залегают несхожие пласты — характер отца, характер матери; проходишь один,

натыкаешься на другой. Но на следующий день порядок слоения опрокинут. И в конечном счете неясно, которая сторона перевесит, кому следует довериться в ожидании приговора. Жильберта напоминала страны, с которыми никто не рискнет заключить союз, потому что там слишком часто меняют правительство. По существу это ошибка: тождественность самого последовательного из существ заверяется памятью, у нас нет желания нарушать обязательства, пока мы о них помним, даже если под ними не стоит нашей подписи. Что касается ума Жильберты, то если закрыть глаза на некоторую вздорность, унаследованную ею от матери, ее ум можно было назвать живым. Однако я вспоминаю, хотя это не имеет отношения к его собственной ценности, что несколько раз, болтая со мной во время этих прогулок, она меня удивила. Впервые когда сказала мне: «Если вы не проголодались и для вас еще не слишком поздно, можно свернуть налево, затем пройти правей, и через четверть часа выйти к Германту». С тем же успехом можно было сказать: «Поверните налево, затем направо, и вы прикоснетесь к неосязаемому, вы попадете в недостижимые дали, о которых на земле знали только одно: каким путем к ним идти, в какой они (я ведь и сам когда-то думал, что смогу узнать об этом только у Германтов, и, в известном смысле, не ошибался) “стороне”». Еще меня поразили «истоки Вивоны», которые представлялись мне чем-то неземным, наподобие Врат Ада,³ а оказались квадратной портомойней, с лопающимися пузырями. И третий раз, когда Жильберта сказала мне:

«Если хотите, отправимся как-нибудь днем, можно пройти в Германт через Мезеглиз, это самый красивый путь», — слова, перевернувшие мои детские воззрения, ведь из них вытекало, что две эти стороны не были так несовместны, как казалось мне прежде. Но куда сильнее я был удручен, что мое детство не оживало во мне, что мне не захотелось осмотреть Комбре, а Вивона казалась мне узкой и безобразной. И тогда Жильберта подтвердила мысли, тревожившие меня на стороне Мезеглиза; это произошло на одной из тех почти ночных прогулок, хотя мы выходили до ужина — но она ужинала так поздно! Спускаясь в глубь таинственной прекрасной лощины, залитой лунным светом, мы на секунду замерли, словно два мотылька, что вот-вот вползут в сердцевину голубоватой цветочной чашечки. Быть может, в качестве обходительной хозяйки мест, небезразличных для вас, сожалеющей о вашем скором отъезде и желающей поразить своим радушием, Жильберта, со светской сноровкой задействовав паузы, простоту и сдержанность в изъявлении чувства, произнесла несколько слов, призванных уверить, что вам принадлежит исключительное место в ее жизни, что его не занять никому. Нежность воздуха и легкого ветерка переполняла меня, и я внезапно излился Жильберте: «Вы недавно говорили о тропке на холме. Как же я любил вас тогда!» Жильберта ответила: «Но почему вы молчали? Я и не подозревала. Ведь я тоже была влюблена в вас и разве что на шею вам не бросалась». «Когда?!» «Первый раз в Тансонвиле; вы гуляли с родителями, а я вышла

навстречу; я такого хорошенького мальчика никогда не видела. Обычно, — продолжала она задумчиво и стыдливо, — я бегала поиграть с друзьями на развалины руссенвильского замка. Вы скажете, что я была дурно воспитана, потому что там, внутри, в темноте, встречались самые разные девочки и мальчики. Служка комбрейской церкви, Теодор (надо отдать ему должное, он был миленький — ей-богу, он был очень хорош!.. правда, теперь он на редкость гадок и работает аптекарем в Мезеглизе), тешил местных крестьяночек. Мне разрешали гулять одной, и как только я могла улизнуть, я сразу же бежала туда. Как же я хотела, чтобы вы пришли! Я прекрасно помню: у меня была только минута, чтобы намекнуть вам, чего я хочу, меня могли заметить наши родители; я дала вам понять, но так грубо, что мне стыдно до сих пор.⁴ Вы посмотрели на меня зло, и я поняла: вы не хотите». Вдруг я понял, что подлинная Жильберта, подлинная Альбертина выдали себя в первое мгновение взглядом — одна перед изгородью боярышника, вторая на пляже. И именно я, не сумев их понять, опомнившись слишком поздно, уже после того, как своими разговорами внушил им цельные пласты чувств, боязнь показаться такими же разбитными, как в первую минуту, всё неловко испортил... В отношениях с ними я «дал маху», как Сен-Лу с Рашелью, и по тем же причинам, хотя моя ошибка была не настолько абсурдной. «И второй раз, — продолжала Жильберта, — много лет спустя, когда мы столкнулись в дверях вашего дома, накануне нашей встречи у тетки Орианы; я вас

не узнала — вернее, я узнала вас, но сразу этого не поняла, потому что испытала то же желание, что и в Тансонвиле». «В промежутке, однако, были Елисейские поля».

«Да, но тогда вы были влюблены в меня слишком сильно, и я была под надзором». У меня даже не возникло мысли спрашивать ее, кто был тот юноша, который шел с ней по Елисейским полям вечером, когда я отправился повидаться с ней и помириться, пока это было возможно, — вечером, что изменил бы, наверное, всю мою жизнь, если бы я не встретил те две тени, шагавшие бок о бок в сумерках. Если бы я спросил ее, она, вероятно, сказала бы мне правду, как и Альбертина, если бы воскресла. Но когда, спустя годы, мы встречаем женщин, которых уже не любим, между нами встает смерть, словно их больше нет в этом мире, — теперь, когда любовь мертва, мертвы и мы и они, какими мы были тогда. А может быть, она не вспомнила или солгала бы. Но в любом случае меня больше не интересовало это, потому что мое сердце изменилось еще сильнее, чем лицо Жильберты. Теперь оно не особо нравилось мне, но куда важнее было то, что я больше не был несчастен и уже не мог вообразить, что это я так страдал, встретив ее, семенящую бок о бок с юношей, что я твердил себе: «Всё, я никогда с ней не буду встречаться». Ничто не уцелело от того состояния души и непрерывных мучений далекого года. Потому что в мире, где всё изнашивается и исчезает, что-то гибнет более цельно, чем красота, и, рассыпавшись в прах, оставляет по себе даже меньше следов — это горе.

Но если я не спрашивал Жильберту, с кем она шла по Елисейским полям, и сам не удивлялся этому — примеров нелюбознательности, которой нас учит Время, я уже видел достаточно, — то я был несколько озадачен, что так и не рассказал ей, что перед нашей встречей в тот вечер я продал старый китайский фарфор, чтобы купить для нее цветы.⁵ А в грустную пору, тогда для меня начавшуюся, мысль о том, что рано или поздно я смогу без опаски поведать ей о своем трогательном намерении, была моим единственным утешением. Прошел почти год, но если мой экипаж мог столкнуться с другим, я думал об одном — лишь бы не умереть, чтобы все-таки поведать о том Жильберте. Я утешал себя: «Торопиться некуда, вся жизнь впереди». И потому я не хотел расстаться с жизнью. Теперь же это не казалось мне приличной темой для разговора, это было почти смешно и неизбежно «влекло за собой»... «Впрочем, — продолжала Жильберта, — в тот день, когда мы столкнулись в дверях вашего дома, вы были точь-в-точь такой, как в Комбре; вообразите себе — вы ничуть не изменились!» Я вспомнил, как выглядела Жильберта. Я мог нарисовать прямоугольный солнечный луч, падавший сквозь боярышник, лопатку, которую девочка держит в руке, ее долгий сосредоточенный взгляд. Только из-за грубого жеста, которым он сопровождался, мне почудилось, будто этот взгляд выражает презрение, — девочки не догадываются о том, чего я хочу, думал я, они предаются этому только в часы моего одинокого томления, в моих мечтах. Ничто не смогло бы меня уверить,

что так просто и легко, под носом у моего деда,
одна из них отважится на это намекнуть.⁶

И теперь, когда прошло столько лет, мне пришлось подвергнуть ретуши образ, еще свежий для моей памяти; эта работа приносила счастье — ведь благодаря ей я узнал, что неодолимая пропасть, разделявшая, по моей мысли, меня и особую породу девочек с рыжими волосами, в той же мере принадлежит воображению, как бездна Паскаля, — и была исполнена поэзии, ибо совершить ее надлежало в глубинных залежах лет. Я вздрогнул от желания и сожаления, подумав о руссенвильских подземельях; но был счастлив, сознавая, что недостижимая радость, к которой тогда устремлялись все мои мечты, существовала не только в моей мысли, но также в реальной жизни, и так близко от меня, в Руссенвиле; а о Руссенвиле я нередко тогда говорил, он синел за окнами кабинета, в благоухании ирисов. И я ничего не знал! Итак, Жильберта облекла плотью мои мечтания на прогулках, когда, не в силах вернуться, я жаждал увидеть, как разверзаются, оживают деревья. И всё то, чего я так лихорадочно хотел в ту пору, сумей я только это заметить и понять, она едва не дала вкусить мне в отрочестве. Намного ближе, чем мне казалось, Жильберта была в то время к стороне Мезеглиза.⁷

И даже в тот день, когда я столкнулся с ней в дверях, хотя она не была мадемуазелью д'Орженвиль, подружкой Робера по домам свиданий (как забавно, что я добивался сведений от ее будущего мужа!), я нисколько не заблуждался —

ни истолковав ее взгляд, ни причислив ее к определенной категории женщин. Теперь она сама призналась в том, что такою была. «Всё это было очень давно, — сказала она. — С того дня, как я обручилась с Робером, я больше ни о ком не помышляла. И, знаете ли, отнюдь не за эти детские шалости я упрекаю себя больше всего...»

Целый день — в усадьбе, такой деревенской и, как мне казалось, пригодной лишь для дневного отдыха между прогулками или во время ливня; в одном из тех шато, где каждая гостиная как цветочная оранжерея, и в комнате, с обивки, вас приветствуют садовые розы, в другой к вам набиваются в дружбу лесные птицы, и поодиночке: ведь на старой обивке все розы цветут поодаль, чтобы, если они оживут, их было проще сорвать, птиц рассадить по клеткам и приручить; ничего общего с великолепными покоем наших дней, где нормандские яблони, писанные по серебру на японский манер, обернутся галлюцинациями вашего сна; — целый день я провел в комнате, окна которой выходили на прекрасную парковую зелень, сирень у ворот, зеленоватую листву рослых деревьев у берега реки, блестящих от солнца, на лес Мезеглиза.⁸ Впрочем, всё это радовало мой глаз только потому, что я говорил себе: «Как это красиво, когда за окном комнаты столько зелени», — пока в обширном полотне, отливающим зеленью, я не узнал окрашенную совсем другим цветом, ведь она была дальше, темно-синим, колокольню церкви в Комбре. Не контуры колокольни — колокольню саму; указав мне на дали пространств и времен, среди блестящей зелени и совершенно другого тона, сумрачного и будто набросанного слегка, она вписалась в квадратик окна.

И стоило выйти на минуту из комнаты, и я замечал из коридора, со стороны, как алела полоска простого муслина, тлея и грозя вспыхнуть, однако, когда на нее падал солнечный лучик.

На этих прогулках Жильберта рассказывала мне, что Робер оставил ее, но якобы из-за других женщин. Действительно, многое нагромоздилось в его жизни, с тем же свойством растраты, как в случае его дружбы с охотниками до женщин, и тщетно занятого места, что завалено во многих домах ни к чему не пригодным хламом. Несколько раз, пока я гостил в Тансонвиле, он приезжал туда. Мало что теперь напоминало в нем человека, которого я знал прежде. Жизнь не сделала его грузным и томным, как барона де Шарлю, но напротив ему некоторой кавалерийской непринужденности, хотя незадолго до женитьбы Робер вышел в отставку. Барон тучнел, а Робер (конечно же, он был моложе, но чувствовалось, что с годами он всё больше стремится к этому идеалу, подобно женщинам, которые приносят в жертву талии решительно всю внешность и, миновав определенный возраст, не покидают Мариенбада, в расчете на то, что их стройный стан, раз они не в силах сохранить несколько свежих черт, будет символизировать остальное), словно бы противоположным действием этого порока, становился всё стройнее и резвее. У этой резвости, впрочем, были свои психологические основания: страх, что его увидят, желание скрыть этот страх и лихорадочность, что родится в недовольстве собой и тоске. Завсегдатай дурных мест

определенного сорта, предпочитавший, чтобы его вход и выход никем не были замечены, он врвался в эти заведения, пряча лицо от недобрых взоров гипотетических прохожих, как будто бы брал их штурмом. И этот шквальный аллюр вошел у него в привычку. Быть может, то было лишь зримым проявлением притворной храбрости человека, который, желая не показывать страха, старается не думать. А чтобы дополнить картину, учтем также желание, чем больше он старел, казаться молодым, и нетерпеливость подобных людей, всегда томящихся и пресыщенных, слишком умных для относительно праздно́й жизни, в которой их способности не проявляют себя сполна. Конечно, их праздно́сть могла бы вылиться в апатию. Однако с тех пор, как физические упражнения стали пользоваться общей любовью, безделье обрело спортивную форму, и теперь выражается не ленью, но лихорадочной живостью, не оставляющей ни времени, ни места для тоски.

Моя память, память произвольная, потеряла любовь к Альбертине. Но бывает, похоже, еще и произвольная память конечностей, бесцветная и бесплодная имитация другой, хотя и живущая дольше, подобно тем неразумным тварям и растениям, чье существование продолжительнее человеческого. Ноги и руки переполнены оцепеневшими воспоминаниями. Однажды я пораньше простился с Жильбертой и, среди ночи очнувшись в моей тансонвильской комнате, в полусне позвал: «Альбертина». Я не думал о ней, она не приснилась мне, ее не напомнила

мне Жильберта: смутное воспоминание, распутившееся в руке, заставило меня искать за спиной колокольчик, как в парижской комнате. И, не найдя его, я позвал: «Альбертина», думая, что моя покойная подруга, как нередко в те вечера, заснула рядышком, и рассчитывая на то, что Франсуазе понадобится время, чтобы дойти до комнаты, и Альбертина без опаски может побренчать колокольчиком, хотя я никак не могу его найти.⁹

Став куда суше, — по крайней мере, в этот тягостный период, — он почти не обнаруживал в общении с друзьями, со мной в частности, своей чувствительности. Зато Жильберте предназначались отвратительные и едва ли не комичные сантименты. Не то чтобы она и правда стала для него безразличной. Нет, Робер любил ее. Но он постоянно ей врал, и его двуличная натура, если не самая суть его вранья, то и дело выскальзывала наружу. Тогда ему казалось, что можно выкрутиться, в чернейших красках изобразив неподдельную грусть, которую он испытывал оттого, что заставлял страдать Жильберту.

Робер, только что приехав в Тансонвиль, уже следующим утром должен был вернуться в Париж, по делу одного здешнего господина, — тот его якобы ждал на месте. Этот господин, однако, вечером встретился супругам Сен-Лу в окрестностях Комбре; неволью разоблачив выдумку Робера, о которой тот не потрудился ему сообщить, он рассказывал также, что собирается отдыхать в деревне не меньше месяца и не вернется в Париж раньше срока. Робер краснел, заметив

чуткую и печальную улыбку Жильберты; обрушившись на недотепу, отделялся от него; бежал домой первым, а там передавал жене отчаянную записку: он писал, что его ложь была вызвана исключительно желанием ее не расстраивать, чтобы из-за его отъезда, о причине которого он рассказать ей не может, она не подумала, что он ее разлюбил (и всё это, что бы он ни говорил, было правдой), затем посылал спросить, можно ли к ней зайти, и у нее, отчасти в подлинной тоске, отчасти измотанный такой жизнью, отчасти — от всё более дерзкого притворства, в холодном поту вещал о близкой кончине и иногда падал на паркет, как будто чувствовал себя очень плохо. Жильберта не понимала, насколько ему можно верить, в каждом отдельном случае подозревала его во лжи, но считала, что в некотором общем смысле Робер ее любит, и ее тревожили эти предчувствия грядущей гибели; полагая, что у него неведомый недуг, она не осмеливалась ему перечить и не требовала отказаться от этих поездок.

Тем меньше я понимал, однако, отчего Мореля, как любимого ребенка, приглашают вместе с Берготом всюду, где находится чета Сен-Лу — в Париже, в Тансонвиле. Морель подражал Берготу превосходно. Вскоре уже не было нужды просить его «сделать пародию». Подобно истеричкам, которые воплощаются в тот или иной образ безо всякого гипноза, он неожиданно вошел в роль...¹⁰

Франсуаза, уже знавшая о том, что г-н де Шарлю сделал для Жюльена, что Робер де Сен-Лу делает для Мореля,

не выводила из этого заключений, что отдельным коленам Германтов присуща некая черта; но, как женщина моральная и крепко укорененная в предрассудках, она в конечном счете пришла к выводу (ведь и Легранден много чем помог Теодору), что подобного рода обычай освящен традицией. О людях вроде Мореля или Теодора она говорила: «И тут нашел он господина, которому пришлось по душе, и помощь получил немалую». Поскольку в подобных случаях именно покровители любят, страдают и прощают всё, Франсуаза без колебаний отводила им лучшую роль в их отношениях с «парнишками», которых они развращали, и наделяла их «сердцем золотым». Она безоговорочно осуждала Теодора, изрядно попортившего кровь Леграндену и, похоже, почти не испытывала сомнений, какова природа их связи: «Тут парень сообразил, что пора бы внести свою лепту, и так говорит: “Возьмите меня с собой, уж я вас буду любить, уж я вам угожу”. Само понятно, у месье сердце золотое, Теодор столько у него нахапает, сколько сам не стоит, бедовая его голова. Но месье такой добрый, что я Жанетте (невесте Теодора) так и говорю: “Детка, коли что стряется, бегите сразу к нему. Он на полу спать будет, а вас прямо в кровать положит. Слишком он парнишку (Теодора) любит, чтобы выставить. Да что тут говорить, не вышвырнет он его никогда”».

Из вежливости я спросил у сестры Теодора, как его фамилия, — сам он жил теперь на юге. «Так вот кто написал мне о моей статье в “Фигаро”!» — воскликнул я, когда узнал, что его зовут Санилоном.¹¹

К тому же, больше она уважала Сен-Лу, чем Мореля; и сколько бы ни сыпалось на него ударов от малыша (Мореля), маркиз его в беде не бросит, полагала она, потому что у него «сердце золотое», — если же, конечно, его самого не постигнут великие невзгоды...

Упрашивая меня задержаться в Тансонвиле, он ненароком обмолвился, хотя теперь не искал повода выказать любезность, что мой приезд очень обрадовал его жену: она была вне себя от счастья весь вечер, по ее словам, — вечер, когда ей было так грустно, что своим неожиданным приездом я чудом спас ее от отчаяния, «если не худшего», добавил Робер. Он просил меня попытаться внушить Жильберте, что он ее любит; что же касается другой женщины, которую он любит помимо того, то ее, по словам Робера, он любит не так сильно, и скоро вообще с ней порвет. «И все-таки, — добавил он с таким самодовольством и желанием излить душу, что мне на мгновение пригрезилось, будто имя Чарли,¹² против воли Робера, вот-вот “выскочит”, как номер в лотерее, — мне есть чем гордиться. Женщина, которую я принесу в жертву Жильберте, доказала мне исключительную преданность и не уделяла внимания другим мужчинам. Она даже не верила, что способна влюбиться. Я был первым. Я знал, что она отказывает всем подряд, и когда я получил ее прелестное письмо, в котором она уверяла меня, что для нее возможно счастье только со мной, я чуть с ума не сошел. Да, тут есть от чего потерять голову... если бы я только мог без содроганий сердца видеть заплаканную Жильберточку!

Что-то в ней есть от Рашели, ты не находишь?»
Меня и правда поражало неопределенное сходство, которое теперь, если приглядеться, можно было между ними заметить. Быть может, схожесть объяснялась общими чертами (в частности, еврейским происхождением обеих, хотя его трудно было признать в Жильберте), по причине чего Робер, когда родные требовали, чтобы он женился, из материально равноценных вариантов выбрал Жильберту. К тому же, Жильберта раздобыла где-то фотографии Рашели, хотя она не знала даже ее имени, и, чтобы нравиться Роберу, старалась подражать милым для него привычкам актрисы, — например, в ее волосах, которые она выкрасила, чтобы казаться брюнеткой, всегда были красные банты, а на руке — черная бархотка. Зная, как от печалей портится лицо, она пыталась исправить и это. Подчас она не знала меры. Однажды вечером, когда в Тансонвиль на сутки должен был приехать Робер, она вышла к столу, сразив меня разительным несходством даже не с прежней Жильбертой, а с Жильбертой сегодняшней; я застыл в изумлении, словно бы предо мной сидела актриса, своего рода Феодора. Пытаясь понять, что она изменила, и сгорая от любопытства, вопреки своей воле я сверлил ее взглядом. Впрочем, мой интерес вскоре был удовлетворен: высморкавшись, хотя и очень осторожно, она оставила на платке богатую палитру. И я увидел, как густо накрашено ее лицо. Вот отчего заливался кровью ее рот и она давилась смехом, полагая, что ей это идет, в тот час, когда к Тансонвиллю подходил поезд, и Жильберта не знала,

действительно ли приедет ее муж, или она получит одну из тех телеграмм, что были составлены по образцу, не без остроумия закрепленному еще герцогом де Германтом: ПРИЕХАТЬ НЕВОЗМОЖНО ПРЕСЕКАЮ ЛОЖЬ, бледнели щеки под фиолетовой испариной грима, чернели ввалившиеся глаза.

«Видишь ли, — произнес он нарочито мягким тоном, который так резко ярко контрастировал с его прежней спонтанной мягкостью, голосом алкоголика с модуляциями актера, — для счастья Жильберты я готов пожертвовать всем. Ты представить себе не можешь, как много она для меня сделала!» Если оставить прочее в стороне, то наиболее отталкивающим моментом было его самолюбие: ему льстила любовь Жильберты, и, не осмеливаясь называть предмет своей любви, Чарли, он приписывал чувству, которое якобы питал к нему скрипач, некие преувеличенные, а то и выдуманные целиком особенности, — что было известно и самому Сен-Лу, у которого Чарли, что ни день, требовал больше денег. Поэтому, бросив на меня Жильберту, Робер должен был вернуться в Париж.

Однажды (забегу немного вперед, потому что я еще в Тансонвиле) мне довелось понаблюдать за ним со стороны, и его речь, вопреки всему обворожительная и живая, напомнила мне прошедшее; я был поражен произошедшей в нем переменой. Он всё больше походил на свою мать, усвоив ее изысканную и высокомерную элегантность; однако в нем, благодаря превосходному

воспитанию, эта особенностьхватила через край и словно окостенела; пронзительным взглядом, присущим и другим Германтам, он словно бы надзирал за местом, в котором оказался; но эта черта проявлялась в нем неосознанно, как-то по привычке, как нечто животное. Не сходявший с его лица румянец, отличавший его от других Германтов, из отсвета золотого дня превратился в плотное причудливое оперение, приобщив Робера к столь редкой и драгоценной породе, что ее не отказалась бы заполучить какая-нибудь орнитологическая коллекция; и когда этот свет, превращенный в птицу, приходил в движение, начинал действовать, — как, в частности, на том приеме, который я посетил вместе с Робером де Сен-Лу, — и он вскидывал шелковистую голову с гордым хохолком под золотой эгреткой слегка оципанных волос, движения его шеи становились настолько гибче, высокомерней, кокетливей, чем у обычных людей, что из любопытства и восхищения, внушаемого им, отчасти светского, отчасти зоологического, уместно было задаться вопросом: находимся ли мы в Сен-Жерменском предместье или в Зоологическом саду, наблюдаем ли пересечение гостиной или прогулку по клетке, знатного барина или птицы. Впрочем, возвратное явление крылатой, остроклювой и быстроглазой элегантности Германтов теперь служило его новому пороку и позволяло держать себя в руках. Но чем чаще Робер к ней прибегал, тем больше он казался бальзаковской «теткой». Немного фантазии, и щебет подошел бы к этому толкованию не меньше, чем пух. Он декламировал фразы,

представлявшиеся ему «гранд съекль»,¹³ подражая в этом манерам Германтов. Но нечто необъяснимое превращало их в манеры де Шарлю. «Я тебя оставлю ненадолго, — сказал он мне, стоило госпоже де Марсант отойти. — Пора поухаживать за матушкой».

Что же касается любви, о которой он твердил беспрестанно, то имелась в виду не только любовь к Чарли, хотя лишь она для него что-то значила. К какому бы роду ни относилась любовь человека, всегда легко обмануться, назвав число лиц, в связи с которыми он состоит, отнеся к категории связей дружеские отношения, что является ошибкой сложения, а также доказанной связью исключая прочую — это второе заблуждение. Можно услышать от разных людей: «Любовница такого-то, я ее знаю»; даже если они произнесут два разных имени, ни один из них не допустит ошибки. Женщина, которую мы любим, редко удовлетворяет наши потребности, и мы обманываем ее с другой, которую мы не любим. Что же касается того рода любви, что был унаследован Робером от г-на де Шарлю, то муж, обладающий этой склонностью, как правило приносит счастье жене. Это общий закон, но и в нем Германты были исключением, ибо те из них, у кого эта склонность была, старались показать, что напротив, они падки до женского пола. Они выставляли напоказ свои отношения с чужими женами и приводили в отчаяние собственных. Курвуазье были более мудры. Юный виконт де Курвуазье считал себя первым человеком со времен сотворения мира, испытывающим влечение к своему полу. Полагая, что это

пристрастие внушено дьяволом, он противился ему, он сочетался браком с очаровательной девушкой, они произвели детей. Затем один из кузенов просветил его, что эта слабость довольно широко распространена, и был так любезен, что отвел в те места, где ее удовлетворяли. Г-на де Курвуазье полюбил жену еще сильнее, удвоил чадородное прилежание, и их ставили в пример как лучшую пару Парижа. Ничего подобного сказать о Сен-Лу было нельзя, потому что Робер, не довольствуясь гомосексуализмом, изводил жену ревностью, безрадостно содержа любовниц.

Возможно, необычайно смуглый Морель был нужен Сен-Лу как сумрак, оттенить солнечный луч. Легко было вообразить в этой древней семье великосветского рыжеватого блондина, умного и обаятельного, упрятавшего в самом глубоком трюме, никому не ведомое, тайное влечение к неграм.

Впрочем, Робер никогда не позволял касаться в разговорах предпочитаемого им рода любви. Стоило об этом обмолвиться, и он перебивал: «Ну, я не знаю, — с таким глубоким равнодушием, что ронял монокль, — мне такого в голову не приходило. Если тебе нужны сведения об этом, *милейший*, то я советую обратиться по другому адресу. Что касается меня лично, то я солдат, и всё тут. Вот уж насколько мне всё это безразлично, настолько я без ума от Балканской войны. Когда-то тебя заинтересовала “этимология” сражений. Я рассказывал тебе в ту пору,

что в несхожих условиях мы видим повторение типических баталий; взять хотя бы великолепное фланговое окружение в битве при Ульме. Так вот, вопреки определенному своеобразиею этих балканских сражений, битва при Люлебургазе¹⁴ повторяет Ульм и является примером флангового окружения. Вот о чем со мной можно говорить; что же касается упомянутых тобой предметов, то я в этом разбираюсь не лучше, чем в санскрите».

Об этих сюжетах, которыми Робер подобным образом пренебрегал, Жильберта, когда он уехал, распространялась с радостью. Разумеется, безотносительно к супругу, потому что она не знала всего или притворялась, что не знает. Но поскольку это имело касательство к другим, Жильберта охотно затрагивала эту тему — либо потому, что таким образом изыскивала косвенное оправдание для Робера, либо оттого, что последний, раздираемый, как его дядя, между суровым умолчанием и потребностью излить душу, сплетничать, мог неплохо ввести ее в курс дела. В числе прочих не был пощажен барон де Шарлю; безусловно, это объяснялось тем, что Робер, не упоминая о Чарли в беседах с Жильбертой, все-таки не мог сдержаться, чтобы не повторять, в том или ином виде, его рассказов. А скрипач преследовал бывшего благодетеля своей ненавистью. Слабость Жильберты к таким беседам позволила мне спросить, не было ли у Альбертины, чье имя я впервые услышал от Жильберты, еще когда они были подружками на курсах, в некотором параллельном роде, этой склонности. Жильберта не могла предоставить мне таких

сведений. Впрочем, уже давно это перестало вызывать во мне интерес. Но я механически продолжал осведомляться, подобно обеспамятевшему старику, ждущему весточки от мертвого сына.

Самое любопытное — и мне это не очень понятно, — что к тому времени все, кого любила Альбертина, кто мог бы вынудить ее сделать то, что им угодно, стали докучать мне просьбами, требовать от меня, можно даже сказать умолять меня — если не завязать с ними крепкую дружбу, то хотя бы установить какие-то отношения. Теперь бы не пришлось посылать деньги г-же Бонтан, чтобы она вернула мне Альбертину. Этот возвратный ход жизни, уже ничему не служащий, глубоко меня печалил, — не из-за Альбертины, которую, вернись она уже не из Турена, а с того света, я встретил бы без радости, но из-за другой девушки: я полюбил ее, но у меня никак не получалось с ней повидаться. Я думал: если она умрет, или если я разлюблю ее, все, кто сейчас может меня к ней приблизить, падут к моим ногам. Пока же я тщетно пытался на них воздействовать, меня не излечил опыт, а если он вообще хоть чему-то учит, ему пора бы уже было меня наставить, что любовь — это как дурная судьба в сказке, с которой ничего не поделаешь, пока волшебство не прекратится.

(Об этой загадке я рассказал Роберу: «Для нас-то всё понятно». Он же заявил, что ничего не помнит, и что в любом случае здесь нет какого-то особенного смысла.)¹⁵

«Я как раз читаю книгу, в которой рассказывается о подобных вещах, — сказала Жильберта. — Это старина Бальзак, “Златоокая девушка”; корплю, чтобы не отставать от дядьёв. Но какая же это бессмыслица и неправдоподобие — просто кошмар! Если женщина может оказаться под надзором у другой женщины, то никогда у мужчины». — «Вы ошибаетесь. Я слышал об одной девушке, которую любовнику и правда удавалось держать взаперти: она ни с кем не встречалась и выходила из дому только с преданными слугами...» — «Эта история, наверное, кажется вам ужасной, ведь вы так добры... Мы как раз говорили с Робером, что вам пора жениться. Жена вас вылечит, а вы принесете ей счастье». — «Что вы, у меня невыносимый характер». — «Какой вздор!» — «Правда. Впрочем, я был обручен, но не решился на брак, да и моя невеста передумала. И всё из-за моего характера, придирчивого и нерешительного». В такой упрощенной форме мне виделось мое приключение с Альбертиной, теперь, когда я рассуждал о нем, глядя только со стороны.

Поднимаясь к себе в комнату, я с грустью думал, что мне так и не удалось выбраться к комбрейской церкви, которая словно бы ждала меня среди деревьев, в залитом фиолетом окне. Я говорил себе: «Ладно, как-нибудь в другой раз, если доживу», не видя других помех, кроме собственной смерти, и не представляя гибели церкви, которая, как я считал, простоит там столько же лет после моей кончины, сколько она стояла там до моего рождения.

Но однажды я все-таки заговорил с Жильбертой об Альбертине и спросил, любила ли та женщин. «Что вы...» — «А когда-то вы говорили, что она была дурного тона». —

«Я так говорила? Вы ослышались, наверное. Но даже если я что-то такое рассказывала, то вы всё перепутали, речь шла об интрижках с юношами. В том возрасте, вероятно, далеко дело не заходило». Жильберта сказала так, чтобы скрыть, что она сама, как утверждала Альбертина, не чуждалась женщин и досаждала ей своими предложениями? Или же (нередко люди знают о нашей жизни больше, чем мы допускаем) она знала, что я любил, что я ревновал Альбертину (люди могут знать больше, против наших допущений, и ошибаться, злоупотребляя домыслами и слишком далеко заходя с предположениями, — тогда как мы рассчитываем, что они далеки от истины по причине отсутствия догадок как таковых), и обманывала меня, ревнивца, по душевной своей доброте — думая, что я до сих пор ее люблю? Так или иначе, слова Жильберты, начиная с прежних о «дурном тоне» и кончая сегодняшним сертификатом благопристойности жизни и нравов, шли наперекор утверждениям Альбертины, которая в конце концов, в сущности, призналась в интрижке с Жильбертой. Эти слова Альбертины, как и рассказы Андре, поначалу вызвали у меня удивление, потому что всю их стайку, еще с девушками не перезнакомившись, я считал развращенной, а затем убедился в ложности первых догадок, — такое случается иногда, если вполне порядочная особа, почти ничего не сведущая в реальностях

любви, замечена нами в обществе, по ошибке сочтенном весьма порочным. Затем я прошел по этому пути в обратном направлении, заново приняв на веру исходные допущения. Но, быть может, Альбертина сказала так, чтобы продемонстрировать мне свою опытность, чтобы оглушить меня в Париже авторитетом своей порочности, как некогда в Бальбеке — авторитетом своей добродетели. А всё для того, чтобы показать, когда я заговорил о женщинах, которые любят женщин, что о чем-то таком она уже слышала, — так некоторые люди, если разговор заходит о Фурье или Тобольске, изображают понимание, еще не представляя, о чем речь. Наверное, она жила с подругой мадемуазель Вентейль и Андре, отделенная от них глухой стеной, а те считали, что она «не такая»,¹⁶ и, ничего не узнав потом, чтобы угодить мне, — как невеста писателя, стремящаяся повысить общую культуру, — старалась отвечать на мои вопросы, пока не поняла, что я задавал их из ревности, и не «дала назад». В том случае, если не лгала Жильберта. Лгала из-за того, пришло мне на ум, что она-то ее к этому и пристрастила, в ходе флирта в ее вкусе, потому что она не чуждалась женщин, и потому Робер на ней и женился, предвкушая удовольствия, с ней не связанные, ибо он получал их в других местах. Ни одна из этих гипотез не была абсурдной, потому что девушкам вроде дочки Одетты, девушкам из стайки, было присуще такое разнообразие альтернативных склонностей, пусть не одновременных, они так легко совмещали их, переходя от связи с женщиной к большой любви с мужчиной,

что определить реальную и господствующую страсть было нелегко.

Я не взял у Жильберты «Златоокою девушку», поскольку она эту книгу еще читала. Но в последний вечер, проведенный в ее доме, она дала мне полистать перед сном другое сочинение, которое вызвало во мне живое, хотя и смешанное чувство, — впрочем, ненадолго. То был неизданный том дневника Гонкуров.¹⁷

И когда, еще не затушив свечу, я прочел страницы, приведенные ниже, отсутствие у меня литературного дара, о чем я догадывался уже на стороне Германта, и уверился в этот приезд — в последний вечер предотъездной бессонницы, когда разбивается оцепенение гибнущих привычек, и мы пытаемся размышлять о себе, — не показалось мне чем-то горестным, возможно оттого, что глубокие истины литературе недоступны; и в то же время меня печалило, что литература оказалась не тем, во что я верил. С другой стороны, моя болезнь, которая вскоре приведет меня в больницу, теперь не вызывала во мне сожалений, потому что прекрасные вещи, описанные в книгах, оказались ничуть не лучше того, что я уже видел. Но по странному противоречию, теперь, когда о них рассказывала книга, мне захотелось еще раз на них посмотреть. Вот страницы, которые я читал, пока усталость не смежила мои веки:

Позавчера сюда влетает Вердюрен,¹⁸ чтобы отвезти на ужин к себе, давнишнему критику “Ревю”, автору книги об Уистлере, в которой же поистине мастерство, артистичная колористика американского выходца нередко изоощренно тонко подается поклонником всех этих изысканностей, всех этих живописных *изящностей*, каков и есть Вердюрен. И пока я одеваюсь, чтобы за ним последовать, он мне выдает целую исповедь, порой как будто с перепугу мямля, о том, как он отказался писать, женившись на фромантеновской “Мадлен”, отказался же по причине пристрастия к морфину, в результате чего практически все завсегдатаи салона его жены лишены понятия, утверждает Вердюрен, что ее муж когда-то писал, и ему говорят о Шарле Блане, о Сен-Викторе, о Сент-Бёве, о Бурти как о личностях, которым он — Вердюрен, считают они, бесконечно уступает. “Да, Гонкур, вы-то знаете, да и Готье это знал, что мои ‘Салоны’ посильней всех этих жалких ‘Старых мастеров’, почитаемых шедевром в семье моей жены”.¹⁹ Затем, сумерками, когда башни Трокадеро охвачены как бы последним всполохом закатных бликов, в силу чего абсолютно подобны столбикам смородинного желе у старых кондитеров, беседа продолжается в экипаже, что везет нас на набережную Конти, где находится их особняк, по словам хозяина — старинный дворец

венецианских послов, а там, Вердюрен говорит, есть курительная зала, что, как в “Тысяче и одной ночи”, целиком перемещена из одного знаменитого *палаццо*, его же название я позабыл, в *палаццо* же был колодец, а на нем маргелла, а на ней изображено венчание Марии Девы — как утверждает Вердюрен, из абсолютно прекраснейших работ Сансовино, — и она пригодилась их гостям, чтобы стряхивать с сигар пепел. И честное слово, когда мы приехали, в просини и мареве лунного света, поистине подобного тому, что осеняет Венецию в классической живописи, в котором прочерченный купол Института наводит на мысль о *Салюте* на картинах Гварди, мне едва не пригрезилось, будто я у Канале Гранде. И этот эффект становится сильнее благодаря конструкции особняка, его же второго этажа с набережной не видеть, и напоминая хозяина: он уверяет, что название улицы дю Бак — подумать только, так ее растак! — происходит от слова “барка”, на барке же монахини прежних лет, мирамионки, переправлялись на службы в Нотр-Дам.²⁰ Вот он, квартал, где бродило мое детство, когда тетка моя де Курмон здесь обитала, и что за *возлюбь* охватывает меня, когда едва ли не впритирку к Вердюренову особняку я вижу вывеску “Маленького Дюнкерка”, одной из тех немногочисленных лавчонок, что сохранились только на виньетках карандашных набросков да лессировок Габриеля де Сент-Обена, и куда любознательный XVIII век приходил посидеть в праздные минутки, дабы сторговать французские и заграничные изыщества и “всё то, чего новейшего творят

в искусстве”, как гласит счет “Маленького Дюнкерка”, ныне же его оттиском одни мы, я полагаю, Вердюрен да я, обладатели, а он, поистине, один из тех шедевров отрывной орнаментированной бумаги, на которой при Людовике XV выписывали счета, с этой ее “шапкой” — море вспученное, кораблями замученное, море волнистое и по виду как иллюстрация одна из издания старших Фермье: к “Устрице и сутягам”.²¹ Хозяйка дома, которая сейчас усадит меня рядом с собой, любезно мне говорит, что она украсила стол лишь японскими хризантемами, хризантемы же расставлены в такие вазы, что будто все редчайшие шедевры, и та, что из бронзы, лепестками меди рыжеватой кажется как бы живое опадание цветка. Присутствуют доктор Котар и жена его, польский скульптор Вырадобетский, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на -оф я запомнил, и Котар шепнул мне на ухо, что это она в упор палила в кронпринца Рудольфа, по словам которой выходит, что у меня в Галиции и на севере Польши такое абсолютно исключительное положение, что девушка не оставляет надежды на руку свою, пока не убедится наверняка, что ее воздыхатель — поклонник “Фостен”.²² “У вас на западе не признают, — кидает в заключение княгиня, произведя на меня впечатление поистине незаурядного ума, — подобного проникновения писателя в женскую интимность”.²³ Мужчина — бритые губы и подбородок, бакенбарды, как у метрдотеля, — благосклонно сыплющий островами школьного учителя, снизошедшего до первых учеников

по случаю дня св. Карла, — это Бришо из Университета. По произнесении моего имени Вердюреном он и звуком не выдает, что знает наши книги, и мне причиняют гнев и уныние происки Сорбонны, которая и в любезном жилище, где меня почитают, меня преследует: противлением, неприязнью, намеренным умолчанием. Мы проходим к столу, а там — замечательная вереница блюд, попросту шедевров фарфорового искусства, эти — пока их ценителя услажденное внимание вкушает, с нежною пищей, наиприятнейшую художественную болтовню, — тарелки Юн-Чин с настурциевой окраской по закраинкам, с сизоватой набухлостью лепестения речного ириса на доньшке, с ободком, поистине декоративным, в виде зари со стаей зимородков да журавлей, совершенно подобной тем утренним тонам, что пробуждают меня каждодневно на бульваре Монморанси, — а также саксонские тарелки, что томней со своей грациозкой, с усыпленностью, с анемией своих роз, претворенных в фиолет, с красно-лиловыми раскромсами тюльпана, с рококо гвоздики или незабудки, — а также севрские тарелки, зарешеченные тонкой гильошировкой белых своих желобочков, с золотом мутовчатым, или с завязывающейся, на жирном днище подцветки, пикантной выпуклостью золотой ленты, — и наконец всё это серебро, по коему струятся мирты, что признала бы Дюбарри.²⁴ И что, может быть, столь же редкостно, так это совершенно выдающееся качество кушаний, подаваемых здесь к столу, — пища приготовлена искусно,стряпана как парижане, необходимо

сказать, забыли вкушать на великолепнейших обедах, она напомнила мне изысканнейших поварят Жана д'Ора. Взять хотя бы эту гусиную печенку и забыть о том безвкусном муссе, что обычно ею именуют, и немного осталось мест, где обыкновенный картофельный салат кухарили бы из картофеля столь же крепкого, как японские пуговицы слоновой кости, с той же патиной, что на костяных черпачках, с них же китайки льют воду на рыбешку, которую только что поймали. Венецианское стекло предомной — роскошные алеющие самоцветы, окрашенные изысканным леовийским, приобретенным у г-на Монталиве, и какое же упоение предвкушать глазами, и даже, с позволения сказать, как говорили во время оно, своим брюхом — калкана, у которого ничего общего с тухловатыми калканами, подаваемыми на роскошнейших пиршествах, чьи кости в несвежих спинках торчат, но калкана, которого подают не в том тесте, что приготавливают под именем белого соуса столькие шеф-повары почтенных жилищ, но под настоящим белым соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт, — калкана, поданного на прекрасной чинхонской тарелочке, пронизанной пурпурными царпинками заката, над морем, где на потеху расплавались лангусты, с пунктирчиками шероховатыми, выраженными необычайно — будто их размазали по трепещущим панцирям, и зреть на краешке тарелки — выловленную удочкой юного китайца рыбешку, что просто чарует перламутроблестяще-серебристой лазурью своего брюшка.²⁵ И когда я говорю Вердюрену:

какая же это утонченная, должно быть, радость для него — так изысканно обедаться из этих коллекционных тарелочек, которыми никакой принц сегодня не похвастается, тогда хозяйка кидает мне меланхолически: “Сразу видно, что вы его совсем не знаете”. И она признается, что ее муж — причудливый маньяк, которому безразлично изящество, “маньяк, — повторила она, — просто маньяк”, у которого больше аппетита к бутылке сидра, распитой со всяким сбродом в прохладе нормандской фермы. И очаровательная женщина словами истовой любви к колоритам местности, с кипучим восторгом, рассказывает нам о Нормандии, в которой они проживают, о Нормандии, которая как необъятный английский парк с благоуханием крупных лесонасаждений в духе Лоренса, с бархатом криптомерий по фарфоровой кайме розовых гортензий натуральных ее лужаек, с мятем желтых роз, опадающих у крестьянских ворот, что осенены столь орнаментальной инкрустацией сплетенных грушевых деревьев, наводящих на мысль о небрежно склонившейся цветущей ветви бронзового канделябра Гутъера, о Нормандии, о которой парижане на vacation забыли знать, о Нормандии, сокрытой владений *оградою* — тем забором, что, исповедали мне Вердюрены, уж не всякого пропустит.²⁶ На исходе дня, в сонном затухании цветов, когда если что-то светится еще, то только море, море почти створоженное, сизоватое, как молочная сыворотка (“Да что вы в море понимаете, — неистово опротестовывает собеседница мой рассказ, что Флобер возил нас, моего брата

и меня, в Трувиль, — ничего абсолютно, вам следует поехать со мной, иначе вы не узнаете ничего и никогда”), они возвращаются самыми настоящими лесами с прозрачными розовыми цветами, а именно рододендронами, их опьяняет запах сардинерии, который вызывает у ее мужа невыносимые приступы астмы: “да, — настаивает она, — это так, настоящие астматические припадки”. Туда они возвращаются следующим летом, намереваясь приютить целую колонию художников в некоем восхитительном средневековом жилище, древнем монастыре, и сняли за пустячок. И честное слово, когда я слушаю эту женщину, которая сохранила в изысканной среде свежесть речи, присущей простолюдинке, ее же слова вам кажут всё так, как если б вы сами видали,²⁷ у меня едва слюнки не текут при мысли о той жизни, что, исповедует она мне, там ведется — каждый работает в своей келье, а в гостиной, такой огромной, что там два камина, все собираются перед завтраком для изысканных бесед, шарад и фантов, — напомнив мне ту жизнь, что воскрешает шедевр Дидро: “Письма к м-ль Волан”. Затем, после завтрака, все выходят, даже во дни непогод, и палящим зноем, и сверкающим ливнем, что линует блистательным своим сочением шишковатости первых чуждных аккордов столетних буков, зачинающих у ограды *зеленую красоту*, чтимую XVIII веком, и кусты, удержавшие за-ради цветущих бутонов на своих ветвях — капли дождя. Останавливаются послушать нежного губошлёпа, влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в милой крошечной ванне из Нимфенбурга,²⁸

разумею венчик белой розы. Но как только я говорю г-же Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах, нежно пастелизуемых Эльстиром, она бросает, сердито вскинув голову: “Так это ж я ему всё показала, всё, да будет вам известно, и все любопытные местечки, и все сюжеты ему подарила, — и я ему поставила это на вид, когда он нас покинул, не так ли, Огюст? все сюжеты его картин. Сами-то предметы, по правде говоря, он рисовать умел, это мы за ним признаём. Но что касается цветов, то он ничего в них не понимал, и даже не отличал просвирняк от мальвы. И это ж я ведь ему показала, подумайте только, как выглядит жасмин”. И это, надо признать, крайне любопытно, что мастер цветов, коего почитатели искусства ставят сегодня выше всех, и даже Фантен-Латура,²⁹ не смог бы ни за что, наверное, не будь этой дамы, нарисовать жасмин. “Да что я вам говорю про жасмин; все розы, что он рисовал, это всё у меня, или же я ему их приносила. Мы его тут запросто звали — *господином Тишем*; спросите у Котара, у Бришо, у всех — мы тут с ним как со знаменитостью не носились: то-то бы он сам посмеялся! Я его научила расставлять цветы, сам-то он не умел. Ну не мог он составить букет! Своего-то вкуса, чтоб отбирать цветы, у него не было, и мне приходилось его учить: ‘Нет, вы этого не рисуйте, оно того не стоит, рисуйте вот что’. Ах! Если б он слушался нас не только касательно цветов, но также касательно семейной жизни, если бы только он не вступил в свой постыдный брак!..” И внезапно вспыхнули глаза, поглощенные мечтою о былом, и, нервически дернувшись,

маниакально вытянуты фаланги из пышных рукавов
ее блузы — это, в оконтурке страдальческой позы,
как восхитительное полотно, так никогда, я полагаю,
не написанное, но в каковом читается затаенное
возмущение, гневная обида подруги, чьей порядочности,
женской стыдливости нанесено оскорбление. И затем она
рассказывает нам о замечательном портрете, созданном
Эльстиром для нее, семейном портрете Котаров, что был
передан ею в Люксембургский, когда она поссорилась
с художником, исповедуя, что это она навела художника
на мысль нарисовать Котара во фраке и тем добиться всей
этой прекрасной бурлящести белья, и именно она выбрала
бархатное платье для г-жи Котар, а это платье словно бы
маячок во всем этом мерцании светлых нюансов — ковров,
цветов, фруктов, дымчатых платьев дочерей, подобных
пачкам балерин. Она же подсказала идею причесываться,
за что ныне тоже славят художника, идея же в целом
состояла в том, чтобы изобразить женщину не разряженной,
но застигнутой в интиме ее повседневности. “Я ему
так и говорю: ‘Женщина причесывается, вытирает лицо,
ноги греет и не думает, что на нее смотрят, — да тут же
целая куча всяких интересных движений,
грации прямо-таки леонардовской!’”³⁰

Но тут по знаку Вердюрена, а он указывает на то, что всё это
возмущение, для столь, в сущности, нервической особы,
как его супруга, не к добру, Сван приводит меня
в восхищение черно-жемчужным колье на плечах у хозяйки
дома, которая приобрела его совершенно белым

у наследника г-жи де Лафайет, этой же последней колье подарила Генриетта Английская, а жемчуга стали черными в результате пожара, уничтожившего часть здания, где проживали Вердюрены, на улице с названием, что я позабыл, ларчик же был обнаружен после пожара, где хранились жемчуга, а они стали совсем черными.

“Я знаю портрет с этими жемчугами, на шее той самой г-жи де Лафайет, да, совершенно точно, с этими самыми жемчугами, — настаивает Сван при слегка удивленных возгласах гостей, — да, вылитые эти жемчуга на картине в коллекции герцога де Германта!” Коллекции, не имеющей равных в мире, возглашает Сван, на которую хорошо бы мне сходить посмотреть, на эту коллекцию, унаследованную знаменитым герцогом, который был ее любимым племянником, от г-жи де Босержан, тетки его, от г-жи де Босержан, по мужу г-жи д'Азфельд, сестры маркизы де Вильпаризи и принцессы Ганноверской, которого мы с братом так любили, когда он был очаровательным карапузом Базеном, ибо таково имя герцога. Тут доктор Котар не без утонченности, проявившей в нем изысканность прямо-таки незаурядную, сизнова вернувшись к истории с жемчугами, сообщает нам, что катастрофы подобного рода производят в человеческих мозгах искажения точь-в-точь схожие с теми, что бывают в материи неодушевленной, и поистине более философским манером, чем то сделали бы врачи, вспоминает камердинера г-жи Вердюрен, чуть было не погибшего на ужасном том пожаре и в результате переродившегося

совершенно, и даже изменившего почерк, и настолько, что первое письмо, полученное от него хозяевами в Нормандии, в котором им сообщалось о происшествии, было сочтено ими мистификацией какого-то шутника. И не только почерк, но и сам он, согласно утверждениям Котара, переродился, и из трезвенника стал таким отпетым пьянчужкой, что госпожа Вердюрен вынуждена была его рассчитать. И вдохновенная беседа, по грациозному мановению хозяйки дома, перемещается из столовой в венецианскую курительную залу, где Котар нам рассказывает об известных ему подлинных раздвоениях личности, и в этой связи приводит нам в пример одного из своих пациентов, с которым он любезно предлагает зайти ко мне, и которому, по словам Котара, достаточно тронуть виски, чтобы пробудиться в какой-то другой жизни, по ее же ходу он ничего не помнит о первой, и настолько не помнит, что, будучи в первой вполне порядочным человеком, он много раз был арестован за кражи, совершенные им во второй, а в ней же он являет собой попросту отвратительного негодяя. На это г-жа Вердюрен тонко подмечает, что медицина могла бы подарить театру более правдивые сюжеты, в которых забавность путаницы вершилась бы на почве патологических отклонений, что, как нить за иглой, тянет г-жу Котар рассказать, будто нечто подобное уже сочинено неким прозаиком, его же так любят читать вечерами ее дети, шотландцем Стивенсоном,³¹ — имя, вынудившее Свана категорически утверждать: “Но это совершенно великий писатель — Стивенсон, я вас уверяю,

г-н Гонкур, великий и равный величайшим». И когда в зале, где мы курили, восхищаясь кессонами с гербами в плафонах, перевезенными из старинного палаццо Барберини, я позволяю себе выразить сожаление в связи с прогрессирующим потемнением чаши, вызванным пеплом наших «гаванских», а Сван рассказывает, что подобные пятна свидетельствуют о том, если судить по книгам, имевшимся у Наполеона I и принадлежащим теперь, несмотря на его антибонапартистские убеждения, герцогу де Германту, что император жевал табак, тогда Котар, выказывая любознательность, проникшую поистине во всё, возглашает, что пятна эти появились вовсе не по указанной причине, — «нет, вовсе нет», — авторитетно настаивает он, но из-за привычки держать в руке, даже на полях сражений, лакричную пастилку, дабы успокоить боли его печени. «Ибо у него была больная печень, это его и добило», — заключил доктор».

На этом я остановился — завтра пора было в путь; впрочем, в этот час меня звал иной хозяин, к еженощной службе, на которую уходит половина нашей жизни. Мы исполняем предписанный им труд, закрывая глаза. Каждое утро он вверяет нас другому владельцу, зная, что иначе мы будем плохо справляться. Стоит сознанию пробудиться, и мы любопытствуем — что же мы делали у господина, свалившего своих рабов, прежде чем включить их в стремительную работу; самые хитрые, когда долг отдан, пытаются тайком подсмотреть. Но сон превосходит их в скорости и скрывает следы того, что им хотелось бы видеть. И вот уже столько веков мы ничего об этом не знаем.

Итак, я закрыл дневник Гонкуров. Авторитет литературы!

Мне захотелось снова встретиться с Котарами, расспросить их подробнее об Эльстире, осмотреть лавку «Маленького Дюнкерка», если она еще существует, получить дозволение на визит в особняк Вердюренов, где я когда-то ужинал. Но что-то смутно тревожило меня. Конечно, я никогда не скрывал от себя, что я не умею слушать, что на людях я теряю наблюдательность. Старуха не показывала мне жемчужных коле, до моего слуха не доходило толков об этом. Так или иначе, всех этих людей я знал в их

будничной жизни, я часто ужинал с ними: и Вердюрены, и герцог де Германт, и Котары — каждый из них казался мне столь же заурядным, как Базен моей бабушке, едва ли подозревавшей, что он и «любимый племянник, маленький замечательный герой» г-жи де Босержан — одно лицо; все они казались мне безынтересными, я припоминал переполнявшие их бессчетные пошлости...

И то слывет светилом в небесах!³²

Я решил на время воздержаться от возражений, которые могли возбудить во мне против литературы страницы Гонкура, прочитанные накануне отъезда из Тансонвиля. Даже если оставить в стороне его наивность, поразительное личное свойство этого мемуариста, я тем не менее мог утешиться, приняв во внимание следующие моменты. Во-первых, что касается меня лично, моя неспособность видеть и слышать, столь болезненно продемонстрированная мне дневником, не была, однако, абсолютной. Некий персонаж, живший во мне, определенно был способен к наблюдению, — правда, он был прерывен и оживал лишь в минуты, когда обнаруживалась какая-то общая сущность, свойственная множеству вещей, служившая ему пищей и усладой. Тогда-то он видел и слышал, но на такой глубине, где нельзя было воспользоваться наблюдением. Как от геометра, который освобождает вещи от их осязаемых качеств и видит лишь их линейный субстрат,

от меня ускользало то, что мне люди рассказывали, — меня интересовало не то, что они хотели сказать, но их манера говорить, насколько она разоблачала их характер или показывала их смешные черты; или, точнее, целью моего личного поиска всегда был предмет, доставлявший мне особую радость, — точка, которая была общей для одного человека и другого. Происходило же это лишь тогда, когда я улавливал, что сознание — дотоле дремавшее, даже за видимой оживленностью разговора, скрывавшей от посторонних тотальное духовное оцепенение, — вдруг радостно нападало на след; однако то, за чем оно устремлялось в этот момент, — например, самоотжественность вердюреновского салона, усматриваемая сквозь пространства и времена, — таилось в глубине, по ту сторону внешнего явления, в некоторой обособленности. Поэтому очевидное, поддающееся описанию очарование людей ускользало от меня, я был неспособен за него зацепиться, подобно хирургу, который видит за гладким женским животом грызущую его изнутри боль. Я напрасно ходил на приемы, я не видел там приглашенных: когда мне казалось, что я смотрю на них, я их рентгеновал.

Из сказанного следует, что когда я собирал свои заметки, сделанные о гостях на том или ином приеме, рисунок проведенных мной линий очерчивал совокупность психологических законов, и интерес, который представлял тот или иной гость своими речами, не занимал в них почти никакого места. Не лишало ли мои портреты всякой

ценности то, что для меня они были чем-то другим? Если, к примеру, в живописи один портрет проявляет нечто истинное в отношении объема, света, движения, то обязательно ли он будет уступать другому портрету той же персоны, ни в чем с ним не схожему, в котором тысячи деталей, опущенные в первом, будут тщательно выписаны, — второму портрету, на основании которого можно будет заключить, что модель прекрасна (тогда как, судя по первому, она отвратительна), что может представлять ценность документальную и даже историческую, но вовсе не обязательно — истину искусства?

К тому же, мое легкомыслие, как только я оказывался в обществе, внушало мне желание нравиться, скорее забавляться, болтая, чем осведомляться, слушая, — если я выходил в свет не для того, чтобы расспросить об искусстве или разобраться с ревнивыми подозрениями, занимавшими прежде мой ум. Однако увидеть предмет, интерес к которому не был бы загодя пробужден во мне книгой, эскиз которого, чтобы потом сопоставить его с реальностью, я не набросал бы заблаговременно сам, я был неспособен. Сколько раз, и мне прекрасно это было известно даже без страниц Гонкура, я не мог приковать внимание к предметам и людям, ради встречи с которыми потом, когда их образ, в моем уединении, был представлен мне каким-нибудь художником, я рискуя жизнью готов был пройти многие лье! Тогда-то мое воображение приходило в движение, начинало живописать. И я с тоской думал о человеке, еще год назад докучавшем мне своим обществом, предвкушая

встречу с ним и мечтая о ней: «Неужели и правда нельзя его увидеть? Что бы я только не отдал за это!»

Когда читаешь статьи о людях, обыкновенных светских персонажах, названных «последними представителями общества, канувшего в Лету», иногда хочется закричать: «Подумать только, как величают и превозносят это ничтожество! Как бы я жалел, что не знаком с ним, если бы только читал газеты и обозрения, если бы я не знал этого человека!» Но, натываясь на такие статьи, я всё чаще был расположен думать: «Какое несчастье, что в то время я всецело был поглощен Жильбертой и Альбертиной, что я не обратил внимания на этого господина! Я-то считал его светским невежей, заурядным статистом, а он оказался Фигурой».

И страницы Гонкура заставили меня сожалеть об этой предрасположенности. Быть может, я мог сделать из них вывод, что жизнь учит нас понижать стоимость прочитанного, показывая нам, сколь недорого стоит всё то, что превозносит писатель; однако с тем же успехом я мог принять обратное, что чтение напротив учит нас повышать цену жизни, — мы не сумели ее определить и только благодаря книге узнали, насколько она была высока. В конце концов, можно утешать себя мыслью, что общество какого-нибудь Вентейля или Бергота было для нас не очень приятно. Целомудренная буржуазность первого, невыносимые недостатки второго, вульгарная претенциозность Эльстира в его артистических началах

(поскольку гонкуровский «Дневник» открыл мне глаза на то, что он и «господин Тиш», изводивший Свана в салоне Вердюренов своими речами, одно лицо) ничем против них не свидетельствуют, ибо их гений явлен в их творчестве. И не так уж важно, кто заблуждался — мемуаристы, очарованные обществом художников, или мы, которым оно решительно не нравилось; даже если не прав автор воспоминаний, это не свидетельствует против ценности жизни, создавшей таких гениев. (Но какой гений не раздражает нас манерами речи, усвоенными от собратьев по творческому цеху, прежде чем дойти, как Эльстир, а это редкий случай, до более высокого стиля? Разве не кишат письма Бальзака вульгарными оборотами, которых Сван не употребил бы и под страхом смертной казни? И все-таки столь утонченный Сван, чуждый всякого рода безвкусицы, вряд ли бы мог написать «Кузину Бетту» и «Турского священника».)³³

Другим крайним следствием этого опыта, хотя и поддающимся объяснению, было сознание того факта, что самые любопытные анекдоты гонкуровского «Дневника» — неистоцимый материал, увеселение одиноких вечерних часов, посвященных чтению, — были рассказаны ему гостями, которые не оставили во мне и следа интересного воспоминания, хотя и пробудили во мне, по прочтении этих страниц, живое желание познакомиться с ними. Даже если забыть о простодушии Гонкура, который на основании занимательности анекдота делал вывод об исключительности рассказчика, люди заурядные, как это

нередко бывает, могут сталкиваться в своей жизни с чем-то любопытным, либо слышать рассказы о том и, в свою очередь, передавать. Гонкур умел слушать и наблюдать; мне этого было не дано.

Впрочем, эти факты следует рассматривать отдельно. Конечно, г-н де Германт не производил на меня впечатления «эталона юной грации», который моя бабушка мечтала узреть воочию и, с подачи мемуаров г-жи де Босержан, называла неподражаемым образцом. Но следует помнить, что в то время Базену было семь лет, что писательница приходилась ему теткой, а даже те мужья, которые намерены вскоре развестись, превозносят своих жен. В одном из самых прелестных своих стихотворений Сент-Бёв описывает «явление у фонтана» некой девочки, увенчанной всеми талантами и грациями, юной м-ль де Шанплатрё, — в ту пору, должно быть, ей еще не исполнилось десяти лет. Вопреки нежному почтению, которое гениальная поэтесса, графиня де Ноайль,³⁴ испытывает к своей свекрови, герцогине де Ноайль, в девичестве Шанплатрё, вполне возможно, что написанный ею портрет резко контрастировал бы с тем, что был создан Сент-Бевом пятьюдесятью годами прежде.

Быть может, сильнее смущала эта прослойка, люди, от которых в памяти останется чуть больше, нежели занимательный анекдот, и вопреки тому, что о них нельзя судить по их произведениям, как в случае Вентейлей и Берготов, поскольку они не творили, они всего лишь — к нашему

большому удивлению, ведь мы считали их заурядными, — вдохновляли. И не так уж важно, что салон, который произведет на нас впечатление величайшей изысканности со времен великой живописи Ренессанса, если взглянуть на него из музея, был гостиной смешной мещаночки, что не будь я знаком с ней, то мечтал бы, стоя перед картиной, сблизиться с ней в реальной жизни, чтобы выведать у нее бесценные секреты мастерства, утаенные от меня холстами художника, что торжественный шлейф ее бархата и кружева — отныне деталь полотна, сопоставимого с лучшими работами Тициана. Я ведь и прежде знал, что Берготом становится вовсе не тот, кто всех остроумней, лучше всех образован и замечательно принят в свете, но человек, сумевший стать зеркалом и отразить свою жизнь, сколь бы ни была она заурядной (современники считали, что Бергот далеко не так умен, как Сван, и вовсе не так учен, как Бреоте); а ведь с бóльшим основанием можно сказать эти слова о моделях художника. Когда пробуждается чувство красоты, художник, способный изобразить всё, найдет натуру и элегантность, со всеми ее прекрасными мотивами, у людей побогаче, чем он, — он отыщет в их доме всё, чего нет в мастерской непризнанного гения, продающего полотно по пятьдесят франков за штуку: гостиную с мебелью, обитой старинным шелком, много света, красивых цветов, красивых фруктов, красивых платьев, — у людей довольно незначительных, или только кажущихся такими подлинно блистательному обществу (и не подозревающему об их существовании),

но которым, как раз по этой причине, проще познакомиться с безвестным мастером, оценить его и приглашать к себе, покупать его полотна, нежели аристократам, заказывающим портреты, подобно папе римскому и главам государств, у академических живописцев. Не обнаружат ли будущие поколения поэзию элегантно дома и прекрасных туалетов нашей эпохи в салоне издателя Шарпантье кисти Ренуара, а не на портретах принцессы де Саган или графини де Ларошфуко работы Ко или Шаплена?³⁵ Художники, подарившие нам величайшие образы элегантно, редко собирали его элементы в домах самых элегантно представителей своей эпохи, последние не заказывают портретов у безвестных разносчиков красоты, неразличимой в их полотнах и скрытой старомодным шаблоном грации, плавающим в глазах публики подобно тем субъективным виденьям, что летают, как ему мнится, перед больным. Но помимо того эти заурядные модели, мои знакомые, художника вдохновляли, они настаивали на некоторых улучшениях, меня восхищавших; картина не просто отмечала их присутствие — то были друзья художника, которых ему хотелось запечатлеть в полотнах; и здесь возникает вопрос: что если люди, о несостоявшемся знакомстве с которыми я жалел, потому что Бальзак вывел их в своих романах или посвятил им эти романы в знак своего восхищения, о которых Сент-Бёв или Бодлер написали свои самые замечательные стихи, тем паче все эти Рекамье и Помпадур, не казались мне безынтересными персонами исключительно по причине моей природной

слабости, поскольку, досадуя на болезнь, я не мог вступить с недооцененными мною лицами, или по причине иллюзорной магии литературы, которой они были обязаны своим авторитетом; так что я читал теперь только словарь, но из этих мыслей я мог извлечь для себя утешение в том, что по нездоровью мне каждый день приходится отказываться от общества, путешествий, посещения музеев, в том, что мне пора уже отправиться в клинику на лечение. Может быть, эта лживая мемуарная плоскость, эта обманная их подсветка очевидна для нас лишь тогда, когда они еще слишком свежи, когда еще так стремительно рассеивается слава интеллектуальная и мирская (и дано ли вашей эрудиции воспротивиться громоздящемуся забвению — хотя бы в одном случае из тысячи?).

Некоторые из этих мыслей уменьшали, прочие усиливали тоску, вызванную тем, что я лишен литературного дара; но долгие годы, на протяжении которых я, впрочем, совершенно оставил намерение писать, они меня не тревожили; всё это время, до начала 1916-го, я провел на лечении в клинике, пока там еще оставался медицинский персонал, вдали от Парижа.

Затем я вернулся в Париж, мало напоминавший город, увиденный мной в первое возвращение, о чем мы сейчас расскажем, в августе 1914-го, — тогда, пройдя медицинское обследование, я вернулся в свою больницу. В один из первых вечеров второго посещения, в 1916-м, я испытал сильное желание услышать, что говорят о войне, в ту пору единственном предмете, вызывавшем во мне интерес, и после ужина отправился навестить г-жу Вердюрен, которая, вместе с г-жой Бонтан, теперь была одной из королев военного Парижа, заставлявшего вспоминать Париж эпохи Директории.³⁶ Образование по виду спонтанное, словно после высева кусочка дрожжей, молодые дамы, как современницы г-жи Тальен, с утра до ночи носили на головах высокие цилиндрические тюрбаны, из гражданского чувства нацепив, поверх довольно коротких юбок, темные, прямые и «весьма

военные» египетские туники; ремешки на их ножках напоминали котурны в духе Тальма, а высокие гетры — рейтузы «наших дорогих бойцов»; и потому, что они не забыли, говорили они, что надо радовать солдат своим видом, они украшали себя «воздушными» платьями и безделушками, что своими декоративными мотивами были призваны вызвать мысли об армии — даже если материал поступил не из войск и в войсках не использовался; на смену александрийскому орнаменту — напоминание о египетской компании — пришли перстни и браслеты с осколками, либо из «ведущего пояска 75-го», зажигалки с двухпенсовой монеткой, которым солдаты в своих блиндажах ухитрялись придать столь прекрасную патину, что профиль королевы Виктории, казалось, был отчеканен самим Пизанелло. Это еще потому, говорили они, что они думают о войне постоянно, а если погиб кто-то из близких, то они так одеваются «в траурной скорби», потому что она «смешана с гордостью»; оттого была уместна и шляпка из белого английского крепа (чарующий эффект, надежды «на всё самое» и неколебимая уверенность в окончательном триумфе), замена былого кашемира атласом и шелковым муслином, и даже жемчуга, «в рамках той деликатности и сдержанности, о которых бессмысленно напоминать француженкам».³⁷

Лувр и музеи были закрыты, и если в заголовке газетной статьи сообщалось о «сенсационной выставке», то можно было не сомневаться: речь идет не о картинах, но о платьях, которым было уготовано, впрочем, «служить тому

утонченному артистическому наслаждению, что было отнято у парижанок слишком давно». Так моды и удовольствия снова вступали в свои права; моды, в отсутствие прочих искусств, нуждались в оправдании, как в 1793-м году, когда художники, участвовавшие в революционном Салоне, возглашали, что «напрасно суровые республиканцы называют странным наше увлечение искусствами в тот момент, когда соединенные силы Европы осадили территорию свободы». В 1916-м так поступали кутюрье, не без гордости художников утверждавшие, однако, что «поиск нового, отречение от банальности, утверждение индивидуального стиля, работа на победу, открытие для послевоенных поколений новой формулы красоты — вот измучившая их мечта, преследуемая ими химера, в чем нетрудно убедиться, посетив выставку, которая так удобно разместилась на улице ..., и услышав ее лейтмотив — веселую светлую ноту, звучащую со сдержанностью, впрочем, приличной обстоятельствам, что заставит вас забыть о тяжелых тревогах наших дней».

«Тревоги наших дней», поистине, «могли бы лишить женщин всех сил, однако нам приходит на ум много примеров стойкости и отваги. Поэтому вспомним о наших воинах, мечтающих в траншеях об уюте и шикарном наряде для своих далеких подруг, оставшихся у очага, и привнесем еще больше выдумки в создание платьев, отвечающих потребностям времени. Особенно теперь модны», что понятно, «модельеры английские, то есть союзнические;

все в этом году просто без ума от платья-бочки — веселая непринужденность этой модели придает девушкам забавный отпечаток редкой изысканности. Так что счастливейшим следствием печальной войны», добавляет очаровательный хроникер (мы думаем: освобождение потерянных провинций, пробуждение национального чувства), «будет ее забавный итог в отношении нарядов, создание — без необдуманной роскоши и дурного тона — шика из безделиц. Платью из дома моделей, пошитому во множестве экземпляров, на данный момент предпочитают платья, шитые на дому, потому что они отвечают духу, вкусу и личным склонностям каждой».³⁸

Вполне естественно, если учесть бедствия, порожденные войной, число искалеченных, что милосердие не могло не стать «поизоощренней»; оно-то и обязывало дам в высоких тюрбанах проводить вечер на «чае» у столов для бриджа, чтобы «обсудить положение на фронтах», пока за дверьми на сиденье автомобиля их поджидал красивый военный, болтавший с посыльным. Впрочем, новы были не только шляпки, причудливыми цилиндрами торчавшие над лицами. Новы были и лица. Эти дамы в шляпках явились бог весть откуда и являли собой саму элегантность — одни уже шесть месяцев, вторые два года, а некоторые целых четыре. Для них, впрочем, это отличие представлялось столь же существенным, как три или четыре столетия подтвержденного старшинства для Германтов и Ларошфуко во времена моих первых выходов в свет. Дама, знакомая

с Германтами с 1914-го, на представленную им в 1916-м смотрела как на выскочку, она кивала ей, как светская старуха, и разглядывала в лорнет, одной гримасой давая понять, что у нее вызывает большое сомнение, что та была когда-нибудь замужем. «Всё это довольно отвратительно», — заключала дама 1914-го года, которой бы очень хотелось, чтобы цикл новых допущений был завершён ею. Эти новые лица, казавшиеся молодым уже старыми, а для некоторых стариков, посещавших не только большой свет, достаточно узнаваемыми, чтобы их новизна была сносной, не только развлекали общество разговорами о политике и музыке в узком кругу, вдохновлявшем на такие беседы; эти увеселения надлежало предложить именно им, поскольку для того, чтобы что-то казалось новеньким, и если оно ново, и если оно старо, в искусстве, как в медицине и в свете, нужны новые имена. (Кое в чем, впрочем, они действительно поражали новизной. Уже после начала войны г-жа Вердюрен посетила Венецию, но подобно тем людям, которые избегают говорить о печальном и чувствах, если что-то она называла «сногшибательным», то речь шла не о Венеции, не о Сан-Марко, не о любимых мной дворцах, для нее не стоивших ломанного гроша, но о лучах прожекторов в небе, и о последних она давала сведения, подкрепленные цифрами. Так из века в век, в противодействие искусству, доселе вызывавшему восхищение, возрождается реализм.)

Салон г-жи де Сент-Эварт, как потрепанный ярлычок, уже никого не привлекал — ни великими артистами, ни

влиятельными министрами. Напротив, все бежали послушать, что скажет секретарь первых или заместитель заведующего секретариатом вторых — к новым дамам в тюрбанах, чье летучее и стрекочущее вторжение накрыло Париж. Королева первой Директории была юна и прекрасна, ее звали г-жа Тальен. У дам второй Директории королев было сразу две, они были безобразны и стары, их звали г-жа Вердюрен и г-жа Бонтан. Кто бы смог теперь упрекнуть г-жу Бонтан за роль ее мужа в деле Дрейфуса, столь жестко раскритикованную в «Эко де Пари»? Поскольку вся Палата, с определенного момента, стала ревизионистской, партию социального порядка, веротерпимости и военной готовности поневоле приходилось набирать в среде бывших ревизионистов и социалистов. Когда-то г-н Бонтан вызывал у света отвращение — тогда антипатриотов именовали «дрейфусарами». Но теперь это прозвище было забыто, его сменило звание «противника закона трех лет». А г-н Бонтан был одним из авторов этого закона и, следовательно, являлся патриотом.³⁹

Нововведения в свете, предосудительные или нет (этот социальный феномен, впрочем, — лишь проявление более общего психологического закона), вызывают ужас лишь пока они не смешались с утешительными элементами, пока они не окружены ими. Так было и с дрейфусарством, так было и с женитьбой Сен-Лу на дочери Одетты — этот брак поначалу вызывал общее возмущение. Теперь, когда у супругов Сен-Лу можно было видеть «всех знакомых», Жильберта могла бы сама вести себя, как Одетта, и вопреки

тому к ней всё равно бы «ходили», порицая ее не более строго, чем светская старуха — неустоявшиеся моральные новшества. Теперь дрейфусарство стояло в одном ряду с вещами почтенными и привычными. Чем же оно было по своей сути, теперь, когда дрейфусарство допускалось, беспокоило людей не больше, чем тогда, когда его осуждали. Больше это не было *shocking*. Это было в порядке вещей. Мало кто вспоминал, что дрейфусарство вообще имело место, — так по прошествии нескольких лет невозможно установить, был ли вором отец такой-то девушки. Всегда можно, в крайнем случае, сказать: «Нет, вы говорите о его зяте, либо однофамильце. Про него таких слухов я не припомню». К тому же, дрейфусарство дрейфусарству рознь, и тот, кого принимали у герцогини Монморанси, кто провел закон трех лет, был не столь ужасен. Как говорится, «простится всякий грех». И это забвение, пожалованное дрейфусарству, *a fortiori* затронуло дрейфусаров. Их не осталось, к тому же, и в политике, поскольку дрейфусаром становился всякий, кто хотел войти в правительство, в том числе и те, кто противостоял дрейфусарству в его шокирующих истоках, когда оно было воплощением (когда Сен-Лу катился по наклонной) антипатриотизма, безрелигиозности, анархии и т. п. Поэтому дрейфусарство г-на Бонтана, неосязаемое, но конститутивное, как дрейфусарство всех политических мужей, выступало из него не более заметным образом, чем из кожи кости. Никто не помнил, что он был дрейфусаром, потому что светские люди рассеяны и забывчивы, потому

что прошло много времени, и потому что они делали вид, будто прошло еще больше, — согласно модной точке зрения, довоенная эпоха была отделена от военной чем-то столь же глубоким и протяженным, как геологический период, и даже такой националист, как Бришо, говорил о деле Дрейфуса: «В те доисторические времена...»

(Говоря по правде, глубина перемен, совершенных войной, была обратно пропорциональна величине затронутых умов; во всяком случае, начиная с определенного уровня. Ниже — дурни обыкновенные, ценители наслаждений, которым до войны не было дела. Выше — те, кто своим внутренним миром заместил мир внешний, те, кто не принимал в расчет важность событий. Склад их мысли менялся чем-то не представляющим, на первый взгляд, большого значения; но этот предмет опрокидывал строй их времени, погружая человека в другую пору его жизни. Примером может послужить красота вдохновенных им страниц: очевидно, что песня птицы в парке Монбуасье или ветерок, исполненный запаха резеды, — не столь значимые события, как даты Революции и Империи. Тем не менее, ценность внушенных ими страниц Шатобриана, в «Замогильных записках», бесконечно выше).⁴⁰ Слова «дрейфусар» и «антидрейфусар» больше не имеют смысла, твердили люди, которые выразили бы изумление и возмущение, попробуй им кто-то сказать, что через несколько веков, а возможно и раньше, слово «бош» будет звучать столь же диковинно, как сейчас — «санкюлот», «шуан» или «синий».

Г-н Бонтан не хотел и слышать о мире, пока Германия не будет раздроблена, как в средние века, до отречения дома Гогенцоллернов, пока Вильгельму II не всадят в лоб пулю. Одним словом, он был из тех, кого Бришо называл «упертыми», а это был высочайший сертификат гражданской сознательности из тех, что могли Бонтану пожаловать. Само собой, первые три дня г-жа Бонтан, среди всех этих людей, которые просили г-жу Вердюрен представить ее, чувствовала себя не в своей тарелке; ведь когда она спрашивала: «Вы только что представили меня герцогу д'Осонвилю, не так ли?» — либо по причине полного невежества и отсутствия ассоциаций между именем д'Осонвиля и каким-нибудь титулом, либо напротив, вследствие чрезмерной осведомленности и ассоциаций с «Партией герцогов», в которую, как ей сказали, д'Осонвиль входит в Академии, — г-жа Вердюрен отвечала ей слегка язвительно: «Графу, милочка моя».⁴¹

Дня через три г-жа Бонтан начала обосновываться в Сен-Жерменском предместье всерьез. Иногда вокруг нее еще можно было различить неведомые осколки иного мира, не более удивительные для тех, кто знал яйцо, из которого она вылупилась, чем скорлупки, приставшие к цыпленку. Однако на третьей неделе она их с себя стряхнула, а через месяц, когда от нее услышали — «Я собираюсь к Леви», никто и не подумал спрашивать: всем было понятно, что речь идет о Леви-Мирпуа; и ни одна герцогиня не смогла уснуть, не узнав от г-жи Бонтан или г-жи Вердюрен, хотя бы по телефону, что было в вечерней сводке,

о чем там умолчали, когда решат с Грецией, где готовится наступление, — одним словом, всех тех сведений, которые станут известными публике только завтра, а то и позже, и которым г-жа Бонтан устраивала своего рода последний прогон. В разговоре, сообщая новости, г-жа Вердюрен употребляла «мы», подразумевая Францию. «Итак, *мы* требуем от греческого короля убраться с Пелопоннеса... *мы* ему отправляем и т. д.». И в ее речах постоянно упоминалась «СВГ» («я позвонила СВГ») — эту аббревиатуру она произносила с тем удовольствием, с которым не так давно дамы, не представленные принцу д'Агригенту, щеголяя своей осведомленностью, если речь заходила о нем, с ухмылкой переспрашивали: «Григри?», — радость, известная в мирные времена лишь свету, но в лихую годину ведомая и простонародью. Наш дворецкий, к примеру, наставленный газетами, в разговорах о короле Греции выражался как Вильгельм II: «Тино?»; прежде его фамильярность с королями была еще вульгарней, потому что, придумывая клички самостоятельно, он именовал короля Испании «Фонфонсом».⁴² Следует отметить, впрочем, что с ростом числа блистательных особ, обхаживавших г-жу Вердюрен, сокращалось число тех, кого она относила к «скучным». Словно бы по мановению волшебной палочки «скучные», явившиеся к ней с визитом или испросившие приглашения, моментально становились милы и интеллигентны. Одним словом, по прошествии года количество «скучных» сократилось настолько, что «невыносимый страх скучать»,

занимавший видное место в разговорах и игравший большую роль в жизни г-жи Вердюрен, практически полностью ее оставил. Можно сказать, что на склоне лет невыносимость скуки (она, впрочем, не испытывала ее в юности, согласно собственным уверениям) причиняла ей меньшие страдания, подобно мигрени и нервической астме, которые к старости ослабевают. И, наверное, г-жа Вердюрен окончательно бы забыла про «невыносимость скучать» по причине недостатка «скучных», если бы потихоньку не набрала новых «скучных» среди бывших «верных».

Впрочем, чтобы покончить с герцогинями, посещавшими теперь г-жу Вердюрен, добавим, что влекла их в этот салон, хотя они о том не догадывались, та же самая вещь, которая приводила к ней прежде дрейфусаров, — а именно светское удовольствие, подготовленное таким образом, чтобы его получение насыщало политическое любопытство и утоляло жажду посудачить между собой о происшествиях, описанных в газетах. Г-жа Вердюрен говорила: «К пяти приходите поговорить о войне», как некогда — «поговорить о Процессе», или, в промежутке, — « послушать Мореля».

Впрочем, Морель не был освобожден от службы, и находиться там ему не следовало. Правда, до части он не добрался и числился в бегах, но этого никто не знал.

Всё осталось по-прежнему; и даже, вполне естественным образом, всплывали старые словечки — «благонамеренный», «неблагонамеренный». И поскольку они казались чем-то новым, а бывшие коммунары, давным-

давно, выступали против пересмотра Дела, записные дрейфусары мечтали расстрелять всех до последнего, и находили в этом поддержку у генералов, поскольку последние, во времена Процесса, выступали против Галифе.⁴³ На эти вечера г-жа Вердюрен приглашала нескольких свежих дам, известных благотворительностью, — поначалу они являлись в сверкающих нарядах и массивных жемчужных ожерельях; и даже Одетта — а у нее колье тоже было красивое, и его демонстрацией она когда-то сама злоупотребляла, — носившая теперь, из подражания дамам Предместья, «военный фасон», смотрела на них сурово. Однако женщины умеют приспособиться: к третьему или четвертому посещению они сознавали, что наряды, казавшиеся им «шикарными», как раз и были запрещены «шикарными» дамами, отрекались от своих золотых платьев и смирялись с простотой.

Одной звезд этого салона был «В пролете» — вопреки своим спортивным склонностям он добился освобождения от службы. Теперь он стал для меня только автором замечательных произведений, постоянно занимавших мой ум, и лишь случайно я вспоминал, заметив пересечение между двумя потоками воспоминаний, что именно он послужил причиной бегства Альбертины.⁴⁴ И, что касается мощей моей памяти об Альбертине, этот поперечный поток вновь выводил меня на колею, теряющуюся в чистом поле, в далеких годах. Потому что я больше никогда не думал о ней. На эту колею памяти, на эту тропу я уже не ступал.

Тогда как сочинения «В полете» были для меня свежи, я наткнулся на эту тропинку, и мое сознание использовало ее.

Должен заметить, что завязать знакомство с мужем Андре было делом не то чтобы легким и приятным, что, питая к нему дружеские чувства, вы были обречены на сплошные разочарования. Дело в том, что к тому времени он был уже серьезно болен и старался избавиться себя от волнений, которые, по его мысли, не сулили ему удовольствий. К этому разряду, однако, он не относил встреч с новыми людьми — у них в его пылком воображении, должно быть, еще оставалась возможность чем-то отличаться от прочих. Но что касается остальных, то он слишком хорошо знал — кто они такие, чего от них ждать; в его глазах они не стоили опасной для него и даже, быть может, смертельной усталости. В целом, товарищ из него был никудышный. И в его страсти к новым людям, наверное, снова проявился тот иступленный азарт, с которым прежде, в Бальбеке, он предавался спорту, игре, излишествам стола.

Что же касается г-жи Вердюрен, то всякий раз она пыталась меня свести с Андре, не допуская мысли, что я с ней знаком. Впрочем, Андре редко приходила с мужем. Теперь она стала для меня замечательной и искренней подругой; верная эстетике мужа, оппозиционного к русским балетам, она говорила о маркизе де Полиньяке: «Он украсил дом Бакстом. Так ведь и не уснешь! Лучше уж, на мой взгляд, Дюбуф». Вердюрены же уверяли, по причине фатального

прогресса эстетизма, в конечном счете наступившего себе на хвост, что не выносят ни «модерна» (тем более «мюнхенского»), ни белых квартир,⁴⁵ и отныне любят только старинную французскую мебель с темным рисунком.

В то время я часто виделся с Андре. Не зная, о чем с ней говорить, я однажды вспомнил имя Жюльетты, которое поднималось из глубины воспоминания об Альбертине, словно таинственный цветок. Тогда таинственный, а сегодня ничего во мне не пробуждавший: не то чтобы предмет умолчания был намного ничтожней тех пустяков, о которых мы с ней болтали, но подчас в наших мыслях об определенных вещах, когда мы думаем о них слишком долго, происходит перенасыщение. Наверное, время, в котором мне грезилось сколько тайн, действительно было таинственным. Но поскольку когда-нибудь этим временам придет конец, не стоит жертвовать здоровьем и состоянием, чтобы раскрыть секреты, которые после не вызовут интереса.

Многих удивляло, что теперь, когда г-жа Вердюрен принимала у себя кого ей угодно, она разными хитростями пыталась заманить к себе Одетту, совсем было потерянную из виду. Теперь Одетта ничего бы не смогла прибавить к той блистательной среде, в которую превратился кланчик. Но подчас длительная разлука, принося забвение обид, пробуждает дружбу. К тому же, умирающие бормочут имена лишь давних друзей, а старики находят удовольствие лишь в детских воспоминаниях, и у этого феномена есть

социальный эквивалент. Чтобы вернуть Одетту, г-жа Вердюрен прибегла к услугам, разумеется, не «вернейших», но более ветреных завсегдатаев, посещавших оба салона. Она им сказала: «Не понимаю, отчего она ко мне больше не ходит. Она со мной в ссоре? Но ведь я с ней не ссорилась. К тому же, что я такого ей сделала? В моем доме она познакомилась с двумя своими мужьями. Пусть она знает, если захочет вернуться: для нее мои двери открыты всегда». Эти слова, которые, вероятно, дорого бы обошлись для гордости Патронессы, если бы не были продиктованы ее воображением, Одетте передали, но к успеху они не привели. Г-жа Вердюрен ждала Одетту и не чаяла увидеть, пока другие события, о которых мы расскажем ниже, и по совершенно иным причинам, не способствовали тому, чего не достигла депутация «неверных», пусть и старавшихся вовсю. Порой, не случись легкой удачи, не страшен и провал.

Г-жа Вердюрен говорила: «Это несносно, сейчас же позвоню Бонтану, чтобы завтра приняли меры: опять *зазернули* концовку статьи Норпуа, — стоило ему намекнуть, что Персена *лиможнули*». ⁴⁶ Модная глупость обязывала кичиться модными словечками, и удостоверяла, что ты идешь в ногу со временем, — так переспрашивали когда-то мещанки, если речь заходит о господах де Бреоте, д'Агригенте или де Шарлю: «Кто? Бабал де Бреоте? Григри? Меме де Шарлю?» Впрочем, недалеко от них ушли герцогини, с той же радостью повторявшие «лиможнуться», ибо это слово, в глазах несколько поэтических

простолюдинов, выделяло их на фоне других герцогинь; они же выражались сообразно правилам того духовного класса, к которому принадлежат, а туда заносит немало буржуа. Просвещенным людям безразлично происхождение.

Впрочем, у этих «обзвонов» г-жи Вердюрен был существенный недостаток. Мы забыли упомянуть о том, что «салон» Вердюренов, верный себе по духу и плоти, на время был перемещен в один из самых больших дворцов Парижа — нехватка угля и света крайне затрудняла приемы в их старом отеле, сыром дворце венецианских послов. У нового салона, впрочем, были свои преимущества. Словно бы венецианская площадь, ограниченная водой, но определившая форму дворца, или закуток в парижском саду, более поэтичный, чем парк в провинции, тесная столовая дворца г-жи Вердюрен превратила ромбовидные стены ослепительной белизны в своеобразный экран, на котором каждую среду, да и почти все другие дни проступали интереснейшие и примечательнейшие люди, самые элегантные красавицы Парижа — все они с радостью наслаждались роскошью Вердюренов, лишь возросшей с их состоянием в ту пору, когда богачи, лишенные поступлений, ограничивали себя во всем,⁴⁷ Порядок приемов был изменен, но они по-прежнему восхищали Бришо — последний, по мере расширения связей Вердюренов, постоянно находил в их салоне новые удовольствия, набившие это маленькое пространство, как рождественские подарки чулок. К слову, иногда гости

собирались в таком количестве, что в маленькой столовой становилось слишком тесно, и ужин подавали в необъятной гостиной на первом этаже, где «верные», лицемерно сожалея об уютном верхнем помещении — так когда-то они говорили г-же Вердюрен, пригласившей Камбремеров: «наверное, будет тесновато», — сбившись в кучку, как некогда на узколейке, в глубине души переживали чистый восторг, ощущая себя предметом зависти и любопытства соседних столов. В привычные мирные времена светская заметка, тайком отправленная в «Фигаро» или «Голуа», поведала бы несколько большему числу людей, чем вмещала столовая Мажестик, об обеде Бришо с герцогиней де Дюра. Однако с началом войны светские хроникеры упразднили этот новостной жанр (отыгравшись на похоронах, наградных приказах и франко-американских банкетах), и жизнь общественности полностью бы пресеклась, если бы не было изыскано этого детского и неполноценного средства, достойного далеких эпох — предшественниц изобретения Гуттенберга: отметить за столом у г-жи Вердюрен. После ужина поднимались в гостиную Патронессы, затем начинались «обзвоны». В те дни во многих дворцах сновали шпионы, которые брали на заметку новости, телефонированные болтливой Бонтан; к счастью, это обстоятельство смягчалось недостаточной точностью ее сообщений, почти всегда опровергаемых событиями.

Еще во время этих вечерних чаепитий, на исходе дня, в светлом небе можно было различить небольшие коричневые пятна — в голубых сумерках они были похожи на мошкарку и птиц. Так, если издали смотришь на гору, она кажется облаком. Но нас волнует мысль, что это облако необъятно, что оно прочно и крепко. И я испытывал то же волнение, потому что коричневая точка в летнем небе не была мошкой или птицей — то был аэроплан, поднятый в небо людьми, ставшими на страже Парижа. (Воспоминание об аэропланах, которые мы видели с Альбертиной на последней прогулке в окрестностях Версаля, ничем эту мысль не омрачало: оно стало для меня безразличным.)

Вечерами рестораны были полны; и если я видел на улице бедного отпускника, на неделю ускользнувшего от постоянной смертельной опасности, готового вновь вернуться в окопы, если на мгновение он останавливал взгляд на освещенных стеклах, то я переживал такое же мучительное чувство, как в бальбекском отеле, когда рыбаки наблюдали за нашей трапезой; но оно было сильнее, потому что я знал, что горести солдата тяжелей горестей бедняка, потому что подразумевают их, и более трогательны, потому что принимаются безропотно и благородно; глядя на тыловых крыс, обленившихся столики,

солдат, которому завтра на фронт, философски покачивая головой, без неприязни, говорил: «Вот и скажи теперь, что идет война». В половине десятого, когда еще никто не успел отужинать, по приказу полиции тушили огни, и в девять тридцать пять тыловые крысы в толкучке вырывали свои пальто у ресторанных лакеев — там, где когда-то туманным вечером я ужинал с Сен-Лу, — а затем насытившиеся пары устремлялись в загадочные сумерки, где им показывали волшебный фонарь, в театральные залы, приспособленные теперь под показ синема. Но тем, кто после ужина выходил встретиться с друзьями, как я в тот вечер, Париж — по крайней мере, в некоторых кварталах — представлял еще более темной стороной, чем Комбре моего детства; как будто, совершая визиты, я шел к деревенским соседям.

Как бы было славно, если б Альбертина не умерла, вечерами, когда я выходил в город, встречаться с ней на улице, под аркадами! Поначалу, взволнованный предчувствием, что она не придет, я бы ничего не различал; и вдруг заметил бы, как из темной стены проступает ее милое серое платье, что ее ласковые глаза уже смотрят на меня; обнявшись, мы могли бы гулять, никем не узнанные и не потревоженные, а затем вернуться домой. Увы, я был один, и меня не покидало чувство, будто я бреду в деревне к соседу, словно бы Сван, который захаживал к нам после ужина, не чаще встречая прохожих в сумерках Тансонвиля, на маленькой бечевой дорожке и на улице Святого Духа, чем я на этих бульварах, превратившихся из извилистых

деревенских улочек, из улицы Св. Клотильды — в улицу Бонапарта. Впрочем, поскольку фрагменты этих пейзажей были смещены непогодой, и уже не вступали в противоречие с незримой рамкой, вечерами, когда ветер бил ледяным шквалом, мной овладевало чувство, будто я стою на берегу неистового моря, куда я так хотел попасть, — в Бальбеке это ощущение не было таким сильным; и другие природные явления, с которыми до сих пор нельзя было встретиться в Париже, пробуждали ощущение, будто только что, на время каникул приехав в деревню, мы сошли с поезда в чистом поле: например, контраст света и тени, вечерами, на земле, у ног, в лунном свете. В свете луны можно было углядеть то, чего не заметишь в городе даже зимой; ее лучи расстилались по снегу на бульваре Османа,⁴⁸ где больше не прибирали дворники, словно по альпийским льдам. Силуэты деревьев, ясны и чисты, отражались на этом снеге золотой голубизны с тонкостью японских гравюр или перспектив Рафаэля; они тянулись по земле у оснований стволов, как в лесу на закате, когда солнце затопляет собой лужайки: лужайки сверкают, а стволы восстают через равные промежутки. Но утонченно, с дивной изысканностью, лужайка, над которой тянулись тени этих деревьев, легкие как души, становилась райским лугом, не зеленым, но ослепительной белизны: в свете луны, лившейся на нефритовый снег, она словно бы была соткана из лепестков груши в цвету. А на площадях божества общественных фонтанов, сжимающие ледяную струю в руке, напоминали статуи из неоднородного вещества,

потому что скульптору, чтобы изваять их, пришлось обвенчать бронзу с хрусталем. Этими чудесными ночами все дома были черны. Но иногда весной, не считаясь с предписаниями полиции, особняк-одиночка, либо только этаж особняка, или даже только одно окно на этаже, не скрытое ставнями, совершенно одинокое в непроницаемых сумерках, виднелось будто бы броском чистого света, словно неустойчивое видение. И женщина, которую, подняв глаза выше, разглядишь в золотом сумраке, обретала в этой ночи, где ты потерян, а она заключена, волшебные и смутные очертания восточного призрака. Потом идешь дальше, и уже ничто не мешает однозвучному оздоровительному шарканью в сельской темноте.

Полагаю, что довольно долго я не встречался ни с кем из тех, кто упомянут в нашем повествовании. В 1914-м, правда, я провел в Париже два месяца, где мельком виделся с г-ном де Шарлю, а также с Блоком и Сен-Лу, причем с последним два раза. Вторая наша встреча совершенно изгладила не очень-то приятные впечатления, оставленные его тансонвильской неискренностью, о чем я только что рассказал, и я снова признал в нем его былые черты и прекрасные качества. А первый раз мы увиделись после объявления войны, то есть в начале следующей недели (Блок тогда был склонен выказывать самые шовинистические чувства); после того как Блок с нами простился, я не услышал и тени иронии в рассказе Сен-Лу о том, что сам он на службу возвращаться не собирается, и был едва ли не шокирован грубостью его тона.

Сен-Лу вернулся из Бальбека. Позднее мне удалось узнать через третьих лиц, в Бальбеке он обхаживал директора ресторана, но тщетно. Последний был обязан своим положением г-ну Ниссону Бернару, который оставил ему наследство. Это был тот самый юный слуга, которому дядя моего друга «покровительствовал». Богатство, однако, наставило его в добродетели, и тщетно Сен-Лу пытался его обольстить. Итак, в порядке компенсации, когда добродетельные

юноши взрослеют и отдаются страстям, в которых они наконец нашли вкус, покладистые юноши становятся людьми с принципами, и какой-нибудь де Шарлю, слишком поздно доверившийся старым сплетням, нарывается на нелюбезный отпор. Так что всё дело в хронологии.

«Да, — крикнул он твердо и весело, — что ни говори, а если человек не на фронте, то он просто хочет спасти свою шкуру, он *просто трус*». С тем же уверенным жестом, однако энергичнее, чем при описании трусости других лиц, он добавил: «И если я не вернусь на службу, то только потому, что я *трус*, и всё тут!» Я не раз уже убеждался, глядя на разных лиц, что прикрывать дурные чувства можно не только аффектацией похвальных; более свежо — выставлять дурные напоказ, чтобы по крайней мере не производить впечатления, что ты их скрываешь. К тому же, в Сен-Лу эта линия поведения была усилена его привычкой, если он допускал какую-либо бестактность или промах, за которые его могли упрекнуть, заявлять во всеулышание, будто он поступил так нарочно. Эту манеру, должно быть, он перенял у кого-то из своих близких друзей — преподавателей Военной Школы, которыми он благоговейно восхищался. Итак, мне не составило большого труда истолковать эту выходку как словесную ратификацию чувства, о котором — поскольку оно определило поведение Сен-Лу и его неучастие в начавшейся войне — он предпочитал рассказывать повсеместно.

«Ты не слышал, кстати, — спросил он перед уходом, — что моя тетка Ориана разводится? Лично я ничего об этом не знаю. Об этом судачили время от времени, и до меня дошло так много слухов, что я сначала дождусь развода, а только потом поверю. Но добавлю, что это было бы вполне естественно. Мой дядя — само очарование, причем не только для света, но и для друзей, для родственников. Так или иначе, он сердечнее тетки — она святая, конечно, но не упускает случая поставить это на вид. Но муж он, все-таки, скверный — постоянно ей изменяет, жесток с ней, оскорбляет ее, отказывает в деньгах... Если бы она с ним развелась, это было бы понятно — и этого достаточно, чтобы слух оказался правдой. И наоборот: если это естественно, то это еще один повод думать об этом и болтать. К тому же, тетка долговато терпела. Теперь-то я знаю: многое, о чем болтают напрасно, чтобы после опровергать, позже становится правдой». Эти слова напомнили мне, что я давно хотел его спросить — стоял ли когда-нибудь вопрос о его женитьбе на м-ль де Германт. Сен-Лу вздрогнул и принялся меня убеждать, что это одна из тех светских небылиц, которые возникают время от времени по неизвестной причине, чтобы затем рассеяться; лживость этих слухов вовсе не способствует осмотрительности тех, кто уверовал, и как только появятся новые — о предстоящих браках, разводах или о политике, — они в них опять поверят и примутся их распространять.

Не прошло и двух дней, и я получил сведения, которые доказали мне, что в истолковании слов Робера — «все, кто

не на фронте, трусы» — я глубоко заблуждался. Сен-Лу сказал так, желая блеснуть в разговоре, проявить психологическую оригинальность, пока не был уверен, что его ходатайство о добровольном вступлении в армию будет утверждено. Однако в то же время он делал всё от себя зависящее, чтобы его прошение приняли, и был в этом далеко не оригинален — не в том смысле, который с его точки зрения следовало вкладывать в это слово, а в более глубоком и французском, отвечавшем нормам Святого Андрея в Полях,⁴⁹ самому лучшему, что было у французов Святого Андрея в Полях того времени — сеньоров, буржуа и простолюдинов, почтительных к сеньорам или бунтующих против них, канонам двух в равной степени французских подразделений одной семьи, подтипа Франсуазы и подтипа Мореля, выпустивших две стрелы в одном направлении — к фронту. Блок с восторгом выслушал признание в трусости из уст «националиста» (хотя Сен-Лу сложно было назвать националистом), но когда Робер спросил его, собирается ли тот пойти на фронт, отвечал в позе верховного жреца: «Миопия».

Но через несколько дней Блок полностью изменил свое мнение о войне; он прибежал ко мне, потеряв голову. Вопреки «миопии» его признали годным к службе. Я вышел проводить его, и по дороге мы встретили Сен-Лу, у которого была встреча в военном ведомстве с отставным офицером, г-ном де Камбремером, — последний должен был представить его какому-то полковнику. «Да что я тебе рассказываю — это же твой старый приятель... Ты ведь

Канкана⁵⁰ знаешь не хуже меня». Я ответил, что действительно знаком с ним, и с его женой также, но знакомство ценю невысоко. Однако с тех пор, как я с ними сдружился, я настолько привык относиться к г-же де Камбремер как к человеку, вопреки всему, исключительному — ведь она досконально разбиралась в Шопенгауэре и ей были доступны духовные сферы, закрытые для ее неотесанного супруга, — что слова Сен-Лу меня прежде всего изумили: «Жена у него идиотка, тут я с тобой не спорю. А Камбремер человек замечательный, одаренный и по-прежнему милый». «Идиотизмом» жены Камбремера Робер называл, вероятно, ее страстное желание якшаться с большим светом, которое встречает самое суровое осуждение в свете. Под выдающимися качествами мужа, наверное, он подразумевал те свойства Камбремера, которые в нем находила его мать, когда ставила его выше других членов своей семьи. Его-то, по крайней мере, не заботили герцогини; но, говоря по правде, этого рода «ум» столь же отличен от ума, присущего мыслителям, как признанный публикой «талант» от способностей нувориша, «сколотившего капиталец». Однако слова Сен-Лу не вызвали у меня протеста, потому что напомнили, что претензия граничит с глупостью, а простота обладает манерами хотя и скрытыми, но приятными. Мне не довелось, правда, насладиться этими качествами г-на де Камбремера. Поэтому справедливо, что человек, если судить о нем по словам других, это множество разных лиц, даже если оставить в стороне разницу мнений. Я знал

только оболочку г-на де Камбремера. А его обаяние, о котором мне рассказывали другие, так и осталось для меня неведомым.

Блок простился с нами у дверей своего дома, с горечью упрекая Сен-Лу, что все эти «высокородные офицеришки», щеголяющие при штабах, ничем не рискуют, а вот у него, простого солдата 2-го класса, нет никакого желания «лезть на штыки из-за Вильгельма». «Говорят, что император Вильгельм серьезно болен», — ответил Сен-Лу. Необычайно восприимчивый к сенсационным известиям, как и все, кто околачивается возле биржи, Блок воскликнул: «Говорят даже, что он умер». На бирже все большие монархи, Эдуард VII или Вильгельм II,⁵¹ уже мертвы, а все осажденные города давно пали. «Правда, пока это скрывают, чтобы не вызвать панику среди бошей. Однако он умер вчера ночью. Мой отец узнал об этом из самого первоклассного источника». Г-н Блок-отец пользовался только самыми первоклассными источниками, и так как ему посчастливилось, благодаря его «большим связям», находиться с ними в сношениях, он мог черпать из них пока что секретные известия, что «заграница растет», а «Де Бирс падает». Впрочем, если к указанному моменту курс де Бирс «повышался», а «заграница предлагалась», если рынок первых был «устойчивым» и «активным», тогда как вторых — «колеблющимся» и «непостоянным», и эти акции оставляли «на резерв», самый первоклассный источник оставался по-прежнему первоклассным. Поэтому Блок сообщил нам о смерти кайзера с видом важным

и таинственным, но вместе с тем раздраженным. Особенно его взбесило, что Робер назвал Вильгельма императором. Я думаю, что и под резаком гильотины Сен-Лу и г-н де Германт не сказали бы иначе. Два этих светских мужа, останься они в одиночестве на необитаемом острове, где не перед кем обнаруживать своих хороших манер, признали бы друг друга по этим следам воспитания, как латинисты, правильно цитирующие Вергилия. Даже под пыткой у немцев Сен-Лу не назвал бы «императора Вильгельма» иначе. И все-таки этот хороший тон — признак крепких пут, сковавших ум. Тот, кто не сумеет сбросить их, останется лишь светским человеком. Впрочем, эта изящная посредственность не может не вызывать восхищения — особенно когда она сочетается с утаенным великодушием и невыражаемым героизмом, — если сравнивать ее с вульгарностью Блока, труса и фанфарона разом, который кричал Сен-Лу: «Ты не мог бы сказать просто — Вильгельм? Вот именно, ты трусишь, ты уже здесь ложишься перед ним ничком. Хороши будут наши солдаты на фронте, они расцелуют бошевские сапоги! Вы, штабные, только и умеете, что гарцевать в карусели.⁵² И точка».

«Бедняга Блок уверен, что я только и гарцую на парадах», — с улыбкой сказал Сен-Лу, когда мы простились с нашим приятелем. И я прекрасно понимал, что вовсе не парады занимали мысль Робера, хотя разобраться в его намерениях лучше я смог только потом, когда кавалерия осталась незадействованной и он добился назначения пехотным офицером, затем егерем и наконец... впрочем, об этом мы

расскажем ниже. Блок не признавал патриотизма Робера только потому, что Робер его не выражал. Если Блок исповедовал страстный антимилитаризм, будучи признан «годным», то ранее, рассчитывая на освобождение от службы по причине близорукости, он высказывался с крайним шовинизмом. На подобные заявления Сен-Лу был не способен; прежде всего из-за некоей моральной чуткости, не позволявшей ему выражать слишком глубокие чувства и то, что каждому представляется естественным. Когда-то моя мать не только без колебаний отдала бы свою жизнь за бабушку, но испытала бы страшные мучения, если бы ей помешали это сделать. Тем не менее, оглядываясь назад, я не могу представить, как она говорит: «Да я за свою мать жизнь отдам». Столь же молчаливым в своей любви к Франции был Робер, и в этот момент я находил в нем намного больше черт, свойственных Сен-Лу (насколько я мог представить себе его отца), нежели Германтам. От выражения подобных чувств его ограждало, если можно так выразиться, в некотором отношении моральное качество его ума. Умные и подлинно серьезные труженики испытывают отвращение к тем, кто пустословит о своих поступках и набивает им цену. Мы не учились вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но независимо друг от друга посещали лекции преподавателей, которые (и я вспоминаю улыбку Сен-Лу), написав замечательный курс, чтобы уподобиться другим и прослыть гениями, давали своим теориям амбициозные названия. Робер смеялся от души, когда мы об этом вспоминали. Конечно, мы не оказывали

инстинктивного предпочтения Котарам и Бришо, но в конечном счете исполнились уважения к людям, которые приобрели глубокие познания в греческом или медицине и не считали себя вправе опускаться до шарлатанства. Я уже говорил, что если все действия мамы подразумевали готовность отдать жизнь за бабушку, то себе самой она никогда не выражала этого чувства словами, и в любом случае сочла бы, что рассказывать о нем другим не только бесполезно и смешно, но даже возмутительно и позорно; столь же сложно мне вообразить Сен-Лу разглагольствующим о своем обмундировании, о поездках, которые ему надлежало совершить, о наших шансах на победу, о невысокой ценности русской армии, о предстоящих действиях Англии; мне трудно представить его произносящим те же красноречивые фразы, что были обращены каким-нибудь замечательным министром к воодушевленным депутатам, голосующим стоя. Нельзя сказать, однако, что в этом сугубо отрицательном свойстве, пресекавшем выражение лучших чувств, не проявилось «духа Германтов», действие которого мы много раз наблюдали на примере Свана. И если я находил в нем черты, присущие Сен-Лу, он оставался также Германтом, и среди многочисленных причин, воспалявших его смелость, были особые, отличавшие его от донсьерских приятелей, влюбленных в свое ремесло юношей, с которыми я когда-то каждый вечер встречался за ужином, — из них многие встретили свою смерть, увлекая за собой солдат в битве на Марне⁵³ и в других боях.

Молодые социалисты, — их можно было найти и в Донсьере во времена моих приездов, но с ними я не свел знакомства, потому что они не были представлены в окружении Сен-Лу, — теперь смогли удостовериться, что офицеры этой среды вовсе не были высокомерными гордецами и низменными сластолюбцами, которых «популо», офицеры, выслужившиеся из рядовых, франкмасоны, прозвали «аристо». И напротив: офицеры «из благородных» смогли в полной мере обнаружить тот же патриотизм у социалистов, которых в разгар дела Дрейфуса, когда я приезжал в Донсьер, они называли «безродными». Искренний и глубокий патриотизм военных застыл в четко определенной форме, которую они считали неприкосновенной, и нападки на нее их возмущали, тогда как патриоты в некотором смысле стихийные, независимые, без определенной патриотической религии, как то радикал-социалисты, не могли понять, какая глубокая реальность заключена в том, что казалось им пустыми и злобными фразами.

Вероятно, как и они, Сен-Лу вынашивал в своем уме, словно самую значимую часть своего существа, наиболее успешные со стратегической и тактической точки зрения маневры, изучал их и разрабатывал, и для него, как и для них, жизнь собственного тела стала чем-то относительно маловажным, — он легко мог пожертвовать ею ради этой внутренней части, их подлинного жизненного ядра, для которого личное их существование служило лишь защитным эпидермисом. В храбрости Сен-Лу можно было увидеть

и более личные черты — в ней легко было признать его великодушие, поначалу внесшее столько очарования в нашу дружбу, а также наследственный порок, позднее пробудившийся в нем; на том интеллектуальном уровне, на котором Робер застрял, порок не только сделал его почитателем храбрости — из отвращения к неженкам Робер переживал некое опьянение, когда слышал о примерах мужества. В жизни под открытым небом с сенегальцами, поминутно жертвовавшими собой, он — по-видимому, целомудренно — находил какое-то головное сладострастие, в котором немало было от презрения к «утонченным музицирующим господам»; столь далекое от того, чем ему представлялось, оно не многим отличалось от кокаина, которым он злоупотреблял в Тансонвиле, и этот героизм — так одно лекарство заменяют другим — приносил ему исцеление. Прежде всего, в его храбрости следовало видеть двойственную привычку учтивых людей: с одной стороны восхвалять других, а в отношении себя довольствоваться надлежащими поступками, ничего о них не говоря, — в отличие от какого-нибудь Блока, который заявил при нашей встрече Сен-Лу: «Естественно, вы драпанете», однако сам не делал ничего; а с другой — ни во что не ставил то, что ему принадлежит, свое богатство, свое положение, даже свою жизнь, и жертвовать ими. Одним словом, это было подлинное природное благородство. Но что только не смешалось в его героизме — там сыграли роль и недавно возникшая склонность, и так и не преодоленная им интеллектуальная посредственность. Вместе с привычками

г-на де Шарлю Робер унаследовал от него, хотя и в другой форме, его идеал мужества.

«Надолго ли мы теперь?» — спросил я Сен-Лу. — «Нет, я считаю, что война кончится быстро», — ответил он. Но его аргументы, как всегда, носили книжный характер. «Не забывая о предсказаниях Мольтке,⁵⁴ перечитай также, — сказал он, как если бы я уже его читал, — приказ от 28-го октября 1913-го года на управление крупными частями; ты увидишь, что замена мирных резервов не только не организована, но даже не предусмотрена; подобных упущений никто бы не допустил, если бы войне предстояло затянуться надолго». Я же подумал, что упомянутый приказ свидетельствует не о краткосрочности войны, но о недалекости тех, кто его составлял, как относительно самого факта войны, так и относительно ее характера, — они не подозревали, что позиционные сражения окажутся прожорливыми потребителями всякого рода материалов, а различные театры боевых действий будут сильно зависеть друг от друга.

С гомосексуальностью, в людях, более всего чуждых ей по природе, нередко уживается некий банальный идеал мужества, и если гомосексуалист человек заурядный, этот идеал отразится на его склонностях, — хотя гомосексуалист в конечном счете их извратит. Этот идеал, у некоторых военных, дипломатов, особенно отвратителен. В самом примитивном своем виде это лишь неотесанность добряка, который желает скрыть волнение при расставании с другом,

— последнего, быть может, скоро убьют, — и, в душе желая разрыдаться, хотя никто об этом не догадывается, поскольку с виду он всё больше сердится, в момент разлуки в конце концов взрывается: «Ну же, черт подери! Дурацкий ты идиот, обними меня наконец, и возьми с собой этот кошелек, он мне не нужен, кретин ты этакий». Дипломат, чиновник, муж, считающий ценным только большой государственный труд, пусть и питающий слабость к «мальшу», который вернулся из миссии или батальона и умрет вскоре от горячки или пули, выражает эту склонность в более хитрой и затейливой форме, но по существу столь же отвратительной. Он не станет оплакивать «мальша», ему известно, что вскоре он забудет его, как сердобольный хирург свою заразную пациентку, умершую накануне: хотя хирург печалует, конечно, но виду не показывает. Если наш дипломат еще и писатель, то повествуя об этой смерти о своем горе он не расскажет; во-первых, из «мужской сдержанности», во-вторых, в силу артистической искушенности, чтобы выразить эмоцию, утаивая ее. С сослуживцем они дежурят у постели умирающего. У них и в мыслях нет говорить о своей беде. Болтают о текущих делах миссии или батальона, и даже более обстоятельно, чем обычно.

«Б*** сказал мне: “Не забудьте про завтрашний генеральный смотр; постарайтесь, чтобы ваши солдаты были в порядке”. Всегда такой приветливый, он сегодня был намного суше, и я заметил, что он старается не смотреть на меня. Сам я тоже нервничал».

Читатель понимает, что сухость в голосе — это горе людей, которые не выставляют его напоказ; всё это было бы только смешно, если бы не этот отвратительный и безобразный метод страдания людей, которые не принимают страдания в расчет, для которых жизнь посерьезнее разлук и т. п.; так что описывая смерть они лгут и уничижаются, как торговец глазированными каштанами, который под новый год, нагло зубоскаля, бубнит всем подряд: «с новым счастливым годом». Закончим рассказ об офицере или дипломате, бодрствующих у одра: умирающего переносят на чистый воздух, их головы покрыты, в какой-то момент становится ясно, что всё кончено:

«Я подумал: нужно вернуться приготовить вещи для чистки, но по неизвестной причине, в ту минуту, когда доктор отпустил пульс, Б*** и я, не сговариваясь, — а солнце было в зените, может быть, нам стало жарко, — стоя над носилками, сняли наши кепи».

Читатель понимает, что не из-за палящего солнца, но взволнованные таинством смерти, два стойких мужа, не знающие слов нежности и грусти, обнажили свои головы.

Гомосексуальный идеал мужественности Сен-Лу, хотя он был другого свойства, был столь же банален и лжив. Лжив, потому что они не усматривают в основе своих чувствований, которым приписывают иное происхождение, физического желания. Г-н де Шарлю ненавидел изнеженность. Сен-Лу восхищался смелостью молодых

людей, опьянением кавалерийских атак, нравственным и интеллектуальным благородством абсолютно чистой дружбы двух мужчин, когда один жертвует своей жизнью ради другого. Война, во время которой в столицах остаются только женщины, это не только отчаяние гомосексуалистов, это страстный гомосексуальный роман, если у них хватает ума на измышление химер, но недостаточно для того, чтобы суметь их разгадать, раскрыть их происхождение, понять себя. Поэтому в те дни, когда юноши из спортивного подражательного духа, как в год повального увлечения «чертиком», уходили на фронт добровольцами, война для Сен-Лу начала обретать всё более идеальные черты, которые он преследовал в своих мечтах и желаниях, намного более конкретных, но затуманенных идеологией, — и этот идеал сервировался ему вкуче с мужчинами в его вкусе в исключительно мужском рыцарском ордене, вдали от женщин, там, где он мог рисковать жизнью, спасая своего ординарца, и умереть, внушая фанатическую любовь своим солдатам. Помимо того, что бы ни таилось в его смелости, тот факт, что он был знатным барином, постоянно проявлялся в виде неузнаваемых и идеализированных представлений г-на де Шарлю, по мысли которого главное в мужчине — чтобы в нем не было ничего женоподобного. Впрочем, подобно тому, как в философии и искусстве две аналогичные идеи интересуют нас только формой, в которой они развернуты, и могут существенно различаться в зависимости от изложения их Ксенофонтом или Платоном, прекрасно понимая, сколь они друг на друга

похожи, я бесконечно больше восхищался Сен-Лу, требующим назначения на самые опасные позиции, нежели г-ном де Шарлю, презирающим светлые галстуки.

Я рассказал Сен-Лу о своем приятеле, директоре бальбекского Гранд-Отеля; по его утверждениям в начале войны, как он выражался, в некоторых французских частях имелись «дезертизмы», в подстрекательстве же к ним был повинен «пруссский милитарист»; в определенный момент он даже уверовал в синхронный десант в Ривбеле немцев, японцев и казаков,⁵⁵ а это было опасно для Бальбека, и ему оставалось только, по его словам, «пролинить».

Общественные же власти, как он считал, слишком рано переехали в Бордо; напрасно, возглашал он, они так быстро «пролиняли». Этот германофоб со смехом рассказывал о своем брате: «Он в траншеях, в двадцати пяти метрах от бошей!» — пока власти не вспомнили, что он тоже бош, и не отправили его в концентрационный лагерь.

«Кстати о Бальбеке, ты помнишь лифтера?» — спросил Сен-Лу на прощание, словно бы не очень хорошо представляя, о ком речь, и рассчитывая на мою помощь в прояснении вопроса. «Он пошел на фронт и прислал мне просьбу похлопотать, чтобы его “вернули” в авиацию». Вероятно, лифт утомил его подъемами по запертой клетке, и высоты лестниц Гранд-Отеля ему уже не хватало. Он собирался «двинуть галуны» не по линии консьержа, потому что наша судьба — это не всегда то, что мы мыслим. «Я обязательно поддержу его просьбу, — сказал мне Сен-Лу. — Я еще

сегодня утром говорил Жильберте: никогда у нас не будет достаточно авиации. А так мы всегда заметим, что готовит противник. Авиация лишила бы его самого решительного преимущества при наступлении, преимущества неожиданности: чем лучше будут глаза у армии, тем лучше будет армия».

Несколько дней назад я встречался с этим летчиком-лифтером. Он рассказывал мне о Бальбеке, а мне было любопытно узнать, что он скажет о Сен-Лу, и я навел на него разговор, и спросил, правда ли, что, как я слышал, у г-на де Шарлю в отношении молодых людей и т. д. Лифтер выразил удивление, он ничего об этом не знал. Зато он обвинял богатого молодого человека, который жил с любовницей и тремя друзьями. Поскольку он, похоже, был склонен всё валить в одну кучу, а я знал от г-на де Шарлю, который говорил мне и Бришо, как мы помним, что здесь ничего такого не было, я сказал лифтеру, что он, скорее всего, заблуждается. Но тот уверенно развеял мои сомнения. Подружке богатого молодого человека как раз и поручили подыскивать молодых людей, а развлекались они вместе. Так что г-н де Шарлю, более всех сведущий о людях в этом отношении, в данном случае ошибался, ибо истина всегда частична, секретна и непредсказуема. Он боялся рассуждать как буржуа, увидеть «шарлизм» там, где его нет, и прошел мимо этого факта — совращения посредством женщины. «Она довольно часто ко мне заходила, — сказал лифтер. — Но она сразу увидела, что не на того напоролась, я отказывался наотрез, я на такие штучки несогласный; я ей

говорил, что мне эти дела не нравятся определенно. Стоит кому проболтаться, а такое бывало уже много раз, и больше места себе никогда не найдешь». Эти последние соображения ослабляли исходные добродетельные тирады, поскольку предполагали, что лифтер уступил бы, если бы ему обещали соблюдение тайны. Безусловно, это имело место в случае Сен-Лу. Впрочем, похоже, что и богатый молодой человек, его любовница и друзья были очастливлены в неменьшей степени, потому что лифтер много раз вспоминал о своих разговорах с ними в разные времена, что вряд ли могло иметь место при таком категорическом отказе. Так, например, любовница богача заходила к нему, чтобы свести знакомство с лакеем, с которым тот был в большой дружбе. «Вы его, кажется, не знаете, вас тогда не было. Виктором его звали. Естественно, — добавил лифтер с таким видом, будто ссылался на нерушимые законы, известные повсеместно, — сложно отказать товарищу, который не богат». Мне вспомнилось приглашение от благородного товарища юного богача, переданное мне за несколько дней до моего отъезда из Бальбека. Но тут, конечно, не было никакой связи, и оно было продиктовано исключительно любезностью.⁵⁶

«Кстати, добилась ли Франсуаза увольнения племянника?»

Однако Франсуаза, которая потратила немало времени и сил для того, чтобы добиться освобождения племянника от призыва, и, когда ей предлагали, через Германтов, рекомендацию к генералу де Сен-Жозефу, с отчаянием

ответствовала: «Что вы! к чему это? Чем нам этот старичок поможет, он же патриотичен, и в том-то вся и беда...»; — Франсуаза, коль скоро речь зашла о войне, какую бы горечь ни пробуждала она в ней, сочла, что нельзя бросать «бедных русских», раз уж мы «осоюзились». Дворецкий был убежден, что война продлится не больше десяти дней и закончится безоговорочной победой Франции, и не осмелился бы, чтобы его не опровергли события, да у него и не хватило бы на то воображения, предрекать войну длительную, с неопределенным исходом. Но даже из этой безоговорочной и немедленной победы он заранее хотел выудить всё, что причинило бы страдания Франсуазе. «Да, кровушки теперь прольется! А то многовато развелось слабаков у нас в строю, нытиков шестнадцати лет». Говорить ей что-либо неприятное, чтобы ее «задеть», называлось у него «пульнуть косточку, поставить закорючку, загнуть словцо». — «Шестнадцати лет, Пресвятая Дева! — воскликнула Франсуаза и с некоторой недоверчивостью добавила: — Говорят однако, что берут только после двадцати, а пока они дети». — «Естественно, Франсуаза, в газетах приказ такого не писать. Да, немногие вернутся с передовых из всей этой детворы... С одной стороны, хорошее кровопускание пойдет на пользу, это полезно время от времени и развивает торговлю. Да, к собачьим чертям, бывают парни слишком нежные, слишком нерешительные, их сразу постреляют, двенадцать пуль под шкуру: бац! с одной стороны, это необходимо. Ну а офицеры, им-то что, они получают свои песеты, а им того

и надо». Франсуаза так бледнела от этих разговоров, что мы боялись, как бы дворецкий не довел ее до инфаркта и она не умерла.

Впрочем, она укоренилась в своих пороках. Если в гости ко мне заходила девушка, и я отлучался на минуту из комнаты, то эту престарелую служанку, с больными ее ногами, я видел наверху стремянки, в гардеробе — она была занята, как она говорила, поисками каких-то моих пальто, чтобы посмотреть, не съела ли их моль; на деле же она подслушивала. Она по-прежнему расспрашивала меня, несмотря на мою критику, прибегая ко всяким экивокам, например, излюбленному ею оборотцу «потому что конечно». Не осмеливаясь меня спросить: «Есть ли у этой дамы свой дворец?» — она говорила, подняв глаза робко, как добрая дворняга: «Потому что конечно мадам проживает в особняках...» — избегая прямого вопроса не столько из учтивости, сколько из желания скрыть свое любопытство.

Затем, поскольку любимые слуги, — в особенности если теперь они почти не оказывают нам услуг и не проявляют почтения, приличного своему сословию, — остаются, увы, слугами, и лишь решительнее подчеркивают границы своей касты (которые мы хотели б стереть) по мере того как склоняются к точке зрения, что уже перешли в нашу, Франсуаза частенько обращала ко мне («чтобы меня поддеть», — как сказал бы дворецкий) странные речи, которые никто на свете кроме нее не произнес бы:

со скрытой, но глубокой радостью, словно то было серьезной болезнью, если мне было жарко, и пот, хотя я этого не заметил, проступил на лице, она говорила: «Да вы ж вспотели!» — словно причиной был странный феномен; она улыбалась с легким презрением, как если бы речь шла о чем-то неприличном («вы уходите, но забыли повязать галстук»), но голос ее был взволнован, поскольку ему надлежало вызвать у меня тревогу о состоянии моего здоровья. Можно подумать, что в этом мире потел только я. К тому же, она забыла свою прекрасную речь. Преклоняясь перед бесконечно уступавшими ей существами, она переняла их гнусные выражения. Ее дочь, жалуюсь мне на нее, как-то сказала (я не знаю, где она этого набралась): «Она всегда что-то скажет — то я дверь не закрыла, то еще бла-блабла»; Франсуаза сочла, вероятно, что лишь по недостатку образования она до сих пор не была знакома с этим прекрасным словоупотреблением. И из ее уст, в которых когда-то цвел чистейший французский, я слышал по многу раз на дню: «и бла-бла, и бла-бла». Любопытно, впрочем, сколь мало варьируются не только выражения, но даже мысли одного человека. Дворецкий любил возглашать, что у г-на Пуанкаре намерения скверные, не из-за денег, но потому что он непременно хочет войны, и повторял эти слова по семь раз на дню перед всё столь же заинтересованной аудиторией. Ни единого слова не было изменено, ни единого жеста, ни единой интонации. Длилось это не больше двух минут, но было неизменно, как представление. Его ошибки во французском языке

испортили речь Франсуазы не меньше, чем ошибки ее дочери. По его версии, некогда г-н де Ранбуто был страшно обижен, узнав, что герцог де Германт называет общественные *писсары* «ранбутосскими пассатами». ⁵⁷ Вероятно, в детстве он не расслышал «у» и так это слово запомнил. Итак, он произносил это слово неправильно, но постоянно. Франсуаза, смущенная поначалу, в конце концов стала отвечать ему тем же, сетуя, что нету примерно такого рода приспособлений для женщин. В своем смирении и восхищении перед фигурой дворецкого она никогда не произносила «писсуары», но — с легкой уступкой обычаю — «писсары».

Она теперь не спала, не обедала, только слушала, как дворецкий читает сводки, в которых она ничего не понимала, — он в них понимал не больше, но поскольку его патриотическая гордость временами пересиливала желание помучить Франсуазу, говорил с благодушным смешком, подразумевая немцев: «Дела теперь пошли горячие, старикан Жоффер сейчас им покажет...» Франсуаза не очень хорошо понимала, что он им покажет, но чувствовала, что эта фраза — выходка любезная и оригинальная, и особа благовоспитанная должна воспринимать ее с улыбкой, по-городскому, и, пожимая весело плечами, словно говоря: «Вечно он так», останавливала слезы улыбкой. По крайней мере, она была счастлива, что ее новый юный мясник, довольно боязливый, несмотря на свою профессию (начинал он, тем не менее, на скотобойне), еще не подпадал

под призыв. Иначе, чтобы добиться его увольнения, она дошла бы до военного министра.

У дворецкого в мыслях не было, что новости отнюдь не хороши, что сообщение «Мы отбили и нанесли тяжелый урон врагу» не означает, что мы движемся к Берлину, и он праздновал эти битвы, как новые победы. Меня, однако, пугала скорость, с которой театр этих побед приближается к Парижу, и тем сильнее я был удивлен, что дворецкий, узнав из сводки, что бой был недалеко от Ланса, не выразил обеспокоенности, прочитав в газете на следующий день, что в итоге, к нашей выгоде, военные действия переместились к Жюи-ле-Виконту, в хорошо укрепленный район. Дворецкий прекрасно знал, где находится Жюи-ле-Виконт — не так уж далеко от Комбре. Но читатели газет, как влюбленные, слепы. Никому не нужны факты. Они тешат свой слух сладкими редакторскими речами, как словами любовницы. Терпят поражение и рады, потому что побежденными себя не считают — они считают себя победителями.

Впрочем, в Париже я пробыл недолго и довольно скоро вернулся в клинику. Хотя лечение, в целом, заключалось в изоляции, мне передали, в разное время, письмо от Жильберты и письмо от Робера. Жильберта писала мне (приблизительно в сентябре 1914-го года), что вопреки своему желанию оставаться в Париже, чтобы быстрее получать вести от Робера, постоянные налеты «таубов»⁵⁸ нагнали на нее такого страха, особенно за маленькую дочку,

что на одном из последних поездов она сбежала в Комбре, однако и тот не дошел до пункта назначения, и в Тансонвиль, «пережив ужасный день», она добиралась на двуколке какого-то крестьянина.

«А теперь представьте, что ожидало вашу старую подругу, — писала далее Жильберта. — Я сбежала из Парижа, чтобы укрыться от немецкой авиации, мне казалось, что в Тансонвиле я буду в полной безопасности. Но не прошло и двух дней, и вдруг — вообразите себе такое, — разбив наши войска около Ла-Фера, немцы захватили весь район, к воротам Тансонвиля явился немецкий полк вместе с их штабом, я была вынуждена их разместить, и никакой возможности уехать не осталось — не было больше никаких поездов, вообще ничего».

Действительно ли немецкие штабные были столь благовоспитанны, или письмо Жильберты свидетельствовало о ее заражении духом Германтов, по истокам своим баварцев, находившихся в родстве с древнейшей немецкой аристократией, но она твердила о прекрасном поведении офицеров и даже солдат, которые попросили у нее «только позволения сорвать пару незабудок, растущих у пруда», — эту благовоспитанность она противопоставляла разнузданному буйству французских дезертиров, которые прошли через ее имение незадолго до прибытия немецких генералов, громя всё на своем пути. Во всяком случае, если письмо Жильберты в какой-то мере отражало дух Германтов, — другие его

детали говорили о еврейском интернационализме, что было, однако, как увидим ниже, вовсе не так, — письмо от Робера, полученное мной примерно месяцем позже, по духу принадлежало скорее Сен-Лу, нежели Германтам; в нем отразилась, помимо прочего, приобретенная им либеральная культура, и в целом оно было мне довольно близко. К несчастью, он ничего не говорил о стратегии, как во времена наших донсьерских бесед, и не сообщал, в какой мере, по его оценкам, война подтвердила или опровергла его теории того времени.

Он только писал, что на протяжении 1914-го года состоялось несколько войн, и уроки каждой из них определяли ведение следующих. Так, в частности, теория «прорыва» была дополнена новыми положениями, согласно которым перед наступлением надлежит полностью разворотить артиллерией занятую противником местность. Но затем пришлось сделать вывод, что напротив, земля, изрытая тысячами воронок, создает неодолимое препятствие для продвижения инфантерии и артиллерии. «Даже война, — писал он мне, — не ушла от законов старика Гегеля. Она пребывает в вечном становлении».

Это было не совсем то, что мне хотелось бы знать. Но больше всего меня расстраивало, что он не имел права называть в переписке имена генералов. Впрочем, из скурых газетных сообщений я мог для себя уяснить, что руководят войной отнюдь не те военачальники, о которых в Донсьере я постоянно расспрашивал — кто из них принесет

наибольшую пользу во время войны. Жеслен де Бургонь, Галифе, Негрие были мертвы. По ушел с военной службы почти в начале войны. О Жоффре, Фоше, Кастиельно, Петене⁵⁹ мы никогда не говорили.

«Дорогой друг, — писал мне Робер, — я согласен, что такие выражения, как “они не пройдут” или “мы их сделаем” неприятны, они давно уже набили оскомину, как “пуалю” и прочее; вероятно, эпоса такими словами не напишешь: они ничем не лучше грамматических ошибок и дурного вкуса; в них есть что-то противоречивое и дурное, и аффектация, и вульгарная претензия; мы вольны презирать их в той же мере, что и людей, которым кажется более остроумным говорить “коко”, а не “кокаин”. Но если бы ты их видел — особенно простолюдинов, рабочих, лавочников, и не подозревающих, какие они герои, — наверное, они так и закончили бы дни дома, об этом не помышляя, — если бы ты видел, как они бегут под пулями, чтобы спасти товарища, выносят раненного командира или, умирая от тяжелых ранений, улыбаются за секунду до смерти, потому что врач им сказал, что траншею у немцев отбили; — уверяю тебя, друг мой, здесь можно лучше понять французов и представить те далекие исторические эпохи, которые казались нам в школьные годы несколько необычными.

Этот эпос настолько прекрасен, что ты пришел бы к выводу, как и я, что не в словах дело. Роден и Майоль теперь могут создать шедевр из страшной и неузнаваемой материи. Когда

я прикоснулся к этому величию, я перестал вкладывать в “пуалю” тот же смысл, что и поначалу, я ничего забавного здесь не вижу, никакой отсылки, — как, например, в слове “шуаны”. И я думаю, что словом “пуалю” уже могут воспользоваться большие поэты, как словами “потоп”, “Христос” или “варвары”, исполненными величия задолго до того, как их употребили Гюго, Виньи и другие.

Я сказал, что здесь лучше всех — люди из народа, рабочие; однако здесь все герои. Бедняга Вогубер-младший, сын посла, получил семь ранений, и только восьмое было смертельным; если он возвращался из операции невредимым, то словно бы оправдывался, что он жив не по своей вине. Он был прекрасным человеком. Мы с ним крепко сдружились. Несчастным родителям позволили приехать на похороны с тем условием, что они не наденут траура и, из-за бомбежки, ограничат прощание пятью минутами. Мать — с этой короной, кажется, ты знаком, — может быть и страдала, но по ней нельзя было этого заметить. Но бедный отец был в ужасном горе. Я уже стал совершенно бесчувственен, я уже привык видеть, как голову товарища, только что беседовавшего со мной, внезапно разрезает мина, а то и вовсе отрывает от туловища, однако я тоже не смог сдержаться, увидав отчаяние бедного Вогубера — он был совершенно разбит. Генерал напрасно ему повторял, что его сын погиб за Францию смертью героя, — это только удвоило рыдания бедняги, он не мог оторваться от тела сына. Потом — это к тому, что пора привыкнуть к “они не пройдут”, — все эти люди, как мой бедный камердинер, как Вогубер,

остановили немцев. Ты, наверное, думаешь, что мы не сильно продвигаемся вперед, но не следует спешить с выводами — в душе армия уже чувствует свою победу. Так умиравший чувствует, что всё кончено. Теперь мы точно знаем, что победим, и это нужно нам для того, чтобы продиктовать справедливый мир; я не хочу сказать, что справедливый только для нас, — подлинно справедливый: справедливый для французов, справедливый для немцев».

Разумеется, умонастроения Робера из-за «нашествия» серьезных изменений не претерпели. Подобно недалеким героям и, на побывке, банальным поэтам, которые, говоря о войне, следуют не уровню событий, ничего в них не изменивших, но правилам своей банальной эстетики, и твердят, как десятком лет ранее, об «окровавленной заре», о «полете трепетном победы» и т. п., — так и Сен-Лу, что был умней и артистичней, остался верен себе, и со вкусом описывал пейзажи, увиденные им при «закреплении» на опушке болотистого леса, словно бы он любовался ими во время охоты на уток. Чтобы я лучше мог представить контраст света и сумрака, когда «рассвет был исполнен очарования», он припомнил наши любимые картины и не боялся сослаться на страницу Ромена Роллана и даже Ницше — с вольностью фронтовика, который, в отличие от тыловиков, лишен страха перед немецким именем, и даже с той долей кокетства в цитации врага, которую, например, когда-то обнаружил полковник дю Пати де Клам, выступая свидетелем по делу Золя и мимоходом продекламировав при Пьере Кийаре, яром дрейфусарском поэте, хотя он с ним

не был знаком, стихи из символистской драмы последнего — «Безрукой девушки». Если Сен-Лу писал о мелодии Шумана, то он упоминал лишь ее немецкое название, и он без обиняков говорил, что на заре, когда он услышал на этой опушке птичий щебет, он испытал опьянение, «словно бы ему пела птица из этого возвышенного *Siegfried*», что он надеется послушать оперу после войны.⁶⁰

Второй раз вернувшись в Париж, на следующий же день я получил еще одно письмо Жильберты — она, вероятно, забыла о первом, или, по крайней мере, о том, что она в нем писала, потому что задним числом ее отъезд из Парижа был представлен несколько иным образом.

«Наверное, вы и не знаете, дорогой друг, — писала она мне, — что скоро будет два года, как я в Тансонвиле. Я появилась здесь одновременно с немцами; все хотели удержать меня от поездки. Меня, наверное, сочли за дурочку. “Как, — говорили мне, — вы в безопасности в Париже и вы уезжаете в захваченные районы как раз в тот момент, когда все пытаются оттуда сбежать”. Я не отрицаю, что эти соображения не были лишены оснований. Но что поделаешь, одного у меня не отнять — я не трусиха, или, если хотите, к чему-то я глубоко привязана; и когда я узнала, что мой милый Тансонвиль в опасности, я не захотела, чтобы наш старикуправляющий в одиночку встал на его защиту. Я поняла, что мое место — там. К тому же, благодаря этому решению я смогла спасти не только замок, тогда как почти все соседние усадьбы, покинутые обезумевшими владельцами,

были разрушены, но и драгоценные коллекции, которыми так дорожил мой милый папа».

Одним словом, теперь Жильберта была убеждена, что она уехала в Тансонвиль не от немцев и не для того, чтобы укрыться в надежном месте, как она писала мне в 1914-м, но напротив, навстречу им, чтобы защитить от них свое имение. Впрочем, немцы не задерживались в Тансонвиле, но через ее поместье постоянно проходили намного более крупные соединения, нежели те, которые Франсуаза когда-то оплакивала на комбрейской дороге, и Жильберта вела, как она писала, на сей раз от чистого сердца, «фронттовую жизнь». Газеты отзывались о ее поведении с высшими похвалами, стоял вопрос о том, чтобы ее наградить. Конец ее письма был детально точен.

«Вы не представляете, что такое эта война, мой милый друг, и какую важность приобретает какая-нибудь дорога, мост, высота. Сколько я думала о вас, о том, как мы с вами гуляли по всем этим опустошенным ныне краям, о том, сколько очарования, благодаря вам, было в этих прогулках; думала во время жестоких боев за тот холм, ту дорогу, которые вы так любили, где мы так часто гуляли вместе! Вероятно, как и я, вы не подозревали, что темный Руссенвиль и скучный Мезеглиз, откуда нам приносили почту, куда посылали за доктором, когда вы болели, когда-нибудь станут знаменитыми местами. Так вот, мой дорогой друг, теперь они обладают тем же правом на славу, что Аустерлиц или Вальми. Битва за Мезеглиз длилась больше восьми месяцев,

немцы потеряли свыше шестисот тысяч человек, они разрушили Мезеглиз, но они его не взяли. Ваша любимая дорожка, которую мы прозвали “тропкой к боярышнику”, на которой, по вашим словам, вы в детстве почувствовали ко мне любовь, когда, поверьте мне, влюблена в вас была и я, — не могу подобрать слов, чтобы сказать, какую важность она приобрела. Бескрайнее пшеничное поле, на которое она выходила, — это та знаменитая отметка 307, которую вы, вероятно, часто встречали в сводках. Французы взорвали мостик через Вивону, который, по вашим словам, не пробуждал в вас живых воспоминаний, немцы навели другие, полтора года они удерживали одну часть Комбре, а французы другую...»⁶¹

Через день после того, как я получил это письмо, то есть за два дня до прогулки в темноте и шума шагов в тянучке воспоминаний, с фронта приехал Сен-Лу; он тотчас был должен вернуться, и потому зашел ко мне ненадолго; о нем доложили, и уже это привело меня в сильное возбуждение. Франсуаза хотела было от него потребовать, чтобы он помог ей освободить от службы робкого мальчика-мясника, который через год подпадал под призыв. Но она сама передумала, сочтя свои хлопоты тщетными, потому что робкий убийца животных давно уже сменил мясную лавку. И то ли в нашей лавке боялись потерять клиентуру, то ли мясники были чистосердечны, но Франсуазе ответили, что им неизвестно, где он теперь служит, и что вообще хорошим мясником не стать ему никогда. Франсуаза ринулась на поиски. Но Париж велик, мясные лавки

бесчисленны, она напрасно обегала многие из них, она так и не нашла робкого и кровавого юношу.

Он вошел в комнату, я сделал несколько шагов навстречу, испытывая ту робость, то сверхъестественное чувство, что внушают нам эти отпускники, которые мы переживаем, когда вместе с другими гостями нужно принять смертельного больного, способного еще, тем не менее, вставать, одеваться, выходить на прогулку. Казалось (в особенности поначалу, ибо у тех, кто в отличие от меня жил в Париже, выработалась привычка, которая отсекает в том, что мы видели много раз, корень глубокого впечатления и мысли, раскрывающей их подлинное значение), есть что-то жестокое в этих солдатских отпусках. Первое время мы думаем: «Они не захотят вернуться, они дезертируют». И правда, они ведь не просто прибывают из мест, которые представляются нам ирреальными, потому что мы слышали о них только из газет, не будучи в силах вообразить, что кто-то участвует в этих титанических боях и возвращается с обыкновенной контузией плеча; они оказались среди нас на мгновение, придя с побережий смерти, и вот-вот туда вернуться; они непостижимы для нас, и нас переполняет нежность, ужас и чувство таинства, словно бы это были вызванные медиумом души умерших; мертвецы явились на мгновение, и мы ни о чем не осмеливаемся их спрашивать; впрочем, самое большее, они нам ответят: «Вы этого представить не сможете». Удивительно, но единственное следствие прикосновения к тайне, если оно вообще возможно, — соприкосновения

со всеми ускользнувшими из боев, отпускниками, живыми или мертвыми, загипнотизированными или вызванными медиумом, — это незначимость слов. Я приблизился к Роберу, лоб которого, к тому же, теперь был разрезан шрамом, более величественным и загадочным для меня, чем отпечаток, оставленный на земле ногой великана. Я ни о чем не осмелился его расспрашивать, а он говорил мне только о простых вещах. И еще эта беседа не сильно отличалась от довоенных разговоров, как будто люди, вопреки войне, остались прежними; не изменился и тон, изменилась только тема.

Я понял, что в войсках Робер изыскал средство постепенно забыть, что Морель вел себя с ним не менее дурно, чем с его дядей. Однако он сохранил к нему сильное дружеское чувство, и его внезапно охватило желание снова с ним повидаться, хотя бы не сейчас, а потом. Я счел, что проявлю больше такта по отношению к Жильберте, если не подскажу Роберу, что достаточно посетить г-жу Вердюрен, чтобы найти Мореля.

Я робко сказал Роберу, что в Париже война почти не чувствуется. Но он ответил, что даже здесь она иногда «просто потрясает». Он привел в пример вчерашний налет цепелинов, и спросил меня, довелось ли мне его видеть, — подобным образом он когда-то расспрашивал о спектаклях, представлявших большой эстетический интерес. Еще на фронте можно понять, что есть какой-то шик во фразах: «Это прелестно, какая роза, какая бледная зелень!» —

произнесенных в тот момент, когда тебя может настичь смерть; однако в Париже это было не очень уместно, по крайней мере, в разговоре о незначительном налете, хотя, при наблюдении с нашего балкона, этот налет обернулся внезапным празднеством в ночной тиши, со взрывами защитных ракет, переключками горнов, звучавших не для парада и т. п. Я рассказал Сен-Лу, как красивы самолеты, взлетающие ночью. «Наверное, еще прекрасней те, что заходят на посадку, — ответил он. — Соглашусь с тобой, что взлетают они замечательно — как будто это новое созвездие; ведь они повинуются законам столь же точным, как законы движения небесных светил. Тебе это кажется спектаклем, а на самом деле это сбор эскадрилий, они выполняют приказ и выходят на преследование противника. Но разве не более восхитительна та минута, когда они уже полностью слиты с ночным небом, а лишь некоторые из них выскакивают, ложатся на след врага или возвращаются после сигнала отбоя, когда они входят в “мертвую петлю” и даже звезды покидают свои места? и эти сирены — не правда ли, в них есть что-то вагнерианское? Впрочем, это вполне подходящее приветствие для немцев, словно по случаю прибытия кронпринца и принцесс, занявших места в императорской ложе, мы должны исполнить национальный гимн, *Wacht am Rhein*.⁶² Уместно поставить вопрос — это взлетают авиаторы или же, скорее, валькирии?» Похоже, ему доставило удовольствие уподобление авиаторов валькириям, но это он объяснял

исключительно музыкальными причинами: «Боже мой, да ведь эта музыка сирен прямо из “Полета Валькирий”! Пришлось дожидаться немецких налетов, чтобы послушать Вагнера в Париже».

Впрочем, с определенной точки зрения это сравнение было небезосновательным. С нашего балкона город предстал угрюмым, черным и бесформенным чудищем, неожиданно выползшим из бездны ночи к свету и небесам; авиаторы, один за другим, устремлялись на душераздирающий зов сирен, в то время как медленнее и коварней, тревожнее, чувствуя что-то невидимое еще и, может быть, почти достигшее своей цели, — неустанно суетились прожектора, нацупывая врага, охватывая его своими лучами, пока направленные ими самолеты не бросались в травлю, чтобы его уничтожить. И, эскадрилья за эскадрильей, авиаторы улетали из города, перемещенного в небеса, словно валькирии. Однако клочки земли, этажи зданий, были освещены, и я сказал Сен-Лу, что окажись он накануне дома, и он бы мог, наблюдая небесное светопреставление, увидеть на земле (как в «Погребении графа Оргаса» Эль Греко, где оба этих плана параллельны) подлинный водевиль, разыгранный персонажами в ночных рубашках; каждый, по значимости своего имени, заслуживал упоминания в светской хронике какого-нибудь последователя Феррари,⁶³ чьи сообщения когда-то так нас забавляли, что для забавы мы их придумывали сами. Подобным образом мы развлекались в тот день, пусть и по «военному» поводу — по случаю налета цеппелинов,

но словно бы никакой войны не было: «Среди присутствующих: очаровательная герцогиня де Германт в ночной рубашке, неподражаемый герцог де Германт в розовой пижаме и купальном халате и прочие».

«Я не сомневаюсь, — сказал он мне, — что по коридором каждого крупного отеля носились американские еврейки в неглиже, прижимая к потрепанным грудям свои жемчужные колье, благодаря которым они рассчитывают выйти замуж за какого-нибудь разорившегося графа. Наверное, отель Риц такими вечерами напоминает Дом свободной торговли».

Следует отметить, что если война не способствовала развитию ума Сен-Лу, то этот ум, пройдя эволюцию, в которой наследственность сыграла не последнюю роль, приобрел несвойственный ему прежде лоск. Какая даль отделяла теперь любимца шикарных женщин или только пытавшегося казаться им юного блондина — и говоруна, доктринера, который безостановочно сыпал словами! в другом поколении, на другом ответвлении их рода, подобно актеру, взявшемуся за роль, уже сыгранную Брессаном или Делоне, он словно бы выступал продолжателем — розовым, белокурым и золотистым, тогда как оригинал был двухцветен: угольно черен и ослепительно бел — г-на де Шарлю. Сколько бы он ни спорил с дядей о войне, а Сен-Лу принадлежал к аристократической фракции, для которой Франция была превыше всего, тогда как г-н де Шарлю, в сущности, был пораженцем, — тем, кто не видал «творца роли», Робер

демонстрировал, чего можно добиться в амплуа резонера. «Кажется, Гинденбург — это открытие», — сказал я ему. «Старое открытие, — метко возразил он, — или будущая революция. Вместо того, чтобы нянчиться с врагом и черногорить Францию, надо не мешать Манжену, разбить Австрию и Германию и европеизировать Турцию». — «Но нам помогут Соединенные Штаты», — ответил я. — «Пока что я вижу только спектакль разъединенных государств. Почему бы не пойти на большие уступки перед Италией, если нам угрожает дехристианизация Франции?» — «Слышал бы тебя твой дядя де Шарлю! — сказал я. — в сущности, тебя бы не сильно огорчили оскорбления, которыми осыпают папу, и его отчаяние при мыслях о дурных следствиях для трона Франца Иосифа. Говорят, впрочем, что всё это в традициях Талейрана и Венского конгресса». — «Эпоха Венского конгресса истекла, — возразил он мне, — секретной дипломатии пора противопоставить дипломатию конкретную. В сущности, мой дядя — закоснелый монархист, он проглотит и карпов, как г-жа де Моле, и скатов, как Артур Мейер, лишь бы карпы и скаты были по-шамборски. Из ненависти к триколору он готов встать под тряпку красного колпака, которую простодушно примет за белый стяг».⁶⁴ Разумеется, всё это было только словесами Сен-Лу, и в помине не обладавшего той подчас глубокой оригинальностью своего дяди. Но Сен-Лу по характеру был столь же очарователен и любезен, сколь барон — подозрителен и ревнив. Робер так и остался обворожительным и розовым,

осененным шапкой рыжеватых волос, каким он был еще в Бальбеке. Дядя уступал ему только в приверженности духу Сен-Жерменского предместья, отпечаток которого несут на себе даже те, кто, согласно собственным представлениям, совершенно от него свободен; это способствует уважению к ним творческих людей из неблагородных (чье подлинное цветение наблюдается только рядом с дворянской средой, хотя они платят за это столь несправедливыми революциями), но переполняет их дураковатым самодовольством. По этому смещению смирения и гордости, приобретенных причуд ума и врожденной власти, г-н де Шарлю и Сен-Лу, разными дорогами, обладая противоположными взглядами, с промежутком в одно поколение, стали умами, заживавшимися всякой новой идеей, и говорунами, которых ничто не в силах было остановить. Так что несколько заурядный человек мог бы счесть их, сообразно своей предрасположенности, либо ослепительными, либо занудными.

«Ты напоминаешь о наших донсьерских беседах», — сказал я ему. — «Да, это было прекрасное время! Какая пропасть нас от него отделяет. Вернутся ли эти дни —

Суждено ль им встать из бездн, запретных нам,
Как восходят солнца, скрывшись на ночь в струи,
Ликом освеженным вновь светить морям?»⁶⁵

«Но вспомним не только о том, какие славные то были беседы, — продолжил я. — я пытался проверить, насколько они были истинны. Эта война перевернула всё, и особенно, как ты уже говорил, само представление о войне; но опровергла ли она твои слова о наполеоновском типе баталий, который, согласно твоим предсказаниям, можно будет увидеть в войнах будущего?» — «Ни в коей мере! — ответил он. — Наполеоновские сражения повторяются всегда, тем более во время этой войны, в которой Гинденбург стал живым воплощением наполеоновского духа. Быстрые перемещения войск, уловки — например, когда он обрушивает удар соединенными силами на одного из своих противников, оставив только незначительное прикрытие перед другим (как Наполеон в 1814-м), либо глубоко продвигает диверсию, вынуждая противника удерживать силы на второстепенном фронте (уловка Гинденбурга у Варшавы, которая обманула русских, — они перевели туда все силы и были разбиты на Мазурском Поозерье), его отходные маневры, которые напоминают Аустерлиц, Арколь, Экмюль,⁶⁶ — всё это он унаследовал от Наполеона, и подобные примеры можно приводить бесконечно. Я только добавлю, что если ты, в мое отсутствие, будешь пытаться толковать события этой войны, не слишком полагайся на частную манеру Гинденбурга; в ней ты не обнаружишь смысла его действий, ключа к тому, что он готов сделать. Генерал похож на писателя, сочиняющего пьесу или книгу, сюжет которой, неожиданным прорывом в одном месте, тупиком в другом, вынуждает его полностью

отклонить первоначальный замысел. Так как диверсия должна проводиться только в пункте, представляющем самостоятельное значение, представь, что диверсия удалась вопреки ожиданиям, тогда как основная операция захлебнулась, — в этом случае диверсия станет операцией первостепенной важности. Я полагаю, что Гинденбург, как в свое время Наполеон, попытается разделить двух противников — англичан и нас».⁶⁷

Размышляя об этой встрече с Сен-Лу, я бродил по городу и, изрядно покружив, едва не вышел к мосту Инвалидов. Огней тогда, из-за гота, почти не зажигали; но засветили их рановато: потому что время (как батареи, которые топят, а затем отключают к определенной дате) «перевели» раньше срока, когда еще очень быстро наступала ночь, и «перевели» уже на всё теплое время года; — и в озаренном ночными огнями городском небе, не знакомом с нашими летними и зимними распорядками, не соблаговолившем уведомиться, что теперь в половине девятого уже девять тридцать, в его светлой голубизне, еще догорал день.⁶⁸ Над городскими районами, где возвышаются башни Трокадеро, небеса, как огромное бирюзовое море, оставляли за собой после отлива небольшие облака: цельную линию легких и темных скал — а может быть простенькие рыбацьи сети, тянущиеся друг за другом. Море, бирюзовое в эти минуты,

уносящее за собой людей, и не подозревающих о том,
вовлеченных в необъятное вращение земли, на которой
у них хватает безумия для своих революций
и бессмысленных войн, вроде той, что затопила Францию
кровью в эти дни. Впрочем, пока смотришь на ленивые
небеса — слишком прекрасные, не соизволившие изменить
расписание, голубоватыми тонами вяло продлившие поверх
освещенного города долгий день, — начинает кружиться
голова, и перед нами уже не необъятное море,
но восходящая последовательность голубых ледников.
И башни Трокадеро, из мнимой близости ступеням бирюзы,
уносятся в дальнюю даль: так только издали кажется,
что две башенки швейцарского городка прижались
к горным отрогам.

Я повернул назад, но когда я прошел мост Инвалидов, на город
упала ночь и почти все огни погасли; то и дело натываясь
на мусорные баки, сбившись с пути, машинально следуя
лабиринту черных улиц, не подозревая того и сам,
я оказался на бульварах. На бульварах впечатление Востока,
уже испытанное мной, настигло меня с новой силой;
но стоило вспомнить о Париже эпохи Директории, и это
уподобление сменилось мыслями о Париже 1815-го.
Как в 1815-м, по городу вышагивали пестрые униформы
союзных войск: африканцы в красных шароварах, индусы
в белых тюрбанах — и этого было достаточно, чтобы вместо
Парижа, по которому я гулял, я смог вообразить себе некий
чудесный и экзотичный восточный город — детально
точный в том, что касается костюмов и цвета лиц,

и произвольно химерический, если судить по окружающей обстановке; — так из города, в котором он жил, Карпаччо⁶⁹ создавал то Иерусалим, то Константинополь, собрав в нем толпу, причудливая и пестрота которой была не менее колоритной, чем у этих гуляк в Париже.

Вдруг я увидел, как позади двух зуавов, казалось, не обращавших на него малейшего внимания, плетется крупный грузный человек в фетровой шляпе и длинном плаще; я нерешительно подбирал к его лиловатому лицу имя какого-нибудь художника или актера, равно известного бесчисленными содомитскими похождениями. Во всяком случае, у меня не вызывал сомнения тот факт, что с этим господином я не знаком; я был немало удивлен, когда наши взгляды встретились, что он смущенно, но решительно остановился и направился ко мне — словно бы желая показать, что я вовсе не застиг его врасплох за тайным занятием. На секунду я задумался, кто меня приветствует: это был г-н де Шарлю. Можно сказать, что эволюция его болезни — или революция его порока — дошла до той крайней стадии, на которой первичный слабый характер его личности, древние ее качества, был полностью перекрыт поперечным шестивием порока или наследственного заболевания, издавна его сопровождавшего. Г-н де Шарлю так далеко ушел по этому пути от своей сути — вернее, теперь он был так полно скрыт маской человека, которым он стал, принадлежавшей не только ему, но также множеству прочих инвертитов,⁷⁰ — что в первую минуту, когда он плелся за этими зуавами, на бульваре, за одного

из них я барона и принял; вовсе не за г-на де Шарлю, знатного сеньора, высокоумную творческую личность: за человека, у которого из всех общих с бароном черт осталось только присущее им всем выражение, которое теперь, пока не взглядишься, закрывало собой всё.

Итак, отправившись к г-же Вердюрен, я встретил г-на де Шарлю. Разумеется, теперь у нее барона было не застать — их ссора только усугубилась, и даже нынешние обстоятельства г-жа Вердюрен использовала для того, чтобы его дискредитировать. Она давно уже говорила, что он человек банальный и конченный, что и от него, и от всех этих его так называемых дерзостей несет старьем, как от самых напыщенных ничтожеств, а теперь брезгливо подводила черту под этим осуждением, описывая «все его изыски» одним словом: он, по ее мнению, был «довоенным». Как говорили в кланчике, война образовала пропасть между ним и настоящим, которая отбросила его в самое мертвое прошлое.

Впрочем, она утверждала также, в расчете на менее осведомленный политический бомонд, что де Шарлю был «липой» и «периферией» не только в плане интеллектуальной ценности, но также светского положения. «Он ни с кем не видится, его никто не принимает», — повторяла она г-же Бонтан, убедить которую было легко. Но в этих словах была доля истины. Положение г-на де Шарлю пошатнулось. Свет всё меньше интересовал его; рассорившись, из-за капризного своего характера,

с большей частью лиц, представлявших цвет общества, и, от осознания своей социальной значимости, гнушаясь примириться с ними, он жил в относительной изоляции, которая, в отличие от изоляции покойной г-жи де Вильпаризи, не являлась остракизмом аристократии «из-за каких-то старых дел», однако в глазах публики выглядела еще хуже по двум причинам. Дурная репутация барона, известная теперь повсеместно, внушала неосведомленной публике мысль, что никто не встречается с ним как раз поэтому, хотя общение он пресекал по собственному почину. Страх перед его желчностью казался результатом презрения со стороны людей, на которых эта желчь изливалась. Помимо того, у г-жи де Вильпаризи была сильная опора: семья. Г-н де Шарлю множил с семьей раздоры. Впрочем, родственники казались ему — особенно сторона старого Предместья, Курвуазье — безынтересными. Он не подозревал, хотя в отличие от тех же Курвуазье неплохо разбирался в искусстве, что для какого-нибудь Бергота, к примеру, барон был интересен прежде всего своим родством со старым Предместьем, способностью описывать квазипровинциальную жизнь его кузин с улицы де Ла Шез в Пале-Бурбон и на улице Гарансьер.

Затем г-жа Вердюрен стала на точку зрения не столько трансцендентную, сколько практическую, и выразила сомнение в том, что де Шарлю француз. «Какая точно у него национальность, не австриец ли он?» — спросила она простодушно. «Ни в коей мере», — ответила графиня Моле, которая в первую очередь повиновалась здравому смыслу,

а не злопамятству.⁷¹ «Ну нет же, он пруссак, — возразила Патронесса. — Говорю вам, я помню прекрасно: он много раз нам рассказывал, что он наследственный член прусской дворянской палаты и *Durchlaucht*». — «Однако королева Неаполитанская мне говорила...» — «Вы разве не знаете, какая она жуткая шпионка? — воскликнула г-жа Вердюрен, у которой, по-видимому, еще на памяти было пренебрежение, выказанное к ней на одном из ее вечеров свергнутой монархиней. — Мне это известно абсолютно точно, она только этим и живет. Будь наше правительство расторопней, всех бы их давно отправили в концентрационный лагерь. Полноте вам! во всяком случае, я бы вам советовала разорвать отношения с такой публикой, потому что мне известно, что министр внутренних дел положил на них глаз и за вами будет установлена слежка. Ничто не лишит меня уверенности, что целых два года де Шарлю шпионил в моем доме». Тут ей пришло на ум, что в интересе германского правительства к обстоятельным отчетам о внутренней структуре кланчика можно усомниться, и г-жа Вердюрен кротко и проницательно, зная, что ценность ее слов только возрастет, если она не повысит голоса, продолжила: «Знаете, я с первого же дня говорила мужу: “Что-то мне не нравится, как этот господин ко мне прокрался. Чем-то это подозрительно”. У нас был замок в глубине залива, на возвышенном месте. Он наверняка был завербован немцами, чтобы подготовить базу для их субмарин. Тогда меня это удивляло, а теперь мне всё понятно. Например, он поначалу всё никак не соглашался

приезжать на одном поезде с моими верными. Я ему очень любезно предложила комнату в моей замке. Так нет же, он предпочел остановиться в Донсьере, где стояли войска. Да тут за версту тащит шпионажем!»

Что касается первого обвинения, выдвинутого против барона де Шарлю, в старомодности, то светская публика быстро признала правоту г-жи Вердюрен. В этом свет проявил неблагодарность, потому что г-н де Шарлю в каком-то смысле был его поэтом — он находил в окружавшей его светской жизни ту своеобразную поэзию, где было место и для истории, и для эстетики, для живописи, комического и фривольно элегантно. Но поскольку светские люди до этой поэзии не доросли, в своей жизни они ее не усматривали, предпочитая изыскивать ее в чем-то другом; намного больше, чем г-на де Шарлю, они ценили бесконечно уступавших ему людей, которые, согласно собственным уверениям, презирали свет, а кроме того исповедовали социологические теории и политическую экономию. Де Шарлю самозабвенно пересказывал чьи-то невольные и характерные «словца», описывал подчеркнута элегантные туалеты герцогини де Монморанси, называл ее бесподобной женщиной, — и в результате светские дамы сочли его законченным дураком, потому что герцогиня де Монморанси, по их мнению, была туповата и скучна, а платья созданы для того, чтобы их носить, а не для того, чтобы их обсуждать; дамы были куда умней и бегали в Сорбонну и в Палату, если там выступал Дешанель.⁷²

Одним словом, светские люди разочаровались в г-не де Шарлю — не потому, однако, что они его раскусили, но потому что они так и не разглядели в нем незаурядного интеллекта. Его называли «довоенным», устаревшим, ибо оценить человека по достоинству неспособны прежде всего те, кто судит по указке моды; они не исчерпали сокровищницу лучших людей эпохи, и даже не прикоснулись к ней, и теперь им нужно было осудить их огульно, по ярлыкам нового поколения, — впрочем, в свое время оно будет понятно не больше.

Что же касается второго обвинения, в германизме, то светская публика, склонная к золотой середине, его отклонила, но оно нашло жестокого и неустанного проповедника в лице Мореля, — сохранив не только в прессе, но даже в свете положение, которое г-н де Шарлю, в том и другом случае с таким трудом, ему обеспечил и которого, немногим позже, не смог лишить, он преследовал барона ненавистью тем более преступной, что, каковы бы ни были его отношения с бароном, Морель знал о его подлинной доброте, о которой догадывались лишь немногие. В отношениях со скрипачом г-н де Шарлю проявил столько великодушия, столько чуткости, он так ревностно исполнял данные им обещания, что Чарли, расставшись с бароном, вспоминал не о его пороке (самое большее, он считал порок де Шарлю болезнью), но о его необыкновенно возвышенных представлениях, незаурядной чувствительности, как о своего рода святом. Он и сам того не отрицал, и даже будучи в споре с бароном искренне говорил родным: «Ему

вы можете доверить сына, он окажет только благотворное влияние». Поэтому, стараясь своими статьями причинить ему боль, он глумился не над пороком, но над добродетелью.

К очернению г-на де Шарлю он приступил незадолго до войны, в статейках, что называется, для посвященных. Одну из них, озаглавленную «Злоключение старухи, или Преклонные лета баронессы», г-жа Вердюрен приобрела в количестве пятидесяти экземпляров, чтобы раздаривать знакомым, а г-н Вердюрен, возглашавший, что и Вольтер не писал лучше, зычно зачитывал вслух. Во время войны тон изменился. Разоблачались не только пороки барона, но и так называемое его германское происхождение: «Фрау Бош», «Фрау фон Бош» стали привычными прозвищами г-на де Шарлю. Отрывки поэтического характера носили название танцевальных арий Бетховена: «Аллеманда».⁷³ Затем две новеллы, — «Дядя из Америки и тетья из Франкфурта» и «Парень сзади», читанные в корректуре кланчиком, обрадовали самого Бришо, который воскликнул: «Лишь бы только великая и могучая дама Анастасия не зазернила нас!»

Сами статейки были несколько умней своих развеселых названий. Стиль их восходил к Берготу, но об этом, похоже, догадывался только я, и вот почему. Сочинения Бергота не оказали на Мореля никакого влияния. Оплодотворение было совершено настолько необычным и изысканным способом, что только по этой причине мне хотелось бы

здесь его описать. Я уже говорил об особой манере речи, присущей Берготу, о том, как он подбирал слова и произносил их. Морель, давным-давно встречавшийся с ним у супругов Сен-Лу, тогда же увлекся «подражаниями», и, совершенно изменив голос, использовал уловленные им берготовские слова. Теперь Морель имитировал речи Бергота на письме, не подвергая их, впрочем, той транспозиции, которую проделал бы Бергот в своей работе. Так как с Берготом мало кто общался, этот тон, отличный от стиля, мало кто признавал. Устное оплодотворение — явление столь редкое, что мне захотелось о нем упомянуть. Впрочем, от него рождаются лишь стерилизованные цветки.

Морель служил при бюро прессы, однако решил — французская кровь кипела в его жилах, как комбрейский виноградный сок, — что числиться при бюро, да еще и во время войны, дело несколько несерьезное, и выразил желание отправиться на фронт добровольцем, хотя г-жа Вердюрен приложила все усилия, чтобы убедить его остаться в Париже. Разумеется, тот факт, что г-н де Камбремер в его-то годы числится при штабе, вызывал у нее возмущение; она была способна говорить о любом человеке, не посещавшем ее приемы: «Где это он укрывается?», — и если ей отвечали, что этот человек с первого дня находится на передовой, г-жа Вердюрен, либо не испытывая колебаний перед беззастенчивой ложью, либо от привычки к самообману, возражала: «Ну что вы, он так и сидит в Париже, его дела не более опасны, чем прогулки

с министром, — это я вам говорю, я-то уж знаю, мне о нем рассказывал кое-кто, а он его самолично видел»; однако для верных дело обстояло иначе, уезжать им не дозволялось, поскольку в ее глазах война была опасной «скучной» и поводом дать деру. Тогда она пускалась во все тяжкие, чтобы оставить верного на месте, и это доставляло ей двойное удовольствие: встречаться с ним за ужином и до его прихода, либо уже попрощавшись с ним, поносить его бездеятельность. Но еще было нужно, чтобы верный пошел на это уклонение, и ее приводила в отчаяние выказанная Морелем строптивость; она говорила ему долго — и тщетно: «Но вы-то служите в бюро, и это посерьезнее будет, чем служба на фронте. Надо приносить пользу, стоять на посту, участвовать. Есть бойцы и есть уклонисты. А что касается вас лично, то вы боец, и будьте спокойны — никто в вас камень не бросит». В несколько иных обстоятельствах, когда мужчины встречались еще не так редко и она принимала у себя не одних только женщин, если у кого-нибудь умирала мать, г-жа Вердюрен беззастенчиво пыталась убедить этого человека, что нет никакого неудобства в том, чтобы посещать ее приемы как прежде. «Скорбь пребывает в сердце. Если вы пойдете на бал (она балов не давала), то я первая буду вас отговаривать; но здесь, на моих средочках, в бенуаре, никто вашему появлению не удивится. Все знают, какое страшное у вас горе». Теперь мужчины встречались реже, трауры шли сплошной чередой, и в свет не выходили по другой причине — достаточно было войны. Г-жа Вердюрен

цеплялась за оставшихся. Она убеждала их, что они принесут больше пользы Франции, находясь в Париже, — так когда-то она уверяла, что покойнику было бы приятнее, если бы верные развлекались. Но все-таки мужчин у нее было маловато; быть может, иногда она сожалела, что рассорилась с г-ном де Шарлю, что этот разрыв бесповоротен.

Впрочем, хотя они и не встречались больше, г-жа Вердюрен как прежде устраивала приемы, а г-н де Шарлю — предавался своему пороку, словно ничего не изменилось; правда, с незначительными отклонениями: например, Котар у г-жи Вердюрен, как персонаж из «Острова Мечты», сидел в униформе полковника, напоминавшей мундир гаитянского адмирала (а большая голубая лента на ее сукне — о ленте детей Марии);⁷⁴ а г-н де Шарлю в городе, из которого мужчины зрелые, предмет его былых предпочтений, уже исчезли, вел себя как некоторые французы, на родине питавшие склонность к женщинам, но затем переселившиеся в колонии: поначалу из необходимости, а затем войдя во вкус он приобрел привычку к юным мальчикам.

Первая из этих характерных особенностей, однако, довольно быстро изгладилась, ибо вскоре Котар умер «лицом к врагу», как сообщили газеты, — он, конечно, не уезжал из Парижа, но несколько переусердствовал для своих лет; за ним последовал и г-н Вердюрен, смерть которого огорчила, как многие считали, только Эльстира. Я мог

изучить его работу, так сказать, с абсолютной точки зрения. Но старея, Эльстир всё больше был склонен, с некоторым суеверием, изыскивать связь между своим творчеством и той средой, которая поставляла ему натуру, а после, преобразованная алхимией впечатлений в произведение искусства, вела к нему публику и поклонников. Он всё больше склонялся к материалистической точке зрения, согласно которой значимая часть красоты пребывает в самих вещах, — так поначалу он обожал в г-же Эльстир несколько грубоватый тип красоты и преследовал, пестовал его в своих полотнах и гобеленах; ему казалось, что вместе с г-ном Вердюреном исчез один из последних следов этой социальной среды — среды обреченной, столь же быстро отцветающей, как и ее часть, моды, — однако именно она, по его мысли, поддерживала его искусство и удостоверяла его подлинность; такое же отчаяние испытал бы художник «галантных празднеств» после Революции, сгубившей «изящества» XVIII века, и точно так же огорчило бы Ренуара исчезновение Монмантра и Мулен де ла Галетт;⁷⁵ однако более всего его печалила потеря, с г-ном Вердюреном, глаз и мозга, обладавших точнейшим видением его живописи, ведь в какой-то мере, в любящей памяти этих глаз, жила его живопись. Конечно, появились новые люди, и они тоже любили живопись, однако это была другая живопись: они не получили, как Сван и Вердюрен, уроков вкуса у Уистлера, уроков истины у Моне, а только это позволяло справедливо судить об Эльстире. Поэтому со смертью Вердюрена он еще сильнее ощутил свое одиночество, хотя рассорился с ним

очень давно; Эльстир понимал, что с этой смертью, смертью частицы сущего, во вселенную ускользнула частица красоты его творений, частица мысли об этой красоте.

Что же касается перемен, затронувших радости г-на де Шарлю, то они были спорадичны: поддерживая бесчисленные связи с «фронтами», он не испытывал нужды в достаточно зрелых отпускниках.

Если бы во времена, когда я верил словам, я услышал о мирных заявлениях Германии, после Болгарии, а затем Греции, я испытал бы сильный соблазн им поверить. Но жизнь с Альбертиной и Франсуазой приучила меня подозревать в них скрытые мысли и замыслы, и я не позволил бы отныне ни одному — на первый взгляд правдивому — слову Вильгельма II, Фердинанда Болгарского и Константина Греческого обмануть мой инстинкт, мгновенно разгадывавший их козни.⁷⁶ Конечно, мои ссоры с Франсуазой и Альбертиной были частным делом, которое касалось жизни маленькой духовной клетки, человека. Но ведь существуют не только соединения клеток — тела животных и людей, что в сравнении с одной клеткой велики, как Монблан; существуют еще и громадные скопления организованных индивидов, которые называются нациями; их жизнь лишь повторяет жизнь составляющих в увеличенном виде; и тот, кто не сможет понять мистерию, реакции, законы элементов, произнесет лишь пустые слова, когда придет пора говорить о борьбе народов. Однако, поднаторев в психологии индивидов, мы увидим в соединенных и противостоящих друг другу колоссальных массах людей более мощную красоту, нежели та, что рождается в столкновении двух характеров; мы увидим их в таком масштабе, в котором большие

человеческие тела выглядят инфузориями — и чтобы заполнить ими кубический миллиметр, их понадобится не меньше десятка тысяч. Вот уже несколько лет, как бушевала ссора между огромной фигурой Франции, заполненной по всей своей площади миллионами крошечных многоугольников, столь разных по своей форме, и фигурой Германии, заполненной еще бóльшим числом фигур. И в каком-то смысле тело Германии и тело Франции, тела союзников и врагов вели себя как индивиды. Они обменивались не поддающимися счету ударами по правилам того бокса, принципы которого мне излагал Сен-Лу; и потому — даже если рассматривать их в качестве индивидов, — что они были составными гигантами, эта ссора обретала безмерные и былинные обличья, она казалась восстанием миллионов океанических волн, силищихся разбить вековые границы прибрежных скал, она была похожа на гигантские ледники, которые медленным и разрушительным колебанием крушат вокруг себя горные отроги.

Вопреки тому, жизнь большинства лиц, затронутых нашим повествованием, существенных изменений не претерпела. В особенности жизнь г-на де Шарлю и Вердюренов, как будто поблизости не было немцев; дело в том, что постоянная угроза, хотя и приостановленная в этот момент, если мы не можем ее представить себе, оставляет нас в полном безучастии. Люди как и прежде жили в свое удовольствие, не задумываясь о том, что в случае внезапного прекращения этиолирующего и умеряющего

воздействия деление инфузорий достигнет максимума, иными словами — за несколько дней они совершат скачок в множество миллионов лье и превратят кубический миллиметр в массу, в миллион раз превосходящую солнце, одновременно уничтожив кислород и вещества, необходимые для жизни; больше не будет ни человечества, ни животных, ни земли; — либо, не помышляя, что непоправимая и более чем вероятная катастрофа в эфире может быть вызвана неистовой и непрерывной активностью, скрытой от нас мнимой незыблемостью солнца, обдывали свои делишки, забыв о двух мирах, один из которых слишком мал, а второй слишком велик, чтобы можно было заметить космические предзнаменования, нависшие из-за них над нами.⁷⁷

Так Вердюрены давали обеды (вскоре г-жа Вердюрен в одиночку, ибо г-н Вердюрен, через какое-то время, умер), а де Шарлю предавался своим удовольствиям, почти не думая о том, что немцы — остановленные кровавым, постоянно обновляющимся барьером — находятся в часе автомобильной езды от Парижа. Вердюрены, впрочем, об этом размышляли, как говорят, поскольку у них был политический салон, где каждый вечер обсуждалось положение не только армий, но также флотов. И правда, у них говорили о гекатомбах умерщвленных полков и пассажиров, поглощенных пучиной; но вследствие какого-то обратного вычисления, которое умножает всё то, что затрагивает наше благополучие и чудовищно огромным делителем сокращает всё не касающееся его,

смерть неведомых миллионов едва трогает нас за живое, и подчас огорчает не больше, чем дуновение ветерка. Г-жа Вердюрен страдала от мигреней, потому что теперь не могла купить круассана, который в обычное время она обмакивала в кофе с молоком; наконец ей удалось получить рецепт от Котара, позволявший ей заказывать рогалик в ресторане, о котором мы уже рассказывали. Добиться этого от общественных властей было не менее сложно, чем звание генерала. Она приняла свой первый круассан в то утро, когда газеты сообщили о крушении «Лузитании». Всё еще окуная его в кофе с молоком, и щелкая по газете, чтобы та держалась раскрытой и ей не пришлось оторвать вторую руку от тюрьки, она произнесла: «Какой ужас! Жутчайшие трагедии меркнут на фоне этого кошмара!» Но смерти этих утопших, вероятно, в ее глазах уменьшились до одной миллиардной, потому что на ее лице, пока она издавала эти безутешные восклицания своим набитым ртом, — по-видимому, благодаря вкусному рогалику, столь действенному при мигренях, — застыло сладкое удовлетворение.

Случай г-на де Шарлю отличался от вердюреновского, но в худшую сторону: он не только не мечтал о победе Франции, он, пусть и не признаваясь себе в этом, хотел если не германского триумфа, то по крайней мере чтобы эта страна не была разгромлена, а об этом мечтали все. Объяснить это можно тем, что в подобных распрах совокупности индивидов, которые называются нациями, нередко ведут себя как индивиды. Логика их поступков,

скрытая внутри, постоянно переплавляется страстью, как логика людей, столкнувшихся в любовной или домашней ссоре, — например, в ссоре сына с отцом, кухарки с хозяином, жены с мужем. Виновный между тем уверен в своей правоте, как это было в случае Германии, и тот, кто прав, подчас защищает правое дело аргументами, которые кажутся ему неопровержимыми только потому, что они отвечают его страсти. В таких распрях между индивидами, чтобы быть убежденным в правом деле партии, безразлично какой, вернее всего принадлежать ей, и сторонний наблюдатель никогда не поддержит ее с той же верой. Индивид в рамках нации, если он действительная ее часть, это только клетка индивида-нации. «Промывание мозгов» — бессмысленное понятие. Объяви французам, что завтра Франция будет разбита, и ни одного из них не охватит такое же отчаяние, как при известии, что сейчас его убьет «берта».⁷⁸ В действительности мы сами «промываем себе мозги» своей надеждой, и если речь идет о подлинной частице нации, то это одна из форм инстинкта национального самосохранения. Чтобы оставаться слепым к неправоте дела индивида-Германии, чтобы каждое мгновение признавать правоту дела индивида-Франции, немцу не обязательно нужно лишиться рассудка, а французу — рассудком обладать: проще всего, для того и для другого, быть патриотом. Г-н де Шарлю обладал редкими духовными качествами, ему было доступно сострадание, он был великодушен, способен к чувству, самопожертвованию, однако взамен — по самым разным

причинам, свою роль среди которых могло сыграть и то, что его матерью была герцогиня Баварская, — был совершенно чужд патриотизма. Итак, он был частью тела-Франции и частью тела-Германии. Если бы я сам был лишен патриотизма, а не ощущал себя одной из клеток тела-Франции, то возможно, что я судил бы об этой ссоре иначе. И если бы в отрочестве, когда я доверял тому, что мне говорят, я услышал, как германское правительство заявляет о правоте своего дела, я испытал бы сильное искушение принять их слова на веру; однако уже давно я узнал, что наши мысли не всегда согласуются с нашими словами; и я не только когда-то открыл для себя из лестничного окна такого де Шарлю, о котором не подозревал,⁷⁹ я еще на примере Франсуазы, а затем и Альбертины, увы, наблюдал, как складываются суждения и намерения, противоречащие их словам, и, оставаясь всё тем же сторонним наблюдателем, не позволил бы ни одному, на первый взгляд правдивому, заявлению императора Германии или короля Болгарии обмануть мой инстинкт, мгновенно разгадывавший, как в случае Альбертины, их тайные козни. Но в конечном счете, сейчас я могу только догадываться, каким бы я был, не будь я актером, не будь я частью актера-Франции, — ведь в наших ссорах с Альбертиной мой грустный взгляд и опущенные плечи были частью индивида, страстно заинтересованного в моем деле, и я не мог достичь отстраненности. Отстраненность г-на де Шарлю была абсолютной. Итак, поскольку он оставался лишь наблюдателем, ничто не отвращало его

от германофильства, коль скоро, не будучи поистине французом, он жил во Франции. Он был достаточно тонок; дураки во всех странах преобладают; сложно поверить, что, живи он в Германии, немецкие дураки, отстаивая с глупостью и страстью несправедливое дело, не вывели бы его из себя; но поскольку он жил во Франции, дураки французские, с глупостью и страстью отстаивающие дело справедливое, приводили его в бешенство. Логика страсти, будь она на службе даже самого правого дела, никогда не убедит того, кто этой страстью не охвачен. Г-н де Шарлю с остроумием опрокидывал любое ложное умозаключение патриотов. А удовольствие, которое внушает слабоумному его правота и уверенность в успехе, может взбесить кого угодно. Г-на де Шарлю приводил в исступление торжествующий оптимизм людей, не знавших, как он, Германии и ее мощи, которые каждый месяц предсказывали, что в следующем месяце эта страна понесет сокрушительное поражение, и к концу года всё так же были убеждены в новых прогнозах, как если бы они не давали их столько раз с теми же ложными уверениями — уже забытыми ими, а если им о них напоминали, то они отвечали, что «это не одно и то же». Однако де Шарлю, с его глубоким умом, в искусстве «не одного и того же» — противопоставленного хулителями Мане тем, кто говорил им: «То же самое говорили о Делакруа», — не преуспел.

К тому же, г-н де Шарлю был сострадателен, сама мысль о побежденном причиняла ему боль, он всегда был на стороне слабого и не читал судебных хроник, чтобы

не переживать всей душой тоску осужденного и невозможность умертвить судью, палача и толпу, восхищенную зрелищем «совершенного правосудия». В любом случае, он мог не сомневаться, что Франция не будет побеждена, но кроме того ему было известно, что немцы страдают от голода и рано или поздно будут просить пощады. Эта мысль удручала его из-за того, что он жил во Франции. Все-таки о Германии у него сохранились отдаленные воспоминания, тогда как французы, твердившие об уничтожении этой страны с неприятной для него радостью, были людьми, чьи недостатками ему были известны, а лица антипатичны. В подобных случаях больше жалеют тех, кого можно лишь вообразить, а не тех, кто живет с нами рядом в пошлой повседневности жизни, — если мы только не одно целое с ними, если мы с ними не одна плоть; и патриотизм сотворил это чудо — мы стоим за свою страну, как в любовной ссоре — за себя самого.

Война, иными словами, стала чрезвычайно плодородным полем для злобствований г-на де Шарлю — они пробуждались в нем мгновенно и длились недолго, но в это время он весь отдавался неистовству. Когда он читал газеты, триумфальный тон хроникеров, каждый день изображавших Германию поверженной — «Зверь затравлен и доведен до бессилия», тогда как дело обстояло едва ли не противоположным образом, — и их бодрая и хищная глупость опьяняли его бешенством. В то время в газетах работали многие известные люди, — они таким образом, по их словам, «снова поступили на службу»: Бришо,

Норпуа, и даже Морель и Легранден. Г-н де Шарлю мечтал встретиться с ними и осыпать их едчайшими сарказмами. Более чем кто-либо осведомленный о половых пороках, он знал о том, что некоторые лица — полагавшие, что касательно их самих это дело тайное, и не без удовольствия изобличавшие суверенов «захватнических империй», Вагнера и т. д., — им не чужды; и де Шарлю сторал от желания столкнуться с ними лицом к лицу, у всех на глазах ткнуть их носом в их собственный позор, и оставить обидчиков противника, который повержен, — обесчещенными и трепещущими.

Наконец, барон де Шарлю обладал и более личными причинами для своего германофильства. Светский человек, он долго жил в высшем обществе, среди почтенных людей, людей чести, которые не подадут руку сволочи, знал их сдержанность и твердость; ему было известно, как бесчувственны они к слезам человека, изгнанного ими из своего круга, с которым они откажутся стреляться, даже если этот акт «моральной чистоты» убьет мать паршивой овцы. И сколь бы, вопреки своей воле, он ни восхищался Англией, в особенности тем, как она вступила в войну, эта безупречная Англия, чуждая всякой лжи, препятствовала поступлению зерна и молока в Германию, оставаясь при этом, так или иначе, нацией людей чести, всеми признанным свидетелем и арбитром в вопросах чести; но также он знал, что люди подлые, сволочь, вроде отдельных персонажей Достоевского, подчас способны на большую доброту, и я никак не мог понять, отчего он

отождествлял их с немцами, ведь лжи и хитрости недостаточно для того, чтобы увериться в доброте, которой немцы не проявили.⁸⁰

Пусть еще одна черта дополнит описание германофильства г-на де Шарлю: он был обязан ей, и посредством довольно диковинной реакции, своему «шарлизму». Немцев он считал безобразными — может быть, потому, что были близки ему по крови; он был без ума от марокканцев, а особенно — от англосаксов, которые виделись ему ожившими статуями Фидия. Наслаждение не приходило к нему без жестокой мысли, силы которой в то время я еще не знал: он представлял человека, которого любил, в виде чудесного палача. И ему казалось, когда он выступал против немцев, что его поступки, как в часы сладострастия, определяются чем-то обратным его сострадательной натуре, что он восхищается обольстительным злом и попирает добродетельное безобразие. Описываемые события, к тому же, по времени совпадают с убийством Распутина; что в этом убийстве было поразительнее всего, помимо прочего, так это необычайно сильная печать русского колорита: убийство было совершено за ужином, как у Достоевского (впечатление было бы сильней, если бы публика знала прочие факты, превосходно известные барону), — потому что жизнь так разочаровывает нас, что мы, в конце концов, уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения; и впадаем в столбняк, когда оригинальные выдумки, поведенные книгами, самым естественным образом, без особых оснований, не страшась

искажений переносятся в повседневность, что, в частности, в этом ужине, убийстве, русских событиях — можно увидеть «что-то русское».

Война затягивалась на неопределенные сроки, и тот, кто со ссылкой на «достоверные источники» еще несколько лет назад объявлял о начале мирных переговоров, и даже уточнял условия, не думал извиняться перед вами за ложные сведения. Они забывали эти вести и с чистым сердцем распространяли другие, которые будут забыты ими не менее быстро. То было время постоянных налетов гота, в воздухе постоянно трещала звонкая и бдительная вибрация французских аэропланов. Иногда отзывалась сирена, мучительный зов валькирии — единственная немецкая музыка, доступная в военные годы, — а потом пожарные объявляли, что тревога окончена, и неподалеку сигнал отбоя, как шалун-невидимка, через равные промежутки повторял добрую весть и сотрясал воздух радостным воплем.

Г-н де Шарлю был удивлен, что даже такие люди, как Бришо, которые до войны были милитаристами, и упрекали соотечественников в недостаточной милитаризованности, теперь без колебаний вменяли в вину Германии не только «избыток милитаризма», но даже преклонение перед армией. Правда, когда речь зашла об остановке военных действий против Германии, их мнение изменилось, и они нашли основание изобличать пацифистов. Но тот же Бришо, согласившийся, несмотря на плохое зрение,

на своих лекциях рассказывать о книгах, вышедших в нейтральных странах, превозносил швейцарский роман, в котором высмеивались зародыши милитаризма: два ребенка глазели на драгуна, и в их восхищении было что-то символическое. Этой шутке было чем не понравиться г-ну де Шарлю по другим причинам — драгуны, по его мысли, вполне могли быть прекрасны. Но больше всего барона удивляло, как этой книгой Бришо восхищался, — и дело было даже не в самой книге, которую барон не читал, а в ее духе, столь мало соответствовавшем довоенным предметам восторга Бришо. До войны всё, что совершал военный, было в порядке вещей: и нарушения генерала Буадеффра, и подлоги и махинации полковника дю Пати де Клама, и подделки полковника Анри. Какой же изумительный переверот взглядов (в действительности же то было лишь другим лицом прежней благородной патриотической страсти, обязывавшей милитариста, которым Бришо являлся, когда она была задействована в борьбе с такой антимилитаристской тенденцией, как дрейфусарство, стать разве что не пацифистом, поскольку теперь эта страсть противостояла сверхмилитаристской Германии) вынуждал нынче Бришо восклицать: «О изумительное зрелище, достойное привлечь юность века, исполненного грубости, знакомого только с культом силы: драгун! Нет никаких сомнений, что поколение, возвращенное на культуру этих неприкрытых проявлений грубой силы, станет грубой солдатней. Вот почему Шпиттелер,⁸¹ символически противопоставляя своего героя, Глупого Студента,

отвратительной концепции “сабля превыше всего”, выслал его во глуби лесов — оклеветанного и осмеянного, одинокого мечтательного персонажа, в лице которого автору замечательно удалось воплотить нежность, увы, вышедшую из моды, — и, наверное, забытую до тех пор, пока ужасное царствование их старого Бога не прервется, — прелестную нежность мирных времен».

«Итак, — сказал мне г-н де Шарлю, — вы знакомы с Котаром и Камбремером. Всякий раз, когда я встречаюсь с ними, они твердят о необычайном “недостатке психологии” в германцах. Между нами: вы верите, что прежде их сильно заботила психология, и что теперь они смогли бы хоть чем-нибудь этот интерес подтвердить? Но я не преувеличиваю. Как только речь заходит о каком-нибудь великом немце, о Ницше, о Гете, Котар говорит: “с привычным непониманием психологии, характерным для тевтонской расы”. Конечно, в войне есть многое, что огорчает меня сильнее, но согласитесь, что это выводит из себя. Норпуа поумней, я это признаю, хотя он заблуждается с самого начала. Но что вы скажете об этих статьях, призывающих к общему воодушевлению? Вам, дорогой друг, как и мне известно, какую ценность представляет Бришо, и я сохранил любовь к нему даже вопреки той схизме, что разлучила меня с его церковкой, в результате чего я теперь вижу с ним не так часто. Одним словом, я уважаю этого превосходно образованного профессора и говоруна, и признаю, что с его стороны, в таком возрасте — тем более, что он сильно сдал в последние годы, это очевидно, — очень

трогательно это его “возвращение”, как он выражается, “на службу”. Но в конце концов, доброе намерение — это одно, а талант — это другое; а Бришо совершенно лишен таланта. Я разделяю его восхищение величием этой войны. Однако мне странно, что Бришо, с его слепой любовью к Древности, — он ведь даже не был в силах иронизировать над Золя, находившим больше поэзии в быту рабочих, в руднике, чем в исторических дворцах, и над Гонкуром, ставившим Дидро выше Гомера, а Вагто выше Рафаэля, — постоянно твердит, что Фермопилы и даже Аустерлиц — ничто в сравнении с Вокуа. Одним словом, на сей раз публика, противившаяся модернизму в литературе и живописи, последовала за модернистами от военного ведомства, потому что такой образ мыслей вошел в моду, а также потому, что на слабые умы действует не красота, но масштабность действия. Теперь пишут *kolossal* только через *k*; но ведь и правда предмет общего поклонения колоссален. Кстати о Бришо, вы не встречали Мореля? Говорят, что он снова хочет со мной повидаться. Ему нужно сделать первый шаг; я старше, и не мне начинать».⁸²

К несчастью, уже завтра — расскажем об этом в порядке предвосхищения — г-н де Шарлю столкнется с Морелем на улице; последний, желая возбудить ревность барона, возьмет его под руку, расскажет ему в той или иной мере правдоподобные истории; растерянный де Шарлю поймет, что ему просто необходимо провести этот вечер с Морелем, что Морель не должен от него уйти, но тот, заметив какого-то приятеля, неожиданно спрашивается с бароном;

де Шарлю крикнет вослед: «Берегитесь, я отомщу», полагая, что эта угроза — которую он, разумеется, никогда бы не исполнил, — вынудит Мореля остаться, а Морель со смехом обнимет удивленного товарища и похлопает его по плечу.

Конечно, из слов г-на де Шарлю о Мореле можно было сделать вывод, сколь же легковверными делает нас любовь — заодно раскрепощая наше воображение и восприимчивость и усмиряя нашу гордыню; кроме того, из них вытекало, что барон еще сохранил это чувство. Но когда барон добавил: «Этот мальчик без ума от женщин и думает только о них», он был куда ближе к истине, нежели думал сам. Он сказал так по причине самолюбия и любви, из желания уверить других, что за привязанностью Мореля к барону не последовали другие чувства этого рода. Но мне-то было известно кое-что, о чем барон не узнает никогда, что однажды Морель сошелся с принцем де Германтом за пятьдесят франков, и ни одному слову де Шарлю, конечно же, я не верил. И если Морель, сидя с приятелями на террасе кафе, видел проходящего мимо де Шарлю (кроме тех дней, когда ему было нужно признаться в чем-то постыдном, и Морель оскорблял барона, чтобы иметь повод с грустью сказать: «Простите, я действительно совершил мерзопакостный поступок»), и они гоготали, показывая на барона пальцем, и отпускали эти шуточки, которыми привечают старого гомосексуалиста, я не сомневался, что всё это только притворство, что отведи барон в сторону любого из этих публичных изобличителей, и они сделали

бы всё, чего бы тот ни попросил. Но я заблуждался. Если одно только движение — во всех классах — приводит к пороку людей вроде Сен-Лу, ранее совершенно ему чуждых, то одно же движение в противоположную сторону отрывает от этих склонностей тех, для кого они были совершенно естественны. Одних изменили запоздалые религиозные сомнения, других — пережитые потрясения, когда прогремели известные скандалы, или страх несуществующих болезней, которыми их вполне искренне стращали родственники — иногда консьержи, иногда лакеи, либо, неискренне, ревнивые любовники, посредством того полагавшие оставить юношу в своем распоряжении, и напротив, отрывавшие его этим как от себя, так от прочих. Вот почему бывший бальбекский лифтер ни за золото, ни за серебро не принял бы предложений, которые теперь показались бы для него столь же преступными, как происки врага. Морель отказывал всем без исключения, и г-н де Шарлю, сам того не подозревая, говорил правду, одновременно подтверждаящую его иллюзии и разрушавшую его надежды; объяснялось же это тем, что через два года после разрыва с бароном Морель увлекся какой-то девушкой, с нею и жил; последняя, как более волевой человек, обязала его соблюдать безоговорочную верность. Так что Морель, который сошелся с принцем де Германтом за пятьдесят франков, когда де Шарлю осыпал его золотом, теперь не взял бы денег ни от него, ни от кого другого, предложи ему кто хоть пятьдесят тысяч. За отсутствием чести и бескорыстия, «жена» внушила ему

страх перед тем, что «люди говорят», и он не брезговал ухарством и похвальбой, что плевать ему было на любые деньги, когда ему предлагали их на определенных условиях. Так игра различных психологических законов, в цветении рода человеческого, приравнивается воплотить всё то, что привело бы, в том или ином смысле, по причине полносочия или усыхания, к его самоуничтожению. Подобное благоразумие выявлено Дарвином в мире цветов — оно упорядочивает типы оплодотворения, последовательно противопоставляя одним другие.

«Вот что странно, — добавил г-н де Шарлю пробивавшимся у него иногда резковатым и писклявым голоском. — Мне рассказывают, что некоторые люди прекрасно выглядят, они каждый день пьют замечательные коктейли, однако твердят, что до конца войны им не дотянуть, что их сердцу не хватит сил, что они думают только о своей внезапной кончине. Сильнее всего впечатляет, что так и получается. Как это любопытно! Может быть, это следует объяснять питанием, потому что всё, что они едят, отвратительно приготовлено; может быть, они слишком ревностно цепляются за пустые обязанности и нарушают щадящий режим? Но в конце концов меня удивляет количество этих странных преждевременных смертей — преждевременных, по крайней мере, если принять во внимание волю усопшего. Уже не помню, говорил ли я вам, что Норпуа без ума от этой войны. Но как своеобразно он о ней говорит! Прежде всего, вы заметили, сколько появилось новых выражений, и как

быстро, стоит им износиться от ежедневного употребления — ибо воистину Норпуа неутомим, я полагаю, что смерть моей тетки Вильпаризи вдохнула в него новую жизнь, — они сменяются другими общими местами? Помнится, когда-то вас забавляли эти фигуры речи — которые возникают, какое-то время держатся на плаву, а потом бесследно исчезают: “кто сеет ветер, тот пожнет бурю”; “собаки лают, караван проходит”; “дайте мне политику, а я вам дам финансы, как говорил барон Луи”; “было бы преувеличением считать эти симптомы трагическими — было бы проще отнестись к ним всерьез”; “работать на прусского короля” (последнее, впрочем, неизбежно воскресло). А я уж мнил, мне их оплакать довелось! Можно припомнить “клочок бумаги”, “хищные империи”, “известная Kultur — убивать женщин и беззащитный детей”, “победа достанется тому, как говорят японцы, кто продержится на четверть часа дольше другого”, “германотуранцы”,⁸³ “научное варварство”, “если мы хотим обыграть их в этой войне, как сильно выразился Ллойд Джордж”; наконец, и это можно не принимать в счет, “удаль и боевитость наших войск”. Да и синтаксис милейшего Норпуа за время войны претерпел столь же глубокие изменения, как производство хлеба и скорость транспорта. Вы заметили, что этот замечательный человек, когда его тянет объявить свои желания фактом, который вот-вот свершится, не осмеливается, тем не менее, чтобы его не опровергли события, употреблять будущее время,

но приспособил для этой цели глагол “мочь”?» я признался г-ну де Шарлю, что не понимаю, о чем он говорит.

Следует отметить, что герцог де Германт не разделял пессимизма своего брата. К тому же, он еще больше был англофилом, чем де Шарлю — англофобом. Наконец, герцог де Германт считал г-на Кайо предателем, тысячу раз заслуживающим расстрела. Когда де Шарлю попросил привести доказательства измены последнего, г-н де Германт ответил, что если бы осуждали лишь тех, кто подписался под словами «я предатель», преступники никогда бы не понесли наказания. На тот случай, если мне не представится случая обратиться к этому делу вновь, я замечу, что через два года герцог де Германт, воодушевленный кристальным антикайоизмом, познакомится с английским военным атташе и его женой, прекрасно образованной парой, и сдружится с ними, как во времена дела Дрейфуса с тремя очаровательными дамами; — с первого же дня его изумит, что если речь заходит о Кайо, осуждение которого он считал делом решенным, а преступление очевидным, в ответ от очаровательной и образованной пары он слышит следующее: «Конечно же, его оправдают, против него вообще ничего нет». Г-н де Германт попробует сослаться на показания г-на де Норпуа, которые тот дал суду, глядя ошеломленному г-ну Кайо прямо в лицо: «Да, господин Кайо, вы — французский Джолитти, вы — французский Джолитти!». Но очаровательная и начитанная пара улыбнется, г-на де Норпуа поднимет на смех, приведет

примеры его маразма, а в заключение заметит, что фраза «глядя ошеломленному г-ну Кайо прямо в лицо» взята из «Фигаро», в действительности же, скорее всего, г-н Кайо просто ухмылялся. Мнения г-на де Германта не замедлят перемениться. Причиной этой перемены была какая-то англичанка — и такое объяснение выглядело не столь диковинно, как представляется на первый взгляд, еще в 1919-м году, когда англичане называли немцев не иначе чем «гуннами» и требовали жестокого наказания виновных; но их мнение о немцах тоже не осталось прежним, и в Англии принимали любые постановления, способные ущемить интересы Франции и оказать поддержку Германии.⁸⁴

Вернемся к г-ну де Шарлю: «Дело в том, — ответил он на мое признание, что я его не очень хорошо понимаю, — что глагол “мочь” в статьях Норпуа стал обозначением будущего времени, иными словами — желаний Норпуа, как и, впрочем, каждого из нас, — добавил он, быть может, не вполне искренне. — Строго говоря, если бы этот глагол не указывал на будущее время, то следовало бы думать, что его субъектом является та или иная страна. Например, всякий раз как Норпуа заявляет: “Америка не может оставаться безразличной к этим постоянным нарушениям права”, “двуглавая монархия не может не прийти к раскаянию”, становится ясно, что подобные фразы отражают желания Норпуа (и мои, и ваши), но, в конце-то концов, вопреки всему этот глагол может сохранить свое старое значение, и страна может “не мочь”, Америка может

“не мочь”, “двуглавая” монархия может “не мочь” (несмотря на извечное “недопонимание психологии”). Все сомнения отпадают, когда Норпуа пишет: “эти систематические опустошения не могут не убедить нейтралов”, “Поозёрье не может не пасть в руки союзников в кратчайшие сроки”, “результаты нейтралистских выборов не могут отразить мнение подавляющего большинства”.⁸⁵ Однако очевидно, что эти “опустошения”, “районы” и “результаты” — предметы неодушевленные, и не могут “не мочь”. С помощью этой формулы Норпуа попросту обращается к нейтралам с предписанием (с сожалением должен признать, они вряд ли ему последуют) выйти из нейтралитета, а Поозёрью — больше не принадлежать “бошам”» (г-н де Шарлю произносил слово “бош” с такой же отвагой, с которой некогда в трамвае заводил речь о мужчинах, испытывающих влечение к представителям своего пола).

«Вы заметили, впрочем, с каким лукавством, уже с 1914-го года, Норпуа начинает свои статьи, обращенные к нейтралам? Первым делом он возглашает, что, конечно же, Франция не должна вмешиваться в политику Италии (или Болгарии, или Румынии и т. д.). Только самим этим странам приличествует принять независимое решение, отвечающее исключительно их национальным интересам — следует ли им выйти из нейтралитета. Но если первые сентенции статьи (то, что называлось когда-то вступительной частью) столь примечательно беспристрастны, то далее, как правило, дело с этим обстоит хуже. “И тем не менее, —

продолжает Норпуа, — совершенно очевидно, что одни страны завоюют для себя определенные материальные выгоды, и это будут те нации, которые стали на сторону права и справедливости. Однако вряд ли следует дожидаться награды — в виде территорий, откуда долгие века раздастся стон их угнетенных собратьев, — тем странам, которые, следуя политике наименьшего усилия, не встали с союзниками в единый строй”. Сделав первый шаг — посоветовав вступить в войну, Норпуа уже не останавливается ни перед чем, и его всё менее прикрытые рекомендации касаются уже не вопроса вступления в войну, а его времени. “Конечно, — продолжает он прикрывшись, как сказал бы сам Норпуа, овечьей шкуркой, — дело исключительно Италии и Румынии — определить удобное для них время и форму их участия в войне. Им не следует забывать, однако, что в постоянных проволочках они рискуют упустить свой час. Уже Германия затравленно дрожит в невыразимом ужасе от копыт русских кавалеристов. И совершенно очевидно, что те страны, которые бросятся нам помогать в минуту победы, а ее рассвет почти что воссиял, не будут иметь прав на такую же награду, которую можно еще, поспешив... и т. д.” Так говорят в театре: “К сведению неторопливых: последние места уже почти заняты”. Это рассуждение звучит тем более глупо, что он повторяет его раз в полгода, периодически страдая Румынию: “Пришло для Румынии время узнать — есть ли у нее желание реализовать свои национальные чаяния. Медлить нельзя, потому что это время может уйти”.

Он высказывается подобным образом уже три года — и время не только не “ушло”, но также не уменьшилось число предложений, обращенных к Румынии. Подобным образом он понукает Францию и проч. осуществить интервенцию в Греции на правах держав-гарантов, поскольку Греция не сдержала свой договор с Сербией. Говоря по совести, если бы Франция в данный момент не находилась в состоянии войны, и не нуждалась в помощи или благожелательном нейтралитете Греции, разве возникла бы у нас мысль об интервенции в качестве “государства-протектора”? Разве вызвал бы у кого-нибудь негодование тот факт, что Греция не сдержала своих обязательств в отношении Сербии; разве он не умолкает, как только речь заходит о столь же явных нарушениях со стороны Румынии и Италии, не исполнивших — небезосновательно, надо полагать, — как и Греция, своих союзнических обязательств (не столь жестких и требовательных, как говорят) в отношении Германии?⁸⁶ Всё дело в том, что люди смотрят на мир сквозь свою газету, да и что им остается, если они не знают лично людей, о которых речь, и ничего не знают об этих событиях? Во времена этого дела, столь странным образом вас увлекшего, в ту эпоху, про которую вполне уместно говорить, что нас разделяют века, ведь наши военные философы подтверждают, что вся связь с прошлым разорвана, я был поражен, что мои родственники жалуют своим уважением записных антиклерикальных коммунаров, потому что в их любимой газете они были

представлены антидрейфусарами, и поносят генерала благородного происхождения — католика, но ревизиониста. Не меньше я шокирован теперь, когда я слышу о том отвращении, которое французы питают нынче к императору Францу Иосифу. Как они его боготворили! И небезосновательно — мне ли об этом не знать; я хорошо знаком с ним, а он всегда готов меня принять по-родственному. О! я не писал ему уже всю войну, — воскликнул он с таким видом, будто смело сознается в ошибке, в которой (и он это прекрасно знал) никто бы его обвинять не стал. — Вернее, только в первый год, и лишь один раз. Что поделаешь, я его уважаю по-прежнему, но мои молодые родственники, которые бьются на наших передовых, без сомнения сочли бы, что поддерживать переписку с главой нации, воюющей против нас, постыдно. Что поделаешь! Упрекай меня кто угодно, — крикнул он, словно бы с отвагой принимая мои упреки, — но я не хочу, чтобы в настоящий момент в Вену пришло письмо, подписанное именем Шарлю. Самое большее, я поставил бы старому императору в вину, что монарх его ранга, глава одного из самых древних и прославленных европейских домов, позволил себя провести этому юнкеришке, пусть и довольно смышленому, но в сущности — обыкновенному выскочке Вильгельму Гогенцоллерну.⁸⁷ Отнюдь не менее всего пугающая странность этой войны». Но поскольку, стоило ему вернуться к аристократической точке зрения, в его уме преобладавшей над любой прочей, г-н де Шарлю впадал в крайнее ребячество, тем же тоном, каким он

заговорил бы о Марне или Вердене, он сказал, что будущим историкам этой войны не следует упускать из виду нечто архиважное и чрезвычайно интересное. «В частности, — сказал он, — по причине общего невежества никто не удосужился заметить наипримечательнейший факт: великий магистр Мальтийского ордена, а он чистый бош, по-прежнему пребывает в Риме, где, как Великий магистр нашего ордена, он пользуется привилегией экстратерриториальности. Это заслуживает внимания!» — воскликнул он, словно бы этим говоря: «Видите, встретившись со мной, вы не потеряли вечер напрасно». Он принял мою благодарность со скромностью человека, не нуждающегося в плате. «Так о чем мы? Ах да, что теперь французы, благодаря своим газетам, возненавидели Франца Иосифа. Касательно короля греческого Константина и царя Болгарии публика колеблется между отвращением и симпатией в зависимости от того, что ей по очереди сообщают: на стороне ли они Антанты или, как выразился бы Бришо, “центральных империй”. Подобным образом Бришо постоянно пытается нас уверить, что “час Венизелоса вот-вот пробьет”. Нет никаких сомнений, г-н Венизелос — чрезвычайно способный государственный деятель; но кто знает, совпадают ли желания греков и г-на Венизелоса? Ему угодно, в чем нас убеждают, чтобы Греция сдержала свои обязательства по отношению к Сербии. Еще следовало бы узнать, каковы были ее обязательства, и неужели они были существенней тех, которые Италия и Румыния сочли возможным нарушить. Мы испытываем

озабоченность, каким образом Греция соблюдает свои договоры и свою конституцию, чего определенно не имело бы места, не будь это в наших интересах. Если бы не война, разве заметили бы государства-«гаранты» роспуск Палат? Для меня ясно как божий день: короля Греции хотят лишить опор, чтобы выставить его вон или взять под арест — когда армия уже не придет ему на помощь.⁸⁸ Я говорил вам, что публика судит о короле Греции и короле Болгарии только по газетам. Да и что им остается, если они с ними не знакомы? Но я много раз с ними встречался, я хорошо знал Константина Греческого еще диадохом — он был просто прелесть. Я всегда думал, что император Николай питал к нему сильное чувство. В благом смысле, разумеется. Принцесса Христиана об этом распространялась открыто, но она злючка. Что же касается царя Болгарии, то он чистой воды развратница, это у него на лбу написано, но очень умен — замечательный человек. Он меня очень любил».

Г-н де Шарлю таил в себе бездну обаяния, но становился невыносим, когда обращался к этим темам. Он говорил о них удовольствием, которое выводит нас из себя в больном, то и дело бахвалящимся своим добрым здравием. И я нередко думал, что именно «верные», так страстно желавшие услышать от него признание на бальбекской узкоколейке, от которого он уклонялся, не сумев вынести этого маниакального хвастовства, стесненно дыша, как в комнате больного или перед морфинистом, доставшим на ваших глазах свою шприцовку, что именно они пресекли поток желанных

излияний. К тому же, их не могло не раздражать, что он обвинял всех подряд, и почти всегда голословно, тогда как себя самого в том специальном реестре, в который, как было известно, он был зачислен, он опускал, с большей охотой включая в него прочих. Наконец, барон, от большого ума, создал в этой области своеобразную философию (в основе которой лежало, быть может, несколько курьезов, умилявших Свана «в жизни»⁸⁹), объяснявшую для него весь мир посредством подобного рода особых причин, и — как бывает всякий раз, когда отдаются своему пороку, — рассуждая на этот манер барон не только опускался ниже своего уровня, но и был чрезвычайно упоен собою.

И степенный, благородный барон расплывался в дураковатой улыбке, чтобы произнести следующие слова: «Так как имеются основательные подозрения этого рода насчет Фердинанда Кобургского в отношении императора Вильгельма, можно усмотреть еще одну причину, из-за которой болгарский царь встал на сторону “хищных империй”. Само собой, тут всё понятно, люди относятся к сестрам снисходительно, и не отказывают им ни в чем. Я нахожу, что это было бы весьма занятным объяснением альянса Болгарии и Германии». И над этим глупым объяснением г-н де Шарлю долго смеялся, словно бы действительно находя его остроумным, хотя, будь оно даже основано на подлинных фактах, оно носило бы столь же ребяческий характер, как его военные наблюдения, а судил он о войне то как феодал, то как рыцарь Св. Иоанна Иерусалимского. Но в заключение он отметил нечто более

справедливое: «Удивительно, — сказал барон, — что мнения публики о войне и людях основаны только на газетах, но при этом все убеждены, будто высказывают личное мнение».

В этом г-н де Шарлю был прав. Стоило посмотреть на г-жу де Форшвиль, рассказывали мне, в те секунды молчания и нерешительности, которые как будто были необходимы ей даже не для того, чтобы сформулировать, а для того чтобы определить личное свое мнение, после которых, как если бы она выражала сокровенное чувство, она говорила: «нет, я не верю, что они возьмут Варшаву»; «на мой взгляд, вторую зиму не продержаться»; «чего бы я не хотела, так это непрочного мира»; «что мне внушает опасение, если уж вам угодно знать мое мнение, так это Палата»; «все-таки, по моим оценкам, возможно прорваться». Когда она произносила эти слова, в ее лице проступало нечто ребяческое, но это было только начало, пределом же была фраза: «Немецкие войска сражаются неплохо, тут ничего не скажешь; но у них, что называется, не хватает удали». Произнося слово «удаль» (или только «боевитость»), она делал такой жест, как будто что-то замешивает, и подмигивала, как юный подмастерье, ввернувший цеховой термин. Кроме того, на ее языке еще сильнее отразилось ее преклонение перед англичанами, поскольку теперь не было нужды ограничивать себя, как прежде, «нашими соседями по ту сторону Ла Манша» или «нашими друзьями англичанами»; теперь были уместны «наши верные союзники». Стоит ли говорить,

что по поводу и без повода она употребляла выражение *fair play* в свидетельство о том, что в глазах англичан немцы показали себя «бесчестными игроками», и «всё, что нам нужно, — так это обыграть их в войне, как говорят наши brave союзники». Английские же солдаты служили ей, пусть и неловким, поводом приплести своего зятя, чтобы рассказать, с каким удовольствием он живет в близости с австралийцами, шотландцами, новозеландцами и канадцами. «Мой зять теперь знает арго всех бравых *tommys*, его слушаются даже посланцы самых далеких *dominions*, он накоротке не только с генералом и командиром базы, но даже с самым скромненьким *private*».

Пусть этот рассказ о г-же де Форшвиль, пока мы идем с г-ном де Шарлю по бульварам, позволит мне еще одно и более пространное, но небесполезное для описания эпохи отступление, в котором речь пойдет об отношениях г-жи Вердюрен и Бришо. Если де Шарлю судил о бедном Бришо без снисхождения — потому что барон был и остроумен, и, в той или иной мере осознанно, германофил, — то намного сильнее Бришо третировали Вердюрены. Конечно, они были шовинистами, и в силу того статьи Бришо, не многим, к тому же, уступавшие писаниям, что услаждали вкус г-жи Вердюрен, могли бы прийтись им по вкусу. Мы помним, тем не менее, что уже в Распельере Бришо из великого человека, каковым он слыл у Вердюренов поначалу, превратился если не в козла отпущения вроде Саньета, то по меньшей мере в мишень их едва прикрытых насмешек.

Так или иначе, в то время он был одним из верных, что гарантировало ему долю выгод, по умолчанию предусмотренных уставом кланчика для основоположников и ассоциированных членов. Но когда салон — может быть, из-за войны или в результате стремительной, хотя и серьезно запоздавшей кристаллизации светскости, чьи необходимые, но незримые элементы уже давно насытили салон Вердюренов, — открылся для нового общества, верных, поначалу служивших наживкой для новой публики, стали приглашать не так часто, и этот процесс затронул даже Бришо. Несмотря на Сорбонну, несмотря на Институт, до войны его слава не покидала границ салона Вердюренов. Стоило ему, однако, взяться за писание статей, выходявших почти ежедневно, и украшенных теми фальшивыми бриллиантами, которые, как мы помним, он так часто бесцельно изводил на верных, и богатых, с другой стороны, подлинной эрудицией — а в сколь бы занятую форму Бришо ее ни облакал, как и подобает настоящему «сорбонщику», скрывать он ее не старался, — и «большой свет» был ошеломлен. В кои-то веки свет снизошел к далеко не ничтожному человеку, способному привлечь внимание плодovitостью ума и богатствами памяти. И пока три герцогини намеревались посетить прием г-жи Вердюрен, три другие оспаривали честь принимать у себя за ужином великого человека — он без колебаний отправлялся к одной из них, не чувствуя себя связанным обязательствами, поскольку г-жа Вердюрен, раздраженная успехом его статей в Сен-Жерменском предместье, старалась не допустить его

присутствия, если он мог встретиться в ее доме с той или иной блистательной особой, еще с ним не знакомой и немедля поспешившей бы его к себе заманить. И так, журналистика (в которой он с опозданием проявил, снискав почет и превосходное вознаграждение, те же свои способности, которые всю жизнь расточал задарма в безвестности салона Вердюренов — статьи стоили ему не бóльших усилий, столь он был речист и умен, чем болтовня) привела бы Бришо и даже, как одно время казалось, уже привела к бесспорной славе... если бы не г-жа Вердюрен. Безусловно, статьи Бришо были далеки от того совершенства, которое приписывал им свет. Сквозь педантизм ученого нередко проступала вульгарность человека. И наряду с ничего не говорящими образами («немцы больше не смогут смотреть в лицо статуе Бетховена; Шиллер перевернулся в своей могиле; еще не присохли те чернила, которыми был парафирован бельгийский нейтралитет; Ленин говорит, но его слова уносит степной ветер»), там были и такие тривиальности: «Двадцать тысяч заключенных — вот это цифра; наше командование будет смотреть в оба; мы хотим победить, вот и всё». Но сколько ко всему этому было примешано знаний, ума, сколько в этих статьях было справедливых размышлений! Г-жа Вердюрен, однако, всегда бралась за статьи Бришо с тайным злорадством, рассчитывая найти в них что-нибудь несуразное; она читала их с самым тщательным вниманием, чтобы быть уверенной наверняка, что ничто не ускользнуло от ее глаз. К несчастью,

пристально искать не приходилось. Восторженное цитирование действительно малоизвестного автора, по крайней мере, неизвестного авторам книги, о которой шла речь в статье Бришо, инкриминировалась последнему как доказательство несносного педантизма, и г-жа Вердюрен с нетерпением ждала ужина, чтобы вызвать раскаты смеха гостей. «Ну что вы скажете о сегодняшней статье Бришо? я вспоминала о вас, когда прочла цитату из Кювье.⁹⁰ Ей-богу, он сошел с ума». — «Я еще не читал статью», — отвечал Котар. — «Как, еще не читали? Поверьте мне на слово, большого удовольствия лишились. Брюхо со смеху надорвешь». — и в глубине души довольная, что еще никто статьи не читал, что она сама может пролить свет на ее нелепости, г-жа Вердюрен приказывала дворецкому принести «Тан» и зачитывала статью вслух — с пафосом выкрикивая простейшие фразы. Весь вечер после ужина продолжалась антибришовская кампания, но с некоторыми оговорками. «Я не говорю об этом громко, — кивнула она на графиню Моле, — некоторые никак на него не налюбуются. Светские люди куда наивней, чем принято считать». Эта фраза была произнесена достаточно громко, чтобы г-жа Моле поняла, что говорят о ней, но пониженным тоном, чтобы показать, что не желают быть услышанными ею; она трусливо отреклась от Бришо, которого на самом деле уподобляла Мишле. Она признала правоту г-жи Вердюрен, но чтобы закончить разговор чем-то, по ее мнению, неоспоримым, добавила: «Чего у него не отнять, так это очень хорошего стиля». — «Вы думаете,

что он пишет хорошо, да? — переспросила г-жа Вердюрен. — а я думаю, что он пишет как свинья», — эта наглость вызвала смех у светской публики еще и потому, что г-жа Вердюрен, будто сама испугавшись слова «свинья», произнесла его полупшепотом, зажав рот рукой. Бришо лишь распялял ее бешенство, наивно хвастаясь своим успехом, несмотря на припадки меланхолии, вызванные тем, что цензура — он говорил об этом по привычке употреблять новые слова, чтобы показать, что не слишком уж он академичен, — «зазерняла» абзацы в его статьях. В присутствии Бришо она не то чтобы явно давала понять (разве что была угрюма — это предупредило бы человека более проницательного), как низко она ценит писания Ломаки. Однажды, правда, она заметила ему, что не стоит так часто употреблять местоимение «я». Он и правда этим грешил; во-первых, потому что по профессорской привычке нередко прибегал к таким выражениям: «я признаю, что» и даже, вместо «мне хотелось бы», — «я хочу, чтобы»: «Я хочу, чтобы громадная протяженность фронтов привела и т. д.», а также потому, что, бывлой воинствующий антидрейфусар, учуявший германские приготовления задолго до войны, он нередко проговаривался: «Я разоблачал с 1897-го»; «Я указывал в 1901-м»; «Я поставил этот вопрос ребром в моей брошюрке, которую теперь сложно достать (*habent sua fata libelli*)»; эти выражения вошли у него в привычку. Он густо покраснел от выговора г-жи Вердюрен, произнесенного, к тому же, язвительным тоном. «Вы правы, мадам. Некто столь же нелюбезный

к иезуитам, как г-н Комб, хотя предисловия к его книге не писал наш сладостный наставник в прелестном скептицизме, Анатоль Франс, — последний, кажется, был моим неприятелем... в допотопные времена, — говорил, что “я” всегда отвратительно». С того дня Бришо заменял первое лицо безличными конструкциями: они не только не мешали читателю видеть, что автор говорит о себе, но также позволяли автору говорить о себе безостановочно, растолковывать все свои фразы, строить статьи на одном отрицании, и всегда безличном. Например, когда Бришо рассказывал, в другой статье, что немецкие войска выдыхаются, он начинал статью так: «Уже не скрыть правду: становится ясно, что немецкие армии утратили доблесть. Конечно, никто не говорил, что у них больше нет доблести, и никто не скажет, что отныне они не доблестны совсем. Ведь нельзя назвать землю освобожденной — она еще не освобождена... и т. д.».⁹¹ Одним словом, только изложив всё то, что он «не сказал бы», напомнив, что он говорил прежде, и что Клаузевиц, Жомини, Овидий, Аполлоний Тианский и прочие изрекли много или мало веков тому назад, Бришо без труда собрал бы материал для большого тома. И очень жаль, что он его не напечатал, потому что его крайне содержательные статьи теперь сложно достать. Сен-Жерменское предместье, наставленное г-жой Вердюрен, высмеивало Бришо у нее в гостях, но по-прежнему, втайне от кланчика, восхищалось Бришо. Затем смеяться над ним вошло в моду, как раньше модно было испытывать восхищение, и те же самые дамы, которые как и раньше

читали его статьи и в глубине души восхищались им, умеряли восторги и высмеивали его на публике, чтобы не казаться менее утонченными, чем другие. Никогда еще в кланчике не говорили столько о Бришо, но на сей раз лишь смеха ради. Для новичков критерием ума служило их отношение к статьям Бришо; если новичок с первого раза не угадывал, ему не упустили случая указать, по какому признаку распознаются умные люди.

«В конце концов, всё это жутко, дорогой мой, и причина нашего уныния — не только докучные статьи. Нам говорят о вандализме, о разбитых статуях. Но уничтожение стольких прекрасных юношей, этих несравненных полихромных статуй — разве это не вандализм? и чем город, в котором не осталось красивых людей, лучше городов, в которых разбили скульптуру? Какое удовольствие я получу от ужина в ресторане, если меня там обслужат старые замшелые шуты вроде отца Дидона или даже бабки в чепчиках, лишь вид которых наводит на мысль, что меня занесло в бульонную Дюваля? Поистине, мой друг, я имею основания так говорить, ибо красота должна быть воплощена в живой материи. Велика радость, если тебя обслуживают существа рахитические, очкастые, у которых дело о непригодности на лице! Это же полная противоположность прежним временам: захочется теперь в ресторане успокоить глаза на каком-то красавце, и приходится смотреть не на официантов, но на посетителей. Но слугу-то ведь всегда можно было увидеть снова, хотя они частенько менялись, а поди тут

узнай, кто это был, когда он снова сюда придет, этот английский лейтенант — он здесь, наверное, вообще в первый раз и его, может быть, уже завтра убьют. Когда Август Польский, если верить очаровательному Морану, автору замечательной “Клариссы”,⁹² обменял один из своих полков на коллекцию китайского фарфора, он совершил, на мой взгляд, дурную сделку. Представьте только: все эти огромные ливрейные лакеи по два метра ростом, которые украшали монументальные лестницы наших лучших друзей, — они все были убиты, а пошли на фронт в основном потому, что им сказали, что война не продлится и двух месяцев. Да и откуда им знать, как мне, силу Германии, доблесть прусского племени», — сказал он, забывшись.

Заметив, что слишком явно обнаруживает свои взгляды, барон продолжил: «Если я боюсь за Францию, то не столько Германия вызывает мои опасения, сколько сама война. В тылу воображают, что война — это гигантский матч бокса, в котором все мы, благодаря газетам, участвуем издалека. Но здесь нет никакой связи! Это болезнь, и когда вам кажется, что вы с ней справились, она берется за другой орган. Сегодня будет освобожден Нуайон, завтра не будет ни хлеба, ни шоколада, а послезавтра тот, кто спокойно раздумывал, что пойдет в случае надобности под пули — о чем у него, впрочем, никакого представления, — прочтет в газете, что его возраст призван, и потеряет голову. Что же касается гибели таких уникальных шедевров, как Реймский собор, то намного сильнее меня ужасает уничтожение

неисчислимого множества ансамблей, благодаря которым даже в крохотной французской деревушке можно было видеть нечто назидательное и прелестное».

Я тотчас же вспомнил о Комбре; но раньше мне казалось, что я упаду в глазах г-жи де Германт, если она узнает о том незавидном положении, что занимала в Комбре моя семья. Я спрашивал себя, не стало ли уже известно о том Германтам и де Шарлю от Леграндена, Свана, Сен-Лу или Мореля. Однако не столь для меня тягостным было молчание, сколь ретроспективные разъяснения. И хотел только, чтобы г-н де Шарлю не заговорил о Комбре.

«Сударь, не скажу ничего плохого об американцах, — продолжил он, — их великодушные неистоцимо, и поскольку в оркестре этой войны нет дирижера, и каждый вступает в танец много после других, и американцы начали, когда мы, можно сказать, дошли до конца, у них еще остался задор, остывший у нас за последние четыре года. Даже до войны они любили нашу страну, наше искусство, они дорого платили за наши шедевры. Много их там теперь. Но это искусство, так сказать, беспочвенно, по выражению г-на Барреса, в нем нет ничего общего с неизъяснимой прелестью Франции. Замок поясняет церковь, а сама она, как место паломничества, толкует «песни о подвигах». У меня нет нужды превозносить славу моих предков и рассказывать об их альянсах, да и не об этом речь. Но не так давно, чтобы решить один материальный вопрос, я посетил мою племянницу Сен-Лу, проживающую теперь

в Комбре, — хотя между мной и этой четой в последнее время произошло охлаждение. Комбре — маленький городок, похожий на множество других. В храме, на витражах, как дарители были изображены наши предки, на других были наши гербы. Там был наш придел, там были наши могилы. Эту церковь разрушили французы и англичане, потому что немцы сделали ее наблюдательным пунктом. Погибает эта смесь уцелевшей истории и искусства, самая суть Франции, и это продолжается по сей день. Я, разумеется, не настолько глуп, чтобы исходя из семейных соображений ставить на одну доску разрушение церкви в Комбре и Реймского собора, этого готического чуда, так естественно воскресившего чистоту античных статуй, или собора в Амьене. Я не знаю, воздета ли еще рука святого Фирмина.⁹³ Если она разбита, то высочайшее утверждение веры и силы уже исчезло из этого мира...» — «Их символ, месье, — ответил я. — как и вы, я поклоняюсь определенным символам. Но было бы абсурдно приносить в жертву символу означенную им реальность. Следует почитать соборы лишь до тех пор, пока для их сохранения не придется отвергнуть выраженные ими истины. Поднятая рука св. Фирмина замерла словно бы в военном приказе: разбейте нас, если того требует честь. Нельзя приносить людей в жертву камням, красота которых лишь на секунду запечатлела человеческие истины». — «Я понимаю, что вы хотите сказать, — ответил г-н де Шарлю. — И со стороны г-на Барреса, который слишком увлекся, увы, паломничествами к страсбургской статуе и могиле

Деруледа, было очень трогательно и благородно заметить, что не так для нас дорог Реймский собор, как жизнь наших пехотинцев. Это высказывание выставляет в довольно смешном свете ругань наших газет по поводу командовавшего там немецкого генерала — он заявлял, что для него ценность не Реймский собор, а немецкий солдат. Впрочем, больше всего раздражает и удручает тот факт, что обе стороны повторяют одни и те же слова. Германские промышленники заявляют, что Бельфор необходим для защиты их нации от наших реваншистских поползновений, исходя при этом из тех же соображений, из-за которых Баррес требует Майнца, чтобы оградить нас от всякого намерения бошей к вторжению. Почему восстановление Эльзас-Лотарингии не послужило для французов предлогом, чтобы объявить войну, однако служит предлогом, чтобы ее продолжать, чтобы каждый год начинать ее заново? Вы считаете, похоже, что отныне победа Франции обеспечена, и я всем сердцем желаю этого, не сомневайтесь. Но с тех пор, как не без основания, а может быть и ошибочно, союзники уверились в победе (со своей стороны я удивлен этому расчету, но сколько я уже видел бумажных пирровых побед, о цене которых нам никто не говорит), а боши эту уверенность потеряли, мы видим, что Германия старается приблизить мир, а Франция — продлить войну; справедливая, и имеющая основания произнести слова справедливости Франция! Но есть ведь еще и “добрая Франция”, и она должна найти слова сострадания, хотя бы ради своих детей, чтобы весенние

цветы украшали не только могилы. Будьте искренни, мой дорогой друг, вы сами излагали мне теорию, согласно которой мир существует только благодаря вечно возобновляемому творению. Творение мира не имело места единожды, говорили вы мне, оно по необходимости совершается каждый день.⁹⁴ Итак, если вы будете последовательны, то вы не станете исключать войну из этой теории. Наш бесподобный Норпуа напрасно пишет (прибегая к одному из своих риторических аксессуаров, столь же дорогих для него, как “рассвет победы” и “генерал Зима”): “Теперь, когда Германия захотела войны, кости в игре”, — истина в том, что новая война объявляется каждое утро. Следовательно, тот, кто хочет ее продолжить, столь же виновен, как тот, кто ее начал, и быть может вдвойне, потому что начавший ее не предвидел всех ужасов.

И ведь никто не скажет, что эта долгая война, даже если она увенчается победой, не станет для нас пагубой. Сложно говорить о том, что не имело прецедентов, о последствиях для организма операции, которую совершают впервые. Конечно, спорить тут нечего, многие опасные новшества в итоге оказались не так вредны. Самые дальновидные республиканцы называли безумием отделение церкви. Это отделение, однако, прошло на ура. Никто и слова сказать не успел, а вот уже и Дрейфус реабилитирован, и Пикар военный министр. Но как мы только не страшимся общего переутомления от этой непрерывной, многолетней войны! что сотворят люди после нее? не сломит ли их эта усталость, не сведет ли их с ума? а ведь всё это может плохо

обернуться, если не для Франции, то по меньшей мере для ее правительства, — может быть, для ее общественного устройства. Когда-то вы советовали мне прочесть восхитительную “Эме Квани” Морраса.⁹⁵ Я был бы немало удивлен, если бы какая-нибудь Эме Квани наших дней не ожидала от войны, ведомой Республикой, того, чего она ждала от войны, которую в 1812-м вела Империя. Если сегодняшняя Эме существует, сбудутся ли ее ожидания? я бы этого не хотел.

Вернемся к войне: начал ли ее император Вильгельм? я сильно в этом сомневаюсь. Но даже если он действительно ее начал, то чем его поступок хуже деяний Наполеона; мне они представляются отвратительными, но я удивлен, что их находят “ужасными” те, кто у нас кадит Наполеону, — и эти-то люди в день объявления войны восклицали, как генерал По: “Я ждал этого дня сорок лет. Это счастливейший день моей жизни”. Одному богу ведомо, возмущался ли кто-нибудь больше меня, когда в общество была допущена целая толпа всех этих националистов и милитаристов, когда любителей искусства обвиняли в том, что их занятия несут гибель родине, потому что всякая невоинственная культура тлетворна. С настоящими светскими людьми тогда попросту не считались — считались с генералами. Одна сумасбродка чуть было не представила меня г-ну Сиветону. Вы скажете, что я хотел защитить жалкие светские приличия. Но несмотря на кажущуюся их никчемность, они уберегли нас от целого ряда эксцессов. Я всегда питал уважение к тем, кто защищает грамматику или логику. Лет

через пятьдесят мы поймем, что они спасли нас от многих бед. Однако наши националисты — это законченные германофобы, это самые “упертые” люди на свете. Но за последние пятнадцать лет их философия полностью изменилась. Если их действительная цель — продолжение войны, то, видите ли, ради истребления воинственного племени и из любви к миру. Потому что воинственная культура, которая казалась им такой прекрасной еще пятнадцать лет назад, теперь приводит их в ужас, они не просто обвиняют Пруссию в том, что там доминирует военщина, они постоянно твердят нам, что военные культуры были разрушителями всего, что отныне представляется им ценным — не только искусств, но даже галантности. Достаточно обращения одного из этих критиков в национализм, и он внезапно становится миротворцем. Он убежден, что в любой воинственной культуре женщине отведена униженная и незначительная роль. Только попробуй ему растолковать, что “Дамы” средневековых рыцарей и Беатриче Данте были, наверное, вознесены не менее высоко, чем героини г-на Бека.⁹⁶ Наверное, скоро мне придется ужинать за одним столом с русским революционером или каким-нибудь из наших генералов, ведущих войну, потому что они ее ненавидят и с целью покарать народ, культивирующий идеал, который для них же самих представлялся — всего лишь десять лет назад — единственным стимулирующим средством. Еще не так давно мы чтили несчастного царя, потому что он созвал Гаагскую конференцию. А теперь все приветствуют

свободную Россию, и уже никто не помнит, благодаря чему ее славят. Так вращается колесо мира.

Однако слова, которые говорят в Германии, так похожи на фразы французских политиков, что можно подумать, будто немцы нас цитируют: им не наскучивает повторять, что они “сражаются за существование”. Когда я читаю: “Мы будем биться с жестоким и беспощадным врагом до тех пор, пока не будет заключен мир, который впредь послужит нам порукой от любой агрессии, чтобы кровь наших храбрых солдат не была пролита напрасно” или: “кто не с нами, тот против нас”, то я не знаю, принадлежат ли эти фразы императору Вильгельму или г-ну Пуанкаре, потому что они оба в нескольких вариантах произносили их раз по двадцать, — хотя, должен я признать, в данном случае император подражал президенту Республики. Франция не выстояла бы в этой долгой войне, если бы по-прежнему была слаба, и Германия не спешила бы ее завершить, если бы не ослабла. Она не так сильна, как раньше, но сильна еще, и вы в этом убедитесь».

У него вошло в привычку громко выкрикивать слова — от нервозности, чтобы найти выход для своих впечатлений, от которых ему, не преуспевавшему в искусствах, надо было избавиться, как авиатору от бомб, бросающему их в чистое поле, и даже если его слова не достигали цели, в свете, где они тоже падали в пустоту, где его слушали из снобизма, по привычке и, поскольку он тиранил свою аудиторию, можно сказать — подневольно и даже из страха. К тому же,

на бульварах это выступление было призвано продемонстрировать презрение к окружающим: как он не понижал голоса, так он не уступал им дорогу. Но этот голос резал слух, он обращал на себя внимание, и самым существенным было то, что люди оборачивались и до них доходил смысл его слов — нас могли принять за пораженцев. Я сказал об этом г-ну де Шарлю и только вызвал припадок его веселья. «Согласитесь, это было бы весьма забавно, — ответил он, а затем воскликнул: — в конечном счете, кто знает, не попадем ли мы в завтрашнюю хронику. Почему бы меня, собственно, не расстрелять в Винсеннских рвах? Ведь случилась же такая беда с моим двоюродным дедом, герцогом Энгиевским.⁹⁷ Страсть к благородной крови сводит чернь с ума, она в этом поразборчивей львов. Знаете, для этих животных, чтобы броситься на г-жу Вердюрен, достаточно ссадины у нее на носу. Которого по молодости мы называли “пятаком”!». И он захохотал во всю глотку, словно бы мы с ним вдвоем сидели в гостиной.

Замечая, что шествие г-на де Шарлю проявляет в сумраке каких-то подозрительных личностей, что они скапливаются немного позади, я не мог решить, хочет ли он, чтобы я оставил его, или же напротив, чтобы я сопровождал его дальше. Так встретив старика, страдающего частыми эпилептиформными припадками, и уяснив себе по непоследовательности его поступков, что приступ, по-видимому, неминуем, мы задаемся вопросом, нуждается ли он в нас, как в возможном подспорье, или же скорее мы

опасны ему как свидетели, от которых он хотел бы скрыть припадок, одно присутствие которых — тогда как полный покой помог бы ему справиться с затруднением, — быть может, приближает падучую. Но в случае больного степень вероятности предполагаемого события определяется по походке — он пишет кренделя, как пьяница. Тогда как в случае г-на де Шарлю эти многочисленные расходящиеся позиции, предзнаменование вероятного инцидента, — хотя я не мог решить, стремится ли он к нему, или боится, что мое присутствие помешает его осуществлению, — представлялись какой-то хитроумной мизансценой, в которой был задействован не сам барон, шествовавший прямолинейно, но цельный круг фигурантов. Но, судя по всему, он все-таки предпочел избежать столкновений и утащил меня за собой в поперечную улицу, где было еще темней, чем на бульварах, но тем не менее и там на нас постоянно сыпались, если только не к нему они все сбегались, солдаты всех армий и наций — юношеский прилив, одолевший в утешение г-ну де Шарлю ту бешеную стремнину, что унесла мужчин на передовые в первые дни мобилизации и образовала в Париже пневматическую пустоту. Г-н де Шарлю без устали выражал свое восхищение мелькавшими у нас перед глазами блестящими униформами, которые превратили Париж в какой-то космополитический центр, в какой-то порт, столь же ирреальный, как ведута художника, выстроившего

несколько зданий, чтобы на их фоне собрать самые разнородные и пестрые костюмы.

Он сохранял прежнее уважение и привязанность к дамам, которых обвиняли в капитулянтстве, как раньше к дамам, уличенным в дрейфусарстве. Он сожалел только, что, унизившись до политики, они дали повод «газетным пересудам». Его отношение к ним не изменилось. Ибо легкомыслие барона носило систематический характер, и род, в совокупности с красотой и прочими достоинствами, был чем-то нетленным, в отличие от войны и дела Дрейфуса — явлений заурядных и мимолетных. Если бы герцогиню де Германт расстреляли за попытку сепаратного мира с Австрией, в его глазах она несколько не утратила бы своего благородства, и опозорилась бы не более, чем с современной точки зрения — Мария Антуанетта, приговоренная к гильотине. В такие минуты г-н де Шарлю, великодушный, как своего рода Сен-Валье или Сен-Мегре,⁹⁸ прямой, нестигаемый, торжественный, говорил степенно, ничем не обнаруживая манер, изобличающих людей его пошиба. И все-таки, почему никто из них не может говорить нормальным голосом постоянно? Даже теперь, когда его голос гудел басовыми тонами, он фальшивил, словно нуждаясь в настройщике.

Впрочем, г-н де Шарлю не знал куда деть голову в буквальном смысле этого слова, и часто вскидывал ее, досадуя, что не взял с собой бинокля, хотя он ему вряд ли бы помог — из-за позавчерашнего налета цеппелинов, разбудившего

бдительность общественных властей, было много солдат прямо в небесах. Я заметил аэропланы несколькими часами ранее, они показались мне какими-то насекомыми, коричневыми пятнышками в вечерних небесах; но теперь они улетели в ночь, и потухали в ней как мерцающие фонари, как тлеющие головешки. Может быть, мы оттого переживаем столь сильное чувство красоты, глядя на эти мерцающие земные звезды, что они заставляют нас смотреть в небо, а обычно мы не часто поднимаем к нему глаза. Теперь на Париж, как в 1914-м на Париж, беззащитно ждавший удара врага, падал неизменный древний свет мертвенно и волшебю ясной луны, струившей на еще нетронутые монументы бесполезную красоту своего сияния, — но так же, как в 1914-м, и более многочисленные, чем тогда, помигивали многочисленные огоньки, то с аэропланов, то от прожекторов Эйфелевой башни; ими управляла умная, дружеская и неусыпная воля, и я испытывал ту же признательность, то же чувство покоя, как в комнате Сен-Лу, в одной из келий военного монастыря, где в расцвете юности учились без колебаний жертвовать собой ревностные и дисциплинированные сердца.

После недавнего налета, когда небо было подвижнее земли, оно затихло, как море после бури, но, как море, оно еще не успокоилось до конца. Словно ракеты, поднимались в небо аэропланы, чтобы соединиться со звездами, а прожектора медленно прочерчивали в разрезанном небе, в его бледной звездной пыли, свои блуждающие млечные

пути. Теперь среди созвездий выстраивались аэропланы, и благодаря этим «новым светилам»⁹⁹ возникало чувство, будто мы очутились в другом полушарии.

Г-н де Шарлю выразил свой восторг перед авиаторами и, поскольку теперь он мог не сдерживать свои германофильские, как и прочие склонности, целокупно их при этом отрицая, добавил: «Однако немцы, которые летают на гота, восхищают меня не меньше. И еще на цепелинах — представьте, какая смелость для этого нужна! Это же герои, чего тут говорить. Какой от них, спрашивается, вред для гражданских — ведь лупят же по ним батареи? Вы боитесь гота и пушек?» я ответил, что нет, но в этом был, наверное, жертвой самообмана. Быть может, когда леность приучила меня откладывать работу со дня на день, я вообразил, что схожим образом дело обстоит со смертью. Можно ли бояться пушки, если ты уверен, что сегодня она тебя не убьет? Впрочем, поскольку эти представления, о падающих бомбах, о возможной смерти, формировались независимо друг от друга, ничего трагического к тому образу, что был создан мной о полете немецких летательных аппаратов, они не прибавляли; пока как-то вечером с одного из них, трясущегося и разрезанного на моих глазах валами туманного, мрачного и бурного неба, с аэроплана, смертоносность которого была мне известна, но который виделся мне лишь чем-то звездным и небесным, я не увидел полет бомбы, брошенной прямо в нас. Дело в том, что подлинная реальность угрозы воспринимается нами только в той — несводимой к чему-то

уже известному — новизне, которая зовется впечатлением, и нередко оно, как в этом случае, сведено к одной линии, описывающей общую интенцию, линии со скрытой мощью искажающего ее исполнения; — тогда как на мосту Согласия, около аэроплана, нападающего и затравленного, словно то были отраженные в облаках фонтаны Елисейских полей, площади Согласия и Тюильри, светлые струи прожекторов преломлялись о небо, и то были тоже линии, исполненные прозорливой охранительной волей могущественных и мудрых людей, которым, как ночью в донсьерской казарме, я был благодарен за то, что их сила взяла на себя безоговорочную заботу о нас.¹⁰⁰

Ночь была так же прекрасна, как в 1914-м, и Париж был в такой же опасности. Казалось, что свет луны растягивает ласковое магниевое свечение, позволяя напоследок запечатлеть ночные образы прекрасных ансамблей Вандомской площади, площади Согласия; и тот страх, что вызывали во мне разрывы бомб, которые вот-вот могли разрушить эти ансамбли, придавал их еще нетронутой красоте какую-то полноту, словно бы они натужились загодя, подставляя ударам свою беззащитную архитектуру. «Вам не страшно? — переспросил г-н де Шарлю. — Парижане не чувствуют опасности. Говорят, что у г-жи Вердюрен собираются каждый вечер. Я об этом знаю только понаслышке, мне о них ничего не известно, я с ними совсем порвал», — добавил он, опустив не только глаза, будто прошел телеграфист, но также голову, плечи, и приподняв руку в жесте, выражавшем если не «я умываю руки», то

по меньшей мере «не могу вам ничего сказать» (хотя у него ничего не спрашивал). «Я знаю, что Морель часто ее посещает, — сказал он мне (он упомянул его впервые). — Говорят, он раскаивается в прошлом, он желает снова со мной сблизиться, — добавил он, выказывая этим и легкое представление Предместья («Ходят упорные слухи, что Франция и Германия устанавливают контакты, и более того — переговоры уже начались») и влюбленного, не убежденного многократным и решительным отпором. — во всяком случае, если он хочет помириться, надо хотя бы сказать об этом; я старше, и не мне делать первые шаги». Пожалуй, что говорить об этом было бессмысленно, ведь это было очевидно. Но он кривил душой и этим приводил меня в замешательство: говоря, что первые шаги следует делать не ему, он напротив совершал их, рассчитывая на то, что я вызовусь их мирить.

Конечно, мне хорошо уже была известна эта наивная либо притворная легковёрность влюбленных, либо тех, кто не принят еще у кого-то и приписывает предмету своих стремлений желание, последним не проявленное, несмотря на целый ряд докучных ходатайств. Но также у меня создалось впечатление — благодаря той неожиданной взволнованности, с которой г-н де Шарлю отчеканил эти слова, и беспокойству, что задрожало в глубине его глаз, — что помимо заурядной настырности в них было нечто еще. Я не ошибался, и сейчас расскажу о двух событиях, ретроспективно мне доказавших это. (Второе из них произойдет уже после смерти г-на де Шарлю, и мне

придется забежать на несколько лет вперед. Однако он умрет много позже, и мы еще несколько раз его увидим, когда он мало чем будет напоминать знакомого нам человека, особенно при последней встрече — во времена, когда Морель будет окончательно им забыт.) Итак, приблизительно через два или три года после той прогулки по бульварам я встретил Мореля. Я сразу же вспомнил о г-не де Шарлю, я подумал, что встреча с Морелем доставила бы барону удовольствие, и принялся упрашивать скрипача посетить его, хотя бы один раз. «Он сделал вам столько добра, — сказал я Морелю; — к тому же, он стар и может умереть, пора забыть дразги и изгладить следы вашей ссоры». По-видимому, Морель был полностью со мной согласен в том, что примирение желательно, но не менее категорично отказывался даже от однократной встречи с г-ном де Шарлю. «Вы не правы, — сказал я ему. — Чем ваш отказ объяснить: упрямством, леностью, злобой, неуместной гордыней, добродетелью (не сомневайтесь, она не пострадает), кокетством?» Скрипач скривил лицо, — признание, несомненно, дорого ему стоило, — и с дрожью отвечал: «Ничего подобного, добродетель я в гробу видал, а злоба: наоборот, мне его почти жаль; и не из-за кокетства, тут кокетничать нечего; не от лени, я иногда целыми днями от скуки пухну, — нет же, просто... только никому не говорите, даже вам об этом говорить лишнее, я просто... просто я боюсь!» и по телу Мореля пробежала дрожь. Я признался, что не понимаю его. «Не спрашивайте меня больше, не будем об этом говорить, вы его не знаете,

как я; можно сказать, что вы его не знаете совсем». — «Но какой вред он вам причинит? Тем более, когда ссора уйдет в прошлое, он постарается вас ничем не задеть. Кроме того, вы же знаете, как он добр». — «Черт возьми! знаю ли я, как он добр. Сама деликатность и порядочность! Но оставьте меня, я умоляю вас, не говорите мне о нем больше, в этом стыдно признаться, но я боюсь!»

Второй из этих фактов относится к тому времени, когда г-н де Шарлю был мертв. Мне прислали несколько сувениров, завещанных им, и письмо в тройном конверте, написанное по меньшей мере за десять лет до кончины. Он был серьезно болен, составил завещание, а после выздоровел, чтобы скатиться в то состояние, в котором он предстанет нашим глазам в день утреннего приема у принцессы де Германт; письмо, забытое им в сейфе, с завещанными друзьям предметами, пролежит там семь лет — семь лет, за время которых он навсегда забудет Мореля. Наброшенное тонким и твердым почерком, письмо гласило:

«Мой милый друг, пути Провидения неисповедимы. Подчас его орудием служит низость посредственного человечешки, дабы оградить от искушений праведничью высоту. Вы знаете Мореля, откуда он исшел, до каких вершин я хотел его вознести — иными словами, до своего уровня. Вы знаете, что он предпочел вернуться не к праху и пеплу, из него же всяк человек, поистине феникс, может возродиться, но к грязи, кишасцей гадюками. Он пал — но это спасло меня от падения. Вам известно, что на моем гербе начертан девиз Спасителя:

Inculcabis super leonem et aspidem, что там изображен муж, попирающий стопами ног своих льва и змея, которые изображены щитодержателями.¹⁰¹ Но если я смог раздавить собственного льва, льва в своей душе, то только благодаря змее, ее осмотрительности, которую я только что опрометчиво назвал низостью, ибо глубокая мудрость Евангелия сотворила из нее добродетель, — по крайней мере, добродетель для прочих. Наша змея, шипя с такими гармоническими модуляциями, когда у нее был заклинатель — околдованный, к тому же, и сам, — и в подлости своей, музыкальная рептилия, сохраняла добродетель, почитаемую мной ныне божественной — благоразумие. Это божественное благоразумие придало ему сил устоять пред моими призывами, когда я передавал ему, чтобы он пришел ко мне, и не будет мне покоя в этом мире и надежды на прощение в следующем, если я вам в том не признаюсь: тут он проявил себя инструментом божественной мудрости, ибо я решил, что он не уйдет от меня живым. Одному из нас суждено было погибнуть. Я решил его убить. Господь внушил ему благоразумие, чтобы оградить меня от преступления. Не может быть сомнений — здесь решающую роль сыграло заступничество архангела Михаила, моего святого покровителя, и я молю его простить мне, что не вспоминал о нем столько лет и дурно отвечал на его бесчисленные благодеяния, особенно же на его помощь в моей борьбе со злом. Я обязан этим служителю Господню и говорю в полноте веры моей и в чистоте рассудка моего: Отец Небесный запретил Морелю ко мне приходить. Итак, теперь умираю я.

Преданный вам, semper idem,

П. Г. Шарлю».

Тогда я понял, чего боялся Морель; конечно, в этом письме изрядно было и спеси, и литературщины. Но признание было правдивым. И Морель знал лучше меня, что «симптомы буйнопомешанных», которые находила г-жа де Германт в своем девере, не исчерпывались, как я полагал доселе, краткими вспышками показного и бездейственного бешенства.

Но вернемся назад. Мы шли по бульварам с г-ном де Шарлю, только что подрядившим меня, несколько неопределенным образом, на посредничество в мирных переговорах между ним и Морелем. Не дождавшись ответа, он продолжил: «Впрочем, я не знаю, почему он не играет; сейчас военное время и не устраивают концертов; но ведь люди танцуют, ходят на званые обеды, женщины изобретают “амбрин”¹⁰² для кожи. Празднества заполнили последние — если немцы продвинутся дальше — дни нашей Помпеи. Только смерть избавит их от легкомыслия. Стоит лаве какого-нибудь германского Везувия (их морские орудия не менее ужасны, чем вулкан) увековечить их прерванные движения, застичь их за туалетом, и много веков спустя дети будут рассматривать в своих учебниках картинки с г-жой Моле, накладывающей последний слой румян, чтобы отправиться к золовке, или с Состен де Германт, только что нарисовавшей фальшивые брови. Это станет темой для лекций всяких Бришо грядущего: легкомыслие эпохи

десять веков спустя — материя самых основательных исследований, особенно если она законсервирована целиком, вулканической лавой или ее подобием — бомбардировкой. Какие мы оставим прекрасные свидетельства для историков будущего, если удушливые газы, вроде испущенных Везувием, и обвалы, вроде тех, что погребли Помпеи, сохранят в целости опрометчивые жилища, чьи хозяева не успели отправить в Байонну статуи и картины! Впрочем, разве это не Помпеи местами — вот уже год, каждый вечер, как эти люди лезут в свои погреба, но не с тем чтобы достать старую бутылку мутонаротшильда или сент-эмильона, а чтобы припрятать драгоценности, как священники Геркуланума, застигнутые смертью, когда они выносили священные вазы? Предмет, который принесет смерть владельцу, всегда вызывает привязанность. Париж не был основан Гераклом, как Геркуланум. Но какие сходства! и прозрение присуще не только нашему времени — каждая эпоха владела этим даром. Если мне приходит на ум, что наверное завтра нас ждет участь городов у Везувия, то помпейские жители чувствовали, что им грозит судьба проклятых городов Библии. На стене одного помпейского дома нашли изобличительную надпись: «Содом и Гоморра». Я не знаю, от мыслей ли о Содоме и того, что они пробуждали в нем, или вспомнив о бомбардировке, г-н де Шарлю поднял на мгновение глаза к небу, но тотчас опустил их к земле. «Я восхищаюсь всеми героями этой войны, — сказал он. — Вы только подумайте, дорогой мой, в начале войны

я несколько опрометчиво называл английских солдат заурядными футболистами, излишне самонадеянными, чтобы помериться силами с профессионалами — и какими профессионалами! Итак, даже чисто с эстетической точки зрения они просто-напросто греческие атлеты, вы понимаете, греческие, милейший, молодые люди Платона — или, точнее, спартанцы. Мои друзья посещали Руан, в котором теперь их лагерь, и видели там чудеса, просто чудеса, чудеса невообразимые. Это больше не Руан, это другой город. Конечно, там остался и старый Руан, с изможденными святыми собора. Разумеется, всё это тоже прекрасно, но это другое. И наши пуалю! Даже не найду слов, чтобы сказать, как я очарован нашими пуалю, молодыми парижатами — вот как этот, что идет с разбитным видом, миной шустрой такой, забавной. Частенько я их останавливаю, болтаю с ними — какое остроумие, какой здравый рассудок, — а парни из провинции! какие они милые, какие славные, с их раскатистым “р” и местечковым арго! я много жил в деревне, ночевал на фермах, я понимаю их язык. Но восхищаясь французами, мы не должны принижать наших врагов, иначе мы умалились бы сами. Вы не знаете, что такое немецкий солдат, вы не видели, как они маршируют нога в ногу, гуськом по своей Унтер-ден-Линден!»¹⁰³ Вспомнив об идеале мужественности, эскиз которого был набросан им еще в Бальбеке, и который со временем принял более философические формы, но по-прежнему подразумевал абсурдные заключения,

иногда выдававшие, даже если минутой ранее барону удавалось подняться надо всем этим, слишком скучную основу заурядного, хотя и довольно умного светского человека, он продолжил: «Понимаете, бравый молодец, бошевский солдат — это существо сильное, здоровое, он думает только о величии своей страны. *Deutschland über alles* — это не так глупо; а мы, — пока они готовились, мужали, — мы погрязли в дилетантизме». Для г-на де Шарлю это слово означало, по-видимому, нечто связанное с литературой: тотчас же вспомнив, что я любил словесность и когда-то намеревался ею заняться, он хлопнул меня по плечу (опершись, он причинил мне такую же боль, как во время моей военной службы удар по лопатке «76-го») и добавил, будто смягчая укоризну: «Да, мы скатились в дилетантизм, все мы, и вы тоже, и вы можете сказать, как я: *mea culpa*; мы все были слишком дилетантами». От неожиданности упрека, и потому что у меня не хватило духу возразить, и, к тому же, по причине почтения к моему собеседнику и растроганности его дружеской добротой, я поддакнул, как ему того и хотелось, — мне бы стоило еще постучать себя кулаком в грудь, что было бы совсем глупо, потому что и в черном сне я не мог упрекнуть себя в дилетантизме. «Ладно, — сказал он мне, я вас оставляю (группа, сопровождавшая нас поодаль, рассеялась) — как и подобает пожилому человеку, мне пора спать; тем более, что война изменила все наши привычки — один из этих идиотских афоризмов, столь любимых Норпуа». Впрочем, мне было известно, что даже у себя дома г-н де Шарлю не расстанется

с солдатами, потому что он перестроил свой особняк в военный госпиталь — повинуясь, полагаю, не столько причудам своей фантазии, сколько велениям своего доброго сердца.

Наступила тихая прозрачная ночь; в моем воображении Сена, струившаяся сквозь круглые мосты — пролеты арок и их отражений — была новым подобьем Босфора. И символ либо нашествия, предсказанного пораженцем де Шарлю, либо союза французских армий с нашими мусульманскими братьями, луна, узкая и изогнутая, как цехин, возвела над парижским небом восточный знак полумесяца.

Однако еще с минуту, на прощанье, г-н де Шарлю тряс мою руку, едва не раздавив ее, — немецкая привычка людей, подобных барону, — и, как сказал бы Котар, «массировал» ее, словно бы ему хотелось придать моим суставам гибкость, вовсе ими не утраченную. У слепых осязание в определенной мере восполняет зрение. Я не знаю, какое чувство оно заменяло у барона. Он хотел, наверное, только пожать мне руку, как ему хотелось лишь мельком глянуть на сенегальца, прошедшего в сумраке и не соблаговолившего заметить, какое он вызвал восхищение. Но в том и в другом случае барон хватал через край, злоупотребляя касаниями и взглядами. «Разве в этом — не весь восток Декана, Фромантена, Энгра, Делакура? — вопрошал он у меня, остолбенев. — Знаете, если я и интересовался вещами и людьми, то только как художник, как философ. Впрочем, я слишком стар.

Но какое несчастье — только для завершенности картины — что один из нас не одалиска!»¹⁰⁴

Когда я распрощался с бароном, отнюдь не Восток Декана, и даже не Восток Делакура преследовал мое воображение, — то был древний Восток «Тысячи и одной ночи», книги, которую раньше я так сильно любил; и, шаг за шагом углубляясь в сплетение черных улиц, я размышлял о халифе Гаруне Аль-Рашиде, искателе приключений в глухих кварталах Багдада. Но от жары, и потому что я много прошел, я испытывал сильную жажду; однако бары давно были закрыты, а встретившиеся мне редкие такси, ведомые левантинцами или неграми, по причине нехватки горючего не утруждали себя ответом на мои призывы. Я мог утолить жажду в каком-нибудь отеле и там же набраться сил для возвращения домой.

Но с той поры, как гота бомбили Париж, на удаленной от центра улочке, куда я забрел, было закрыто всё. Закрылись магазины, ибо лавочники разъехались (за недостатком служащих или от испуга) по деревням, оставив по себе объявления, как правило писанные от руки, в которых сообщалось, что открытие ожидается не скоро, и, впрочем, само по себе под вопросом. Двери других заведений тем же манером извещали, что здесь работают два раза в неделю. Чувствовалось, что нужда, запущенность и страх поселились в этих кварталах. Тем сильней было мое

удивление, когда в длинной череде заброшенных домов нашелся такой, где достаток и богатство, судя по всему, одолели запустение и нищету. Свет за закрытыми ставнями, затененный согласно предписаниям полиции, свидетельствовал, однако, что об экономии тут не заботятся. И ежесекундно хлопала дверь, впуская и выпуская посетителей. Наверное, местные коммерсанты исходили черной завистью — владельцы этого отеля выручали деньги не малые; и я ощутил жгучий интерес, когда заметил, что метра в пятнадцати от меня, то есть слишком далеко, чтобы я мог разглядеть его в кромешной тьме, мелькнул выскочивший оттуда офицер.

Нечто, однако, приковало мое внимание — причем не лицо его, его я не разглядел, и не форма, скрытая широким плащом, — скорее пугающее несоответствие между общим числом точек траектории, по которой двигалось его тело, и секундами, за которые оно их миновало; это выглядело как бегство из окружения. Так что я подумал, хотя не узнал его наверняка, не об осанке, не о стройности, не о походке, не о быстроте Сен-Лу, но о своего рода повсеместности, столь сильно отличавшей его от прочих. Военный, способный занимать за короткий отрезок времени многие точки в пространстве, исчез в поперечной улице, не заметив меня, а я так и стоял, спрашивая себя, стоит ли мне заходить в этот отель, — его скромный фасад вызвал у меня большие сомнения, что этим человеком действительно был Сен-Лу.

Я невольно припомнил, что недавно Сен-Лу был без оснований впутан в шпионское дело, потому что его имя фигурировало в перехваченном письме немецкого офицера. Впрочем, справедливость была восстановлена военными властями. Но против воли я сопоставлял это воспоминание с тем, что увидел. Может быть, в этом отеле встречались шпионы? Офицер уже исчез, в отель входили рядовые разных армий, и это только усиливало мои подозрения. К тому же, я испытывал сильную жажду. Вероятно, здесь можно было утолить и ее и, несмотря на связанное с ним волнение, мое любопытство.

Итак, не только интерес, пробужденный этой встречей, подтолкнул меня к небольшой лестнице, за несколькими ступенями которой была приоткрыта — из-за жары, наверное, — дверь в небольшой вестибюль. Я сразу понял, что узнать ничего не удастся — стоя в тени на лестнице, я слышал, как спрашивали комнату, но всякий раз ответом было, что все номера заняты. Номера в шпионском гнезде, очевидно, предназначались только своим, и простому моряку, объявившемуся чуть позже, поспешили выдать ключи от комнаты 28. Не будучи замечен в темноте, я разглядывал нескольких солдат и двух рабочих, спокойно болтавших в душном вестибюле, не без претензии украшенном фотографиями женщин из журналов и иллюстрированных обзоров. Они разговаривали едва слышно, причем в патриотическом духе: «Что поделаешь, тут уж как прикажут», — сказал один. «Неа, я-то уверен, меня не убьют», — ответил другой на нерасслышанное мной

пожелание; ему, насколько я понял, завтра предстояло отправиться на передовую. «Ну, я так думаю, в двадцать два и только полгода постреляв, это чересчур», — воскликнул он, и в его голосе еще сильнее, чем желание долгой жизни, сквозила убежденность, что он рассуждает здраво, словно бы оттого, что ему исполнилось только двадцать два года, у него больше шансов выжить, так как умереть в этом возрасте практически невозможно. «В Париже-то здорово; тут не скажешь, что война, — сказал другой. — Ну что, Жюло, как ты насчет пороха?» — «Само собой, я так хочу туда попасть и накостылять всем этим гнусным бошам». — «А я тебе скажу, Жоффру только бы по женам министров таскаться, остальное ему до фени». — «Хватит уже болтать, — обернувшись к рабочему, автору этой реплики, сказал авиатор, на вид постарше, и добавил: — мой тебе совет: не трещи так на первой линии, пуалю тебя быстро отделают». Банальность этих бесед не побуждала меня слушать их дальше, я думал уже то ли уйти, то ли войти внутрь, когда услышал слова, заставившие меня содрогнуться, не оставившие от моего равнодушия и следа: «Вот дела, патрон-то не вернулся; поди тут пойми, где он сейчас найдет цепи-то». — «Так ведь привязали его уже». — «Да привязать-то привязали, а привяжи меня так, я бы мигом развязался». — «Но замочек-то защелкнулся!» — «Защелкнулся это да, зато легко открывается. Всё дело в том, что слишком короткие цепочки. Ты мне тут объясняешь, а я его вчера всю ночь лупил, все руки у меня были в кровище». — «Тебе его сегодня?» — «Не, не мне,

Морису. Но мне завтра, патрон обещал». — Теперь я понял, зачем понадобились крепкие руки моряка. Сюда не пускали мирных буржуа не только потому, что в этом отеле угнездились шпионы. В этом месте сейчас совершится чудовищное преступление, если никто вовремя не предотвратит его и не арестует виновных. Во всем этом, однако, в тихой и грозной ночи, было что-то от сновидения, что-то от сказки, и, воодушевленный гордостью поборника справедливости и сладострастием поэта, я решительно вошел внутрь.

Я слегка прикоснулся к шляпе; присутствующие, не выказав тревоги, более или менее вежливо ответили на мое приветствие. «Скажите, к кому мне обратиться. Мне нужна комната и чтобы принесли воды». — «Подождите минутку, патрон вышел». — «Но ведь шеф наверху», — пробормотал один из собеседников. — «Сказано же тебе: нельзя его беспокоить». — «Полагаете, мне дадут комнату?» — «Да, конечно». — «43-й, наверное, свободен», — сказал молодой человек, уверенный, что его не убьют, потому что ему двадцать два года. Он слегка подвинулся на диване, освобождая мне место. «Открыли бы окно, что ли, дымища какая!» — сказал авиатор; и действительно, каждый курил трубку или сигарету. «Только закройте ставни, а то запретили светить из-за цеппелинов». — «Не будет больше цеппелинов. В газетах написали, что они уже все попадали». — «Не будет больше, не будет больше, — ты-то что об этом знаешь? Вот посиди, как я, год и три месяца в окопе, сбей свой пятый бошевский самолет, тогда

и говори. Не надо верить газетам. Они вчера бомбили Компьень, убило мать с двумя детками». — «Мать с двумя детками!» — с глубоким состраданием и огнем в глазах воскликнул молодой человек, рассчитывавший, что его не убьют; его волевое и искреннее лицо располагало к себе. — «Что-то нет весточки от Жюло-старшего. Его крестная не получала от него писем уже с неделю, а это первый раз он ей так долго не пишет». — «Кто это его крестная?» — «Мадам, у которой клозет чуть ниже Олимпии». ¹⁰⁵ — «Он с ней спит?» — «Что ты такое говоришь? Она дама замужняя, вся такая очень важная. Она ему денег посылает каждую неделю, потому что добрая. О! это шикарная женщина». — «А ты-то его знаешь, старшего Жюло?» — «Знаю ли я его! — пылко ответил молодой человек двадцати двух лет. — Да мы с ним кореша. Таких, как он, на свете не сыскать, и друг хороший — всегда поможет. Да... Вот беда-то, если с ним стряслось чего». — Предложили партию в кости, и молодой человек лихорадочно засуетился; он бросал кости, вытаращив глаза и выкрикивал номера — несложно было догадаться, что у него темперамент игрока. Я не расслышал, что ему сказали, но он воскликнул с досадой: «Жюло — кот? Это говорят, что кот. Да какой он к черту кот! я сам видел, как он своей бабе платил — да, видел. То есть я не говорю, что Жанна Алжирка ему совсем ничего не давала, но она ему не давала больше пяти франков, а она баба была при борделе и получала по пятьдесят франков что ни день. Брать по пять франков, так это надо быть полным дураком. И теперь, как она

на фронте, жизнь у нее тяжелая, согласен, но она получает сколько хочет, и не посылает она ему ничего. Жюло — кот? Много таких, кого можно назвать котами, если так посмотреть. Он не то что не кот, он простофиля самый натуральный». Старший, по-видимому по возрасту, обязанный патроном блюсти некоторую воздержанность, возвращаясь из уборной, слышал только конец разговора. Он не сдержался и бросил на меня взгляд, и был явно недоволен тем, какое впечатление могла произвести эта беседа. Не обращаясь непосредственно к двадцатидвухлетнему молодому человеку, намеревавшемуся, по-видимому, изложить теорию продажной любви, он сказал как бы вообще: «Вы разговариваете слишком громко, окно открыто, а некоторые люди в это время спят. Что, неясно? Если патрон сейчас вернется, вам не поздоровится».

В ту же секунду открылась дверь; все замолкли, полагая, что это патрон, но это был его шофер, иностранец; его приветствовали с радостью. Заметив прекрасную цепочку для часов, болтавшуюся у него на куртке, двадцатидвухлетний молодой человек бросил на него вопросительный и веселый взгляд, затем нахмурил брови и подмигнул, многозначительно кося в мою сторону. И я понял, что первый взгляд означал: «Где ты ее стащил? Поздравляю». А второй: «Ничего не говори при этом типе, мы его не знаем». Тотчас вошел патрон, волоча за собой пук толстых железных цепей — ими можно было сковать отряд каторжников, весь в поту, и сказал: «Тяжело мне, дармоеды.

Помочь трудно, да?». Я спросил комнату. «Только на несколько часов, я не нашел автомобиля и немного болен. И хотел бы, чтобы мне принесли пить». — «Пьер, иди в подвал, посмотри черной смородины и скажи, чтоб приготовили номер 43. Опять 7-й звонит. Они говорят, что им нездоровится. Нездоровится... как бы не так. Коко нанюхались, вот и поехали. Вышвырнуть их пора отсюда. Отнес пару простынь в 22-й? Хорошо. Вот 7-й звонит, сбегай, посмотри. Ну, Морис, чего копаешься? Забыл, что ли, что тебя ждут? Марш в 14-бис. И живехонько!» Морис быстро вышел за патроном, который вытащил цепи, несколько раздосадованный, что они попались мне на глаза. «Что ж ты так поздно?» — спросил двадцатидвухлетний у шофера. — «Что “поздно”? Мне еще час. Запаришься ходить-то. А свиданка у меня только в полночь». — «А чего ж ты тогда пришел?» — «А для Памелы прекрасной», — ответил восточный шофер, и смех обнажил его красивые белые зубы. — «А-а», — протянул двадцатидвухлетний.

Вскоре меня отвели в комнату 43, но там было так противно, а мое любопытство было столь велико, что, выпив «смородину», я спустился по лестнице, затем передумал и вернулся, чтобы, пройдя выше этажа, на котором находилась комната 43, дойти до самого верха. И тут из одного номера в конце коридора послышались приглушенные стоны. Я живо пошел туда и приложил ухо к двери. «Я прошу вас, смилуйтесь, смилуйтесь ради бога, отвяжите меня, не бейте меня так больно, — говорил кто-то. — я ноги вам целую, умоляю вас, я больше не буду...

Сжальтесь надо мной...». — «Нет, сволочь, и раз уж ты орешь и ползаешь на коленях, сейчас мы прикуем тебя к кровати — и не будет тебе пощады!» — и я услышал, как щелкнула плеть, вероятно, с какими-то железками, потому что за ударом последовал болезненный вскрик. Я заметил, что в этой комнате было слуховое окошко, которое забыли закрыть; крадучись в сумраке, я проскользнул к нему и увидел перед собой прикованного к кровати, подобно Прометею на скале, получающего удары, наносимые ему Морисом, плетью, действительно со стальными крючьями, уже окровавленного, покрытого синяками, свидетельствовавшими, что пытка была не первой, г-на де Шарлю.¹⁰⁶

Внезапно дверь отворилась, кто-то вошел, но к счастью меня не заметил — это был Жюльен. Он приблизился к барону, вид его выражал почтение, он хитровато улыбался: «Итак, я вам не нужен?» Барон попросил его вывести на минутку Мориса. Жюльен выставил того вон без церемоний. «Нас не могут слышать?» — спросил барон у Жюльена, и тот поклялся, что не могут. Барон знал, что у Жюльена, с его умом литераторского склада, не было никакой практической смекалки, что в присутствии заинтересованных лиц он выражался намеками, никого не вводящими в заблуждение, и употреблял прозвища, известные всему свету.

«Секунду», — перебил барона Жюльен, услышав звонок из комнаты номер 3. Это был депутат от «Аксьон

Либераль», он уходил. Жюпьену не нужно было смотреть на табло, потому что он узнал его колокольчик; обычно депутат приходил после завтрака. Сегодня расписание изменилось, поскольку в полдень в Сен-Пьер-де-Шайо венчалась его дочь. Итак, он пришел только вечером, но торопился уйти пораньше, потому что жена тревожилась за него, если он возвращался поздно, особенно теперь, когда бомбежки участились. Жюпьену хотелось проводить его до дверей, чтобы засвидетельствовать почтение, которое он испытывал к званию депутата, — без какого-либо личного, впрочем, интереса. Хотя этот депутат отвергал крайности «Аксьон Франсез» (однако, он был неспособен понять даже строчку Шарля Морраса или Леона Доде¹⁰⁷) и был накоротке с министрами, любившими посещать его охоты, Жюпьен не осмелился бы просить его даже о самой незначительной поддержке в своих расправах с полицией. Он знал, что если заговорит об этом с удачливым и трусливым законодателем, то это не спасет его от безобиднейшего «шмона», но приведет к потере щедрейшего из клиентов. Проводив до дверей депутата — который, нахлобучив шляпу на нос, поднял воротник и заскользил, пряча лицо, как в своих депутатских речах, — Жюпьен поднялся к г-ну де Шарлю, и сказал: «Это был г-н Эжень». В доме Жюпьена, как в клиниках, людей звали по имени, пришептывая на ухо, чтобы удовлетворить любопытство завсегда и повысить престиж заведения, их настоящую фамилию. Правда, иногда Жюпьену не было известно, кто был его клиент, и тогда он пускался в фантазии и уверял, что это

господин биржевик, или дворянин, или артист; мимолетные ошибки, забавлявшие тех, на чей счет Жюпъен заблуждался. В конце концов, он смирился с окончательным неведением, кто был г-ном Виктором. Жюпъен привык также, чтобы угодить барону, поступать обратно порядку, заведенному в иных собраниях: «Я сейчас представлю вам г-на Лебрена» — и на ухо: «Он просит называть себя г-ном Лебреном, но в действительности это русский великий князь!» Жюпъен чувствовал, что этого недостаточно, чтобы представить г-ну де Шарлю приказчика из молочной. Потому он бормотал, подмигивая: «Он вообще-то молочник, а на самом деле — один из опаснейших бандитов Бельвиля» (надо было видеть, как игриво Жюпъен произносил: «бандит»). И, словно этой рекомендации было недостаточно, присовокуплял дополнительные «свидетельства славы». «Не раз его судили за кражи и ограбления; он сидел во Фрезне за драки (тем же игривым тоном) с прохожими, потому что он их слегка изувечил; был в штрафном на лимпопо.¹⁰⁸ И убил своего сержанта!»

Барона это даже несколько раздражало, потому что в заведении, по его же поручению и купленном фактотумом де Шарлю, где Жюпъен с помощником заправлял делами, по вине дяди м-ль д'Олорон все более или менее были осведомлены и кто барон таков, и как его зовут (многие, однако, считали «де Шарлю» кличкой и путались в произношении, так что защитой барону служила скорее их глупость, чем сдержанность Жюпъена). Но барон предпочел довериться гарантиям Жюпъена и, успокоенный тем, что их не могут

слышать, сказал ему: «Я не хотел говорить при этом малыше — он очень мил и старается вовсю. Но мне кажется, что он недостаточно груб. Он приятно выглядит, но называет меня сволочью, словно повторяет урок». — «Что вы, ему никто ничего не говорил, — ответил Жюпъен, не замечая, что это утверждение неправдоподобно. — Он, кстати, привлекался по делу об убийстве консьержки из Ла Вилетт». — «Да? Это довольно любопытно», — ответил барон, улыбаясь. — «У меня там, кстати, как раз один мясник, мужик с бойни, и на него похож — попал сюда чисто случайно. Желаете попробовать?» — «О да, охотно». Я видел, как вошел мясник с бойни, он действительно чем-то походил на Мориса, однако, что любопытно, в облике двух этих молодых людей было что-то общее — тот тип внешности, который лично я никогда не обособлял из прочих, но который, тем не менее, как я сейчас понял, читался и в облике Мореля, — они чем-то были схожи если не с самим Морелем, каким он представлялся мне, то по меньшей мере с тем лицом, которое глаза, смотревшие на Мореля под несколько иным углом, чем мои, могли составить из его черт. Стоило мне только воссоздать в уме, отыскав эти черты в памяти, схематический портрет Мореля, каким он виделся другому, и я понял, что эти юноши, один — приказчик-ювелир, второй — служащий отеля, были смутными его подобиями. Следует ли из этого, что по крайней мере в отдельной своей склонности г-н де Шарлю хранил верность одному облику, что это же желание, остановившее его выбор на двух этих юношах,

когда-то подтолкнуло его к Морелю на перроне донсьерского вокзала, что все они походили на эфеба, чьи очертания, вырезанные в глазах де Шарлю, как в сапфире, придавали взгляду барона какую-то особенность, так сильно испугавшую меня в нашу первую бальбекскую встречу? Или же любовь к Морелю выпестовала искомый тип, и, чтобы утешиться в разлуке, барон подбирал похожих на него мужчин? Еще я предположил, что, быть может, вопреки тому, что можно было предположить, между ним и скрипачом никогда не было ничего кроме исключительно дружеских отношений, что г-н де Шарлю заставлял Жюпьена подыскивать юношей, чем-то схожих со скрипачом, чтобы благодаря им вкусить иллюзию наслаждения с Морелем. Правда, если вспомнить обо всем, что г-н де Шарлю сделал для Мореля, это предположение может показаться неправдоподобным, — если бы мы не знали, что любовь не только заставляет нас приносить величайшие жертвы любимому существу, но иногда вынуждает нас жертвовать самим нашим желанием, — его, впрочем, намного сложнее удовлетворить, когда предмет нашей страсти чувствует, что наша любовь сильнее.

От неправдоподобности этой догадки, присущей ей на первый взгляд (хотя действительности она, конечно, не соответствует), не останется и следа, если мы вспомним о нервическом темпераменте, пылкой страстности г-на де Шарлю, похожего в этом на Сен-Лу, которые могли сыграть в начале его отношений с Морелем ту же роль, благопристойную, но отрицательную, что и в начале

отношений его племянника с Рашелью. Есть еще одна причина, из-за которой отношения с любимой девушкой (это верно и для любви к юноше) могут остаться платоническими, нежели добродетель женщины и нечувственная природа внушенной ею любви. Заключается же она в том, что влюбленный, слишком нетерпеливый от избытка любви, не имеет сил притвориться достаточно безразличным и дожидаться того момента, когда он добьется всего, чего хочет. Его натиск постоянен, он неумолимо пишет своей любви, то и дело требует встречи, а когда она отказывает, приходит в отчаяние. Стоит же ей осознать, что даже ее общество и дружба представляются необычайными благами тому, кто считает, что впредь их лишен, и она начинает уклоняться от их предоставления и, пользуясь той минутой, когда разлука с ней уже непереносима, когда он будет готов положить конец войне любой ценой, предписывает мировую, первым условием которой будут платонические отношения. Впрочем, за время, предшествующее этому соглашению, влюбленный — постоянно тоскуя, алча письма и взгляда, — забывает и мечтать о физическом обладании, мысль о котором истерзала его поначалу, однако иссякла в ожидании и уступила место потребностям иного порядка, более мучительным, впрочем, потому что неутоленным. И вот удовольствие, которое поначалу мы рассчитывали испытать в ее ласках, мы получаем позднее в совершенно искаженном виде: в дружеских словах, обещании побыть рядом, — но после истомившей нас неопределенности,

а иногда просто взгляда, омраченного тенью такого отчуждения, так отдаляющего ее от нас, что нам кажется: мы ее теперь никогда не увидим, это приносит отменное облегчение. Женщины, конечно, догадываются и теперь знают, что можно позволить себе роскошь никогда не отдаваться тем, в ком они ощутили, если те не могли скрыть своего волнения в первые дни, неисцелимую жажду обладания. Женщины счастливы, что, не давая ничего, они получают намного больше, чем имеют обычно, отдаваясь. Так нервные люди приходят к вере в добродетель своего идола. Но этот ореол, который они выписывают вокруг нее, следовательно, лишь производное — и, как видим, довольно опосредованное — их чрезмерной любви. В этой горячке женщина становится в один ряд с поневоле коварными лекарствами: снотворными, морфином. Сильнее всего они нужны вовсе не тем, кто благодаря им вкусит глубокий сон и подлинные улады. Не они купят их ценой злата, выменяют на всё, что имеют. Это будут уже другие люди (возможно, те же самые, но измененные по прошествии лет), медикамент не принесет им ни сна, ни неги, — но если снадобья нет под рукой, у них одно желание: остановить мучительную тревогу любой ценой, даже ценой жизни.

Что касается г-на де Шарлю, а его история в целом, пусть с небольшим отклонением по причине сходства полов, подпадает под действие общих законов любви, то несмотря на то что его род был древней Капентингов, что он был богат, что его дружбы тщетно добивалось тогдашнее изысканное общество, тогда как Морель был полным

ничтожеством, барон напрасно твердил Морелю, как когда-то и мне самому: «Я принц и я желаю вам блага»; если бы Морель решился не уступать, его бы и взяла. А для того, чтобы Морель решился, для него достаточно было, наверное, почувствовать себя любимым. В такой же ужас приводят важных особ изо всех сил пытающиеся сдружиться с ними снобы, мужчин — гомосексуалисты, женщин — чрезмерно влюбленные в них мужчины. Г-н де Шарлю не только располагал всеми мыслимыми благами, многие он предлагал Морелю. Вероятно, однако, что всё это разбилось об упорство скрипача. В этой истории г-на де Шарлю объединяло нечто общее с немцами, — к которым, к тому же, он принадлежал по крови, — одержавшими на нынешней войне, как о том чересчур охотно распространялся барон, победы на всех фронтах. Но что им принесли их победы, если после каждой из них союзники всё более решительно отказывали немцам в том, чего они так пылко добивались, — в мире и переговорах? так Наполеон вступил в Россию и великодушно предписал властям явиться пред свое лицо. Но никто не явился.

Я спустился по лестнице в вестибюльчик, где Морис, не уверенный, не позовут ли его еще, и которому Жюльен на всякий случай велел подождать, перебрался картами с каким-то из своих приятелей. Они подобрали на полу наградной крест и были крайне взволнованы находкой, — им не было известно, кто его потерял, и кому его отослать, чтобы избавить владельца от взыскания. Затем речь зашла о великодушии какого-то офицера, который погиб, спасая

своего ординарца. «Есть все-таки добрые люди среди богатых. Я бы с удовольствием отдал жизнь за такого типа, как он», — сказал Морис, занимавшийся этими жуткими порками барона, вероятно, исключительно по причине механической привычки, скудного образования, нужды в деньгах и некоторой склонности зарабатывать их способом, доставлявшим меньше хлопот, чем обычная работа, и, возможно, более прибыльным. Однако весьма было похоже, и барон опасался не напрасно, что у этого мальчика доброе сердце, что он славный мальчик. На его глазах едва не выступили слезы, когда он говорил о смерти офицера, и двадцатидвухлетний юноша был взволнован не меньше. «Да, это шикарные ребята. Для нас, парни, невелика потеря, но для барина, у которого куча слуг, который каждый день может клюкнуть вечером, это сильно. Тут можно по-всякому трепаться, но когда такие типы отдают концы — это нечто. Господь Бог не должен допускать, чтобы такие богачи умирали, — ну, во-первых, они жуть как полезны для рабочего. Только за одного такого парня надо всех немцев передавить до последнего, и за то, что они наделали в Левене, за отрезанные детские ручки, — да что тут говорить, я не лучше других, но меня так лучше бы расстрелять, чем таким варварам подчиняться; это не люди, это варвары натуральные, скажи еще, что не так».¹⁰⁹ Все эти юноши, короче говоря, были патриотами. Правда, один из них, легко раненный в руку, и обязанный вскоре вернуться на фронт, был не на высоте прочих: «Черт возьми, неудачная рана получилась» (из-за

нее не комиссовали), — так некогда г-жа Сван говорила: «Я ухитрилась подхватить докучную инфлюэнцу».

Дверь хлопнула вновь: это был шофер, он ходил прогуляться. «Как, уже всё? Что-то ты недолго», — сказал он Морису, который, по его представлению, еще должен был лупить «Человека в цепях» (барона так нарекли по аналогии с названием газеты того времени). — «Ты-то гулял, тебе не долго, — ответил Морис, уязвленный тем, что наверху он “не подошел”. — а ты вот дери его тут вовсю, как я, да в такую жару! Если бы не пятьдесят франков, что он дает...» — «И потом, мужик здорово болтает, сразу видно, что с образованием. Сказал он, когда война кончится?» — «Он говорил, что надрать им задницу не получится, что война-то кончится, да никто не победит». — «Черт возьми, да никак он бош...» — «Я, кажется, предупреждал, что вы слишком громко треплетесь, — сказал старший, заметив меня. — Вам больше не нужна комната?» — «Да заткнись ты, тоже тут начальник нашелся». — «Да, не нужна, я пришел расплатиться». — «Вам лучше заплатить патрону. Морис, иди-ка поищи». — «Мне неудобно вас беспокоить». — «Это меня не беспокоит». — Морис вышел и вернулся со словами: «Патрон спускается». — я дал ему два франка за усердие. Он расплылся от удовольствия. «Спасибо большое. Я их братишке отправлю, он военнопленный. Нет, ему там не очень тяжело. Всё зависит от лагеря».

В это время двое чрезвычайно элегантных клиента в белых костюмах, в пальто и при галстуках — двое русских, почудилось мне по их легкому акценту, — встав на пороге, раздумывали: войти иль не войти. Видимо, пришли они сюда впервые, наверное, им рассказывали про это место, и они колебались, казалось, между желанием, соблазном и великим страхом. Один из них, красавец-юноша, повторял другому уже более минуты, с улыбкой слегка подначивающей, слегка вопросительной: «Ну, в конце концов, наплевать?» Но сколько бы он ни говорил этим, что в конце концов последствия безразличны, судя по всему не настолько уж ему было «наплевать», потому что за этими словами следовало не движение внутрь, но новый взгляд, новая улыбка и новое «ну, в конце концов, наплевать?» «В конце концов наплевать» — один из бесчисленных образчиков того славного языка, столь отличного от употребляемого нами повседневно, в котором волнение отклоняет то, что мы намереваемся сказать, и вместо него распускает совершенно иные обороты, всплывающие из неведомого озера, где и плавают все эти выражения, не связанные с нашей мыслью — этим ее, в сущности, разоблачая. Помнится, как-то раз у Альбертины, — поскольку Франсуаза, не замеченная нами, вошла в ту минуту, когда моя подруга была, совершенно нага, рядом со мной, — против воли вырвалось, потому что она хотела меня предупредить: «Смотри-ка, прекрасная Франсуаза». Франсуаза, которая к тому времени видела уже не очень ясно и только-то прошла через комнату, довольно далеко

от нас, конечно же, ничего не разглядела. Но уже эти необычные слова, «прекрасная Франсуаза», которые Альбертина не произнесла бы ни за что в жизни, свидетельствовали о своей причине; Франсуаза почувствовала, что Альбертина подобрала их наугад от волнения, и, не нуждаясь в пристальном зрении, чтобы догадаться обо всем, пробормотала на своем говорке: «Путана». Другой раз, много лет спустя, когда Блок, ставший к тому времени отцом семейства, выдал одну из своих дочерей за католика, некий невоспитанный человек сказал ей, что он слышал вроде, будто отец у нее еврей, и спросил, какая у нее точно девичья фамилия. Девушка, урожденная м-ль Блок, произнесла фамилию на немецкий лад, как сказал бы герцог де Германт: «Блох».

Патрон — вернемся на сцену отеля (куда двое русских все-таки решились войти: «в конце концов наплевать») — еще не пришел, но тут явился Жюпъен, сетуя, что слишком громко говорят, что соседи могут донести. Но заметив меня он остолбенел: «Выйдите все на лестницу». Присутствующие уже встали, когда я ему ответил: «Было бы проще, если бы юноши остались здесь, а мы с вами на минутку отлучились». Волнуясь, он за мной последовал. Я объяснил ему, отчего я здесь. Доносились голоса клиентов, которые спрашивали у патрона, не может ли он свести их с ливрейным лакеем, служкой, чернокожим шофером. Все профессии интересовали старых безумцев, войска всех армий, союзники всех наций. Некоторые испытывали особую тягу к канадцам, подпав — быть может,

неосознанно, — под очарование их акцента, столь легкого, что невозможно разобрать, что он напоминает: старую Францию или Англию. По причине юбок, а также оттого, что иные романтические грезы вплетаются в подобные мечты, шотландцы были нарасхват. И поскольку всякое безумие подвергается воздействию чего-то личного, и подчас усугубляется им, старик, уже удовлетворивший, вероятно, все свои прихоти, настойчиво требовал познакомиться его с каким-нибудь увечным. Слышались медленные шаги по лестнице. По присущей ему болтливости Жюпъен не удержался и рассказал мне, что это идет барон, что допустить нашу встречу ни в коем случае нельзя, но если мне угодно войти в комнату, смежную с передней, в которой сидели молодые люди, то он сейчас откроет маленькое окошко — эта хитрость была им придумана для де Шарлю, чтобы тот мог наблюдать, не будучи никем замечен, а сейчас, сказал мне Жюпъен, ради меня этот трюк будет обращен против барона, «только ни звука». Он втолкнул меня в темноту и исчез. Впрочем, других комнат в его распоряжении не было, потому что отель, несмотря на военное время, был набит битком. Ту, из которой я только что вышел, уже занял виконт де Курвуазье — он оставил Красный Крест в *** на два дня и решил часок поразвлечься в Париже перед встречей в замке Курвуазье с виконтессой: ей он скажет, что не успел на поезд. Он не подозревал, что в нескольких метрах от него находится де Шарлю, не более о присутствии виконта догадывался барон — он никогда не встречал у Жюпъена

своего кузена, а последний тщательно скрываемого имени виконта установить не сумел.

Вскоре и правда явился барон, с трудом шагая от ран, к которым, однако, ему уже следовало привыкнуть. Хотя увеселения подошли к концу, и оставалось только выдать причитающуюся плату Морису, он обвел кружок юношей взором нежным и пытливым, рассчитывая получить дополнительное удовольствие в ходе расшаркиваний — совершенно платонических, но любовно неторопливых. И в том резвом легкомыслии, с которым барон подступил к несколько смущенному, как мне показалось, гарему, в этих его кивках головой, покачиваниях туловищем, томных взглядах, так поразивших меня, когда он впервые приехал в Распельер, я в очередной раз признал жеманство, доставшееся ему по наследству от какой-нибудь лично мне неизвестной бабки; оно затеялось в повседневной жизни его мужественным лицом, но кокетливо распускалось, когда он хотел понравиться низкой среде, желанием явиться в образе доброй барыни.

Жюпъен рекомендовал юношей благосклонности барона, божась, что все они «бельвильские коты», что они за луддор сторгуют собственную сестру. Впрочем, Жюпъен врал и говорил правду разом. Они были и лучше, и добросердечней, они не принадлежали дикому племени, вопреки его уверениям. Однако те, кто их таковыми считает, ожидает от негодяев, простодушно с ними беседа, полной откровенности. И сколько бы садист ни воображал себя

в обществе убийц, чистая его душа при этом не претерпевает изменений, и ему остается только поражаться лжи этой публики, потому что на самом деле они вовсе не «убийцы», а просто не прочь заработать «деньгу», — их отцы, матери и сестры поочередно умирают и воскресают, потому что «убийцы» запутались, развлекая клиента и стараясь ему понравиться. Клиент же, по наивности, со своей произвольной концепцией жиголо, восхищением бесчисленными убийствами, в которых тот повинен, удивлен и сбит с толку уловленными противоречиями и ложью.

Похоже, все были знакомы с г-ном де Шарлю, и он подолгу задерживался подле каждого, чтобы поболтать с ними, как ему казалось, на их языке — с претензией напирая на местный колорит и волнуя себя садистическим участием в их гнусной жизни. «Мерзавец, я тебя видел у Олимпии с двумя фанерами. Они тебе давали капусту. Эвона как ты меня надуваешь!» к счастью для того, к кому была обращена эта фраза, он не успел объявить, что ни за что бы не взял «капусту» от женщины, — это, наверное, охладило бы пыл г-на де Шарлю, — и опротестовал только конец фразы: «Не, я вас не надуваю». Эти слова взволновали и обрадовали г-на де Шарлю; вопреки его воле из-под напускной маски проступил его подлинный природный ум, и он повернулся к Жюльену: «Как мило он это сказал. И как это прекрасно сказано! Можно подумать, что это правда. В конце концов, какая разница, если он заставил меня в это поверить? Какие у него прелестные глазки! Смотри, сейчас

влеплю тебе два жирных поцелуя в наказание, мальчонка. Ты вспомнишь обо мне в окопах. Тяжеловато там приходится?» — «Господи мой Боже, граната, бывает, летит над ухом...» Юноша принялся подражать свисту гранат, гулу самолетов и т. п. «Но тут уж как прикажут, и будьте уверены, мы все пойдем до конца». — «До конца! Еще бы следовало узнать, до какого конца», — меланхолически заметил барон, поскольку был «пессимистом». — «Вы что, разве не читали в газетах, как Сара Бернар сказала: “Франция пойдет до конца. Французы все готовы умереть до последнего”». — «Я ни секунды не сомневаюсь, что французы все до единого решительно пойдут на смерть, — сказал г-н де Шарлю, словно это разумелось само собой, хотя сам барон подобных намерений не имел. Он просто хотел изгладить произведенное им, когда забылся, впечатление пацифиста. — я в этом не сомневаюсь, но я спрашиваю себя, в какой мере *мадам* Сара Бернар уполномочена говорить от имени Франции. Но похоже, что я незнаком с этим очаровательным, с этим прелестным молодым человеком!» — воскликнул он, заметив другого юношу, которого не узнал, а может быть никогда и не видел. Он раскланялся с ним, будто с принцем в Версале, и чтобы пользуясь случаем получить дополнительное бесплатное удовольствие — так, когда я был мал, и мать брала меня с собой делать заказы у Буасье или Гуаш,¹¹⁰ я уносил с собой, в подарок от продавщицы, конфету, извлеченную из какой-нибудь стеклянной вазы, меж которыми они восседали, — сжал руку очаровательного

юноши, и долго ее, на пруссацкий манер, разминал, вытаращив на него глаза и замерев в той продолжительной улыбке, что в прежние годы нужна была фотографам для хорошего снимка, если со светом было плохо: «Сударь, я очарован, я восхищен, я очень рад познакомиться с вами. У него прелестные волосы», — добавил он, повернувшись к Жюпьену. Затем он подошел к Морису, чтобы вручить ему пятьдесят франков, но сначала обнял его за талию: «Ты мне никогда не говорил, что зарезал консьержку в Бельвиле». И, нависнув над лицом Мориса, г-н де Шарлю захрипел от восторга. «Что вы, господин барон, — ответил жиголо, которого забыли предупредить, — как вы могли в это поверить? — либо этот факт действительно был ложен, либо правдив, но подозреваемый находил его, однако, отвратительным и был склонен отрицать. — Поднять руку на себе подобного?.. Я понимаю еще, если на мужика, на боша например, потому что война, но на женщину, да еще на старую женщину!..» на барона провозглашение этих добродетельных принципов произвело такое действие, будто его окатили ледяною водой; он сухо отодвинулся от Мориса и выдал ему деньги, с раздосадованным видом человека одураченного, который не хочет устраивать шума и платит, но не рад. Получатель только усилил дурное впечатление барона, выразив благодарность следующим манером: «Я завтра же вышлю их старикам и только немножко братану оставлю, он сейчас на фронте». Эти трогательные чувства столь же разочаровали г-на де Шарлю, сколь его взбесило их выражение — незамысловатое,

крестьянское. Жюльен иногда говорил им, что надо все-таки быть поизвращенней. И тут один, с таким видом, будто исповедует нечто сатаническое, рискнул: «Вы мне, барон, не поверите, но когда я еще пацаном был, я в дырку замка подглядывал, как папаша с мамашей кувыркаются. Во какой развратник я был, а? Вы скажете, что я вам мозги пудрю, а вот и нет, всё прямо так и было». И г-на де Шарлю привела в уныние и раздосадовала эта фальшивая потуга на извращенность, разоблачившая лишь изрядную глупость и, сродни ей, неспорченность. Впрочем, ему не пришлось бы по вкусу и отъявленный бандит, и убийца — такие люди не рассуждают о своих злодеяниях; садист часто испытывает, — сколь бы он ни был добр, более того, чем больше он добр, — такую тягу ко к злу, которую злодеи, пускающиеся в тяжкие с другими целями, удовлетворить не в состоянии.

Тщетно молодой человек, поздно вато сознав ошибку, говорил барону, что фараонов он терпеть не может, и даже отважился предложить: «Забьем, что ли, стрелочку» (то есть назначим свидание); очарование рассеялось. Чувствовалась «липа», как в книжках авторов, которые тщатся употреблять арго. Впустую юноша в деталях расписывал «мерзости», которые он проделывал со своей подругой. Г-н де Шарлю был только поражен, как недалеко они в этом зашли. Впрочем, дело было не только в неискренности. Ничто не ограничено более, чем наслаждение и порок. В данном случае, не меняя смысла выражения, можно сказать, что вращаешься в том же порочном круге.

Если г-на де Шарлю в этом заведении звали принцем, то о другом завсегдае, чью кончину оплакивали жиголо, говорили так: «Как его звать — не знаю, но был он, похоже, аж бароном», — речь шла о принце де Фуа (отце друга Сен-Лу). Для своей жены он не выползал из клуба, в действительности же коротал часы у Жюльена — болтая с проходимцами, рассказывая им светские анекдоты. Как и его сын, он был здоровым и красивым мужчиной. Поразительно, что г-н де Шарлю, — может быть, потому, что встречался с ним только в свете, — не знал, что де Фуа разделяет его склонности. Ходили даже слухи, что он-то и приобщил к ним своего сына, в то время еще студента (друга Сен-Лу), но это очевидная ложь. Напротив, осведомленный лучше многих в отношении нравов, отец пристально следил за его знакомствами. Как-то раз один уже немолодой человек — из низкой, впрочем, среды — преследовал юного принца де Фуа до самых дверей их особняка, бросил записку в окно, и ее подобрал отец. Но немолодой его поклонник, хотя и не был вхож, с аристократической точки зрения, в то же общество, что и г-н де Фуа-отец, был с ним одного круга, так сказать, с другой стороны. Он без труда нашел посредника среди общих дружков и заставил г-на де Фуа замолчать, доказав ему, что именно его сын спровоцировал эту выходку. И это возможно. Потому что принц де Фуа мог оградить сына от дурных знакомств, но не мог оградить его от наследственности. Впрочем, что касается этой стороны, принц де Фуа-младший, как и его отец, пребывал

в абсолютном неведении о пристрастиях людей своего круга, хотя и зашел дальше всех с представителями другого.

«Как он прост! Вот уж не скажешь, что барон», — повторяли завсегдатаи, стоило г-ну де Шарлю с Жюльеном выйти: барон всё сетовал на добродетель юноши. Судя по недовольной физиономии Жюльена, которому следовало вымуштровать юношу заблаговременно, фальшивому убийце предстояла изрядная выволочка. «Это же полная противоположность тому, что ты мне рассказывал, — воскликнул барон, чтобы Жюльен на следующий раз извлек урок. — у него на лице написано: он очень добродушен, он испытывает уважение к своей семье». — «У него, однако, трения с отцом, — возразил Жюльен. — Они живут вместе, но прислуживают в разных барах». Конечно, в сравнении с убийством это было незначительным проступком, но Жюльена застали врасплох. Барон ничего не ответил, потому что хотел получать удовольствия в готовом виде и вместе с тем сохранять иллюзию, что никакой подготовки в них нет. «Что вы, он настоящий бандит, он так сказал, чтобы вас обмануть, вы слишком наивны!» — оправдывался Жюльен, но лишь задел этим самолюбие барона.

«Да, на ужин он тратит не меньше миллиона — и каждый день, каждый день», — сказал молодой человек двадцати двух лет; суждение не казалось ему неправдоподобным. С грохотом подкатил экипаж г-на де Шарлю. В эту секунду я заметил, как из соседней комнаты, медленно ступая, выходит дама в черной юбке, мне показалось — довольно

пожилая; ее сопровождал солдат, наверное, вышедший с вместе с нею. К своему ужасу я тотчас разглядел, что это был священник — столь редко встречающееся, а во Франции просто невероятное явление, как дурной кюре. Видимо, в эту минуту солдат вышучивал своего спутника по части несоответствия поведения одеянию, потому что последний степенно, сентенциозно, с поднятым вверх пальцем доктора теологии, изрек: «Что поделаешь, я не (я ожидал: “святой”) ангел».¹¹¹ Впрочем, он спешил и уже прощался с Жюльеном — последний, проводив барона, хотел было подняться, но заметил, что дурной священник, по забывчивости, не заплатил за комнату. Жюльена никогда не оставляло чувство юмора — он встряхнул кружкой, в которую собирал подать с клиентов, и позвякивая ею крикнул: «На нужды прихода, господин аббат!» Отвратительный персонаж извинился, рассчитался и исчез.

Жюльен зашел за мной в темный чуланчик, где я не посмел и шелохнуться. «Выйдите на минутку в вестибюль, там сейчас мои юноши ерундой маются, а я пока поднимусь и закрою комнату; вы ее нанимали, и это будет совершенно естественно». Патрон был на месте, я ему заплатил. В эту минуту вошел молодой человек в смокинге, и властным голосом спросил: «Могу я завтра иметь Леона без четверти одиннадцать, а не в одиннадцать, потому что я буду обедать в городе?» — «Это зависит от того, — ответил патрон, — насколько его задержит аббат». По-видимому, этот ответ не удовлетворил молодого человека в смокинге, — он уже собирался поносить аббата, но заметил меня и нашел иной

повод для гнева; вышагивая прямо на патрона, он шипел: «Кто это такой? что это значит?» — голосом тихим, но взбешенным. Патрон, раздосадованный чрезвычайно, воскликнул, что мое присутствие не имеет никакого значения, что я просто один из постояльцев. По-видимому, это объяснение не успокоило молодого человека в смокинге. Он безостановочно повторял: «Это в высшей степени отвратительно, такого быть не должно, вы же сами знаете, что я этого не переносу, из-за вас ноги моей здесь больше не будет». Но исполнение этой угрозы, по-видимому, не было неотвратимо, потому что он удалился в неистовстве, но при этом требуя, чтобы Леон постарался освободиться к 10.45, а еще лучше к 10.30. Жюпъен спустился и вышел вслед за мной на улицу.

«Я хотел бы, чтобы вы не судили меня строго; это заведение приносит не такой большой доход, ведь приходится принимать и обычных постояльцев, а с ними только просаживаешь деньги. Здесь не обитель кармелитов, и лишь милостью порока живет добродетель.¹¹² Нет, если я и взял этот дом, — вернее, если я и нанял того патрона, вы его видели, чтобы он тут заправлял делами, — то только для того, чтобы угодить барону, развлечь его на старости лет». Жюпъен имел в виду не только садистические сцены, свидетелем которых мне довелось стать, и удовлетворение его порока. Для разговора, для общества и для игры в карты барон предпочитал людей простого склада, которые злостно пользовались его доверенностью. Наверное, снобизм в сволочной среде следует рассматривать как и любой

прочий. Впрочем, оба этих «снобизма» в г-не де Шарлю долгое время уживались друг с другом — ему никто не казался достаточно изысканным для светских отношений и вполне гнусным для иных. «Ненавижу усредненность, — говорил он, — буржуазная комедия напыщенна, а мне надо то ли принцесс классической трагедии, то ли грубоватого фарсу. Никакой середины — “Федра” или “Паяцы”». Но в конечном счете равновесие между двумя этими «снобизмами» было нарушено. Может быть, от старческой усталости, или оттого, что его чувственность приспособилась к самым незамысловатым отношениям, барон дружил теперь только с «мужичьем», против воли освоив наследие своих великих предков — герцога де Ларошфуко, принца д’Аркура, герцога де Берри, которые, как рассказывал Сен-Симон, проводили жизнь в обществе лакеев, тянувших из них бесчисленные суммы, и заходили в совместных увеселениях с ними столь далеко, что люди, заставшие этих знатных бар в пылу товарищеского сражения в карты, а то и вовсе попойки с прислугой, испытывали неловкость. «Но поступил я так прежде всего для того, — добавил Жюльен, — чтобы уберечь его от бед, потому что барон, знаете ли, это большой ребенок. Даже теперь, когда у него есть всё что можно пожелать, он отправляется порой куда глаза глядят и ищет себе на голову неприятностей. А в наши времена его щедрость может дорого обойтись. Недавно барон до смерти напугал несчастного посыльного, — он ему, знаете ли, отправил огромные деньги, чтобы тот пришел к нему

на дом. (На дом, какая неосторожность!) Этот мальчик, — он, впрочем, любит только женщин, — сразу успокоился, когда понял, чего от него хотят. Ведь когда барон предлагал ему деньги, он принял его за шпиона. И испытал огромное облегчение, когда осознал, что от него требуется продать не родину, а тело; наверное, это не более морально, но не так опасно и, главное, не столь затруднительно». Слушая Жюльена, я думал: «Какое несчастье, что г-н де Шарлю не романист, не поэт! не потому, что барон мог бы описать увиденное; но потому что положение, занятое человеком вроде де Шарлю относительно желаний, порождает вокруг него скандалы, заставляет относиться к жизни всерьез, прочувствовать удовольствие, не дает ему остановиться и замереть на ироничной и отстраненной точке зрения, и беспрестанно отворяет его скорбную жилу. Всякий раз, когда он признается в своих чувствах, он подвергается оскорблениям, и даже рискует оказаться в тюрьме. А пощечины — воспитание не только детей, но также поэтов. Будь г-н де Шарлю романистом, этот дом Жюльена — в огромной мере сокращая риск, хотя бы риск (вероятность полицейского “шмона” сохранялась всегда), связанный с его неуверенностью в человеке, встреченном бароном на улице, в его склонностях, — стал бы для барона бедой. Но в искусстве г-н де Шарлю был только дилетантом, он не помышлял писать и не владел этим даром».¹¹³

«Впрочем, вам-то я признаюсь, — продолжал Жюльен, — что угрызения совести из-за этого барыша меня не мучают. Теперь я уже не могу от вас скрывать, что происходит»

здесь мне нравится, что этим я занимаюсь всю жизнь. Разве нельзя получать деньги за то, в чем не видишь ничего преступного? Вы знаете больше меня, вы скажете, что Сократ не брал плату за уроки. Но профессора философии в наше время так не думают, да и медики, художники, драматурги, режиссеры театров. Только не думайте, что это ремесло вынуждает общаться исключительно со сбродом. Конечно, глава подобного заведения, как куртизанка, принимает исключительно мужчин, — но какие это замечательные мужчины, как они не похожи на всех остальных; занимая то же положение в обществе, они намного утонченней, чувствительней и любезней, чем все другие. Уверяю вас, этот дом скоро превратится в бюро остроумия и агентство новостей». Но у меня в ушах еще звенели удары, которыми осыпали барона де Шарлю.

По правде говоря, стоит узнать получше г-на де Шарлю, его надменность, пресыщенность светскими удовольствиями, его увлечения, легко переходящие в страсти, безродными людьми с самых низов общества, и начинаешь понимать: столь же крупное состояние, как у барона, достанься оно на долю выскочки, позволило бы тому выдать дочку за герцога и приглашать высочеств на охоты, тогда как г-н де Шарлю дорожил им лишь потому, что благодаря ему мог верховодить в одном, а может нескольких заведениях, где он неизменно мог найти ублажавших его юношей. Дело было, наверное, даже не в пороке; он был потомком целой вереницы вельмож, принцев крови и герцогов, которые,

как рассказывает Сен-Симон, «не встречались ни с кем из тех, коих возможно упомянуть», и проводили дни в карточных сражениях с лакеями, проигрывая им огромные суммы.

«Пока что это заведение, — ответил я Жюльену, — представляет собой нечто иное; это даже не сумасшедший дом — здесь безумие разыгрывается как спектакль, готовый к показу и повторению. Это настоящий Пандемониум! Как халиф из “Тысячи и одной ночи”, я спешил на помощь избиваемому человеку, но мне была показана другая сказка, и в ней женщина, превращенная в собаку, сама нарывалась на удары, чтобы обрести былую форму». Похоже, Жюльена сильно взволновали мои слова: он понял, что я видел истязания барона. На секунду он притих, а я тем временем остановил фиакр; и вдруг с тем милым остроумием, что нередко поражало меня в этом человеке, самостоятельно изобретавшем, когда встречал во дворе меня или Франсуазу, самые учтивые выражения, он произнес: «Вы вспомнили сразу несколько сказок “Тысячи и одной ночи”. Но я знаю другую сказку: она напоминает мне название одной книги, которую я видел у барона (он намекал на мой перевод “Сезама и Лилий” Рескина¹¹⁴ — когда-то я отправил его г-ну де Шарлю). Если как-нибудь вечером вам захочется посмотреть на дюжину разбойников, сорок я вам не обещаю, достаточно прийти сюда; чтобы узнать, на месте ли я, гляньте наверх: я включу свет и открою маленькое окошко, — это значит, что я дома, что можно войти; вот вам “сезам” ко мне. Я говорю только о Сезаме. Что же касается

лилий, если именно это вас интересует, то я советую вам поискать их в других местах». И, лихо салютовав мне, потому что аристократическая клиентура и шайка юношей, возглавляемая им, как пиратом, приучила его к непринужденности, он было простился со мной, как вдруг послышался разрыв бомбы, не предваренный сигналом тревоги; Жюльен посоветовал не спешить. Вскоре послышалась громкая пальба заградения; было ясно: совсем близко, прямо над нами, летят немецкие самолеты.

В мгновение ока на улицы пала тьма. Правда, иногда очень низко летевший вражеский самолет освещал точку, в которую он должен был сбросить бомбу. Я сбился с пути. Я вспомнил тот день, когда, на пути в Распельер, словно божество, при виде которого моя лошадь встала на дыбы, мне встретился самолет. Теперь, подумал я, у встречи был бы иной исход, и злое божество меня убило бы. Я ускорил шаги, чтобы сбежать от него, как путешественник, преследуемый приливом; я шел по кругу черных площадей, и не мог из них выйти. Наконец, огни пожара осветили мне путь; и всё это время безостановочно трещали пушки. Но думал я о другом. Я вспоминал о доме Жюльена, быть может, стертом уже в прах, — бомба упала где-то неподалеку, когда я только вышел оттуда, — на котором г-н де Шарлю мог бы пророчески начертать: «Содом», как, с тем же предвосхищением или, быть может, уже во время вулканического извержения, в начале катастрофы, неизвестный житель Помпеи. Но что такое сирены, что такое гота для тех, кто ищет наслаждений? Охваченные

страстью, мы почти никогда не думаем о социальной и природной обстановке. Бушует ли на море буря, раскачивается ли всю нашу лодку, хлынули ли с неба потоки, сученые ветром, — в лучшем случае, мы только на секунду останавливаем на этом мысль, чтобы устранить причиненные ими затруднения, теряясь в том необъятном пейзаже, где мы так малы — и мы, и тело, к которому мы стремимся. Сирена, возвестившая бомбежку, беспокоила завсегдаев Жюльена не больше, чем айсберг.¹¹⁵ Более того, физическая опасность избавляла их от боязни, мучительно истомившей их за долгое время. Было бы ошибкой думать, что шкала страхов соотносится с внушающими их опасностями. Можно больше бояться бессонницы, чем опасной дуэли, страшиться крысы, а не льва. Несколько часов полиция заботилась о столь незначительном предмете, как жизнь горожан, и им не грозило бесчестье. Многих даже больше, чем моральная свобода, прельщала темнота, внезапно упавшая на улицы. А иные помпейцы, на которых уже пролился огонь небесный, спускались в коридоры метро, мрачные, как катакомбы. Они знали, что там они не одиноки. Для многих искушение темнотой преодолимо, — облекая вещи во что-то новое, она упраздняет подготовительный этап наслаждения и сразу вводит нас в область ласк, которая обычно открывается лишь какое-то время спустя. Будь предметом устремлений женщина или мужчина, даже предположив, что сближение становится проще, и теперь не обязательны любезности, которые надолго бы затянулись в гостиной, — по крайней мере, если

дело происходит днем, — вечером, даже на столь слабоосвещенных улицах, как сейчас, прозвучит только прелюдия, и только глаза вопьются в несозревший плод, — страх перед прохожими, перед самим встреченным существом, позволяет только смотреть, только говорить. В темноте эти старые игры упразднены, руки, губы, тела могут вступить в действие первыми. Можно сослаться на темноту и ошибки, порожденные ею, если нас ждет отпор. Если же к нам благосклонны, этот немедленный ответ не удаляющегося, но сближающегося с нами тела, дает нам понять, что та (или тот), к которой мы безмолвно обратились, лишена предубеждений и исполнена порока, и эта мысль усиливает блаженство — мы впиваемся в плод не зарясь и не испрашивая разрешений. Но темнота упорствует; погруженные в новую стихию, завсегдагаи жюльеновского дома ощущали себя путешественниками, — они наблюдали особый природный феномен, нечто схожее с приливом и затмением, и вместо организованного и безжизненного удовольствия вкушали нечаянную встречу в Неведомом, исполняя, в раскатах вулканических взрывов, в чреве дурного помпейского места, тайные обряды в сумерках катакомб.

Многие в этой зале не думали спастись бегством. Они не были знакомы друг с другом, однако все, по-видимому, вышли из одной среды, имущей и аристократической. В облике каждого было что-то отталкивающее, — наверное, то было заведомое согласие на позорные удовольствия. У одного из них, огромного мужчины, лицо сплошь блестело

красными пятнами, как у пьяницы. Мне рассказали, что раньше он не пил, хотя с радостью спаивал юношей. Но боясь мобилизации (правда, судя по его виду, шестой десяток он уже разменял), как человек уже изрядно крупный, он начал пить не просыхая, чтобы перевалить за сто килограммов, и получить освобождение от призыва. Теперь этот подсчет превратился в страсть, и хотя за ним присматривали, где бы он ни терялся, искать его следовало у виноторговца. Но в разговоре, хотя он не блистал умом, он обнаруживал богатую эрудицию, образованность и культуру. Там же был и другой представитель большого света, совсем еще молодой, редкой физической красоты. По правде говоря, в нем еще не проступили внешние стигматы порока, но не меньше волновало то, что они были видны внутри. Высокий, с очаровательным лицом, он обнаруживал в своей речи ум, отличавший его от соседа-алкоголика, и который без преувеличения можно было назвать поистине замечательным. Но все сказанные им слова всегда сопровождало выражение, которое подошло бы к совершенно иной фразе. Словно бы он в совершенстве владел сокровищницей человеческой мимики, но жил в каком-то другом мире, и теперь располагал эти выражения в нарушенном порядке, срывая наугад взгляды и улыбки без связи с тем, что он слышал. Я надеюсь, если он еще жив, а это скорее всего так, что на нем сказывалось не длительное заболевание, но преходящая интоксикация. Вероятно, мы были бы удивлены, взглянув на визитные карточки этих людей, что все они занимают весьма высокое

положение в обществе. Но тот или иной порок, и самый главный из всех — недостаток воли, из-за которого невозможно противостоять всем прочим, ежевечерне собирал их здесь, в отдельных комнатах, как мне рассказывали, так что если их имена когда-то и были известны светским женщинам, дамы постепенно теряли их из виду и больше не имели случая их принимать. Они по-прежнему получали приглашения, но привычка вела их обратно, в дурное место с его разношерстной публикой. Впрочем, они того почти не скрывали, в отличие от ублажавших их юных лакеев, рабочих и т. п. Помимо множества прочих причин, о которых можно догадываться, это легко объяснить следующим образом. Посетить подобное заведение заводскому рабочему или лакею — всё равно что женщине, которую считали порядочной, забежать в дом свиданий. Иные сознавались, что как-то раз туда заглянули, но наотрез отрицали, что ходили и после, и поэтому врал и сам Жюльен, либо спасая их репутацию, либо оберегаясь от конкуренции: «Что вы! Он ко мне не пойдет, он *туда* не подумает прийти». В свете это не так страшно: светские люди другого склада, не посещающие *такие места*, не подозревают об их существовании и не очень-то интересуются вашей жизнью. Но если *туда* приходил какой-нибудь сборщик с авиазавода, товарищи начинали за ним шпионить, чтобы никому не было повадно ходить *туда* из страха, что об этом узнают.

Пока я шел домой, я раздумывал о том, как же быстро наши привычки выходят из-под опеки сознания: оно пускает их

на самотек, уже не заботясь о них, и нас удивляют поступки людей — удостоверяемые нами только со стороны, ведь мы-то предполагаем, что в них задействована вся личность, — чье моральное и интеллектуальное достоинство развивается независимо друг от друга, в разных направлениях. По-видимому, дурное воспитание, а то и полное его отсутствие, вкупе со склонностью зарабатывать деньги если не самым тяжким трудом (в конце концов, существует множество более спокойных занятий, но иногда больной, к примеру, в паутине своих маний, ограничений и лекарств, ведет жизнь более тягостную, чем та, к которой привела бы его иногда и вовсе неопасная болезнь), то по крайней мере наименее хлопотным, заставляли этих «юношей» простодушно, так сказать, и за невысокую плату, предаваться тому, что не приносило им никакой радости, а поначалу, должно быть, вызывало живое отвращение. Можно было бы, конечно, говорить об их окончательной испорченности, но ведь не только на войне они проявили себя бравыми солдатами, несравненными «удальцами», они и «на гражданке» показали себя если не вполне «честными мальыми», то людьми с добрым сердцем. Давно уже, впрочем, не думая о том, что в их жизни морально, что аморально, они жили жизнью своей среды. Так, читая о некоторых периодах древней истории, мы с удивлением узнаем, что люди порядочные, какими они предстают нам по-отдельности, без колебаний принимали участие в массовых убийствах и человеческих жертвоприношениях — это им казалось, должно быть, вполне естественным.

Помпейские фрески жюльеновского дома, напоминавшие о последних годах Французской Революции, замечательно бы смотрелись в период Директории, и было похоже, что сейчас он начнется вновь. Уже предвосхищая мир, но хоронясь до времени в темноте, чтобы не нарушать предписания полиции явно, всюду плясали новые танцы, и люди неистово отдавались веселью на всю ночь. В иных сферах развивались новые художественные воззрения, далеко не столь антигерманские, как в первые годы войны, чтобы внести свежую струю в затхлую интеллектуальную атмосферу, — но чтобы осмелиться их выразить, надлежало аттестовать патриотизм. Профессор написал замечательную книгу о Шиллере, ее заметили газеты. Первым делом об авторе сообщалось, словно то было цензорским разрешением, что он сражался на Марне и у Вердена, пять раз упоминался в приказе, что оба его сына погибли. После этого расхваливали ясность и глубину его работы о Шиллере, которого разрешалось считать великим при условии, что он не «великий немец», а «великий бош». Это слово было паролем, и статью сразу пропускали в печать.

Тот, кто прочтет историю нашей эпохи две тысячи лет спустя, найдет в ней не меньше трогательных и чистых убеждений, приспособившихся к чудовищно тлетворной жизненной среде. С другой стороны, я немного знал людей, возможно что и никого, наделенных умом и чувством в той же мере, что и Жюльен; этот восхитительный «опыт житейский», выткавший духовную основу его речи, дался ему не в коллеже, не в университете, — там из него сделали бы,

наверное, выдающегося человека, тогда как большинству светских юношей они не приносят ровным счетом никакой пользы. Врожденный рассудок, природный вкус, редкие и случайные книги, без руководства прочтенные им на досуге, помогли ему выработать его правильную речь, в которой распускалась и цвела гармония языка. Однако его ремесло может по праву считаться не только одним из самых доходных, но также одним из самых презренных. И как маломальское чувство собственного достоинства, уважения к себе не уберегли чувственность барона де Шарлю, сколь бы ни пренебрегал он в своем аристократическом высокомерии тем, что «люди говорят», от удовольствий такого рода, оправданием для которых, наверное, могло бы послужить только полное безумие? Но и барон, и Жюльен, должно быть, так давно укоренились в привычке разделять мораль и поступки (нечто подобное можно увидеть и на другой стезе — у судьи, у государственного мужа и т. п.), что привычка, уже не заботясь о мнении морального чувства, развивалась и усугублялась самостоятельно, изо дня в день, пока этот добровольный Прометей не призвал Силу, чтобы та приковала его к Скале из чистой материи.¹¹⁶

Я понимал, что то было новой стадией заболевания г-на де Шарлю, что скорость эволюции его недуга, с тех пор, как я узнал о нем, если судить по наблюдавшимся мной его различным этапам, неуклонно возрастала. Бедный барон, должно быть, был не так далек от предела — смерти, даже если бы она не предварялась тюрьмой, сообразно

пророчествам и чаяниям г-жи Вердюрен, что в его возрасте только приблизило бы кончину. Впрочем, должно быть я все-таки неточно выразился: к скале из чистой материи. Возможно, в этой чистой материи уцелело что-то от духа. Так или иначе, этот сумасшедший отдавал себе полный отчет, что стал жертвой безумия, и в подобные минуты актерствовал — зная, что тот, кто его лупит, такой же злодей, как мальчишка, которому в «войнушке» выпало играть «пруссака», на которого в напускной ненависти и подлинном патриотическом пылу набрасывается детвора. Жертвой безумия, вобравшего в себя что-то от черт личности де Шарлю. Даже в рамках этих аномалий человеческая природа (что случается и в страстях, во время путешествий) требуя истины, выдает свою жажду веры. Франсуаза, когда я рассказывал ей какой-нибудь церкви в Милане — городе, в который, вероятно, она уже никогда не попадет, — или о Реймском соборе, — да даже о соборе в Аррасе! — которые она теперь уже не увидит, поскольку они были разрушены, завидовала богачам, успевшим насладиться зрелищем этих сокровищ, и восклицала с ностальгическим сожалением: «Вот же ж красотища-то поди была!» — та самая Франсуаза, которая прожила столько лет в Париже и так и не набралась любопытства осмотреть Нотр-Дам. Дело в том, что Нотр-Дам был частью Парижа, города, в котором протекала будничная жизнь Франсуазы, и где, по этой причине, для нашей старой служанки — как и для меня, если бы изучение архитектуры не исправило мои комбрейские наитья, — было очень

сложно подыскать место для объектов своей мечты. В наших любимых всегда заключена какая-то мечта; мы не вольны ее распознать, но она им присуща и мы к ней стремимся. Моя вера в Бергота и Свана заставила меня полюбить Жильберту, вера в Жильбера Плохого внушила мне любовь к г-же де Германт. И какая просторная морская ширь досталась на долю самой скорбной, самой ревнивой и более всего глубокой моей любви — любви к Альбертине! Впрочем, именно из-за этого личного момента, в котором мы упорствуем, наша любовь к отдельным людям — в какой-то мере аномалия. (Да и наши телесные болезни, те из них, по меньшей мере, которые сопряжены с действием нервной системы, разве они не выводок наших частных пристрастий и личных страхов, усвоенных нашими органами и суставами, — та или иная погода внушает им ужас столь же необъяснимый и упорный, как влечение иных мужчин, например, к женщинам в пенсне, к наездницам? и кто сможет сказать, с какой долгой и бессознательной мечтой связано это желание, всякий раз пробуждающееся при виде наездницы, — грезой неосознанной и волшебной, как, например, влияние на человека, всю жизнь страдавшего астматическими кризами, какого-нибудь города, на первый взгляд неотличимого от других, где он впервые вздохнул свободно?)

Эти аномалии подобны нашей любви, когда болезненный изъясн перекрывает и охватывает собой всё. Однако и в безумнейшей из них нам всё еще видна любовь.

В упорстве г-на де Шарлю, когда он требовал, чтобы на его руки и ноги наложили кольца крепчайшей стали, настаивал на железяке-строгаче¹¹⁷ и, если верить Жюльену, на самых жутких аксессуарах, которых не выпросишь у матросов, — потому что они применялись для наказаний, вышедших из употребления даже там, где самая суровая дисциплина, на борту кораблей, — в основе всего этого лежала его греза о мужественности, и о ней свидетельствовали и дикие его выходки, и цельная внутренняя миниатюра, незримая для нас, но отбрасывавшая тени — креста-строгача и феодальных пыток, украшавших его средневековое воображение. Именно в этом состоянии, всякий раз как оно на него находило, он говорил Жюльену: «Сегодня не будет тревоги, ибо пожжен я уже огнем небесным как житель содомский». Он притворялся, что боится гота, не испытывая и тени страха, чтобы у него был повод, как только завоют сирены, ринуться в убежище, в метро, где он мог еще раз вкусить удовольствие ночных прикосновений, смутных грез о средневековых подземельях, о каменных мешках. В целом, это его желание, чтобы его оковали, били, в своем безобразии обнаруживало столь же поэтическую мечту, как у иных людей — желание съездить в Венецию и содержать балерин. И г-н де Шарлю так дорожил всем, что придавало этой мечте толику реальности, что Жюльену пришлось продать деревянную кровать в комнате 43 и заменить ее на железную, потому что последняя в большей степени соответствовала цепям.

Я как раз добрался до дома, когда раздался сигнал отбоя: как будто в пожарной суматохе разболтался сорванец. Франсуаза и дворецкий поднимались из подвала. Они думали, что я погиб. Они рассказали мне, что заходил Сен-Лу, — он хотел узнать, не у нас ли этим утром он потерял свой наградной крест. Он только заметил, что креста нет, и прежде чем вернуться в часть решил наудачу проверить. Они с Франсуазой обыскали весь дом, но ничего не нашли. Франсуаза полагала, что, должно быть, он потерял крест еще до того, как зашел ко мне, потому что, как ей показалось, и она даже могла поклясться, утром на нем креста не было. В чем и ошибалась. Такова ценность свидетельских показаний и мемуаров. Впрочем, это не имело большого значения. Сен-Лу уважали офицеры и любили солдаты, дело уладилось бы легко.

Так или иначе, на Франсуазу и дворецкого, судя по их весьма сдержанным отзывам, Сен-Лу большого впечатления не произвел. Наверное, Сен-Лу приложил столько же усилий, сколько сын дворецкого и племянник Франсуазы при уклонении от военной службы, но с обратной целью, чтобы оказаться в полной опасности, и небезуспешно. Но, судя по себе, Франсуаза и дворецкий не могли в это поверить. Они были убеждены, что богачи не вылезают из укрытий. Впрочем, даже если бы они доподлинно знали о героической смелости Робера, она не произвела бы на них впечатления. Он не употреблял слова «боши», восхищался немецкой отвагой, не объяснял изменой тот факт, что мы не победили в первый же день. А именно это они хотели

услышать, им казалось храбростью. Так что я понял, хотя и застал их за поисками креста, что они охладели к Роберу. Я догадывался, где этот крест потерян (но если Сен-Лу искал подобных утех в этот вечер, то только для того, чтобы скоротать время, потому что, испытывая сильное желание вновь увидеть Мореля, он задействовал все свои военные связи, чтобы узнать, в какой части тот служит, и получил к этому моменту лишь сотни противоречивых ответов), и приказал Франсуазе и дворецкому идти спать. Но последний не спешил проститься с Франсуазой, поскольку благодаря войне им был изыскан более действенный способ причинять ей страдания, нежели изгнание монахинь¹¹⁸ и дело Дрейфуса. В тот вечер, и на протяжении нескольких последующих дней, проведенных мной в Париже до отъезда в новую клинику, всякий раз, стоило мне оказаться где-нибудь поблизости от них, я слышал, как дворецкий говорит ошеломленной Франсуазе: «Они не торопятся, оно понятно, но когда яблочко нальется, то как захватят они Париж, и жди тогда от них пощады!» — «Господи Боже, пресвятая Дева Мария! — восклицала Франсуаза, — вот же ж мало им было захватить несчастную Бельгию. Какие выпали ей страдания, когда они ее полонили!» — «Да, Франсуаза, но скоро про Бельгию можно будет забыть!» — а затем, поскольку война сбросила на рынок простонародной речи некоторое число слов, написание которых в газетах им было известно, а произношение, следовательно, неведомо, дворецкий продолжал: «Не могу понять, отчего весь мир такой тупой...

Вот увидите, Франсуаза, они готовят новую атаку, и ее машаб затмит собой прямо всё». — Возмутившись если не из жалости к Франсуазе и стратегического здравого смысла, то по крайней мере грамматического, и объяснив им, что произносить надо «масштаб», я добился только того, что это дурацкое слово Франсуазе повторяли всякий раз, как я заходил на кухню, ибо не меньшее удовольствие, чем мучения его подружки, ему доставляла возможность поставить хозяину на вид, что хотя он всего-то бывший комбрейский садовник и простой дворецкий, но все-таки добрый француз по кодексу св. Андрея В Полях, а в Декларации прав человека написано, что он может произносить «машаб» со всей своей независимостью, и никто ему не указ, коли уж это не по службе, и значит после Революции не смей ему выговаривать, теперь у нас с ним права равные.

Итак, я не без досады слушал, как он повторяет Франсуазе рассказ об операции «больших машабов», — с упорством, призванным продемонстрировать, что это произношение объясняется не невежеством, но здраво обдуманной волей. Он путал правительство с прессой в некоем общем недоверчивом «они»: «Они нам говорят о потерях у бошей и ничего не говорят о потерях у наших, а у наших, поди, в десять раз больше потерь. Они нам говорят, что боши выдыхаются, что кушать у них нечего, а я так думаю, что кушать у них в сто раз больше, чем у нас. Довольно нам вешать лапшу на уши. Если бы покушать у бошей было нечего, то они не дрались бы так, как недавно, когда они

наших поубивали сто тысяч молодых парней младше двадцати лет». Итак, он поминутно преувеличивал германские победы, как некогда триумфы радикалов, и в то же время расписывал их зверства, чтобы эти победы принесли больше страданий Франсуазе, поминутно восклицавшей: «Ах! Силы Небесные! Матерь Божья!»; иногда, чтобы расстроить ее чем-нибудь еще, он говорил: «Да и сами мы не лучше: что они натворили в Бельгии, то мы натворили в Греции. Вот увидите: мы всех настроим против себя и придется воевать с целым миром», — дело, правда, обстояло точно наоборот. Если приходили хорошие новости, он отыгрывался, уверяя Франсуазу, что война продлится, судя по всему, тридцать пять лет, и, предусматривая возможность заключения мирного договора, предсказывал, что последний продержится только несколько месяцев, а потом начнутся такие сражения, что теперешние покажутся детскими потасовками, и тогда-то уж ничего не останется от Франции.

Казалось, что победа союзников если не близка, то предрешена, и я с сожалением должен признать, что дворецкий был весьма раздосадован этим фактом. Ибо он сократил «мировую», как и всё остальное, до размеров войны, которую втихую вел против Франсуазы (любимой им, однако, несмотря на это, — как любят человека, ежедневно побивая его в домино и наслаждаясь его гневом), и добился победы еще тогда, когда Франсуаза, к его вящему неудовольствию, произнесла следующее: «Ну вот и всё, сейчас они отдадут нам еще больше, чем мы им в 70-м».

Впрочем, ему казалось, что роковой срок близок, и какойто неосознанный патриотизм способствовал его вере, как и жертв того же миража, французов, как и моей вере, когда я болел, что победа — мое исцеление — наступит завтра. Опережая события, он предсказывал Франсуазе, что, может быть, мы победим, но сердце кровью обливается, потому что потом сразу же начнется революция, а затем опять последует вторжение. «Ох уж эта чертова война, только боши могут от нее быстро оправиться, Франсуаза, они и так заработали на ней сотни миллиардов. Жди тут, чтобы они дали нам хоть су — какая чушь! об этом разве что в газетах напишут, — добавил он из осторожности и предуготовляясь к различным последствиям, — чтобы народ остудить; говорят же нам уже три года, что война завтра кончится». Франсуазу очень сильно взволновали эти слова, потому что поначалу она больше верила оптимистам, нежели дворецкому, и вскоре убедилась, что война — а она должна была, как полагала Франсуаза, кончиться через две недели, хотя «бедная Бельгия» оставалась «полонена», — продолжилась в виде феномена «фиксации фронтов», в чем она не разбиралась; к тому же, один из ее бесчисленных «крестников»,¹¹⁹ которым она отдавала всё, что зарабатывала у нас, рассказывал о многих замалчиваемых обстоятельствах. «Всё это опять свалится на трудяг, — заключил дворецкий. — Отнимут вашу земельку, Франсуаза». — «Ах, Боже милостивый!..» — Но этим отдаленным бедствиям он предпочитал более близкие и поглощал газеты в надежде известить Франсуазу

о каком-нибудь поражении. Плохих вестей он ждал как пасхальных яиц, рассчитывая, что они будут достаточно нехороши, чтобы ошеломить Франсуазу, но вместе с тем не причинят ему самому существенного материального урона. Так, например, он с восторгом наблюдал, как Франсуаза прячется в подвале от цепелинов, — потому что верил, что в таком большом городе, как Париж, в наш дом попасть бомбой невозможно.

Впрочем, временами на Франсуазу накатывал ее комбрейский пацифизм. Она едва не усомнилась в «немецких зверствах». «В начале войны нам говорили, что эти немцы — убийцы, грабители, настоящие бандиты, бббоши...» (Умножая «б» в слове «боши», она, по-видимому, полагала, что обвинение немцев в убийствах в конечном счете допустимо, но мысль о том, что они — боши неправдоподобна по причине чрезмерности. Сложно было понять, какой чудовищный и таинственный смысл вкладывала Франсуаза в слово «бош», поскольку речь шла о начале войны, и потому что это слово она произносила нерешительно. Ибо сомнение в том, что немцы действительно были преступниками, могло быть плохо обоснованным, но противоречия в нем, с логической точки зрения, не было. Но как можно было сомневаться в том, что они были бошами, если это слово в разговорной речи обозначает именно немцев? Наверное, она пересказывала грубые фразы, тогда ею услышанные, в которых особое ударение падало на слово «бош»). «Я во всё это верила, — говорила она, — но теперь берет меня сомнение, не такие ли мы точно

плуты». — Эта богохульная мысль была подспудно внушена Франсуазе дворецким — последний заметил, что его подруга благосклонна к греческому королю Константину, и во всех красках расписывал, как мы его морим голодом, чтобы он отрекся от престола. Потому отречение суверена¹²⁰ сильно взволновало Франсуазу, она даже заявила: «И ничем мы их не лучше. Будь мы в Германии, мы бы всё то же самое и натворили».

Правда, я не часто виделся с ней в эти дни, потому что она постоянно бегала к своим кузенам, о которых мама когда-то сказала мне: «Представь себе, они богаче тебя». В те дни по всей нашей стране совершалось много прекрасного, и память об этих событиях, если найдется историк, способный ее увековечить, будет свидетельствовать о величии Франции, о величии ее души, о ее величии по чину Святого Андрея в Полях, проявленном в равной степени уцелевшими тыловиками и солдатами, павшими на Марне. Племянника Франсуазы убили у Берри-о-Бак.¹²¹ Он приходился также племянником и этим миллионерам, кузенам Франсуазы, бывшим держателям кафе, которые давно уже разбогатели и отошли от дел. Он был убит, этот юный и небогатый хозяин ресторанчика, мобилизованный в двадцать пять лет, — рассчитывая вернуться к делам через несколько месяцев, он оставил присматривать за кафе молодую жену. И погиб. Тогда произошло следующее. Франсуазины кузены-миллионеры, не состоявшие в родстве с молодой вдовой их племянника, вернулись из своей деревни, в которой жили уже лет десять, и опять взялись

за работу, не оставляя себе и су; и каждое утро, с шести часов, жена кузена Франсуазы, миллионерша, одетая «как ее барышня», помогала их племяннице и кузине по браку. Почти три года с утра до половины десятого вечера они полоскали бокалы и подавали напитки, не отдыхая единого дня. Я должен сказать к чести моей страны, что в этой книге, где все факты вымышлены, где не «выведено» ни одного реального лица, где всё было изобретено мной сообразно потребностям повествования, только Франсуазины родственники-миллионеры, оставившие уединение, чтобы помочь беспомощной племяннице — реальные, живые лица. И так как я не сомневаюсь, что их скромность не будет оскорблена, потому что они никогда не прочтут этой книги, я с ребяческим удовольствием и глубоким волнением, не имея возможности привести имена стольких других людей, благодаря которым Франция выстояла, и чьи поступки столь же достойны, впишу сюда их настоящее имя: они зовутся — таким французским именем — Ларивьерами.¹²² Если и были какие-то мерзавцы-уклонисты, как требовательный молодой человек, встретившийся мне у Жюпье, которого заботило только одно: может ли он «иметь Леона к десяти тридцати», потому что он «обедает в городе», — то их поступки испугали тысячи французов Святого Андрея в Полях, все эти несравненные солдаты, к которым я приравниваю Ларивьеров.

Желая растравить Франсуазины печали, дворецкий откопал где-то старые номера «Общего Чтения»; на обложке одного

из них (это были довоенные выпуски) была изображена «германская императорская семья». «Вот он, наш завтрашний хозяин», — сказал дворецкий, показывая ей «Вильгельма». Франсуаза вытаращила глаза, затем углядела женщину, изображенную рядом, и уточнила: «Да тут и Вильгельмесса!» что касается Франсуазы, ее ненависть к немцам была исключительной; она уравнивалась только той, что внушали ей наши министры. Я не знаю, чьей гибели она жаждала больше — Гинденбурга или Клемансо.

Мой отъезд из Парижа был задержан одним известием, и горе, которое я из-за него испытал, на время лишило меня способности отправиться в путь. Дело в том, что я узнал о смерти Робера де Сен-Лу, который погиб через два дня после возвращения на фронт, прикрывая отступление своих солдат. Я не знал еще человека, которому столь же мало была присуща ненависть к тому или иному народу (что касается императора, то по каким-то причинам личного свойства, возможно вздорным, он считал, что Вильгельм II пытался предотвратить войну, а не развязать ее). Да и ко всему германскому: последнее, что я услышал от него, за шесть дней до его смерти, были начальные слова песни Шумана, — он напел их на лестнице по-немецки, и так громко, что испугавшись соседей я попросил его замолчать. Превосходно воспитанный, он был приучен совершать поступки, воздерживаясь от всякой хулы, хвалы, пустословия; и перед лицом врага, как в момент мобилизации, он уклонился от всего, что могло бы

сохранить его жизнь, в силу того же самоумаления перед лицом других, которое просматривалось во всех его манерах, вплоть до обыкновения закрывать дверцы фиакра, сняв шляпу, когда он провожал меня у дверей своего дома. Много дней я просидел в закрытой комнате, размышляя о нем. Я вспоминал его первый приезд в Бальбек: в белом шерстяном костюме, стреляя глазами, зеленоватыми и подвижными, как волны, он пересекал холл перед большой столовой, окна которой выходили на море. Я вспомнил, каким особенным человеком он мне показался тогда, как сильно я захотел стать его другом. Желание осуществилось сверх ожиданий, хотя поначалу не принесло никакой радости, и только сейчас я осознал, что таило в себе это элегантно явление — какие великие блага, и прочее. Как первое, так второе он всю жизнь раздаривал без счета — и даже в последний день, бросившись на траншею: из великодушия, чтобы всё, чем он владеет, могло послужить другим, — как в тот вечер в ресторане, когда, чтобы не беспокоить меня, он пробежал по спинке дивана. В конечном счете, я довольно редко виделся с ним, и это было в столь разных местах и ситуациях, разделенных столь долгими промежутками, — в бальбекском холле, в ривбельском кафе, в кавалерийской казарме и на донсьерских ужинах с офицерами, в театре, где он влепил пощечину журналисту, у принцессы де Германт, — что от его жизни остались более яркие, более четкие отпечатки, от его смерти — более светлое горе, нежели от жизни и смерти людей, любимых нами сильнее,

но с которыми мы встречались слишком часто, отчего их образ, живущий в нашей памяти, стал лишь своего рода средней величиной бесконечности образов, различных нечувствительно, а у нашей пресыщенной привязанности к ним не осталось иллюзии, как в отношении тех, с кем число наших встреч, вопреки обоюдной воле, было ограничено, встречи с кем были редки и коротки, что была возможна и более близкая связь, и только обстоятельства хитростью отняли ее у нас. Спустя несколько дней после того, как я впервые увидел его, гнавшегося за своим моноклем по бальбекскому холлу, и вообразил, что он чрезвычайно высокомерен, я увидел другую живую форму, первый раз на бальбекском пляже, которая теперь тоже существовала только в виде воспоминания, — это была Альбертина, попиравшая песок, безразличная ко всему и морская, как чайка. Я так быстро влюбился в нее, что ради ежедневных прогулок с ней даже не уехал из Бальбека, чтобы повидаться с Сен-Лу. Однако в истории моих отношений с ним сохранилось свидетельство о том, что на какое-то время я разлюбил Альбертину, потому что я все-таки прожил несколько дней у Робера в Донсьере — из-за печали, что меня не покидает чувство к г-же де Германт. Его жизнь, жизнь Альбертины, так поздно узнанные мной, и обе в Бальбеке, и так быстро кончившиеся, едва пересекались; но это его, твердил я себе, чувствуя, как проворные челноки лет связывают нити, казалось бы, между самыми удаленными друг от друга воспоминаниями, это его я посылал к г-же Бонтан, когда

меня покинула Альбертина. А потом выяснилось, что обе их жизни скрывают схожую тайну, о которой поначалу я не догадывался. Тайна Сен-Лу причиняла мне теперь, быть может, больше мук, чем тайна Альбертины, ведь Альбертина стала теперь для меня совсем чуждой. Но ничто не могло утешить меня в мысли, что ее жизнь и жизнь Сен-Лу оборвались так рано. Они заботились обо мне, они оба говорили: «Вы больны». И вот, теперь они мертвы, а я сопоставляю разделенные небольшим отрезком последние образы — перед траншеей, у реки — с первыми, в которых, даже в случае Альбертины, если что-то представляло для меня ценность, то только отблеск солнца, сажающегося в море.

Смерть Сен-Лу вызвала у Франсуазы больше жалости, чем смерть Альбертины. Она безотлагательно взялась за роль плакальщицы и перебирала воспоминания о покойном в причитаниях, безутешном погребальном плаче. Свое горе она выставляла напоказ, сухое выражение водворялось на ее лице лишь тогда, когда против воли мне случалось обнаружить свою скорбь, — тогда она отворачивалась и делала вид, что ничего не заметила. Нервозность в других людях, вероятно, слишком похожая на собственную, как и многих других нервных натур, ее раздражала. Теперь она любила рассказывать, что у нее шею поламывает, что голова кружится, а еще что она ушиблась. Но стоило мне упомянуть о какой-нибудь моей болезни, и к ней возвращалось ее стоическая степенность, она притворялась, что ничего не слышит.

«Бедный маркиз», — повторяла она, хотя вряд ли могла удержаться от мысли, что он сделал всё возможное, чтобы остаться в тылу, и, когда был призван, чтобы избежать опасности. «Бедная мать, — говорила она о г-же де Марсант, — как она наверно плакала, когда узнала о смерти своего мальчика! Если б она только могла на него посмотреть, но наверно лучше, чтоб она его не видела, а то ведь ему нос разнесло пополам, всего разворотило». Глаза Франсуазы увлажнились, но сквозь слезы в них можно было видеть жестокое любопытство крестьянки. Возможно, Франсуаза искренне сострадала г-же де Марсант, но ей было жаль, что она не знает, во что ее скорбь вылилась, и не может натешиться зрелищем и печалью сполна. И поскольку ей все-таки нравилось поплакать, и чтобы ее слезы не остались незамеченными мною, она всхлипывала, заходясь: «Вот уж выпало мне на долюшку!» Она жадно выискивала следы горя на моем лице, и я говорил о Робере суховато. И, быть может, из подражания, потому что она слышала, что так говорят, ибо по буфетным, как по салонам, бродят свои клише, не без удовольствия, впрочем, беднячки, она то и дело повторяла: «Деньжонки-то от смерти его не спасли, все умирают, и он умер, теперь они ему не пригодятся». Дворецкий обрадовался возможности и поведал Франсуазе, что всё это, конечно, печально, но не так существенно, если вспомнить все те миллионы людей, которые постоянно погибают вопреки усилиям правительства скрыть эти факты. Но на этот раз растравить скорбь Франсуазы, как он было рассчитывал, ему не удалось; последняя отрезала:

«Это оно правда, что они тоже погибают за Францию, но я-то их не знаю; а всегда очень трогает, когда это *люди-то* знакомые». И Франсуаза, любившая поплакать, добавила: «Вы посмотрите и скажите, если о смерти маркиза напишут в газете».

Робер нередко с грустью говорил мне, еще задолго до войны: «Лучше не будем обо мне — я человек обреченный». Намекал ли он на порок, успешно им ото всех скрытый, а его силу он, только его узнав, быть может, преувеличивал, подобно детям, вкусившим любви, или даже до того, получившим удовольствие в одиночестве, которые думают, что подобно растениям им придется умереть тотчас после того, как они рассеяли свою пыльцу? Может быть, это преувеличение также объяснялось — для Сен-Лу и для детей — представлением о грехе, с которым еще не сжились, совершенно новым ощущением, почти ужасная сила которого вскоре пойдет на убыль? Или же у него было — подтверждаемое, если в том была нужда, довольно ранней смертью отца, — предчувствие преждевременной кончины? Конечно, в такие предчувствия сложно поверить. Но похоже, что смерть подчиняется действию определенных законов. Наверное, дети умерших слишком поздно или слишком рано почти против воли обречены погибнуть в те же года, первые — влача до сотни немощи и неизлечимые болезни, вторые — вопреки счастливой и здоровой жизни — сраженные к неотвратимому раннему сроку столь своевременной и случайной болезнью (глубокие корни которой, возможно, уже заложены в их

темпераменте), что она покажется нам лишь необходимой формальностью для осуществления их конца. И вполне вероятно, что сама по себе преждевременная смерть, — как смерть Сен-Лу, до такой степени, впрочем, обусловленная его характером, что я не считал нужным говорить об этом особо, — в какой-то мере была предопределена заранее; известная богам, неведомая людям, она была возведена наполовину осознанной, наполовину неосознанной печалью (и на этой последней стадии о ней рассказывают другим с той неподдельной искренностью, с которой предсказывают несчастья, в глубине души надеясь их избежать, хотя это не делает их менее неотвратимыми) и неотделима от того, кто несет ее в себе, постоянно предчувствуя в глубине души — как родовой девиз и роковое число.

Наверное, он был прекрасен в свои последние часы. Он всегда в этой жизни, даже сидя или вышагивая по гостиной, как будто сдерживал атакующий порыв, скрывая за улыбкой неукротимую волю треугольной головы; и вот он атаковал. Избавившись от книг, феодальная башня вернулась к войне.¹²³ В смерти этот Германт стал собой, то есть частью своего рода, растворившись в нем, будучи в нем только Германтом, что символически выразилось на его похоронах в церкви Св. Илария Комбрейского, где, на полностью закрывшем стены черном крепе, краснела в замкнутом венце, без инициалов и титулов, только «G» Германта, которой в смерти он стал.

Прежде чем отправиться на его похороны, состоявшиеся не сразу, я написал Жильберте. Наверное, мне следовало написать и герцогине де Германт, но я подумал, что гибель Робера будет воспринята ею с тем же безразличием, которое она продемонстрировала, как я уже видел, по случаю смерти многих других людей, казалось бы, столь для нее близких, — возможно даже, думал я, ее германтский дух выкинет свой очередной образчик и она не постесняется показать, что никаких предрассудков касательно уз родства в ней нет. Я слишком страдал, чтобы писать всем. Когда-то я считал, что герцогиня и Робер «любят друг друга» в светском смысле этого слова, то есть при встрече болтают о чем-то милом, о том, что чувствуют в данный момент. Но за ее спиной Робер без колебаний величал ее идиоткой, а о самой герцогине мне было известно, что если она и испытывала иногда, при встречах с ним, эгоистическое удовольствие, то была неспособна приложить малейшее усилие, использовать свое влияние, чтобы оказать ему услугу, и даже уберечь его от беды. Злоба, с которой она отказывалась рекомендовать его генералу де Сен-Жозефу, когда Робер должен был вернуться в Марокко, свидетельствовала, что ее преданность Роберу, продемонстрированная ею по случаю его женитьбы, была только своеобразной компенсацией, почти ничего для нее не стоившей. Я был сильно удивлен, когда узнал, что от нее довольно долго, и под самыми вздорными предложениями, так как к моменту смерти Робера она болела, были вынуждены прятать газеты, из которых она могла узнать

о его смерти, чтобы избавить ее от более чем вероятного потрясения. И я был удивлен еще больше, узнав о том, что герцогиня проплакала целый день, когда ей все-таки рассказали правду, разболелась и долго — больше недели, а это для нее много, — была безутешна. Узнав о ее горе, я был растроган. В свете теперь могли говорить, и я был готов подтвердить это, что между ними была большая дружба. Но когда я вспоминал, сколько мелких сплетен и нежелания оказать помощь ей сопутствовало, я думал: какой, в сущности, пустяк — большая светская дружба.

Впрочем, несколько позже, в обстоятельствах пусть не столь значимых для моего сердца, но исторически более важных, г-жа де Германт показала себя, на мой личный взгляд, с еще более выгодной стороны. У нас на памяти, что еще в юности она была невероятно дерзка с русской императорской семьей, а в замужестве всегда говорила с ними с такой вольностью, что нередко ее обвиняли в недостатке такта; но, быть может, только она после русской революции доказала свою беспримерную преданность русским великим князьям и княгиням. Еще за год до войны она изводила великую княгиню Владимир, то и дело называя графиню де Гогенфельсен, морганатическую супругу великого князя Павла, «великой княгиней Павел».¹²⁴ Тем не менее, еще не прогремела русская революция, а наш посол в Петербурге, г-н Палеолог («Палео» для дипломатического бомонда, у которого, как у любого прочего, свои, так сказать, остроумные сокращения) уже был измучен депешами от г-жи де Германт, требовавшей вестей от великой княгини

Марии Павловны. Долгое время, и едва ли не ежедневно, эта принцесса получала знаки симпатии и уважения исключительно от г-жи де Германт.

Если не смерть Сен-Лу, то по меньшей мере предшествовавшие ей поступки причинили кое-кому более серьезные огорчения, нежели г-же де Германт. Дело в том, что на следующий же вечер после нашей встречи, через два дня после того, как барон крикнул Морелю: «Я отомщу!», хлопоты, предпринятые Сен-Лу с целью найти Мореля, увенчались успехом. В том смысле, что генерал, под чьим началом числился Морель, пришел к выводу, что Морель дезертировал; он приказал найти его и арестовать, и чтобы извиниться за наказание, которому должны были подвергнуть интересовавшего его человека, написал Сен-Лу. Морель не сомневался, что его арест вызван ссорой с г-ном де Шарлю. Ему вспомнились слова: «Я отомщу за себя», он подумал, что такова месть барона, и сделал чистосердечное признание. «Конечно, — сказал он, — я дезертировал. Но разве я виноват, что меня наставили на дурной путь?» Он рассказал несколько историй о г-не де Шарлю и г-не д'Аржанкуре, с которым он также был в ссоре, поведенные ему теми с удвоенной откровенностью любовников и извращенцев, — эти истории, по правде говоря, самого Мореля напрямую не затрагивали, однако привели к аресту и г-на де Шарлю, и г-на д'Аржанкура. Сам арест, наверное, каждому из них причинил меньше страданий, чем известие о том, что второй был соперником: ранее они этого не знали; следствие также показало, что соперников у них —

бездельных, ежедневных, подбивавших Мореля на улице, — было намного больше. Впрочем, вскоре их освободили. Мореля тоже отпустили, потому что письмо, отправленное генералом Роберу, вернулось с пометкой: «Выбыл, погиб на поле боя». Ради покойного генерал попросту приказал вернуть Мореля на фронт; последний, избежав сопутствующих опасностей, проявил на фронте отвагу и по окончании войны вернулся с крестом, который когда-то г-н де Шарлю тщетно пытался для него выхлопотать, и который, косвенными образом, принесла ему смерть Сен-Лу.

Вспоминая об этом кресте, оставленном у Жюльена, я нередко думал, что если бы Сен-Лу остался в живых, он без труда добился бы избрания депутатом на послевоенных выборах, в той пене бестолочи и блеске славы, оставленных ею за собой, когда ампутированный палец, отменяя вековые предрассудки, позволял вступить блистательным браком в аристократическую семью, а наградного креста, даже если он был выслужен в канцелярии, было достаточно для триумфального вхождения если не во Французскую Академию, то в Палату депутатов. После избрания Сен-Лу, по причине его принадлежности к «святому» семейству, г-н Мейер пролил бы потоки слез и чернил. Но все-таки Робер слишком искренне любил народ, чтобы завоевывать его голоса, хотя простые люди простили бы ему, конечно, за его старинное дворянство, его демократические идеи. Сен-Лу, наверное, с успехом излагал бы их перед палатой авиаторов. Конечно, он был бы понятен и этим героям, и редким

и благородным умам. Но стараниями сомнительного Национального Блока выудили и старых политических каналов, которых переизбирают всегда. Те, кто не смог войти в палату авиаторов, чтобы стать хотя бы членом Академии, добивались поддержки у маршалов, президента Республики, председателя Палаты и т. п. Сен-Лу не пользовался бы у них такой же поддержкой, как другой завсегда́тай Жюпьена, депутат от «Аксьон Либераль», который был переизбран «подавляющим большинством». Война давно уже кончилась, а он всё еще носил форму территориального офицера. Его избрание с радостью приветствовали газеты, «поддерживавшие» его кандидатуру, благородные и богатые дамы, носившие теперь только рубища — из чувства приличия и боязни налогов, тогда как биржевики без остановки скупали бриллианты — не для жен, а в результате потери веры в ценные бумаги какого-либо государства, желая найти убежище в этом осязаемом богатстве, и стоимость акций де Бирс перевалила за тысячу франков. Вся эта бестолочь не могла не вызывать раздражения, но критика в адрес Национального Блока утихла, когда явились жертвы большевизма, великие княгини в лохмотьях — мужья были убиты на каторге, сыновья побиты камнями или заморены голодом; или их заставляли работать среди кричащей толпы, или бросали в шахты, потому что считали, что у них чума и они заразны. Те, которым удалось сбежать, появились...¹²⁵

Я уехал в другую клинику, и не был излечен, как и в первой; прошло немало лет, прежде чем я ее оставил.¹²⁶ В пути, а я возвращался в Париж железной дорогой, мысль о том, что я лишен литературных дарований, которая впервые посетила меня еще на стороне Германтов, и была с еще большей печалью вновь узнана мной во время ежевечерних прогулок с Жильбертой перед ночным тансонвильским ужином, которую, накануне отъезда из этого поместья, прочитав нескольких страниц дневника Гонкуров, я признал следствием суетности, лживости литературы — и это было не так мучительно, быть может, но для меня куда более прискорбно, потому что теперь ее предметом была уже не присущая мне лично немощь, но несуществование чтимого мной идеала, — эта мысль, так долго не приходившая мне на ум, поразила меня с новой и небывало горестной силой. Это случилось, помнится, во время остановки поезда в чистом поле. Солнце замерло на серединке стволов деревьев, стоявших у железнодорожной насыпи. «Деревья, — думал я, — вам больше нечего мне сказать, моё остывшее сердце вас не услышит. Вокруг девственная природа, а я со скукой и равнодушием смотрю на линию, отделившую светлую листву от тенистых стволов. Если я когда-то считал себя поэтом, то теперь я знаю: я не поэт. Может быть,

на открытом мною новом отрезке иссохшей моей жизни люди вдохнут в меня то, чего уже не говорит мне природа. Но года, когда у меня были силы ее воспеть, утрачены навсегда». Однако утешая себя тем, что место невозможного вдохновения займет возможное наблюдение за обществом, я знал, что я всего лишь подыскиваю утешение, и даже в моих глазах оно ничего не стоит. Если бы я действительно обладал артистической натурой, какую только радость не пробудили бы в моей душе эти деревья, освещенные садящимся солнцем, или поднимающиеся почти до ступенек вагона цветки на насыпи; их лепестки можно было сосчитать, но от описания их оттенков, как в книгах хороших писателей, я бы воздержался — разве можно передать читателю удовольствие, которого ты не испытал?

Позже я равнодушно смотрел на золотые и оранжевые блестки, просеянные окнами дома; затем, ближе к вечеру, я разглядывал другое строение, вылепленное, как показалось мне, из какого-то розового и причудливого вещества. Но я производил эти констатации в том же непробиваемом безразличии, будто гулял по саду с дамой и увидел стеклянное оконце, а немного дальше — предмет из материи, сходной с алебастром, и хотя ее непривычный цвет не разогнал мою вялую тоску, я из вежливости к этой даме, и чтобы сказать что-нибудь, привлечь ее внимание к увиденному мной цветку, мимоходом показывал ей цветное стекло и кусок штукатурки. Так для очистки совести я всё еще отмечал про себя, будто для какого-то спутника, способного испытать больше радости, нежели я,

огненные отсветы рам, розовую прозрачность дома.
Но компаньон, которому я говорил про все эти любопытные
детали, по характеру был не столь восторжен,
как большинство людей, весьма склонных такими
пейзажами восхищаться, потому что он смотрел на эти
цвета без тени ликования.

Мое длительное отсутствие в Париже не помешало старым
друзьям, так как мое имя осталось в их списках, по-
прежнему исправно слать мне приглашения; дома я нашел
два письма: меня звали на чаепитие у Берма, в честь ее
дочери и зятя, и на утренник, назначенный на следующий
день у принца де Германта; те печальные размышления,
которым я предавался в поезде, были не последним
доводом в пользу того, чтобы туда отправиться. Стоит ли
лишать себя светских удовольствий, думал я, если эта
знаменитая «работа», которую каждый день, и вот уже
столько лет, я откладываю на завтра, мне не дается — или
уже не дается; может быть, она вообще не имеет никакого
отношения к реальной жизни. Конечно, этот довод был
совершенно негативен, он только обесценивал соображения,
которые могли удержать меня от посещения светского
концерта. Однако отправиться туда меня заставило имя
Германтов; я так давно не помышлял о нем, что теперь,
покоясь на пригласительной открытке, оно задело своим
лучиком мое внимание, которое тотчас принялось
поднимать из глубин моей памяти срезы прошлого, вкпе
с образами лесных угодий и высоких цветов, проросших
еще в те времена, и достаточно давно, чтобы теперь снова

обрести для меня очарование и значение, что я находил в этом имени еще в Комбре, когда снаружи, с Птичьей улицы, прежде чем войти в собор, я рассматривал поблекшую олифу, витраж с Жильбером Плохим, государем Германта. На мгновение Германты снова показались мне людьми, у которых не может быть ничего общего с прочей светской публикой, людьми несравнимыми с ними, как и с любым живым существом — даже с каким-нибудь королем, — которые возникли в результате от скрещения кислого, порывистого воздуха сумеречного Комбре, где прошло мое детство, с прошлым, смотревшим на нас из маленькой улочки, с высоты витража. Мне захотелось пойти к Германтам, словно бы это приблизило меня к детству, к глубинам моей памяти, в которых я его различал. И бесчисленное число раз я перечитывал приглашение, пока взбунтовавшиеся буквы, что составляли имя столь же знакомое и таинственное, как имя Комбре, не обособились заново и не начертали перед моими усталыми глазами как будто имя незнакомое. Мама как раз собиралась на чаепитие к г-же Сазра, зная наперед, что там будет очень скучно, и я без колебаний направился к принцессе де Германт.

Добираться к принцу де Германту, однако, мне пришлось на экипаже — он жил теперь не в старом своем особняке, но в новом и великолепном дворце, выстроенном по его указу на авеню дю Буа. Это одна из ошибок светских людей: если уж им угодно, чтобы мы верили в них, для начала следует, чтобы они поверили в себя сами или, по меньшей

мере, уважали символы, существенные для наших верований. Когда-то ведь и я верил, даже если знал наверняка, что дело обстоит иначе, что Германты живут в этих дворцах по наследственному праву, и проникнуть во дворец чародея или феи, попытаться открыть двери, которые не подчинятся, если не произнести волшебного заклинания, казалось мне делом столь же затруднительным, как попытка завязать разговор с самим чародеем, самой феей. Мне ничего не стоило внушить себе, что старый слуга, нанятый на службу накануне, а то и вовсе присланный от Потеля и Шабо, был сыном или внуком прислуги, работавшей на эту семью задолго до Революции; я с редкостной готовностью называл полотно, купленное минувшим месяцем у Бернхейма-младшего, «портретом предка».¹²⁷ Но очарование не передается, воспоминаний не разделить, и от самого принца де Германта, теперь, когда он разбил основания моей веры, переехав на авеню дю Буа, сохранилось немного. Плафоны, падения которых я опасался, когда произносили мое имя, под которыми я до сих пор переживал бы былые страхи, былое очарование, теперь осеняли гостей какой-то безразличной для меня американки. Конечно, отнюдь не в вещах заключена их сила, и раз уж именно мы наделяем их ею, какой-нибудь юный студент-буржуа, должно быть, испытывал в этот момент перед особняком на авеню дю Буа те же чувства, которые мне довелось пережить когда-то у дверей старого дворца принца де Германта. Дело в том, что он еще был в возрасте верований, а для меня это время

прошло, и я уже утратил этот дар, как теряют способность, выходя из раннего детства, диссоциировать глотаемое молоко на удобоваримые доли. Поэтому-то взрослые принуждены, из некоторой осторожности, пить молоко маленькими глотками, тогда как дети сосут его сколько хотят, не перехватывая дыхания. По крайней мере, в переезде принца де Германта положительной стороной для меня было то, что экипаж, в котором я предавался этим мыслям, оказался на улицах, ведущих к Елисейским полям. Они тогда были худо вымощены; но как только мы попали в эти места, мои мысли пресекло чувство необычайной плавности, как если бы вдруг колеса пошли мягче и легче — словно открылись ворота парка и мы заскользили по аллеям, покрытым мелким песком и усышкой листвы. Физически ничего не произошло; но внезапно я ощутил, как утратило свою силу внешнее противодействие, что больше не нужно применяться и внимать, как бывает при встрече с новым, даже если мы не отдаем себе в том отчета: по этим давно забытым мной улицам, где я проезжал, давным-давно мы с Франсуазой ходили на Елисейские поля. Земля сама знала, куда идти; ее сопротивление сошло на нет. И как авиатор, только что тяжело катившийся по земле, вдруг от нее «оторвавшись», я медленно вознесся к молчащим вершинам моей памяти. Эти улицы Парижа всегда будут представляться мне в ином свете, нежели другие. Проезжая угол улицы Руаяль, где стоял раньше уличный торговец фотографиями, от которых Франсуаза была без ума,

я почувствовал, что экипажу, словно бы попавшему в колею сотен былых прогулок, только и оставалось, что повернуть им вслед. Я пересек не улицы, исхоженные сегодняшними гуляками, я пересек ускользящее, нежное и грустное прошлое. Впрочем, оно состояло из многих прошедших, и я с трудом мог понять причину моей грусти — объяснялась ли она встречами с Жильбертой, когда я боялся, что она не придет, или близостью дома, куда, сказывали мне, Альбертина ходила с Андре, или философской тцетой, чье значение мы узнаем на дороге, пройденной миллионы раз в какой-нибудь страсти, страсти уже умершей и не принесшей плода, — например той, в пылу которой я лихорадочно и поспешно выбежал из дому после завтрака, чтобы посмотреть на свежие, сморщенные от клея афиши «Федры» и «Черного домино».¹²⁸

У меня не было большого желания слушать концерт, который играли у Германтов, целиком, и когда экипаж достиг Елисейских полей, я попросил остановиться и готов был сойти, желая немного пройтись пешком, как вдруг рядом со мной замерла еще одна коляска, и моим глазам предстало поразительное зрелище. Сгорбленный мужчина с неподвижным взглядом, скорее усаженный, нежели сидевший в глубине, прилагал такое же количество усилий для того, чтобы держаться прямо, как ребенок, которого попросили вести себя смирно. Из-под соломенной шляпы выбивались дикие дебри совершенно седых волос; с подбородка струилась белая борода, словно бы прилепленная снегом к статуе общественного сада. Рядом

с Жюльеном, готовым ради барона разорваться на части, сидел г-н де Шарлю, который только что оправился от апоплексического удара; мне об этом не рассказывали (я слышал только, что он ослеп, но это было преходящее расстройство: он снова видел ясно), но этот удар — если только барон раньше не красился и ему не запретили этого, чтобы он себя не утомлял, — словно бы действием некоего химического реактива высвободил из него сверкающий металл, низвергавшийся, как гейзерами, перенасыщенными прядями волос и бороды, теперь из чистого серебра, одновременно наделив этого старого поверженного принца Шекспировым величием короля Лира. Не укрывшись от этого тотального спазма, металлургического истощения головы, словно бы побочным действием того же феномена, глаза утратили свой блеск. Но сильнее всего впечатляло то, что это сверкание прежде напитывалось его надменностью, что физическая и даже интеллектуальная жизнь г-на де Шарлю пережили его аристократическую гордость, хотя когда-то, как казалось, она составляла с ними единое тело. В это время, наверное, также направляясь к Германтам, мимо проезжала в виктории г-жа де Сент-Эверт; ранее барон считал, что она недостаточно для него изысканна. Жюльен, заботившийся о нем, как о ребенке, шепнул ему на ухо, что это г-жа де Сент-Эверт, его знакомая. И тотчас с неимоверным усилием, но также с неменьшим прилежанием больного, который желает показать, что еще способен производить тяжкие движения, г-н де Шарлю снял шляпу, нагнулся вперед и склонил голову — столь же

почтительно, как будто перед ним проезжала не г-жа де Сент-Эверт, но королева Франции. Может быть, причиной этого приветствия была его затруднительность, поскольку г-н де Шарлю знал, что он еще больше растрогает мучительным и стало быть вдвойне похвальным для больного действием, а также вдвойне лестным для той, кому поклон предназначался, поскольку больные, как и короли, выказывая учтивость, забывают о мере. Может быть, движения барона свидетельствовали о расстройстве координации, последствиях заболевания костного и головного мозга, и его жесты выходили за рамки его намерений. Я же увидел в этом почти физическую мягкость, равнодушие к жизненным реалиям, столь поразительные для нас в тех, кого смерть уже осенила своим крылом. Глубину перемены, произошедшей в бароне, не столь явно обнаруживали серебряные залежи в его шевелюре, сколь это неосознанное светское смирение, переворачивавшее социальные устои, склонившее перед г-жой де Сент-Эверт — как оно склонило бы его голову перед последней американкой (которая теперь самолично смогла бы, наконец, убедиться в любезности барона, практически недоступной ей доселе) — воплощение самого неприступного снобизма. Потому что барон еще жил и мыслил; его сознание не было поражено. Приветствие барона, услужливое и почтительное, возвещало более громко, чем хор Софокла об униженной гордости Эдипа, чем сама смерть и любая траурная речь, как хрупка и преходяща любовь к земным почестям, любая

человеческая гордость. Г-н де Шарлю, который раньше не согласился бы и ужинать с г-жой де Сент-Эверт, теперь приветствовал ее поясным поклоном. Быть может, он просто забыл о ранге лица, с которым здоровался (удар мог вычеркнуть статьи социального кодекса, да и любую прочую область памяти), или же нескоординированность движений отражала, в этом мнимом подобострастии, его сомнение — без тени прежнего высокомерия — относительно личности проезжавшей дамы. Он приветствовал ее с вежливостью детей, которые робко выходят на зов матери, чтобы поздороваться с гостями. Ребенком, хотя и без детской гордости, в сущности, он теперь стал.

Для г-жи де Сент-Эверт принимать знаки уважения г-на де Шарлю было высшей точкой снобизма, как для барона — в этих знаках г-же де Сент-Эверт отказывать. Но эту только ему присущую недоступность и исключительность, как ему удалось внушить какой-нибудь г-же де Сент-Эверт, он же одним ударом и уничтожил, когда прилежно и кротко, с боязливым усердием приподнял шляпу, откуда заструились — покуда голова оставалась почтительно непокрытой с выразительностью какого-нибудь Боссюэ¹²⁹ — потоки серебряных косм. Жюльен помог барону спуститься, я поздоровался с ним, и он что-то затараторил — так неразборчиво, что я не разобрал и слова; но когда я переспросил его в третий раз, он нетерпеливо дернул руками; я удивился, потому что его лицо сохраняло невозмутимость, что было следствием, вероятно, паралича.

Стоило мне, однако, привыкнуть к этому пианиссимо пробормотанных слов, и я убедился, что болезнь не затронула его ум.

Впрочем, передо мной было два барона, если не считать прочих.

Барон интеллектуальный то и дело горевал, что дошел до афазии, что постоянно произносит какой-нибудь звук и слово вместо иного. Но как только ему на деле случалось ошибиться, второй, подсознательный г-н де Шарлю, столь же жаждавший возбуждать зависть, сколь первый — сострадание, и к тому же не пренебрегавший кокетством, немедленно останавливал начатую фразу, и подобно дирижеру, чьи музыканты сбиваются, с бесконечной изобретательностью увязывал продолжение речи со словом, в действительности сказанным вместо другого, якобы сознательно им выбранным. В целости была даже память, из которой — не без жеманства, однако, довольно для него изнурительного, — он постоянно извлекал старые и пустячные воспоминания, относящиеся ко мне, чтобы показать, что он сохранил, или заново обрел, всю ясность ума. И не пошевелив головой, глазами, ни единым отзвуком не изменив голоса, он сказал, в частности: «Смотрите-ка, на столбе такая же афишка, как в Авранше, когда я впервые вас увидел, — то есть нет, в Бальбеке». И действительно, рекламировался тот же продукт.

На первых порах я с трудом различал, что он говорит, — так в комнате с закрытыми занавесями поначалу не видно ни зги. Но как глаза привыкают к сумраку, мой слух вскоре

освоился с этим шепотом. Мне показалось, кроме того, что это пианиссимо в разговоре постепенно крепло, — может быть, слабость голоса в какой-то мере объяснялась нервной боязнью, рассеивавшейся, когда его отвлекали и он больше о том не думал, или же напротив, слабость и правда соответствовала его состоянию, и если он какое-то время говорил громко, то только в мимолетном и скорее зловещем напускном возбуждении, внушавшем посторонним мысль: «Ему уже лучше, не надо напоминать ему о болезни», — тогда как оно только усиливало болезнь, незамедлительно бравшуюся за свое. Чем бы то ни объяснялось, в эти минуты барон (даже если учесть мое привыкание) бросал свои слова с большей силой, подобно приливу, мечущему в ненастье сученые волны. И осколки недавнего удара бряцали в его словах, как булыжники. Беседуя со мной о былом, чтобы показать, наверное, что у него еще не отшибло память, он воскрешал его в несколько траурном порядке, хотя и без печали. Он перечислял усопших родственников и друзей, но чувствовалось, что он не столько скорбил о тех, кто был уже мертв, сколько радовался, что их пережил. Благодаря воспоминанию об их кончине, похоже, он лучше сознавал собственное выздоровление. С триумфальной жестокостью, в приглушенных могильных тональностях, он монотонно бросал, слегка заикаясь: «Аннибал де Бреоте, мертв! Антуан де Муши, мертв! Шарль Сван, мертв! Адальбер де Монморанси, мертв! Босон де Талейран, мертв! Состен де Дудовиль, мертв!» Слово «мертв» падало на этих

покойных, будто лопата самой тяжелой земли, будто могильщик спешил их закопать поглубже.

Герцогиня де Летурвиль намеревалась пропустить утренник у принцессы де Германт, поскольку только что оправилась после долгой болезни; она проходила мимо нас и, заметив барона, о недавнем ударе которого она не слышала, подошла поздороваться. Но собственная болезнь не помогла ей лучше понимать болезни ее ближних — она лишь стала относиться к этому нетерпеливее, с каким-то нервным раздражением, возможно не исключавшем глубокого сострадания. Заметив, что барон с большим трудом, постоянно ошибаясь, произносит отдельные слова, едва двигает рукой, она посмотрела сначала на меня, потом на Жюпьена, словно бы требуя от нас объяснения этому шокирующему феномену. Мы промолчали, и она пристально взглянула на самого де Шарлю — с грустью, но не без упрёка. Она словно бы укоряла его за то, что встретила на людях в таком непотребном виде, как если бы он вышел на улицу без галстука или ботинок. Барон еще раз ошибся, и с горестью, но также возмущением герцогиня крикнула: «Паламед!» — тоном вопросительным и раздраженным, со злостью излишне нервных людей, которые, если мы их впустим тотчас, раз уж им так сложно обождать минуту-другую, и извинимся, что не полностью еще одеты, ответят не столько оправдываясь, сколько обвиняя: «Стало быть, я вас потревожил!», словно это преступление со стороны потревоженного. Наконец она нас

оставила, напоследок сокрушенно отчитав барона: «Барон, вам следует вернуться домой».

Г-н де Шарлю, чтобы отдохнуть, пристроился на какой-то скамье и с трудом вытащил из кармана книгу — как мне показалось, молитвенник; а мы с Жюльеном решили в это время пройтись. Я как раз хотел расспросить его о здоровье барона. «Буду рад поболтать с вами, сударь, — сказал мне Жюльен, — но лучше нам с этой улицы не уходить. Слава богу, теперь барону лучше, но я боюсь оставлять его надолго в одиночестве. Он всё такой же, он слишком добрый — отдаст всё, что попросят. А еще прыток, как юноша, и глаз с него лучше не спускать». — «Тем более, что он снова при своих; я был сильно опечален, когда мне рассказали, что он ослеп». — «Да, действительно, паралич бросился на глаза, он вообще ничего не видел. Представляете, когда его лечили, а это ему, кстати, очень помогло, он несколько месяцев был как слепорожденный». — «И по этой причине в некоторых ваших услугах он больше не нуждался?» — «Что вы! Стоило нам только куда-то зайти, и он тотчас спрашивал, каков из себя слуга, тот или этот. Я его уверял, что все на редкость уродливы. Но все-таки он чувствовал, что всегда так не бывает, что иногда я привираю. Видите, какой шалунишка! Может, нюх у него на них какой-то, может, он их по голосу — я не знаю. Тогда он меня немедленно отправлял с каким-нибудь поручением. Как-то раз, — уж простите меня, что я вам это рассказываю, но если вы посещали Храм Бесстыдства, то мне от вас скрывать нечего (впрочем, Жюльен нередко выбалтывал чужие

секреты, испытывая при этом малосимпатичное удовольствие), — я возвращался с одного из этих, так называемых, неотложных дел, и очень спешил, потому что понимал: что-то тут не так; и когда подошел к комнате барона, услышал: “Но каким образом?”. И барон в ответ: “Что? в первый раз, что ли?”. Я стучать не стал и сразу вошел — и каков был мой ужас! Барона обманул голос, — а он был и правда покрепче, чем обычно в эти годы (тогда барон вообще ничего не видел), — и он-то, который раньше любил только зрелых мужчин, был с мальчишкой десяти лет!»

Мне рассказывали, что в те дни он почти ежедневно впадал в душевное расстройство, и не то чтобы бредил, но не таясь исповедовал свои обычно утаиваемые воззрения, например германфильского характера, при третьих лицах, о строгости взглядов которых, да и самом присутствии, он забывал. Война давно закончилась, а он всё еще сокрушался, что немцы, к которым он себя причислял, потерпели поражение, и гордо заявлял: «Все-таки сложно представить, что мы своего не отхватим — мы уже доказали, что именно мы способны на самое серьезное сопротивление, что именно у нас самая крепкая дисциплина!» Или же его признания были другого характера, и он неистовствуя восклицал: «Пусть лорд X или принц де *** больше мне не повторяют, что они тут наговорили вчера; я едва сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: “А ведь вы тоже такие, и не меньше, между прочим, чем я!”». Стоит ли говорить, что когда г-н де Шарлю был, что называется, «не в себе»,

и выкрикивал свои германофильские и прочие признания, приближенные лица, Жюпьен или герцогиня де Германт, привычно прерывали эти неосторожные слова и давали менее близким, но более болтливым друзьям несколько натянутую, но пристойную интерпретацию.

«Боже мой! — закричал Жюпьен. — Я же говорил, что не нужно уходить далеко, вот он уже болтает с юным садовником. До свиданья, сударь, будет лучше, если мы с вами простимся. Нельзя и на секунду оставить моего больного, — теперь он только большой ребенок».

Когда я вышел из экипажа неподалеку от особняка принцессы де Германт, я вспомнил, с какой скукой и усталостью накануне, в самых красивых местах Франции, как их называют, я пытался описывать полоску тени на коре. Конечно, вчерашние умозаключения сегодня не действовали на мои чувства так жестоко. Они остались прежними; но всякий раз, стоило только ощутить, что я порвал с привычками, и выйти в другой час в новом месте, и я переживал живую радость. Сегодня это было совершенно легкомысленное удовольствие — посещение утреннего приема г-жи де Германт. Но поскольку теперь я знал, что мне не предназначено ничего, кроме легкомысленных удовольствий, с какой стати я должен от них отказываться? я повторял себе, что в попытках сделать этот набросок я не испытал никакого воодушевления, которое, конечно, не единственный, но первый признак таланта. И теперь я пытался извлечь

из памяти другие «снимки», в первую очередь те, что были сделаны ею в Венеции, но этим словом только нагнал на себя такую тоску, словно попал на выставку фотографий,¹³⁰ и находил в себе не больше вкуса и таланта для описания увиденного тогда, чем вчера — для выражения того, что предстало моему кропотливому и тусклому взгляду. Через несколько минут друзья, которые давно не виделись со мной, попросят меня прервать мое уединение, посвятить им мои дни. Больше не было никаких причин отказывать им, ведь теперь у меня было точное доказательство, что я ни к чему не годен и литература больше не принесет мне радости — либо по моей вине, ибо я лишен этого дара, либо по ее вине, если она действительно не сообщается с реальностью, как когда-то я верил.

Мне вспомнились слова Бергота: «Вы больны, но жалости не заслуживаете — у вас есть духовные радости»; как он во мне заблуждался! до чего же безрадостной была эта бесплодная ясность! к тому же, если я испытывал иногда наслаждение — только не интеллектуальное, — то всегда истощал его с какой-нибудь женщиной, и ссуди мне судьба еще сотню лет жизни, без недуга, она бы только прибавила дополнительные отрезки к той и без того длинной прямой моего существования, которую было бессмысленно продолжать, тем более — множество новых лет. Что же касается «духовных радостей», то разве можно так назвать эти холодные констатации, безрадостно схваченные

взглядом, отмеченные точным рассуждением,
но так и не принесшие плода?

Но как раз в те минуты, когда мы думаем, что всё потеряно,
к нам приходит спасительная весть; мы ломались во все
двери, но они никуда не вели; ненароком толкаем
единственную, через которую можно уйти, которую тщетно
проискали бы еще сотню лет, и она отворяется.

Всё еще повторяя себе печальные эти мысли, я вошел во двор
особняка Германтов; по рассеянности я не заметил
тронувшейся повозки и на крик водителя едва успел
метнуться в сторону; отступив, я нечаянно споткнулся
о плохо отесанный булыжник у стены каретника. Но в то
мгновение, когда, восстановив равновесие, я поставил стопу
на окатыш, несколько сильнее вдавленный, чем первый,
мое уныние было рассеяно тем блаженством, которое
в разные эпохи моей жизни даровали мне деревья,
увиденные мной на прогулке в коляске около Бальбека, что,
как показалось мне, были узнаны мной, колокольни
Мартенвиля, вкус мадлен, размоченного в настое и целый
ряд других впечатлений, о которых я уже говорил, — всё то,
что слышалось мне обобщенным в последних работах
Вентейля. Как в ту минуту, когда я попробовал мадлен,
развевалась моя тревога о будущем и все мои
интеллектуальные сомнения. И даже те, что только
что обуревали мою душу на предмет реальности моих
литературных дарований, и даже реальности литературы
как таковой, испарились словно по волшебству.¹³¹

Не было никаких новых рассуждений, я не отыскал новых решительных аргументов, а препятствия, только что неодолимые, утратили для меня всякую важность. Но на сей раз я решил не мириться с тем, что я так и не понял, — как в тот день, когда я попробовал мадленку, размоченную в настое, — благодаря чему. Блаженство, только что испытанное мной, было сродни тому, что я ощутил во вкусе мадлен, отложив тогда поиск его глубинных причин на потом. В воскрешенных образах была исключительно материальная разница; глубокая лазурь застилала мои глаза, чувство свежести, ослепительного света закружило меня и, пытаясь его ухватить, я не смел и шелохнуться, как тогда, когда распробовал мадленку, — выжидая, что рассказ этого чувства сам достигнет моего сердца; рискуя вызвать смех у толпы шоферов, стоя на месте, я переступал с щербатого булыжника на покатый. Всякий раз, только физически повторяя этот шаг, я не извлекал из него никакой пользы; но если бы мне удалось забыть о приеме Германтов и обрести то, что я чувствовал, поставив стопы на камни, то меня снова коснулось бы ослепительное и смутное видение, словно говорившее мне: «Не упускай меня, пока есть силы, пойми загадку счастья, что я тебе дарю». И я тотчас узнал ее: это была Венеция; мне ничего не могли поведать о ней ни попытки ее описать, ни так называемые «снимки», сохраненные моей памятью; однако ощущение, когда-то испытанное мной на двух неровных плитках баптистерия Сан-Марко, вернуло мне ее с остальными, скучившимися

в тот день в этом чувстве; они таились, выжидая, на своем месте в ряду забытых дней, откуда внезапный случай не вырвал их властно оттуда. Подобным образом вкус мадленки воскресил для меня Комбре. Но почему же эти образы, Комбре и Венеции, в тот и в другой момент, вызвали во мне столь достоверную радость, что ее было достаточно, без прочих доводов, чтобы смерть потеряла для меня значение?

Задав себе этот вопрос и решив сегодня же найти на него ответ, я вошел в особняк Германтов, потому что мы всегда ставим выше внутренних и неотложных нужд наши мнимые роли; сегодня то была роль приглашенного. Я поднялся на второй этаж, дворецкий просил меня подождать в небольшой гостиной-библиотеке, смежной с буфетом, пока не будет закончен отрывок музыкальной пьесы, поскольку принцесса запретила открывать двери во время его исполнения. И в эту секунду вторая весть укрепила то, что подарили мне два неровных булыжника, воодушевляя меня на упорство в моем труде. Дело в том, что лакей, тщетно старавшийся не производить шума, стукнул ложечкой о тарелку. Такое же блаженство, что и пережитое мной на неровных плитках, переполнило меня; впечатления обладали большей теплотой, но они были другими: к ним примешивался запах дыма, они были успокоены свежестью лесной опушки; я узнал его: таким милым на вид мне предстал хоровод деревьев, который вчера я нашел скучноватым — для наблюдения и описания; перед ним, откупорив бутылку пива, взятую с собой

из вагона, пригрезилось мне на мгновение, в своего рода забытии, я всё еще стою; дело в том, что стук ложечки о тарелку был подобьем, обманувшим меня, пока я не очнулся, ударов молотка, которым рабочий прилаживал что-то к колесу поезда, пока тот стоял на опушке. Похоже, что знакам, которым суждено было в этот день рассеять мое уныние и вернуть мне веру в словесность, предстояло умножиться в сердце; дворецкий, уже давно служивший у принца де Германта, узнал меня и принес в библиотеку, чтобы мне не ходить в буфет, печенье и стакан оранжада; я вытер рот салфеткой, которую он мне подал; тотчас, словно перед персонажем «Тысячи и одной ночи», который, не подозревая того сам, в точности исполняет обряд и вызывает послушного, ему лишь видимого джинна, готового унести его в дальнюю даль, перед моими глазами проплыло еще одно лазурное видение; лазурь была чиста и солонa, у нее были набухшие голубоватые сосцы; впечатление было таким сильным, что показалось мне подлинным; одурев сильней, чем в тот день, когда я спрашивал себя, действительно ли меня пригласила принцесса де Германт, и не рухнет ли сейчас потолок, я вообразил, что еще чуть-чуть, и слуга откроет окна на пляж, и что час прилива зовет меня выйти, прогуляться вдоль мола; потому что салфетка, которой я вытер рот, была столь же жестко накрахмалена, как та, которой я с трудом вытерся возле окна в первый день в Бальбеке, — и теперь, в библиотеке особняка Германтов, она разворачивала, вернувшись в свои рубцы и складки,

оперение океана, зеленого и голубого, как хвост павлина. Я наслаждался не только этими красками, но цельным мгновением жизни, которое проявило их и, наверное, к ним устремлялось; и хотя в Бальбеке я не наслаждался им от усталости, быть может, и грусти, но теперь, освобожденное от всякой незаконченности во внешнем восприятии,¹³² чистое и бесплотное, оно переполняло меня весельем.

Отрывок концерта мог закончиться с минуты на минуту, мне придется войти в салон. Поэтому я изо всех сил старался как можно скорее вникнуть в природу тождественных радостей, которые только что, три раза за несколько минут, были пережиты мной, и наконец затвердить преподанный ими урок. Я не стал заострять внимания на огромной разнице между подлинным впечатлением от предмета и впечатлением искусственным, полученным нами при сознательной попытке представить этот предмет; я хорошо помнил, с каким безразличием Сван мог говорить о днях, когда он был любим, — потому что в этих словах он видел нечто другое, — и какую внезапную скорбь вызвали в нем несколько тактов Вентейля, показав ему эти дни такими, какими он их тогда ощущал; я прекрасно понимал: то, что было пробуждено во мне ощущением неровности плит, жесткости салфетки, вкуса мадлен не имело никакой связи с моими попытками вспомнить о Венеции, о Бальбеке, о Комбре с помощью единообразной памяти; мне стало ясно, отчего жизнь представляется посредственной, хотя нередко кажется столь прекрасной, — потому что когда мы

судим о ней и ее обесцениваем, мы основываемся на чем-то отличном от нее, на образах, в которых ничего от нее не осталось. Правда, мимоходом я всё же отметил, что реальные впечатления обязаны своими различиями — и эти различия доказывают, что единообразная картина жизни не имеет к ней никакого отношения, — тому факту, по-видимому, что даже самое незначимое слово, сказанное нами в какой-то отрезок нашей жизни, самый несущественный наш поступок окружены и несут на себе отсвет вещей, логически из них не выводимых и отделенных от них рассудком, поскольку они бесполезны для нужд рассуждения, но среди них — здесь розовый вечерний блик на покрытой цветами стене сельского ресторана, чувство голода, страсть к женщине, наслаждение роскошью, там голубые волюты утреннего моря, обступившего музыкальные фразы, слегка выступающие из него, как плечи ундин,¹³³ — самые простые поступки и действия остаются запечатанными словно бы в тысячах ваз, и каждая заполнена ни на что не похожими цветами, запахами, температурами; не считая того, что эти вазы, расставленные по всей линии наших лет, на протяжении которых мы безостановочно менялись, хотя бы в мыслях и мечтах, покоятся на разных высотах, в причудливо разнящихся, если верить нашим ощущениям, атмосферах. Правда, эти перемены проходят для нас нечувствительно; и между внезапно всплывшим воспоминанием и нашим сегодняшним состоянием, как и между двумя воспоминаниями о разных годах, местах, часах, — даже если

не принимать во внимание их неповторимое своеобразие, — такое расстояние, что они несоотносимы. И если воспоминание, по милости забвения, не может протянуть никакой нити, связать себя одним звеном с настоящей минутой, если оно остается на своем месте, в своих годах, если оно сохраняет удаленность, уединение в полости далекой долины, на пике какой-то высоты, то оно внезапно наполнит наши легкие воздухом новым, и как раз потому, что этим воздухом мы дышали давно, более чистым, чем тот, что поэты тщетно разливают в рай, ведь он не даст нам столь же глубокого чувства обновления, если мы не дышали им прежде, потому что подлинные рай — это потерянные рай.

Мимходом я также заметил, что при создании произведения искусства, к которому я уже был готов, как подумалось мне, хотя это произошло неосознанным образом, мне предстоит встретить большие трудности. Потому что мне придется осуществить его последовательные части всякий раз в особом веществе, которое — если бы я взялся за изображение ривбельских вечеров, когда в столовой, открытой на сад, жара падала, распадалась и скрадывалась, когда последние отблески еще освещали розы на стене ресторана, а в небесах еще светились последние акварели дня, — сильно отличалось бы от того вещества, что подобало воспоминаниям об утреннем берегу моря, о венецианских днях, — в веществе четком, новом, прозрачном, звучащем особо, емком, освежающем и розовом.¹³⁴

Я быстро проскочил мимо этих мыслей, более настойчиво стремясь отыскать причину блаженства и той исключительной достоверности, с которой оно нисходит, чем прежде, когда этот поиск был мной отложен. Эту причину я угадал, сравнивая различные счастливые впечатления: общим для них было то, что стук ложки о тарелку, неровность плиток и вкус мадлен я испытывал одновременно в данном мгновении и в прошедшем, пока прошлое не вторгалось в настоящее, вынуждая меня колебаться в неведении, в котором из двух я нахожусь; ибо существо, питавшееся во мне этими впечатлениями, вкушало их в чем-то присущем и прежнему дню, и дню сегодняшнему, в чем-то вневременном; оно рождалось только тогда, благодаря этим тождествам прошедшего и настоящего, когда оказывалось в своей единственной жизненной среде, где оно могло наслаждаться сущностью вещей, то есть вне времени. Этим же можно объяснить тот факт, что тревога о смерти прекратилась в то мгновение, когда я узнал, еще подсознательно, вкус мадленки — ведь существо, которым я был в ту секунду, было вневременным, а следовательно беззаботным к превратностям грядущего. Оно питалось только сущностью вещей, оно не могло ухватить ее в настоящем, где чувства, поскольку воображение не вступает в игру, доставить ее воображению не способны; и даже будущее, к которому устремлено наше действие, ее у нас отнимает. Это существо обнаруживалось и являлось мне лишь вне реального действия и непосредственного наслаждения, всякий раз, когда чудо

аналогии выталкивало меня из настоящего. Только оно было властно заставить меня обрести прежние дни и утраченное время — задача, перед которой усилия моей памяти и интеллекта неизбежно терпели крах.

И наверное слова Бергота о радостях духовной жизни только что представлялись мне ложными оттого, что «духовной жизнью» я называл логические рассуждения, в действительности не имеющие никакого отношения к ней и к тому, что ожило во мне в эту секунду; жизнь и мир казались мне столь скучными из-за того, что я судил о них по мерке мнимых воспоминаний; но теперь я чувствовал сильный позыв к жизни, стоило только возродиться, с трех попыток, подлинному мгновению прошлого.

Только мгновению прошлого? в этом было, наверное, намного больше: нечто общее прошлому и настоящему, но более существенное, чем то и другое. Сколько раз в моей жизни реальность обманывала меня, потому что в тот момент, когда я воспринимал ее, воображение, мой единственный орган наслаждения прекрасным, не могло к ней примениться — по неумолимому закону, согласно которому воображению доступно лишь то, что утрачено. Но этот непреложный запрет был внезапно ослаблен и выведен из игры благодаря чудесной уловке природы, высекавшей искры из ощущения — из стука вилки и молотка, даже названия книги — одновременно в прошлом, что позволяло наслаждаться им моему воображению, и в настоящем, в котором физическое сотрясение моих чувств шумом,

прикосновением полотна, дополняло грезы моего воображения тем, чего они лишены, — идеей существования; эта увертка позволяла моему сознанию достичь, изолировать, закрепить — длительность вспышки — то, что не давалось ему никогда: немного времени в чистом виде. Это существо, возродившееся во мне, когда, содрогаясь от счастья, я услышал одновременно стук ложки, касавшейся тарелки, и молотка, стучавшего о колесо, ощутил неровность плиток во дворе Германтов и у баптистерия Сан-Марко, питалось только сущностью вещей, только в ней оно находило свое довольствие и уладу. Оно чахло, вникая в настоящее, недоступное чувствам, рассуждая о прошедшем, иссушенном разумом, ожидая будущего, сооруженного желанием из фрагментов настоящего и былого, — которые лишены, к тому же, реальности, ибо наша воля сохраняет в них только то, что согласуется со своекорыстным, слишком человеческим окончанием, предписываемым ею грядущему. Так пусть же шум и аромат, который мы уже слышали, которым мы когда-то дышали, снова станут шумом и ароматом, одновременно в прошлом и настоящем — реальны, но не действенны, идеальны, но не абстрактны, — и тогда сразу высвободится вечная сущность вещей, скрытая от нас обычно, и наше подлинное «я» пробудится от мертвого забытья, пусть не окончательного, но подчас слишком долгого, и оживет, и получит отправленное ему небесное письмо. Минута, свободная от временного порядка, воссоздает в нас, чтобы мы ее ощутили, свободного

от времени человека. Теперь мне было понятно, почему эта радость для него достоверна — даже если, рассуждая логически, мы не можем вывести ее причину из простого вкуса мадлен; слово «смерть» больше не имеет для него смысла; стоящему вне времен, что ему страшиться грядущего?

Но этот мираж, приблизивший ко мне мгновение прошлого, несовместимое с настоящим, этот мираж не длился. Конечно, зрелища сознательной памяти¹³⁵ можно растягивать, на это потребуется не больше сил, чем на просмотр книжки с картинками. Так, например, на залитом солнцем дворе нашего парижского дома, впервые отправившись к принцессе де Германт, я лениво и избирательно рассматривал площадь у церкви в Комбре, бальбекский пляж, словно бы украшая иллюстрациями этот день и пролистывая тетрадь с акварелями, сделанными в разных местах, чтобы, занеся их в каталог картин моей памяти, с эгоистическим удовольствием коллекционера сказать себе: «Кое-что прекрасное, однако, видал я в этой жизни». В этом случае моя память также подмечала некое различие в ощущениях; но она только распределяла между ними однородные элементы. Напротив, в трех только что воскрешенных воспоминаниях, я не только не приукрашивал представление о своем «я», я почти сомневался в его реальности. И как в тот день, когда я обмакнул мадлен в горячий настой, в сердцевине той точки, в которой я находился, тогда в моей парижской комнате, сегодня, сейчас, в библиотеке принца де Германт,

а до того во дворе его особняка, мое «я» излучало вокруг себя небольшую окружность — ощущение (вкус размоченного мадлен, металлический звук, окатыш под ногами), присущее точке, где я находился, и другой (комнате тетки Леонии, вагону железной дороги, баптистерию Сан-Марко). В этот момент мои мысли прервал пронзительный шум водопровода, подобье тех долгих криков, что издавали летними вечерами прогулочные корабли в бальбекском заливе; он вызвал в памяти нечто большее (как однажды в Париже зала большого ресторана — полупустая, горячая, летняя), нежели ощущение, испытанное бальбекскими вечерами, когда — ведь на всех столах уже покоились скатерти и серебро, а огромные стеклянные рамы были широко распахнуты на дамбу, не отделенную никаким промежутком, никакой стеклянной или каменной «гущей», и солнце медленно опускалось в море, где начинали кричать корабли, — чтобы присоединиться к Альбертине и подружкам, гулявшим по этой дамбе, надо было только перешагнуть через деревянную раму, едва доходившую мне до щиколотки; и, только потяни за нее, как в петлях, чтобы отель проветривался лучше, заскользили бы сразу все стекла.¹³⁶ К этому чувству не примешивалось мучительное воспоминание о любви к Альбертине. Мучительна только память о мертвых. Но они быстро распадаются, и даже подле их могил остается только красота природы, тишина, синева воздуха. К тому же, водопроводный шум только что возродил во мне не только отголосок и двойник бывшего

ощущения, но само это чувство. В этом случае, как и во всех предшествующих, общее ощущение пыталось воссоздать прошедшее вокруг себя, однако настоящее, занявшее его место, тяжелой прочностью своей массы противостояло вторжению в парижский дворец нормандского пляжа или железнодорожной насыпи. Приморская бальбекская столовая, с ее камчатым полотном, приготовившимся, как покров жертвенника, к встрече солнечного заката, силилась поколебать основательный особняк Германтов, выломать его двери, и секунду-другую расшатывала диваны вокруг меня, как когда-то — столы парижского ресторана. Каждый раз в этих воскрешениях далекое место, рождавшееся вокруг общего ощущения, на мгновение сплеталось, подобно борцу, с местом действительным. Всегда настоящее побеждало; всегда покорялось то, что казалось мне более прекрасным; и прекрасным настолько, что в восторге я замирал на неровной мостовой, как перед чашкой чая, силясь в эти секунды, когда они появлялись, удержать их, или вернуть, если они от меня ускользали, — эти Комбре, Венецию, Бальбек, вторгающиеся и выталкиваемые, пробуждающиеся, чтобы затем покинуть меня в толще новых, но пронизанных прошлым мест. И если настоящее побеждало не сразу, то мне чудилось, что я потерял сознание; ибо в то мгновение, когда длятся воскрешения прошедшего, они настолько тотальны, что не просто скрывают комнату от наших глаз, чтобы мы видели дорогу, обсаженную деревьями, или прилив, — они раздувают наши ноздри воздухом далеких мест, наша воля

уже колеблется между различными планами, которые эти места предлагают нам на выбор, наше сознание заполнено ими, или, по крайней мере, оно путается между ними и настоящим, в том неуверенном забытии, что мы испытываем иногда, задремав, перед несказанным видением.

Так что существо, три или четыре раза воскресшее во мне, быть может, только что соприкоснулось со множеством неподвластных времени фрагментов существования, — однако это созерцание, хотя и вечности, было мимолетным. Но я успел понять, что плодотворна и правдива только радость этих минут. На всем прочем лежит печать ирреальности, в чем убеждает, во-первых, невозможность удовлетворения, как в случае, к примеру, светских удовольствий, самое большое — причиняющих недомогание, вызванное поглощением гнусной пищи, или дружбы, этой симуляции, ибо художнику известно, что, исходя из моральных соображений, он отказывается от часа работы ради болтовни с другом и приносит реальность в жертву чему-то несуществующему (ведь друзья заводятся у нас только в том милом безумии, которому мы, по ходу жизни, поддаемся, но в глубине души уподобляем заблуждению безумца, возомнившего, что мебель ожила и даже разговаривает с ним), во-вторых, грусть, приходящая вслед за удовлетворением желания, испытанная мной после знакомства с Альбертиной, когда после некоторых, пусть и незначительных затруднений, испытанных мной, чтобы чего-то добиться — познакомиться с этой девушкой, — они

показались мне несущественными, потому что я этого добился. И даже более глубокие удовольствия, которые я мог испытать в любви к Альбертине, в действительности я испытывал только в обратной пропорции к тоске, что снедала меня, когда Альбертины не было рядом, а если я был уверен, что она скоро придет, как в тот день, когда она возвращалась из Трокадеро, я испытывал только смутную досаду, — тогда как я всё больше воодушевлялся, с растущей радостью вникая в стук ножа, вкус настоя, вталкивающих в мою комнату — комнату тетки Леонии, а за ней весь Комбре, и две его стороны. Итак, теперь я решил посвятить себя созерцанию сущности вещей, уловить ее — но как? посредством чего? в ту секунду, когда жесткость салфетки перенесла меня в Бальбек, когда мое воображение было поглощено этим мгновением — и не только видом утреннего моря в тот день, но и запахом комнаты, скоростью ветра, легким голодом, колебаниями: куда отправиться на прогулку, — и всё это, связанное с плотностью ткани, словно крылья тысячи ангелов, вращалось тысячу раз в минуту, — в ту секунду, когда неровность двух плиток оживила чахлые и скудные образы, оставленные в моей памяти Венецией и Сан-Марко, во всех направлениях и всех измерениях, и все ощущения, испытанные там мною, покуда я увязывал площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью, и со всем увиденным мир желаний, видимый только духом, — я испытывал соблазн если не отправиться на новые прогулки к венецианским водам, так и оставшимся для

меня вечно вешними, то по меньшей мере вернуться в Бальбек. Но я и на секунду я не остановился на этой мысли. К тому времени я уже знал, что страны отличаются от картин, которые мы составляем по их именам, что лишь в мечтах и во снах предо мной простиралась местность, сотворенная из особо чистой материи, ни в чем не схожей с обыденными, видимыми, осязаемыми предметами, — вещества наших мечтаний. И даже в отношении образов другого порядка, образов памяти, мне было ясно: красота Бальбека не открылась мне, когда я там жил, и красота Бальбека, оставшаяся в моей памяти, была отлична от той, которую я нашел в нем во второй приезд. Сколько раз я не мог отыскать в реальности то, что таилось во мне; ибо я обретал утраченное Время не на площади Сан-Марко, и не во второй мой приезд в Бальбек, и не тогда, когда я вернулся в Тансонвиль, чтобы повидаться с Жильбертой; путешествие — только заново внушавшее мне иллюзию, что эти впечатления существуют сами по себе, где-то вне меня, на углу какой-то площади, — конечно же, не было искомым мной средством. Мне не хотелось повторять эту ошибку еще раз, потому что сейчас речь для меня шла о том, чтобы узнать, в конце концов, возможно ли исполнить — и вопреки разочарованию, постигавшему меня всякий раз, когда я оказывался один на один с местностью или человеком, хотя однажды отрывок из концерта Вентейля уверил меня в обратном, — то, что казалось мне неосуществимым. Я не собирался, стало быть, повторять этот опыт еще раз, я давно понял, что этот путь никуда

не ведет. Впечатления, которые я пытался уловить, только рассеивались в непосредственном наслаждении; оно было неспособно вызвать их к жизни. Единственный способ приблизиться к ним вплотную требовал, чтобы я попытался узнать их точнее — там, где они находились, то есть во мне самом, чтобы я осветил их до глубин. Жизнь в Бальбеке и жизнь с Альбертиной не принесли мне радости, я испытал ее много позже. И тот вывод, который я мог сделать из разочарований прожитого куска жизни, научивших меня, что жизненная реальность коренится не в действии, был не случайным основанием для объединения по моей прихоти, сообразно обстоятельствам моего существования, различных огорчений: я ясно сознавал, что разочарование в путешествии, разочарование в любви имеют между собой не так много различий, это лишь изменчивый облик, принимаемый, в зависимости от обстоятельств, нашим бессилием реализовать себя в физическом наслаждении, реальном действии. Вспоминая вневременную радость, пробужденную во мне стуком ложки, вкусом мадленки, я подумал: «Разве не это счастье Сван нашел во фразе сонаты; но он обманулся, приравняв его к любовному удовольствию, он так и не сумел обрести его в артистическом труде, — счастье, которое я предугадал, вникнув в еще более неземной, чем такты сонаты, красный и мистический зов септета, — счастье, о котором Сван так и не узнал, потому что он умер, как и многие другие, прежде чем истина, созданная для них, была им открыта? Впрочем, она бы ничего ему не принесла; даже если эти

такты олицетворяли зов, то они не могли вдохнуть в него силы и сделать его художником».

Однако в тот же момент, перебрав в уме эти воскрешения памяти, я догадался, что пусть и несколько отличным образом, но иногда, и уже в Комбре на стороне Германтов, смутные впечатления пробуждали мою мысль, подобно этим воспоминаниям, — только они таили не ощущение из прошлого, а новую истину, драгоценный образ, и я пытался раскрыть его с теми же усилиями, что нужны для воспоминания, словно самые прекрасные наши мысли подобны оперным ариям, снова и снова приходящим нам на ум, и хотя они неведомы нам, мы силимся их расслышать, записать. Я обрадовался этому воспоминанию, потому что оно показывало, что уже тогда во мне проявилась основная черта моего характера, что уже тогда я был собой, но при этом с грустью подумал, что с тех пор не преуспел на этой стезе; а ведь уже в Комбре я внимательно отмечал в душе образ, действительно требовавший его заметить, — облако, треугольник, колокольню, булыжник, — и чувствовал, что под этими знаками таится нечто иное, что я должен постараться раскрыть и его, и выраженную им мысль, как дешифруют иероглифические знаки, которые считались когда-то лишь изображениями материальных предметов. Конечно, эта расшифровка трудна, но только с ее помощью можно прочесть истину. В тех истинах, которые разум выхватывает в просветах залитого солнцем мира, есть что-то не столь глубокое и необходимое, как в истинах, которые против

нашей воли вручает нам жизнь во впечатлении — оно материально, потому что вошло в наши чувства, но мы можем высвободить из него дух. Но в целом, идет ли речь о впечатлениях, вроде испытанного мной при виде мартенвильских колоколен, или о напоминаниях, подобных неровности двух ступеней, вкусу мадлен, — следует истолковывать ощущения как знаки множества законов и идей, пытаться их осмыслить, то есть вывести из мрака то, что чувствуешь, и претворить их в духовный эквивалент. Судя по всему, это единственное средство, и чем оно еще может быть, кроме произведения искусства? и в мой ум уже спешили следствия этих мыслей; потому что, идет ли речь о напоминаниях вроде стука вилки, вкуса мадлен, или об истинах, вписанных с помощью обликов, смысл которых я отыскивал в сознании, где, колокольни и дикие травы, они предстали путаной и цветистой рукописью, их первым свойством было то, что они не оставляли мне свободы выбора, что они были даны мне в исконном виде. Я чувствовал, что это печать их подлинности. Я не искал двух неровных плиток во дворе, где споткнулся. Но случайность и неизбежность, с которой встречено ощущение, заверяли истинность воскрешенного им прошлого и поднятых им образов, поскольку мы ощущаем их усилие выбраться к свету, и чувствуем радость, обретая действительность. И это же ощущение отвечает за правду всей картины, приводя за собой вереницу родственных впечатлений, с той безошибочной пропорцией света и сумрака, выражения и умолчания, воспоминания

и забвения, которая недоступна сознательной памяти и наблюдению.

Что же касается глубинной книги с ее неведомыми знаками (мне казалось — выпуклыми знаками, и мое внимание, исследуя подсознательные пучины, скоро будет выискивать и огибать их, как ныряльщик, промеряющий дно), то в их прочтении мне никто не послужит примером, потому что это чтение — акт творения, в котором нас некому подменить, и где нам некому даже прийти на подмогу. Сколь многие избегают этого письма! в какие тяжкие не пускаются, чтобы отвертеться! Всякое событие, будь то дело Дрейфуса или война, предоставляло писателям новые отговорки, чтобы не заниматься дешифровкой книги; им хотелось обеспечить триумф права, воссоздать моральное единство нации, и у них не было времени думать о литературе. Но это были только увертки, потому что у них уже не осталось, а то и не было вообще, гения, то есть инстинкта. Ибо инстинкт предписывает долг, а рассудок изыскивает отговорки для того, чтобы от него уклониться. Но в искусстве оправдания не играют никакой роли, намерения там не признаются, каждое мгновение художник должен слушаться своего инстинкта, и именно потому искусство — самая реальная, самая жестокая школа жизни и настоящий Последний Суд. Только эту единственную книгу, труднее всего поддающуюся дешифровке, диктует нам действительность, только ее нам «впечатлила» реальность сама. О какой бы идее, оставленной нам жизнью, ни шла речь, ее материальный облик, след впечатления,

произведенного ею, — еще один залог ее непреложной истинности. Идеи, оформленные чистым рассудком, обладают только логической истинностью, истинностью возможной, и их избрание произвольно. Книга с иносказательными знаками, вписанными не нами, остается нашей единственной книгой. Не то чтобы созданные нами идеи не могут обладать логической истинностью, но мы не знаем, подлинны ли они. Только впечатление — критерий истины, сколь бы его материя ни казалась нам жалкой, сколь бы ни был слаб его след, только оно заслуживает восприятия разумом, ибо лишь оно способно, если разум сможет высвободить из него истину, привести к величайшему совершенству и принести чистую радость. Впечатление для писателя — то же самое, что эксперимент для ученого, с той лишь разницей, что у ученого умственная работа предшествует, а у писателя приходит после. То, что мы не смогли расшифровать, осветить нашим личным усилием, то, что прояснилось еще до нас, не принадлежит нам. Только то исходит от нас, что мы вытащили из внутренней темноты, неведомой никому другому. И поскольку искусство воссоздает жизнь в точности, вокруг этих истин, которых мы достигли в себе, разливается поэтическая атмосфера, свежесть волшебства — но это только след пересеченных нами сумерек.¹³⁷

И тотчас косой закатный луч напомнил мне о времени, которое я никогда не вспоминал, — в раннем детстве, так как тетку Леонию лихорадило и доктор Перспье опасался брюшного тифа, меня на неделю поселили в комнатке Евлалии

на Церковной площади; на полу были только плетеные коврики, а в окне перкалевая занавеска, ласково шелестевшая на солнце, а к солнцу я тогда не привык. Я почувствовал, что воспоминание о комнате старой служанки прибавило к моей прошедшей жизни долгую протяженность, дивную и непохожую на всё остальное, и отталкиваясь от противного подумал, что самые пышные торжества в великокняжеских дворцах не оставили в ней и следа. В этой комнатке Евлалии одно только навевало грусть — птичьи крики поездов, доносившиеся вечерами от виадукa. Но поскольку мне было известно, что эти ревы исходят от благоразумных машин, они внушали мне отнюдь не такой сильный ужас, который вызвали бы, в доисторическую эпоху, крики мамонта, свободно и необузданно бродящего где-то рядом.

Итак, я пришел к выводу, что мы не свободны перед произведением искусства, что мы создаем его не по своей воле; но поскольку оно предназначено нам, поскольку оно необходимо и скрыто, мы должны открыть его, как закон природы. И не открываем ли мы благодаря искусству, в сущности, нечто наиболее драгоценное, хотя и остающееся обычно неведомым для нас навсегда, — нашу подлинную жизнь, реальность, как мы ее чувствовали, столь непохожую на то, чем мы ее сочли, что нас переполняет счастье, когда случай дарит нам подлинное воспоминание? Меня убеждает в этом фальшь так называемого реалистического искусства — оно не было бы таким живым, если бы не наша привычка, приобретаемая

с ходом лет, приписывать чувствам чрезвычайно отличное от них выражение, которое будет принято нами, через какое-то время, за саму реальность. Я понял, что не стоит труда возиться с разнообразными литературными теориями, некогда волновавшими мой ум, — примечательно, что они были выдвинуты критикой во времена дела Дрейфуса и снова взяты на вооружение во время войны: критики призывали «спустить художника с фарфорового столпа», изображать не легкомысленные и чувственные сюжеты, но грандиозные рабочие движения, а если уж не толпы, то по крайней мере благородных интеллектуалов либо героев, а не бесполезных бездельников («признаюсь, писать об этих тунеядцах мне как-то не с руки», — говорил Блок).

Впрочем, даже до обсуждения логического содержания подобных теорий мне виделся в них признак некоторой неполноценности их сторонников, — так благовоспитанный ребенок слышит в словах людей, к которым его посылают завтракать, «мы говорим только правду, искренность у нас в крови», — свидетельство моральных качеств, уступающих порядочному бесхитрому действию, ведь о нем ничего не скажешь. Подлинное искусство не нуждается в прокламациях, оно совершается в тишине. Впрочем, избитые обороты этих теоретиков мало чем отличаются от тех, что употребляют слабоумные объекты их нападок. И, наверное, следует судить скорее по качеству языка, чем по складу эстетики, о ступени, до которой была доведена интеллектуальная и моральная работа (прозектор может

изучать законы анатомии на теле слабоумного и на теле гения, а изучение характеров возможно на серьезном и на легкомысленном предмете; величайшие моральные законы, как и законы циркуляции крови или почечного выделения, будут не многим различаться в зависимости от интеллектуального достоинства индивидов). Не качество языка — без которого, по мнению теоретиков, можно обойтись, поскольку оно не представляет значимой интеллектуальной ценности, — поклонникам этих теорий нужна такого рода ценность, которая, чтобы ее можно было разглядеть, выражается непосредственно и не выводится из красоты образа. По этой причине писатели впадают в соблазн писать интеллектуальные произведения. Как это непорядочно. Сочинения с теориями подобны предмету, на котором оставили ценник. К тому же, ценник на предмете только указывает на его стоимость, а ценность литературы, напротив, снижается от логической трескотни. Они пускаются в рассуждения, то есть отвлекаются, всякий раз, когда у них не хватает сил, чтобы провести впечатление по всем его последовательным состояниям, чтобы оно дошло до фиксации и выражения.

И следует выразить реальность, помещенную не во внешней теме, как я сейчас понял, но живущую в глубине, где эта видимость мало значит, в чем легко можно убедиться на примере стука ложечки о тарелку, накрахмаленной жесткости салфетки, — более способствовавших моему духовному обновлению, чем всевозможные гуманитарные, патриотические, интернациональные и метафизические

разговоры. «Хватит стилия, — слышал я иногда, — хватит литературы: дайте жизни!» Можно представить, сколько простых построений вроде теории г-на де Норпуа о «флейтистах» вновь расцвело за время войны. Ибо те, кто лишен артистического чувства, то есть покорности внутренней реальности, обладают способностью рассуждать об искусстве до потери пульса. Если же они, сверх того, дипломаты и финансисты, задействованные в «реалиях» нашего времени, они охотно верят, что литература — это своего рода умственная игра, которая в будущем постепенно выйдет из употребления. Иным угодно, чтобы роман был своего рода кинематографическим дефиле вещей.¹³⁸ Эта концепция абсурдна. Ничто не удалено от восприятия действительности более, чем подобная кинематографическая точка зрения.

Входя в библиотеку, я вспомнил, какие прекрасные и редкие издания, по словам Гонкуров, в ней хранятся; раз уж меня здесь заперли, решил я, надо на них посмотреть. Не оставляя нити рассуждения, я один за другим вытаскивал восхитительные томы, не слишком, впрочем, задерживая на них внимание, пока в рассеянности не раскрыл «Франсуа ле Шампи» Жорж Санд. Что-то неприятно поразило меня, как будто испытанное мной ощущение было слишком несогласно с моими новыми мыслями; но вдруг к горлу подступил комок: я понял, насколько же оно было им близко.¹³⁹ Так в комнате умершего, когда служащие похоронного бюро готовятся к выносу тела, сын человека, отдавшего родине свой долг,

жмет руку последним соблезнующим друзьям и, услышав под окнами фанфары, поначалу испытывает возмущение — ему кажется, что это какая-то шутка, оскорбительная для его горя. Но если до этого момента он крепился, то теперь ему сложно сдержать слезы: ведь он тотчас же понял, что это играет военный оркестр, что трубы разделяют его скорбь и воздают почести праху его отца. Так я только что осознал, насколько же было согласно с моими нынешними мыслями это скорбное впечатление, вызванное во мне названием книги из библиотеки принца де Германта; когда-то эта книга внушила мне мысль, что благодаря литературе нам открывается чудесный мир, который теперь я в ней не находил. И вместе с тем, в этой книге ничего необычного не было, это была «Франсуа ле Шампи». Но для меня это название, как и имя Германтов, отличалось от имен, узнанных позже. Название этой книги напомнило мне, что в сюжете «Франсуа ле Шампи», когда эту книгу мне читала мама, что-то казалось мне необъяснимым (как имя Германтов, стоило только подольше не встречаться с Германтами, вмещало в себя нечто феодальное, так «Франсуа ле Шампи» — нечто от сущности романа), и это воспоминание мгновенно сменило собой довольно стертое представление о беррийских романах Жорж Санд. На каком-нибудь ужине, когда мысли всегда скользят по поверхности, я, наверное, мог бы говорить о «Франсуа ле Шампи» и Германтах, словно в этих словах не было ничего комбрейского. Но наедине с собой, как в эту минуту, я погружался намного глубже. Мысль о том, что та или иная

особа, с которой я познакомился в свете, приходилась
кузиной г-же де Германт, то есть персонажу волшебного
фонаря, в такие мгновения казалась мне непостижимой;
и все прочитанные мной прекрасные книги — я даже
не говорю о том, что они были лучше, хотя так и было, —
я уподоблял этой несравненной «Франсуа ле Шампи». Это
было очень давнее впечатление, и в нем нежно смешались
детские и семейные воспоминания; я не смог узнать его
тогда. В первую секунду я с гневом спрашивал себя, кто
этот чужак, только что причинивший мне боль. Но этим
чужаком был я, это был ребенок, которым я был тогда,
книга только что воскресила его во мне, потому что она
знала только его, и она сразу его позвала — ей хотелось,
чтобы на нее смотрели его глазами, чтобы ее любили его
сердцем, она могла говорить только с ним. Поэтому книга,
которую мама читала мне вслух в Комбре почти до утра,
была для меня исполнена того же очарования, что и та ночь.
Конечно, «перо» Жорж Санд (если выразиться словами
Бришо: «книга написана бойким пером») теперь
не казалось мне, как давным-давно моей маме, пока она
постепенно не сообразовала свои литературные вкусы
с моими, пером волшебным. Но, сам того не ведая,
я наэлектризовал его, словно школьник свое перо
на перемене, и вот уже тысячи комбрейских пустяков,
о которых я и думать забыл, с легкостью выскочили, сами
по себе, и гуськом покатались цепляться к намагниченному
кончику в нескончаемой и трепетной цепи воспоминаний.

Отдельные умы, влюбленные в чудеса, склонны верить, что на предметах сохраняется что-то от взглядов, устремлявшихся к ним, что памятники и картины являются нам под зримой вуалью, сотканной для них за многие века любовью и созерцанием многочисленных обожателей. Эта химера стала бы истиной, если бы мы перенесли ее в сферу единственной для каждого из нас реальности — в сферу собственного чувства. В этом смысле, и только в этом (но он значит намного больше), вещь, на которую мы смотрели прежде, если посмотреть на нее еще раз, вернет нам с оставленным на ней взглядом все образы, в то время полнившие наше зрение. Дело в том, что вещи, например, книга в обычной красной обложке, коль скоро они восприняты нами, внутри нас претворяются в нечто нематериальное, в то же вещество, из которого созданы наши занятия, наши чувства того времени, нерасторжимо с ними смешиваясь. Имя, когда-то прочтенное в книге, сохранит между своими слогами быстрый ветер и солнце, сверкавшее, когда мы его прочитали. В самом крохотном ощущении, вкусе какого-нибудь простого напитка, в запахе кофе с молоком, мы обретаем смутную надежду на хорошую погоду, которая столь часто улыбалась нам, когда день еще цел и полон, в непостоянстве утреннего неба; час — это ваза, наполненная ароматами, звуками, мгновениями; изменчивыми настроениями, погодой.¹⁴⁰ Поэтому литература, довольствующаяся «описанием вещей», дает нам только жалкую опись линий и поверхностей и, всё еще называемая реалистической,

удалена от реальности больше всего, истощая нас и внушая тоску, потому что резко порывает всякую связь нашего подлинного «я» с прошлым, сущность которого таится в вещах, — и грядущим, в котором вещи побудят нас узнать ее снова. Искусство, достойное этого имени, должно ее выразить, и если оно здесь и сядет на мель, то из своего бессилия еще можно извлечь урок (тогда как из успеха реализма извлечь нечего), что эта сущность отчасти субъективна, отчасти несообщаема.

Помимо того, предметы, которые мы видели в определенном отрезке жизни, книга, которую мы тогда читали навеки связаны не только с окружавшей их обстановкой, — они также принадлежат тому, кем мы тогда были, и могут восстать только в его чувствах и мыслях; стоит снять с полки «Франсуа ле Шампи», и во мне тотчас пробуждается ребенок, он занимает мое место, ведь только он вправе прочесть название: «Франсуа ле Шампи», — и когда, как в прошлом, он читает его, вокруг него та же погода, как в том саду, он предается тем же грезам о странах и жизни, и испытывают ту же тоску при мыслях о дне грядущем. Когда я увижу вещь из другой эпохи, пробудится юноша. Мое сегодняшнее «я» — это заброшенная каменоломня; можно сказать, что ее содержимое подобно и однородно, но любое воспоминание, как гениальный скульптор, может извлечь оттуда бесчисленные статуи. Я говорю: любой предмет, который мы видим снова, ибо в этом случае книги ведут себя как предметы: само действие, когда мы трогаем их корешок, или видим зерно

на бумаге, может сохранить в себе столь же живую память о моих тогдашних представлениях о Венеции, о том, как я хотел туда поехать, как фразы из этих книг. И даже память более свежую, потому что слова иногда нам мешают, как те фотографии, перед которыми сложнее вспомнить человека, нежели просто подумав о нем. Конечно, многие книги моего детства — увы, это верно также для некоторых книг самого Бергота, — вечерами, устав, я снимаю с полки, словно бы для того, чтобы они отправили меня, будто на своем поезде, отдохнуть, осмотреть старые места, вдохнуть воздух былых лет. Но иногда случается наоборот, если искомому воссозданию препятствует затянувшееся чтение книги. В библиотеке принца сохранилась, с крайне угодливым и безвкусным посвящением, берготовская книжка; я читал ее той зимой, когда не мог встречаться с Жильбертой, однако теперь мне никак не удавалось отыскать в ней мои любимые фразы. Определенные слова наводили меня на мысль, что это они и были; но это невозможно. Куда же делась их красота? Но снег, покрывший Елисейские поля в тот день, когда я читал эту книгу, с самого тома так и не стаял, и я увижу его всегда.

Поэтому если бы я, как принц де Германт, стал библиофилом, то только на свой манер. Даже красота с ценностью книги не связанная, сообщенная ей любителями, — сведения о библиотеках, через которые она прошла, тот факт, что по случаю такого-то события она была дарована таким-то самодержцем такому-то известному человеку, а за ним последовали другие ее хозяева, ее путь с продажи

на продажу, и так всю ее жизнь, — для меня не была бы потеряна, это красота в некотором роде историческая. Тем более, если она была связана с историей моей собственной жизни, — иными словами, я приобретал бы книги не из простого любопытства; более постоянный интерес во мне вызывал бы не конкретный экземпляр, но сам по себе роман, как «Франсуа ле Шампи», — впервые пролистанный в моей комбрейской комнатке, в самую нежную и самую грустную, быть может, ночь моей жизни, когда я (в те времена, когда волшебные Германты казались мне совершенно неприступными), увы, добился от родителей их первого отречения, от которого можно вести отсчет упадку моего здоровья и воли, моему каждый день отягчавшемуся отказу от трудной работы, — и снова попавшийся мне на глаза сегодня в библиотеке Германтов, в самый прекрасный день моей жизни, когда я неожиданно уяснил для себя не только давние несмелые шаги моей мысли, но даже цель моей жизни и, быть может, искусства. Впрочем, я проявлял бы интерес и к самим экземплярам книг, и с живым пристрастием. Дороже я бы оценил первое издание романа, но первым изданием назвал бы я то, в котором я прочитал роман впервые. Я разыскивал бы оригинальные издания, я хочу сказать те, благодаря которым эта книга произвела на меня оригинальное впечатление. Последующие впечатления уже не те. Я коллекционировал бы переплеты романов тех лет, когда я прочел первые книги, много раз слышавшие, как папа говорил мне: «Держи спину прямо». Как платье, в котором

мы впервые увидели женщину, они помогли бы мне обрести былую любовь, красоту, на которую наслоилось множество образов, любимых всё меньше; и чтобы мне, уже далекому от того смотревшего на нее «я», обрести первое, новое «я» уступит место былому, если оно назовет вещь, известную только ему, неведомую для «я» из настоящего.

Если бы я взялся составить такую библиотеку, ее ценность оказалась бы даже выше; память заполнила книги, прочитанные мной в Комбре, в Венеции, многочисленными миниатюрами, иногда с церковью святого Илария, иногда с гондолой, привязанной к подножию Сан-Джорджо Маджоре на инкрустированном сияющими сапфирами Канале Гранде; они теперь мало чем уступили бы этим «книгам с поличиями», Библиям с узорами, часословам, к которым знатоки обращаются не с целью чтения, но чтобы еще раз восхититься красками какого-нибудь соперника Фуке,¹⁴¹ что и составляют ценность книги. Однако даже пролистать такую книгу, чтобы просмотреть картинки, которыми они не были украшены поначалу, когда я их читал, казалось мне теперь небезопасным занятием, и поэтому я решил, что соблазна стать библиофилом у меня не возникнет — даже в единственно понятном для меня смысле этого слова. Я слишком хорошо знал, как легко образы, оставленные сознанием, сознанием стираются. Оно замещает старые новыми, а в них больше нет прежнего дара воскресения. И если бы у меня еще остался тот экземпляр «Франсуа ле Шампи», что вечером мама извлекла из свертка с книгами, которые бабушка собиралась мне подарить

на день рождения, — то я никогда не заглядывал бы в него; я бы испугался, что мало-помалу наполню эту книгу сегодняшними впечатлениями и полностью перекрою ими прежние; я бы боялся, что она полностью сольется с настоящим, и когда я попрошу ее еще разок позвать ребенка, разобравшего ее название в комбрейской комнатке, не знавшего, как его произносить, он уже не ответит на зов и навсегда останется погребен в забвении.

Мысль об искусстве народном как об искусстве патриотическом, даже если закрыть глаза на ее пагубность, казалась мне смехотворной. Если речь идет о том, что искусство должно поступиться утонченностью формы и «эстетскими изысками» ради того, чтобы быть понятным народу, то я достаточно хорошо знаю светскую публику, чтобы утверждать: по-настоящему безграмотны именно они, а не рабочие-электрики. Так что «народное искусство», по своей форме, скорее должно предназначаться членам Жоке-Клуба,¹⁴² чем Всеобщей Конфедерации Труда; что же касается сюжетов, то народные романы вызывают такую же тоску у простых людей, как у детей — детские книги. Мы читаем, чтобы знакомиться с небывалым, и рабочим так же любопытно узнать о принцах, как принцам — о рабочих. В начале войны г-н Баррес твердил, что художник (речь шла о Тициане) прежде всего обязан служить своей родине. Но он способен на служение ей до тех пор, пока остается художником, иными словами — исследует законы, производит опыты и совершает столь же сложные открытия, как научные, не помышляя ни о чем другом —

даже о родине — кроме истины. Не стоит уподобляться революционерам, которые из «гражданского самосознания» презирали, если не уничтожали работы Ватто и Латура — а этими мастерами Франция может гордиться больше, чем всеми художниками Революции вместе взятыми. Наверное, если бы анатомии предложили органы на выбор, она не выбрала бы самое нежное сердце. Не доброта отзывчивого сердца — в действительности, исключительная, — вынудила Шодерло де Лакло написать «Опасные связи», и не пристрастие к мелкой или крупной буржуазии побудили Флобера избрать сюжеты «Мадам Бовари» и «Воспитания чувств». Другие считают, что в эпоху скоростей искусство будет кратким, — так перед войной обещали, что она кончится очень быстро. Железная дорога тоже могла бы положить конец созерцанию, но глупо сожалеть о времени дилижансов: автомобиль восполнил их функции, и туристы по-прежнему останавливаются у заброшенных церквей.

Образ, данный нам жизнью, приводит за собой в реальность этого момента многочисленные и разнообразные ощущения. Например, вид обложки прочитанной прежде книги выткет в слогах ее названия лунные лучи далекой летней ночи. Вкус утреннего кофе с молоком приведет за собой смутную надежду на хорошую погоду, которая когда-то так часто, — пока мы пили его из белой фарфоровой чаши, с жирной плиссировкой из молочной пенки, и день еще был цел и полон, — улыбалась нам в светлой неопределенности утренней зари. Час — это

не только час. Это ваза, наполненная ароматами, звуками, замыслами, погодой. То, что мы называем реальностью, есть определенная связь между ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас одновременно, — связь, которая упраздняет возможность простого кинематографического видения, тем больше удаляющееся от истины, что подразумевает, будто ею ограничивается, — эта связь неповторима, и писатель обязан найти ее, чтобы навеки связать два предела своей фразой. Можно до бесконечности разнообразить описание деталями, которые фигурировали в месте повествования; истина начнется лишь в тот момент, когда писатель выявит два различных объекта, установит их связь, в искусстве аналогичную связи причинного закона в научном мире, и стянет их надлежащими кольцами прекрасного стиля; когда, подобно жизни, он сопоставит свойство, общее двум ощущениям, и высвободит их единую сущность, увязав то и другое, чтобы уберечь их от превратностей времен, в метафоре. Разве не сама природа наставила меня на путь искусства, разве не она была началом искусства, зачастую позволяя мне узнать о красоте вещи только много времени спустя — и только в другой: комбрейский полдень — в шуме его колоколов, донсьерские утренники — в икоте батарей? Связь бывает и не очень занятна, предметы зауражны, слог плох, но если этого нет, нет ничего.

Но было нечто большее. Если бы реальность была такого рода отбросом опыта, почти тождественного для каждого, — потому что когда мы говорим: плохая погода, война,

экипажный двор, освещенный ресторан, цветущий сад, всем понятно, что мы хотим сказать, — если бы реальность ограничивалась этим, то, быть может, хватило бы и какой-то кинематографической фильмы, а «стиль» и «литература», уводящие от простой данности, были бы искусственным довеском. Но много ли бы в этом осталось от самой реальности? Если бы я попытался понять, что же на самом деле произошло в ту минуту, когда нечто произвело на нас впечатление, — например, когда я прошел по мостику над Вивоной и тень облака на воде исторгла мой восторженный крик «Ух ты, ух ты, ух ты!» и заставила прыгать от радости, или когда, слушая фразу Бергота, я вывел из этого впечатления нечто не подходящее к нему специально: «Это восхитительно», или когда Блок, взбешенный чьим-то дурным поступком, бросил совсем уже не связанные с заурядным приключением слова: «Чтоб так поступать — это просто ффантастика», или когда, польщенный хорошим приемом у Германтов, и к тому же слегка одурманенный их винами, я не сдержался и, наедине с собой, уже выходя от них, вполголоса произнес: «Все-таки, люди это незаурядные, и было бы славно дружить с ними всю жизнь», — то я догадался бы, что эту самую важную, единственно правдивую книгу большой писатель должен не выдумывать, в расхожем смысле этого слова, поскольку она существует в каждом из нас, но переводить. Долг и задача писателя суть долг и задача переводчика.

Если же речь идет, к примеру, о неточном языке самолюбия, то коррекция неискренней внутренней речи (которая

со временем всё больше отклоняется от исходного и главенствующего впечатления), пока она не совпадет с прямой, исходящей из впечатления, сильно затруднена, поскольку ей противится наша лень; однако в других случаях, когда речь идет о любви, это исправление становится мучительным. Чтобы вернуть к ощущаемой нами истине, от которой так далеко ушла и вся наша напускная безучастность, и всё наше негодование от ее лжи, — впрочем, столь естественной, столь похожей на то, что практикуем мы сами, — иначе говоря, все те слова, что безостановочно, всякий раз, когда мы несчастны, когда нас обманывают, мы произносим не только любимому существу, но даже, в ожидании встречи с ним, без конца повторяем себе сами, подчас вслух, в тишине комнаты, взорванной чем-нибудь в этом роде: «Нет, все-таки подобные поступки невыносимы», или: «Я хотел бы встретиться с тобой в последний раз, и я не отрицаю, что это принесет мне страдание», — чтобы вернуть это к истине, нужно проститься со всем, за что мы держимся крепче всего, что возникло, пока мы лихорадочно обдумывали письма и новые ходатайства, в нашей страстной беседе с собой.

Даже в артистических удовольствиях, к которым мы стремимся, так или иначе, чтобы получить впечатление, мы в первую очередь отбрасываем в сторону, за невыразимость, само впечатление и ухватываемся за то, что позволит нам испытать от него удовольствие, не проникнув в него по существу; это позволит нам поведать о нем другим

любителям — беседа с ними будет возможна, поскольку мы говорим о чем-то общем для них и для нас, вырвав личный корень индивидуального впечатления. В те минуты, когда мы беспристрастные наблюдатели — природы, общества, любовного чувства и самого искусства, оттого что всякое впечатление двояко, будучи одной частью вложено в объект, а единственно доступной нашему разумению второй — продолжено в нас самих, мы торопливо пренебрегаем этой второй, за которую должны ухватиться, принимая в расчет только первую; ее нельзя углубить, поскольку она целиком снаружи, и она ничем нас не тяготит: ведь так тяжело пытаться рассмотреть бороздку, проведенную в нас боярышником или церковью. И мы наслаждаемся симфонией, мы снова возвращаемся к церкви — в том стремительном бегстве от нашей жизни, именуемом эрудицией, чью природу нам не хватает духа осознать, — пока не станем в них сведущи, и на тот же манер, как самые ученые музыковеды или археологи.

Сколь многие этим довольствуются, ничего не извлекая из своих впечатлений, и стареют, бессильные и неутоленные, словно бы обреченные искусством на целибат! Они страдают как девственницы и ленивцы; их исцелило бы плодоношение и работа. Произведения искусства возбуждают их сильнее, чем настоящих художников, и свою экзальтацию, которую они не подвергнут трудной работе углубления, они выставляют напоказ; она горячит их в разговоре, обагрывает их лицо; им кажется, что они совершают поступок, когда они воют до потери голоса —

«браво, браво» — после исполнения любимого концерта. Эти симптомы не побуждают их прояснить природу их любви, она им неведома. И вот она, не тронутая ими, врывается даже в самые спокойные разговоры, и, как только они начнут говорить искусстве, дергает их руки, головы, лицевые мышцы. «Сходил вчера я на концерт. Ничего такого, доложу я вам! Тогда сыграли квартет. Ну, мать честная! Другое дело, — на лице любителя тоска и беспокойство, словно бы он хочет сказать: “Я вижу искры, паленым тянет, пожар!..” — Разрази меня гром! Это уж никуда не годится — так плохо написано! Но впечатление-то производит! и спорить нечего: это не для всех!» Этому взгляду предшествует столь же тоскливая интонация, наклон головы и новые жесты, — смешные потуги гусенка: природа не дала ему крыльев, но всё равно измучила желанием летать. Жизнь бесплодного любителя, озлобленного и неудовлетворенного, перетекает с концерта на концерт, и так до седины, старя его без потомства, артистического холостяка. Тем не менее, эта мерзкая порода, что тщеславится своей исключительностью, и ничем не удовлетворена, не может не вызывать растроганности — это первая бесформенная попытка природы уйти от переменных объектов интеллектуального удовольствия, чтобы выработать постоянный орган.¹⁴³

К тому же, несмотря на всю их комичность, совершенно презирать их не следует. Это первые шаги природы на пути к художнику, столь же неудачные и неприспособленные к жизни, как первые животные, предшествовавшие

сегодняшним видам, которым не суждено было дожить до наших дней. Слабовольные и бесплодные любители, они должны пробуждать в нас такое же умиление, как первые летательные аппараты, не властные покинуть землю, но уже таившие в себе пусть не тайную способность, которую предстояло раскрыть, но тягу к полету. «И, старина, — добавляет любитель, взяв вас под руку, — восемь раз я этот квартет слушал, и так думаю, что не последний».

И действительно, поскольку подлинно питательная основа искусства не усваивается ими, их нужда в артистических удовольствиях постоянна — они страдают булимией, им не ведомо насыщение. Так они и ходят аплодировать, долго, беспрерывно, всё на то же сочинение, сверх того полагая, что своим присутствием на концерте они исполняют некоторый долг и совершают поступок, как иные — посещая похороны или совет директоров. Потом они будут любить новые сочинения, и даже ничем не схожие с прежними, — в литературе, в живописи, в музыке. Ибо способность изобретать идеи и системы, в особенности усваивать их, всегда встречалась чаще, даже среди тех, кто творит, чем подлинный вкус, но стала повсеместной в эпоху размножения обозрений и литературных журналов (и с ними искусственных вакансий писателей и артистов). Поэтому лучшее юношество, умное и бескорыстное, отныне любит в литературе только произведения с высокой моральной, социологической и даже религиозной важностью. Они вообразили, что именно в этом критерий ценности произведения, тем самым повторяя ошибку

Давидов, Шенаваров, Брюнетьеров¹⁴⁴ и т. д. Берготу, самые красивые фразы которого требовали более глубокого погружения в себя, они предпочитали писателей, казавшимся им сильными только потому, что писали хуже. Его усложненный стиль предназначен для светской публики, говорили демократы, оказывая свету незаслуженную честь. Но как только рассудочная натура принимается судить о произведениях искусства, больше нет ничего незыблемого, определенного, и можно доказывать что угодно. Тогда как реальность таланта есть благо самоценное и универсальное, и на наличие его, под преходящими модами мысли и стиля, — а ими, при сортировке авторов, руководствуется критика, — следует обращать внимание прежде всего. Критики именуют пророком писателя, у которого нет ни одной новой мысли, только по причине безапелляционности его тона и афишируемого презрения к предшествующей школе. В их заблуждениях такое постоянство, что писателю остается только предпочесть ей суд большой публики (если бы последняя не демонстрировала свою неспособность хотя бы принять во внимание предмет неведомых для нее поисков художника). Ибо между инстинктивной жизнью публики и талантом большого писателя больше сходства (ведь талант — это благоговейно прислушивающийся инстинкт, инстинкт достигший совершенства и понятый среди тишины, опустившейся на всё остальное), чем с поверхностным разглагольствованием и изменчивыми принципами штатных знатоков. Их блудословие

обновляется из десятилетия в десятилетие, ибо в этом калейдоскопе смешались не только светские группки, но также социальные, политические и религиозные идеи, приобретающие мгновенный размах благодаря преломлению в широких массах, — однако ограниченные, несмотря на то, краткостью своей жизни, жизни идей, новизна которых может обольстить лишь нетребовательные к доказательствам умы. Так сменяются партии и школы, прельщая всё те же умы, людей с посредственным рассудком, обреченных на пристрастия, от которых воздерживаются умы более разборчивые, более щепетильные по части доказательств. К несчастью, первые только полоумны, и у них настоятельная потребность действовать; они активнее высоких умов — они обольщают толпы, и вокруг них роятся не только дутые авторитеты и ни на чем не основанная клевета, но также разгораются гражданские и внешние войны, хотя немножко пор-рояльской самокритики смогло бы нас от нее уберечь.¹⁴⁵

Наслаждение, которое принесет высокому уму, подлинно живому сердцу прекрасная мысль какого-нибудь мастера — конечно, более здоровое явление, но сколь бы ни был утончен человек, наслаждающийся ею (много ли наберется их за двадцать лет?), она лишь низводит его до ясного сознания чужой мысли. Если он изнемог, пытаюсь снискать любовь женщины, которая умеет приносить лишь несчастья, и несмотря на многолетние удвоенные усилия не преуспел даже в том, чтобы добиться одного свидания с нею, то вместо того, чтобы попытаться выразить свое

страдание и описать бедствие, которого он избежал, он без конца перечитывает, подводя под нее «миллион слов» и свои волнительные воспоминания, мысль Лабрюйера: «Подчас люди желают любить, но удача им не сопутствует; устремляются к поражению и не могут его потерпеть; если можно так выразиться, они вынужденно сохраняют свободу». Подразумевал ли афоризм для писавшего его это чувство, или там было нечто другое (для тождественности, и это было бы красивой, следовало бы поставить «быть любимыми» вместо «любить»), наш чувствительный эрудит оживляет эту мысль и раздувает ее значение, пока она не лопнет; он с радостью перечитывает ее, потому что находит ее истинной и прекрасной; — но вопреки тому, ничего от себя не добавляет к ней, и остается только мысль Лабрюйера.

Да и что вообще может стоить эта опись наблюдений, если только за мелочами, которые она отмечает, кроется реальность (величие в далеком шуме аэроплана, в силуэте колокольни Св. Илария, прошлое во вкусе мадлен и т. п.), и пока мы ее не высвободим, сами по себе они ничто?

Постепенно цепочка неточных выражений, сохраненная нашей памятью, в которых уже ничего не осталось от реально испытанного, начинает определять нашу мысль, наше существование и действительность; вот эту ложь и воссоздает простоватое, как жизнь, «искусство пережитого», — такой тщетный и скучный, лишенный красоты повтор увиденного глазами, подмеченного умом,

что поневоле спрашиваешь себя, где же автор, предавшийся этому занятию, нашел радостную моторную искру, пустившую в ход, сдвинувшую с точки его дело. Величие настоящего искусства, — в отличие от того, что г-н Норпуа называл «дилетантскими игрищами», — это обретение, воссоздание и показ реальности, столь далекой от той, в которой мы живем, всё больше устрняясь из нее по мере того, как наше условное знание, подменяющее ее собой, становится непроницаемой и плотней; всего лишь нашей жизни, хотя об этой реальности мы можем не узнать до смерти.

Подлинная жизнь, в конечном счете открытая и проясненная, а следовательно единственно прожитая целиком — это литература. В каком-то смысле, эта жизнь каждое мгновение пребывает и в художнике, и в каждом человеке. Однако она не видна людям, ведь они не пытаются ее прояснить. Их прошлое завалено столь же тщетными и бесчисленными «негативами», потому что они не «проявлены» разумом. Это наша жизнь, но также жизнь других; ибо стиль для писателя подобен цвету для художника — это вопрос не техники, но видения. Стиль — это откровение, которое невозможно прямыми и осознанными средствами, о качественной разнице в том, как проявляется мир, и эта разница осталась бы вечным секретом каждого человека, если бы не существовало искусства. Только благодаря искусству мы можем выйти за свои пределы и узнать, что видят во вселенной другие люди — вселенной отличной от нашей, пейзажи которой

так и остались бы для нас неведомы, как лунные виды. Благодаря искусству вместо одного нашего мира мы видим множество, и сколько было самобытных художников, столько в нашем распоряжении миров, еще больше разнящихся между собой, чем миры, летящие по вселенной; и спустя много веков после того, как угас их источник, из которого они изошли, будь то Рембрандт или Вермеер, они всё еще светят для нас своими неповторимыми лучами.

Работа художника, то есть попытка усмотреть за материей, за опытом, за словами нечто иное, противоположна тому труду, который ежеминутно по ходу нашей жизни, стоит отвлечься от себя, проделывают себялюбие, страсть, интеллект и привычка, накапливая поверх подлинных впечатлений, тем самым полностью перекрывая их, номенклатуру¹⁴⁶ и практические устремления, ошибочно соотнесенные нами жизнью. В целом, только это запутанное искусство можно по справедливости называть живым. Только оно выражает для других и показывает нам самим нашу собственную жизнь, — жизнь, «наблюдению» не поддающуюся, зримые проявления которой подлежат переводу, а зачастую чтению в обратном порядке и мучительной расшифровке. И тогда работа, проделанная самолюбием, страстью, подражательным духом, абстрактным интеллектом, привычками, будет уничтожена искусством, которое пройдет обратный путь, вернется к глубинам, где погребено неведомое для нас реальное существование, и заставит нас следовать за ним.

Какой соблазн — воссоздать подлинную жизнь, обновить впечатления; но это потребует отваги разного рода, и даже чувственной. Прежде всего, нужно поступиться самыми дорогими иллюзиями, оставить веру в объективность того, что выработал сам, не баюкать себя сотый раз словами «Она была так мила», но прочесть поперек: «Я обнял ее и получил удовольствие». Конечно, все люди ощущают то, что я испытал в эти часы любви, схожим образом. Но чувства — это словно бы негатив, который кажется черным, пока не поднесешь его к лампе, и не помотришь наоборот: мы не знаем, что они такое, пока не поднесем их к разуму. Только тогда, когда разум осветил чувство, его интеллектуализовал, мы, пусть и с большим трудом, можем различить облик того, что мы чувствовали. И также я отдал себе отчет в том, что страдание, впервые испытанное мной с Жильбертой, оттого что наша любовь не принадлежит существу, которое ее вдохнуло, благотворно. Помимо прочего, как метод (потому что наша жизнь слишком коротка, и только в то время, когда мы страдаем, наши мысли, словно бы взволнованные вечными и изменчивыми движениями, поднимают нас, как будто во время бури, на такую ступень, откуда мы можем охватить ее взором, всю эту необъятность, упорядоченную законами, тогда как из дурно расположенного окна она не видна, потому что в счастливом спокойствии она видится гладкой, невысокой; может быть, лишь в самых великих гениях это волнение присутствует постоянно и им нет нужды в скорбном подвиге; из чего, однако, не следует,

что широкая и размеренная поступь их радостных произведений свидетельствует об их счастливой жизни, — вполне возможно, что напротив их жизнь наполнилась скорбями); прежде всего потому, что если мы любили не только Жильберту (а она принесла нам столько горя), то не оттого, что мы также любили Альбертину; любовь — это частица души, делящаяся дольше, чем наши разнообразные «я», умиравшие одно за другим со своим эгоистическим желанием сохранить это чувство; эта частица, сколько бы зла — впрочем, полезного, — она ни принесла нам, должна отделиться от отдельных существ, чтобы восполнить целое и вернуть любовь и понимание этой любви — миру, всеобщему духу, а не той или иной, с которыми тот или иной, наши прежние «я», поочередно хотели бы слиться.

Мне придется заново раскрыть смысл малейших знаков вокруг меня (Германтов, Альбертины, Жильберты, Сен-Лу, Блока и т. д.), отнятый у меня привычкой. Ведь когда мы соприкоснемся с действительностью, чтобы выразить ее, сохранить, нам придется устранить всё от нее отличное, привнесенное достигнутой скоростью привычки.¹⁴⁷ Прежде всего я отбросил бы эти слова, что произносятся скорее губами, чем разумом, все эти шуточки, всплывшие в долгом разговоре, которые долго еще мы будем деланно говорить себе, переполняя свое сознание ложью, — эти совершенно плотские словечки, что вызовут у писателя, унизившегося до их записи, легкий смешок и гримаску, и так испортят, в частности, фразу Сент-Бева, поскольку настоящие книги должны быть детьми не яркого дневного света и болтовни,

но темноты и молчания. И так как искусство в точности воссоздает жизнь, вокруг этих истин, которых мы достигли в себе, всегда будет разлита поэзия и радость волшебства, но это лишь следы пересеченного нами сумрака и работающий столь же точно, как альтиметр, показатель глубины произведения. (Эта глубина никоим образом не связана с определенной тематикой, как возомнили материалистически духовные романисты, не могущие заглянуть по ту сторону явлений; и все их благородные намерения, подобно добродетельным тирадам, привычным у людей, неспособных на мало-мальски добрый поступок, не помешают нам заметить, что у них не хватает духовных сил даже на то, избавиться от расхожих недостатков формы, приобретаемых имитацией.)

Что же касается истин, добытых интеллектом, даже у самых высоких умов, в солнечном свете дня, то их ценность может быть высока, но их контуры сухи и плоски, они не глубоки, потому что для того, чтобы достичь их, не были пересечены глубины; потому что эти истины не были воссозданы. Часто писатели, с наступлением определенного возраста, когда из глубин уже не поднимаются эти волшебные откровения, пишут только силами рассудка, и последний набирает всё большую мощь; их зрелые книги по этой причине более сильны, чем книги их молодости, — но в них нет больше прежнего бархата.

Однако я понимал, что истинами, извлеченными разумом из самой действительности, не стоит совершенно

пренебрегать, потому что они могли бы вставить в оправу своего вещества, — хотя и не такого чистого, но всё же пронизанного духом, — впечатления, сообщенные нам вневременной сущностью, общей ощущениям прошлого и настоящего; эти впечатления драгоценней, но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено только ими. Я почувствовал, как они бегут ко мне толпами, готовые к делу — истины о страстях, характерах, нравах. Их приближение обрадовало меня; однако мне вспомнилось, что лишь немногие из них открылись мне в страдании, тогда как все прочие — в довольно посредственных наслаждениях.

Каждую женщину, принесшую нам боль, мы можем причислить к рангу божеств; она — только фрагментарный ответ этих богов и последняя ступень на пути к ним, от созерцания ее божественности (Идеи) наше страдание тотчас сменяется радостью. Искусство жизни — это служение тем, кто заставил нас страдать, служение им как ступеням, по которым мы дойдем до их божественной формы и радостно населим свою жизнь божествами.

И тогда меня посетило новое озарение, хотя и не столь лучистое, как то, которое только что показало мне, что единственное средство обрести Потерянное Время — это произведение искусства. Я понял, что материалы литературного произведения — это мое прошлое, что я собрал их в легкомысленных удовольствиях, лени, нежности и скорби; что я ссыпал их в свои амбары, не более догадываясь об их

предназначении, да и о том, что они дойдут до этих дней, чем семя, заготовившее питательные вещества, которые вскормят растение. Подобно семени, я умру, как только пробьется росток; и вдруг я почувствовал, что, о том не догадываясь, я для него и жил, даже тогда, когда не верил, что когда-нибудь в моей жизни появятся эти книги, ради которых, желая их писать, я усаживался за стол, но не находил темы. Так что вся моя жизнь вплоть до этого дня проходила под знаком Призвания, — и вместе с тем, дело обстояло противоположным образом. В том смысле, что литература не сыграла никакой роли в моей жизни. Но жизнь, память о ее радостях и горестях, образовали запас, подобный эндосперму в семязачатке растения, в котором побег черпает свою пищу, чтобы превратиться в семя; посмотрев на него в тот момент не скажешь, что в нем развивается эмбрион, а между тем он уже стал средой химических и дыхательных процессов — скрытых, но очень активных. Так что вся моя жизнь определялась тем, что приведет к ее вызреванию; но тот, кто питается ею, так и не узнает, как неизвестно и тем, кто поглощает питательные семена, что содержащиеся в них насыщенные вещества хотя и создавались для питания, сначала вскормили семя и привели к его вызреванию.

В этой материи одни и те же сопоставления оказываются ложными, если мы исходим из них, и становятся истиной, если мы приходим к ним в конце. Писатель завидует живописцу, ему хочется набрасывать эскизы; он пропадет, если так поступит. Но стоит взяться за работу, и абсолютно

все жесты персонажей — тик или акцент — вдохновение возьмет, как у поставщика, в его памяти; под именем одного вымышленного персонажа — шестьдесят реальных: тот выведен ради гримасы, второй из-за монокля, третий за гнев, этот за самоуверенное движение руки и т. д. И тогда писатель поймет, что если путем осознанным и целенаправленным его мечте — стать художником — не суждено было сбыться, то он все-таки стал им, и, не догадываясь о том, писатель заполнил этюдник.

Движимый своим инстинктом и не ведая, что когда-нибудь станет писателем, он нередко пропускал мимо внимания факты, отмеченные другими, — его даже порицали за рассеянность, а он упрекал себя за то, что не умел слышать и видеть; и в то же время он требовал от глаз и слуха навсегда удержать то, что другим казалось ребяческими пустяками: интонацию произнесенной фразы, выражение лица и движение плечами, сделанные в определенный момент таким-то человеком, — даже если ничего кроме того запомнить о нем не удалось; прошло много лет, и потому, что эту интонацию он уже когда-то слышал, и чувствовал, что сможет расслышать ее вновь, она стала чем-то возобновимым и длящимся; так чутье на общее в будущем писателе самостоятельно отбирало то, что характерно для всех и может войти в произведение искусства. Но он слышал этих людей только тогда, — и не важно, что они были безумны и пошлы, что как попугаи они твердили слова, которые говорят люди их склада, — когда они становились пророческими птицами,

глашатаями психологического закона. Он помнит только общее. В виде этих интонаций, движений лица, в нем сохранялась человеческая жизнь, даже если он видел этих людей только в раннем детстве; и когда позднее он соберется писать, жизнь сама сложит движение плеча, характерное для многих, — истинное, как будто описанное в тетради анатома, но в данном случае для выражения психологического закона, — и насадит на плечи одного человека рывок шеи, сделанный другим, поскольку хотя бы минуту, но позировал каждый.

Еще не очевидно, что при создании литературного произведения чувственность и воображение — качества неважизамозаменяемые, что второе нельзя без большого ущерба заменить первым, словно бы возложив функции желудка, у некоторых уже не переваривающего пищу, на свой кишечник. Человек от рождения чувствительный, но не наделенный богатым воображением, может, вопреки тому, написать восхитительные романы. Страдание, которое причиняют ему другие люди, его усилия, чтобы эти страдания предупредить, столкновения между ним и каким-нибудь бессердечным лицом, — всё это могло бы, пройдя истолкование интеллектом, послужить основой для материи столь же прекрасной, как если бы он воображал и изобретал, а заодно освободило бы его произведение от авторских мечтаний, свойственных поглощенным собой и счастливым писателям, — материи столь же неожиданной для него и случайной, как нечаянная прихоть воображения.

Заурядные люди своими жестами и речами, невольно выраженными чувствами проявляют законы, им самим не ведомые, но отмечаемые художником. Из-за наблюдений такого рода чернь считает писателя злобным человеком, — и напрасно он им верит, потому что даже в чем-то нелепом художник изыщет прекрасную сущность, вменяя объектам своих наблюдений их качества в вину не более, чем хирург — больному, у которого заурядная закупорка вен; пошлость вызывает у него куда меньше насмешек, чем у прочих. Увы, он скорее несчастен, нежели злобен: если речь идет о его собственных страстях, ему, познавшему их общий характер, сложнее изжить причиненные ими беды. Когда нас оскорбляет наглец, конечно, мы предпочли бы услышать его хвалы, — тем более, если нас предает женщина, которую мы боготворим, мы многое отдали бы за то, чтобы дело обстояло иначе. Но тогда злость оскорбленного, скорбь отвергнутого останутся для нас неведомыми землями; их открытие, мучительное человеку, драгоценно художнику. Так неблагодарные и подлые люди, вопреки своей воле, да и воле художника, становятся частью его произведения. Памфлетист приобщает к своей славе заклеянного им пройдоху. В произведении искусства мы встретим мужчин, которых художник ненавидел больше всего, и женщин, увы, которых он больше всего любил. Они только позируют писателю, даже в то время, когда, пусть не желая того, приносят ему страдания. Когда я был влюблен в Альбертину, я прекрасно понимал, что она меня не любит, и поневоле смирялся с тем, что она лишь давала мне

возможность узнать, что такое страдание, любовь,
а поначалу — счастье.

И когда мы пытаемся извлечь что-то общее из нашей печали, описать ее, нас, в какой-то мере, помимо перечисленных выше соображений, может утешить еще и то, что обобщение и письмо для писателя — функции полезные и необходимые, их осуществление делает его счастливым, как людей плотских — упражнения, пот и ванна. Честно признаться, эта мысль в какой-то мере меня возмутила. Пусть я верю в искусство как высшую истину жизни, но с другой стороны я уже не нахожу в себе сил для того, чтобы помнить, любить Альбертину, как прежде, и как раньше — оплакивать бабушку; и я спрашиваю себя, произведение ли искусства, о котором они не узнают, будет свершением участи этих бедных покойниц. Бабушку, за агонией и смертью которой я наблюдал с таким безразличием. Если бы я только мог, во искупление, когда мой труд будет завершен, раненый и неизлечимый, покинутый всеми, выстрадать долгие часы, прежде чем я умру! Впрочем, мне было бесконечно жаль даже и не столь близких людей — тех, кто был для меня безразличен, чьей участью, страданиями и даже пошлостью воспользовалась моя мысль, чтобы их постичь. Эти люди открыли мне истины, и их больше не было; мне казалось, что их прожитой жизнью воспользовался только я, что они отдали свою жизнь ради меня.

Я с грустью думал, что любовь, которой я так дорожил, в книге будет слишком далеко отстоять от внушившего ее лица, потому что читатели подменят его своими чувствами к другим женщинам. Но мне ли негодовать об этой посмертной неверности, из-за того, что какой-то читатель вообразит объектом моих чувств других, неизвестных мне женщин, если эта неверность, или дробление любви между множеством существ началась еще при жизни, еще до того, как я начал писать? я поочередно страдал из-за Жильберты, г-жи де Германт, Альбертины. По очереди же я забыл их — длилась только моя любовь, отданная разным людям. Если какой-то читатель осквернит одно из моих воспоминаний, то первым над ним надругался я, и задолго до него. Я внушал себе почти отвращение — словно бы я был членом какой-то националистической партии, начавшей войну, единственной партии, которой была выгодна эта война, повлекшая за собой страдания и смерть многих благородных жертв, даже не узнавших (что для моей бабушки, например, было бы огромным облегчением) исхода битвы. Меня утешало одно: если ей не будет известна моя работа, если она не сможет насладиться моим успехом, то — и такова участь мертвых — мое бездействие, мою упущенную жизнь, причинявшие ей столько страданий, она не сознает уже очень давно. Конечно, туда будут вписаны слова и взгляды не только бабушки и Альбертины, но многих других, хотя самих этих людей я уже не помнил; книга — это огромное кладбище, и на многих могилах уже не прочтешь стершиеся имена.

Напротив, иногда очень хорошо вспоминается имя, но не знаешь, вошло ли что от человека, его носившего, в эти страницы. Эта девушка с глубоко посаженными глазами, тягучим голосом, здесь ли она? Но если она действительно покоится тут, то не знаешь — где, и как найти ее под цветами.

Но поскольку наша жизнь обособлена от жизни других людей, поскольку самые сильные наши чувства, как моя любовь к бабушке, Альбертине, по прошествии нескольких лет нам уже чужды, поскольку теперь они для нас — только неведомое слово, и мы говорим об этих умерших со светскими приятелями, встречи с которыми по-прежнему доставляют нам удовольствие, хотя все, кого мы любили, мертвы, — тогда если есть некий способ вспомнить эти забытые слова, то не пора ли нам им воспользоваться, даже если нам придется для этого сначала перевести их на всеобщий язык; по крайней мере, он будет постоянным, и сотворит из них, больше не сущих, из самого подлинного их естества, вечное достояние мира; и если нам удастся выразить законы перемен, спутавших значение этих слов, то не станет ли наша немощь новой силой?

Впрочем, произведение, которое пишат наши беды, в грядущем можно будет истолковать и как роковую приметку страданий, и как счастливый знак утешения.

И действительно, если мы говорим, что влюбленности и разочарования поэта сослужили ему службу, помогли выстроить произведение, если какие-нибудь женщины —

одна по злобе, вторая шуток ради, — и не догадываясь о том, внесли по камню в постройку монумента, хотя они его не увидят, мы недостаточно ясно представляем, что жизнь писателя не ограничена этим произведением, что тот же самый его характер, из-за которого он испытал столько страданий, описанных в его книге, продолжит существование и после того, как работа будет окончена, и вынудит писателя полюбить других женщин, в подобных обстоятельствах, если только время не переменит, не преобразует условия, предмет, любовный аппетит писателя и его сопротивляемость боли. С этой точки зрения произведение можно рассматривать как несчастную любовь и роковое предвесье всех грядущих; жизнь будет следовать за книгой, и поэт теперь может не писать, поскольку в написанном кроется предвосхищенный облик будущего. Итак, моя любовь к Альбертине уже была вписана в мою любовь к Жильберте, столь непохожую на нее, в те счастливые дни, когда я впервые услышал имя Альбертины, рассказ о ней от ее тетки, не помышляя, что этот ничтожный росток разовьется и раскинет ветви надо всей моей жизнью.

Но с другой стороны произведение — это счастливая примета, потому что оно учит нас, что в каждой любви общее лежит в стороне от частного, учит дороге от второго к первому посредством некоего упражнения, укрепляющего против печали, внушающего нам забвение ее причин, чтобы вникнуть в ее сущность. И правда, мне еще предстояло узнать в будущем, что в часы работы, когда реализуется

наше призвание, даже в любви и в тоске, любимое нами существо растворяется в реальности более объемной, нежели реальность забвения, что в часы труда мы страдаем из-за своих чувств не больше, чем от заурядного физического заболевания, в котором любимое существо уже ничего не значит, чем от своего рода болезни сердца. Конечно, всё дело во времени, и эффект будет обратным, если работа припозднится. Ибо те люди, которым удалось, сколько бы мы ни противились, своей злобой и ничтожеством разбить наши иллюзии, уже сами отъединились от любовной химеры, нами же изобретенной, и сошли на нет, и если в это время мы примемся за работу, то наша душа вновь вспомнит свои былые бредни и отождествит их, для нужд самоанализа, с любимыми прежде женщинами; в этом случае литература, возобновив прерванный труд любовной иллюзии, наделяет своего рода загробной жизнью чувства, которые уже мертвы.

Нам придется оживлять страдание со смелостью врача, испытующего на себе опасную инъекцию. И в то же время — помыслить его в обобщенной форме, и в какой-то мере это поможет высвободиться из его тисков, разделить свое горе с миром, а это не исключает какой-то радости. Там, где жизнь заводит нас в тупик, разум буравит выход, ибо если нет лекарства от несчастной любви, то мы исходим из констатации страдания, чтобы извлечь хотя бы предполагаемые им следствия. Разуму неведома круговая порука безысходного существования.

Так что мне придется смириться с мыслью, — поскольку ничто не длится, пока не станет обобщением, пока дух не умрет для всего земного, — что даже самые дорогие для писателя люди, в конечном счете, лишь позировали ему как художнику.

В любви наш счастливый соперник, иными словами наш враг, — это наш благодетель. Он придает существу, которое вызывает у нас только бесцветное физическое желание, безмерную ценность — пусть инородную, но нами ему приписанную. Если бы у нас не было соперников, удовольствие не претворялось бы в любовь. Если бы у нас их не было или если бы мы не думали, что они у нас есть. Вовсе не обязательно, чтобы они существовали реально. Нам хватило бы и той иллюзорной жизни, которой подозрение и ревность наделяют наших ничтожных врагов.

Иногда скорбный отрывок только набросан, и к нам приходит новая грусть, новое страдание, чтобы мы смогли его завершить и дополнить. Не следует слишком сетовать из-за этих полезных огорчений, в них нет недостатка, они не заставят себя долго ждать. Надо все-таки спешить пользоваться ими, потому что они не длятся долго: мы либо утешимся, либо, если они слишком сильны, а наше сердце утратило крепость, умрем. Только счастье целительно телу; но только горе воспитует силы духа. Впрочем, даже если бы оно не открывало нам каждый раз какой-то закон, оно всё равно было бы необходимо — чтобы вернуть нас к истине, заставить отнестись к миру всерьез, вырвать сорняки

привычки, скептицизма, легкомыслия, безразличия. Правда, истина несовместима со здоровьем и счастьем, и не всегда совместима с жизнью. В конечном счете горе убивает.

С каждой новой сильной болью мы чувствуем, как кровоточит еще одна вена, извивая смертельные изгибы вдоль виска, под глазами. Так постепенно складывались эти жуткие опустошенные лица старого Рембрандта, старого Бетховена, над которыми смеялся мир. И что значили бы эти глазные мешки, морщины на лбу, если бы не боль сердца? Но поскольку силы претворяются в другие силы, поскольку длящейся жар становится светом, а электричество молнии может фотографировать, поскольку тупая сердечная мука в каждом горе может воздуть над собой, как стяг, зримое постоянство образа, примем физическую боль, которую она приносит, ради духовного знания, которое она открывает; пусть разлагается наше тело, ведь каждая отпавшая частица уходит на то — на сей раз светла и ясна, — чтобы воссоединиться с произведением, дополнить его ценой страданий, в которых другие, более одаренные, не имеют нужды, сделать его более прочным, пока волнения размывают нашу жизнь. Идеи — наследницы скорбей; когда скорби превращаются в идеи, они отчасти теряют вредоносное действие на сердце, и даже, в первые мгновения, само по себе превращение неожиданно рождает радость. Впрочем, наследницы только во временном порядке; похоже, что идея первична, а горе — только образ вхождения определенных идей в нашу душу. Группы идей многочисленны, некоторые радостны сразу.

Эти размышления открыли мне более основательное и точное значение истины, которую я предвосхищал давно, а именно в тот момент, когда г-жа де Камбремер выразила удивление, что ради Альбертины я смог пренебречь обществом такого замечательного человека, как Эльстир. Я понимал, что она не права даже с интеллектуальной точки зрения, но я не знал, что она недооценивает как раз те уроки, благодаря которым писатель делает свои первые шаги. Объективная ценность искусств в данном случае не играет никакой роли; речь идет о том, чтобы заставить выйти, вывести к свету наши чувства и страсти, то есть чувства и страсти каждого человека. Женщина, которая вызывает наше вожделение, которая заставляет нас страдать, вызволяет из нас ряды по-иному глубоких, по-иному живых чувств, нежели какой-нибудь выдающийся человек — предмет нашего интереса. Остается только узнать, сто́ит ли хоть чего-нибудь, сообразно особенностям нашей жизни, измена женщины, причинившая нам столько муки, наряду с истинами, благодаря ей открытыми, которые женщина, радуясь нашей боли, едва ли сможет понять. Во всяком случае, эти измены не так редки. Писатель без боязни может взяться за долгий труд. Пусть ум начнет свою работу, по ходу дела случится множество огорчений, они займутся финалом. Что же касается счастья, то от него едва ли не единственная польза — сделать несчастье возможным. В счастье нужно оковать себя нежными и крепкими нитями доверия и привязанности, чтобы разрыв стал причиной драгоценного мучения, именуемого горем. Если же счастья

не было, и мы даже не надеялись на него, несчастья не будут жестоки, а следовательно не принесут плода.

Художнику, чтобы нарисовать одну церковь, надо увидеть многие, и тем более писателю, чтобы описать одно чувство, воплотить объем и насыщенность, общность и литературную реальность, понадобится много людей. Искусство длительно, жизнь коротка;¹⁴⁸ можно добавить, что если вдохновение кратко, рисуемые им чувства длятся не многим дольше. Ведь именно страсти готовят материю наших книг, записывает их промежуточное отдохновение. Когда вдохновение возродится, когда мы снова примемся за работу, женщина, позировавшая нам для одного чувства, его уже не внушит. Тогда продолжение надо рисовать с другой, и хотя это измена первой, оттого, что наши чувства сходны, произведение становится воспоминанием о былых влюбленностях и в то же время — пророчеством о влюбленностях грядущих; для литературы нет ничего страшного в этой подмене. Поэтому тщетно исследовать — кто был прототипом. Произведение, даже непосредственная исповедь, по меньшей мере включено в поток различных эпизодов жизни автора, — предшествующих, которые его вдохновили, последующих, которые походят на него не меньше, ибо все грядущие влюбленности воспроизводят особенности предыдущих. Мы не так верны человеку, которого любили сильнее всех, как самим себе, и рано или поздно мы забудем его, чтобы, поскольку это одно из наших свойств, полюбить вновь. Самое большее, наша любовница сообщила этому чувству какую-то особенность,

и мы останемся ей верны и в изменах. От ее наследницы нам будут нужны те же утренние прогулки, те же проводы по вечерам, мы подарим ей в сто раз больше денег. (Занимательна эта циркуляция денег, которыми мы осыпаем женщин, — они нас, с помощью этих средств, делают несчастными, а это позволяет нам писать книги; не будут большой ошибкой слова, что книги, как артезианские колодцы, поднимаются тем выше, чем глубже страдание вошло в наше сердце.) Благодаря этим подменам произведение становится чем-то отвлеченным и обретает более общий характер; и в этом суровое назидание: нет нужды стремиться к людям, ибо реально существуют, а следовательно поддаются выражению, вовсе не они, а идеи. Надо торопиться и не терять времени, покуда модели в нашем распоряжении; потому что много сеансов не дают ни те, кто позирует для счастья, ни те — увы, поскольку оно не длится дольше, — кто позирует для горя.

Впрочем, даже если горе не служит нашим поставщиком, открывая нам материю произведения, оно полезно, ибо подталкивает к ней. Воображение и мысль — восхитительные машины, но становятся инертными. Тогда страдание приводит их в действие. И женщины, позирующие для скорби, дают частые сеансы в той мастерской, куда мы заходим только в эти времена, мастерской нашей души! Это время — словно бы картина нашей жизни, ее различных горестей. Ибо горести тоже состоят из многих, и только успеешь подумать, что скорбь

улеглась, как придет новая. Новая в полном смысле этого слова; может быть потому, что непредвиденные ситуации позволяют нам теснее соприкоснуться с нашей сущью, и скорбные дилеммы, возникающие в любви ежеминутно, учат нас и, одна за одной, раскрывают материю, из которой мы созданы. И когда Франсуаза, которая видела, что Альбертина входит ко мне через все открытые двери, словно собака, везде наводит беспорядок, разоряет меня, приносит мне столько огорчений, говорила мне (к тому времени я написал целый ряд статей и сделал несколько переводов): «Вот вместо этой девицы, на которую он всё время угробил, барин взял бы себе что ли секретаря какого-нибудь толкового, а тот бы разобрал его бумажища!», — я, наверное, ошибался, находя ее слова разумными. Отнимая мое время, принося мне страдания, Альбертина, быть может, была мне более полезна, даже с литературной точки зрения, чем секретарь, который привел бы в порядок «мои бумажища».¹⁴⁹ Впрочем, для такого нелепого существа (в природе это место определено человеку), которое не может любить не страдая, и которому нужны горести, чтобы познать истины, жизнь рано или поздно станет в тягость. Счастливые года суть потерянные года; чтобы работать, мы ждем страданий. Идея предвещающей беды ассоциируется с идеей работы; мы боимся каждого нового произведения, думая о скорбях, которые надлежит претерпеть, чтобы его придумать. И поскольку понятно, что страдание — это лучшее, что встречается в жизни, мы думаем о смерти без ужаса, почти как об освобождении.

Даже если это было мне не по нраву, следовало также учесть, что куда чаще не мы играем с жизнью, подыскивая людей для книг, но всё совершается наоборот. Столь благородный пример Вертера был, увы, не для меня. Ни на секунду не веря, что Альбертина любит меня, из-за нее я двадцать раз хотел покончить с собой, я разорился, я заболел. Когда речь идет о работе, мы скрупулезны, мы вникаем в мельчайшие детали, мы отбрасываем всё, что не является истиной. Но если речь идет всего лишь о жизни, мы терзаем себя и теряем силы, изводим себя домыслами. Но поистине, только из жилы этих измышлений (если прошли года быть поэтом) можно извлечь немного истины. Горести — это мрачные, ненавистные слуги, мы с ними сражаемся, мы им всё больше проигрываем, слуги ужасные, не подлежащие замене, но они ведут нас подземными дорогами к истине и смерти. Блажен тот, кто встретил первую раньше второй, для кого, сколь бы ни были они близки друг от друга, час истины пробьет прежде смертного часа.

Даже самые незначительные эпизоды моего прошлого, я понял также, наставляли меня в идеализме, и сегодня я мог воспользоваться этим уроком. Разве не показали мне встречи, в частности, с г-ном де Шарлю, еще до того, как его германофильство преподнесло мне тот же урок, и намного наглядней, чем любовь к г-же де Германт, Альбертине, чем любовь Сен-Лу к Рашели, что сама по себе материя безразлична, что ее можно полностью заполнить мыслью; эту истину феномен сексуальной инверсии, столь плохо понятый, столь напрасно порицаемый, проясняет даже

лучше, чем уже довольно поучительный феномен любви. Любовь показывает нам, как красота уже не любимой нами женщины ускользает от нее и вселяется в лицо, которое другим покажется безобразным, и нам самим когда-нибудь разонравится; но не более ли поразительно видеть, как она, снискав почтение знатного барина, прикажет ему тотчас расстаться с прекрасной принцессой и переселится под фуражку контролера омнибуса? Разве мое удивление, всякий раз, когда я видел на Елисейских полях, на улице, на пляже лицо Жильберты, г-жи де Германт, Альбертины, не доказывало, что память расходится с первоначальным впечатлением, всё дальше от него удаляясь? не было и часа в моей жизни, который не учил бы меня, что только грубое и ошибочное восприятие приписывает явления предмету, тогда как всё содержится в духе; час, когда я впервые оплакал смерть моей бабушки, пробил только тогда, когда ее смерть вошла в мою мысль, то есть много лет спустя после ее смертного часа.

Писателя не должно оскорблять, что гомосексуалист наделяет его героинь мужским лицом. Только это легкое отклонение позволяет ему выявить в прочитанном общий характер. Наделив античную Федру чертами янсенистки,¹⁵⁰ Расин сделал ее ценность универсальной; а если бы г-н де Шарлю не придал «неверной», о которой Мюссе плачет в «Октябрьской ночи» или в «Воспоминании», черт Мореля, он не смог бы ни плакать, ни понимать, поскольку только эта узкая и кривая дорога вела его к истинам любви. Только в силу привычки, усвоенной из неискренного языка

предисловий и посвящений, писатель говорит: «мой читатель». В действительности же каждый читает в самом себе. Книга писателя — это лишь некий оптический инструмент, предоставленный им чтецу, чтобы он распознал то, что без этой книги, быть может, никогда бы в себе не увидел. И если читатель признаёт в себе нечто, о чем говорит книга, то это является доказательством истинности последней, и *vice versa*: в какой-то мере несходство двух текстов вина не автора, но читателя. Впрочем, иногда книга слишком учена, слишком темна для простодушного читателя, и за ее мутным стеклом он не может различить букв. Но из-за некоторых других частностей, как то инверсии, читателю может понадобится особая манера чтения; это не должно оскорблять автора, напротив, надо предоставить читателю полную свободу, словно бы говоря ему: «Смотрите сами, с каким стеклом вы видите лучше — с тем, с этим или с третьим».

Если меня всегда так сильно волновали грезы, приходящие к нам во сне, то не потому ли, что, возмещая длительность силой, они помогают лучше разобраться в чем-то субъективном, в любви, например, по той простой причине, что по их воле мы в мгновение ока можем, как в народе говорят, «врезаться» в дурнушку, страстно полюбив ее во сне на несколько минут, на что в реальной жизни ушли бы года привычки и связи, — словно бы сны, изобретенные неким чудодейственным доктором, были внутривенными инъекциями любви, а подчас и страдания? и столь же быстро любовное внушение, привитое ими, рассеивается,

и когда ночная любовница опять предстает нам знакомой дурнушкой, исчезает и нечто более ценное, восхитительная картина грустных, сладострастных чувств, смутных и расплывчатых сожалений, паломничество на Киферу¹⁵¹ страсти, чьи оттенки, драгоценной истинности, нам так хотелось бы сохранить для яви, — но она испаряется, как слишком блеклое полотно, уже не подлежащее восстановлению. Может быть, Сновидение чаровало меня еще и вольной игрой со временем. Разве не приходилось мне видеть за одну ночь, если не за одну ночную минуту, как забытые времена, удаленные на безмерные расстояния, где уже не различишь тогдашних чувств, обрушиваются на нас с молниеносной скоростью, слепя ясностью, словно гигантские самолеты, а не бледные звезды, как казалось раньше, и перед нами восстает то, чем они полнились для нас, волнуя и шокируя отчетливостью непосредственного соседства; а затем, когда мы просыпаемся, как они улетают в свои далекие края, откуда явились по волшебству, чтобы мы сочли их, хотя и напрасно, еще одним способом обрести Потерянное Время?

Я понял: только грубое и ошибочное восприятие приписывает явление объекту, тогда как всё содержится в духе; в действительности я потерял бабушку много месяцев спустя после ее смерти; я узнал, как меняется облик человека сообразно представлению, составленному о нем мной или другими лицами, что в глазах разных людей один человек становится множеством (например, различный Сван в первые годы, принцесса Люксембургская в глазах

первого председателя), даже в глазах одного человека на протяжении нескольких лет (для меня — имя Германтов и многоликий Сван). Я видел, как любовь приписывает человеку то, что присуще только любящему. И еще лучше я понял это, охватив бескрайность расстояния между объективной реальностью и любовью (Рашель для Сен-Лу и меня, Альбертина для меня и Сен-Лу, Морель или кондуктор омнибуса для Шарлю и для других лиц, и, несмотря на то, печали Шарлю: стихи Мюссе и проч.). Наконец, в какой-то мере германофильство барона де Шарлю, взгляд Сен-Лу на фотографию Альбертины помогли мне на мгновение избавиться если не от германофобии, то по крайней мере от веры в ее чистую объективность, внушили мне мысль, что, быть может, в ней есть что-то от ненависти и от любви, что в том жутком приговоре, вынесенном французами того времени Германии — а ей отказывали в человечности — была особенно видна объективация тех же самых чувств, силой которых Рашель и Альбертина, одна для Сен-Лу, вторая для меня, казались нам столь драгоценными. Суждение, что и действительно эта испорченность не была прирожденным качеством всех немцев, выглядит правдоподобным хотя бы потому, что так же, как лично я переживал переменчивые любви, и по их завершении объект терял для меня ценность, я уже видел в моей стране последовательные ненависти, когда «предателями», — в тысячу раз худшими, нежели немцы, которым они предали Францию, — представляли такие дрейфусары,

как Рейнах;¹⁵² сегодня же с ним сотрудничали патриоты в борьбе со страной, чьи граждане, по необходимости, были лживы, хищны, слабоумны (исключая немцев, вставших на сторону Франции: короля Румынии, короля Бельгии, русскую императрицу). Правда, антидрейфусары мне ответили бы: «Это не одно и то же».

Но в действительности это никогда не «одно и то же», и даже не один и тот же человек, — иначе, обманутые сходным феноменом, мы могли бы винить лишь свое субъективное состояние, мы утратили бы веру в то, что отдельному человеку могут быть присущи достоинства и недостатки. Без особого труда на основании этой разницы ум может строить теории (противоестественное, по словам радикалов, обучение у конгрегатов, неспособность еврейского племени к национализации, вечная ненависть немецкого рода к латинскому, вследствие чего желтая порода подлежала немедленной реабилитации). Эту субъективную сторону, впрочем, можно было отметить и в разговорах нейтралов, — например, германофилы мгновенно теряли дар понимания и даже слуха, если им говорили о немецких зверствах в Бельгии. (Однако эти преступления действительно имели место, и несмотря на субъективную сторону, подмеченную мной в ненависти и в самом видении, предмет и правда может обладать реальными достоинствами или недостатками, его реальность не растворяется в чистом релятивизме). И если теперь, когда миновало столько лет, и так много времени было потеряно, я замечал, какое серьезное влияние

оказывает это внутреннее действие¹⁵³ даже на международные отношения, то не догадывался ли я о том уже на заре моей жизни, читая в комбрейском саду один из тех берготовских романов, который даже сегодня, пролистай я несколько забытых страниц и узнай о кознях какого-нибудь негодяя, отложил бы только после того, как убедился, что в конце концов, через сотню страниц, негодяй должным образом унижен и пожил достаточно, чтобы темные его делишки вышли ему боком? я уже забыл, что стало с этими персонажами, — впрочем, этим они теперь во многом были похожи на лиц, приглашенных на утренник г-жи де Германт, ведь их прошедшая жизнь, по крайней мере, большинства из них, потеряла для меня определенность, словно бы я прочел о ней в полузабытом романе. Так женился ли наконец принц д'Агригент на м-ль X? Или это брат м-ль X собирался жениться на сестре принца д'Агригента? Может быть, я что-то спутал с прочитанной тогда книгой, или с недавним сном... Сон был одним из самых удивительных событий моей жизни; именно сны убедили меня в исключительно умственном характере действительности, и я не побрезгую их помощью при создании произведения. Когда я жил не столь отвлеченно, когда я жил ради любви, виденья приносили непосредственно ко мне, вынудив их пробежать значительные расстояния истекшего времени, бабушку, Альбертину, которую я опять полюбил, потому что во сне она изложила мне несколько смягченную версию истории с прачкой. Я подумал, что когда-нибудь сны принесут мне

истины и впечатления, которых не добиться одним усилием, и даже встречами с природой, что они разбудят во мне желание, сожаление о чем-то нереальном — а это первое условие работы, отказа от привычек и отрешения от конкретного. Я не пренебрегал бы этой второй музой, этой музой ночной, которая иногда присоединяла бы свой голос к первой.

Я видел дворян, ставших чернью, когда их ум, как у герцога де Германта, например, был зауряден («Вот уж вас уродило!» — сострил бы Котар). Я был свидетелем — во времена дела Дрейфуса, во время войны, в области медицины — людской веры в то, что истина есть некий определенный факт, что министрам, врачам известно какое-то «да и нет», не нуждающееся в интерпретации, — словно бы это был рентгенографический снимок, который без истолкования указывает болезнь человека, — что «те, кто наверху», *знают*, виновен ли Дрейфус, *знают* (и им не нужно посылать Роке, чтобы тот выяснил это на месте), есть ли у Саррая¹⁵⁴ возможность выступить одновременно с русскими.

Но в целом, когда я думал о материи моего опыта, которая станет материей моей книги, я приходил к выводу, что вся она явилась ко мне от Свана, даже если закрыть глаза на то, что было связано лично с ним и Жильбертой. Именно благодаря ему, еще в Комбре, во мне зародилось желание съездить в Бальбек, иначе родителям никогда не пришло бы в голову меня туда отправить; я не познакомился бы

с Альбертиной и Германтами, поскольку бабушка не встретила бы с г-жой де Вильпаризи, которая познакомила меня с Сен-Лу и г-ном де Шарлю, благодаря чему я узнал герцогиню де Германт и, через нее, ее кузину; так что даже своим присутствием в эту минуту у принца де Германт, где мне только что неожиданно открылась идея моего произведения (поэтому я обязан Свану не только материалом, но и решением), я был обязан Свану. Цветоножка, быть может, несколько тонкая, чтобы нести на себе протяженность всей моей жизни (но «сторона Германтов», в этом смысле, исходит из «стороны к Свану»). Однако чаще авторство сюжетов нашей жизни принадлежит человеку заурядному и во многом уступающим Свану. Разве не было бы для меня достаточно рассказа приятеля о какой-нибудь девушке, милой и доступной (которую, вероятно, я так и не встретил бы), чтобы поехать в Бальбек? Нередко, столкнувшись с неприятным знакомым, мы жмем ему через силу руку, но если когда-нибудь мы вспомним об этом эпизоде, именно из его бессодержательной болтовни, из всех этих «вам бы съездить, что ли, в Бальбек» изошла наша жизнь и наше творение. Мы не испытываем признательности, но это не говорит о нашей неблагодарности. Произнося эти слова, он не помышлял об их грандиозных следствиях для нашей жизни. Ведь именно наша чувственность, наш интеллект воспользовались обстоятельствами, которые затем, поскольку первый импульс был уже дан им, порождали друг друга сами; даже если нельзя было

предвидеть совместную жизнь с Альбертиной и маскарад у Германтов. Конечно, этот импульс был необходим, и именно от него зависит внешняя форма нашей жизни, сама материя нашего произведения. Если бы не Сван, моим родителям никогда не пришло в голову отправить меня в Бальбек. Впрочем, он не несет ответственность за страдания, которые он косвенным образом мне причинил. Причина их была в моей слабости. От собственной слабости, из-за Одетты, он пострадал и сам. Однако, определив подобным образом характер моей жизни, он исключил этим все те жизни, что я прожил бы вместо нее. Если бы Сван не рассказал мне о Бальбеке, я никогда не узнал бы Альбертину, ресторан отеля, Германтов. Но я отправился бы в иные края, я узнал бы других людей, моя память, равно мои книги, наполнилась бы абсолютно новыми картинами, а теперь я даже не могу их представить, — их новизна прельщает меня, и я испытываю сожаление, что так с ней и не соприкоснулся, что Альбертина, пляж Бальбека, Ривбель и Германты не остались мне неведомы навсегда.

Конечно, именно с тем лицом, которое впервые я увидел у моря, я свяжу многое из того, что наверное мне предстоит написать. В определенном смысле, у меня были основания связывать произведение именно с ней, потому что если бы я не вышел на набережную в тот день, не увидел ее, эти идеи не получили бы развития (при условии, что они не развились бы благодаря чему-то иному). Тем не менее, здесь также крылась ошибка: исходное удовольствие,

которое придется ретроспективно приписать прекрасному женскому лицу, лежит в наших чувствах, ведь в действительности мои будущие страницы Альбертина, особенно Альбертина тех лет, не смогла бы понять. Но именно потому (а это, кстати, указывает: не нужно замыкаться в интеллектуальной атмосфере), что она так сильно от меня отличалась, она оплодотворила меня горем и, прежде всего, заставила представить нечто отличное от себя. Если бы она смогла понять эти страницы, то этим только она их не вдохновила бы.

Ревность — хороший вербовщик; когда в нашей картине образуется пустота, она тотчас приведет к нам с улицы красавицу, в которой такая нужда. Девушка потеряла свою красоту, но будет красавицей вновь, потому что мы ревнуем ее, и она заполнит собой пустоту.

Испытаем ли мы радость, если закончим картину в смертельной усталости? Но эта мысль нисколько не остудит нас; мы же знаем, что жизнь несколько запутанней, чем принято считать, и в частности — ее обстоятельства. Нужно только безотлагательно поднять эту сложность. Если нам понадобится ревность, то она вовсе не обязательно родится во взгляде, в рассказе, в ретрофлексии.¹⁵⁵ Можно ее отыскать, всегда готовую нас уколоть, в листках ежегодника — например, в какой-нибудь адресной книге «Весь Париж» или, для сельской местности, «Справочнике поместий». Мы рассеянно слушали, как уже безразличная для нас прелестница говорила, что ей надо бы съездить

на несколько дней к ее сестре, проживающей в Па-Де-Кале, что возле Дюнкерка; столь же рассеянно мы некогда размышляли, что, быть может, красивую девушку обхаживал г-н Е***, с которым она больше не пересекалась с тех пор, потому что никогда не посещала тот бар, где он ее раньше видел. Что такое ее сестра? Горничная, наверное? Мы из вежливости не спрашиваем. Но, случайно раскрыв «Справочник поместий», обнаруживаем, что у г-на Е*** в Па-Де-Кале, что возле Дюнкерка, родовое имение. Конечно, чтобы сделать приятное красавице, он нанял горничной ее сестру, и если девушка больше не видится с ним в баре, то потому, что он заставляет ее приезжать к нему на дом, — он живет в Париже круглый год и не может обойтись без нее даже в то время, когда ему нужно съездить в Па-Де-Кале. Кисти, хмельные любовью и гневом, рисуют, рисуют. И, однако, даже если бы дело обстояло иначе. Может быть, г-н Е*** действительно больше никогда не встречался с красавицей, но услужливо рекомендовал ее сестру брату, круглый год живущему в Па-Де-Кале. Так что она сейчас увидится с сестрой, когда г-на Е*** там нет, потому что они больше не интересуются друг другом. К тому же, сестра ее вовсе не горничная, она не служит в замке, но у них родня в Па-Де-Кале. Исходная скорбь уступит последующим предположениям, которые успокоят любую ревность. Но это уже не важно; последняя, спрятанная в листках «Справочника поместий», пришла в добрый час, и теперь пустота в полотне заполнена. А всё сложилось благодаря красивой девушке, созданной

ревностью, которую мы уже не ревнуем, которую мы больше не любим.

В эту минуту вошел дворецкий — он сказал мне, что первая часть концерта окончена, и я могу оставить библиотеку и войти в гостиные. Я вспомнил, где нахожусь. Но это ни в коей мере не нарушило ход начатого мной рассуждения, потому что общество, возвращение в свет, по-видимому, послужили для меня отправной точкой, которой я не сумел сыскать в одиночестве, на пути к новой жизни. В этом нет ничего удивительного, поскольку впечатление, которое могло воскресить во мне вечного человека, не в большей степени зависит от уединения (как я думал раньше, как это было для меня тогда, наверное, и как тому надлежало быть, если бы я развивался гармонически, а не замер надолго, только теперь тронувшись с места), чем от общества. Только пережив чувство красоты, когда ощущение данной минуты, пусть даже самое незначимое, спонтанно возрождало во мне подобное чувство, простирая первое надо всеми временами, моя душа, в которой отдельные чувства обычно оставляли только пустоту, переполнялась некой общей сущностью; и что мне могло помешать испытывать ощущения подобного рода не только от природы, но также в свете, поскольку они нечаянны и им способствует, вероятно, особое возбуждение — благодаря ему в те дни, когда мы выпадаем из бегущего потока жизни, простейшие предметы снова пробуждают в нас впечатления, скрытые

от нашей нервной системы привычкой. Я намеревался найти объективное объяснение, почему именно эти и только эти ощущения приводят к созданию произведения искусства, и не оставлял мыслей, безостановочно сцеплявшихся мной в библиотеке, потому что чувствовал, что порыв духовной жизни теперь достаточно силен во мне, чтобы с тем же успехом я мог думать в салоне, среди приглашенных, как в одиночестве, в библиотеке; я понял, что даже в большой толпе мне удастся сохранить мое уединение. Грандиозные события не влияют извне на нашу духовную жизнь, и посредственный писатель эпической эпохи останется посредственностью; если свет чем-то опасен, то только предрасположенностью к светским удовольствиям; но как героическая война не возвысит плохого поэта, так и этим радостям не лишит нас таланта.

В любом случае, обладает ли подобный метод создания произведения искусства теоретическим значением или нет, пока я не проверил этого пункта, как намеревался, я не стал бы отрицать, что подлинные эстетические впечатления всегда приходили ко мне вослед за ощущениями подобного рода. Правда, они редко встали в моей жизни, но именно они возвышались над ней — я вспомнил несколько таких вершин и понял, что с моей стороны было глупостью потерять их из вида. Эту потерю я намеревался предотвратить в будущем. И уже сейчас можно было сказать, что если исключительную важность этот признак приобрел лишь для меня, то все-таки меня не могло не ободрить открытие, что он состоял в родстве пусть

и не со столь ярко выраженными, но всё же узнаваемыми и, в сущности, весьма сходными чертами других писателей. Ведь на подобных чувствах — как то, что воссоздал во мне вкус мадленки, — выстроена самая красивая часть «Замогильных записок»: «Вчера вечером я гулял в одиночестве... Меня отвлек от размышлений щебет дрозда, усевшегося на высокой ветке березы. И тотчас его чарующие трели воскресили в моей душе отеческое поместье; я забыл потрясения, только что пережитые мною, и, внезапно перенесенный в прошедшее, вновь увидел края, где частенько заслушивался этим посвистом». И разве нельзя причислить к самым красивым фразам «Записок» и эту: «Тонкий и сладкий аромат гелиотропа разливался над узкой грядкой бобов в цвету; он принесен не дуновением отчизны, но буйным ветром Ньюфаундленда; это не аромат занесенного сюда случайно растения, он не таит в себе сочувственных напоминаний и неги. В этом ничем особо не выделяющемся запахе, легком его зловонии, пахнуло на меня зарею, земледелием, миром; овеяло меланхолией сожалений, разлуки и юности». Другой шедевр французской литературы, «Сильвия» Жерара де Нерваля, как «Замогильные записки» в отношении Комбурга, исполнен ощущений того же рода, что и вкус мадлен, и «щебет дрозда». Наконец, у Бодлера эти напоминания встречаются гораздо чаще и очевидно, что они не столь случайны, а значит, по моему мнению, имеют определяющее значение. Этот поэт, в процессе более ленивого и утонченного поиска, находит в запахе

женщины, например, ее волос и груди, вдохновенные подобия, которые воскрешают ему «лазурь небесну, необъятну и округлу» и «порт, что полн и мачт, и парусов».¹⁵⁶ Я хотел было припомнить другие стихи Бодлера, основанные на подобным образом перемещенных ощущениях, чтобы окончательно приобщиться благородному родству и, посредством сего, увериться, что произведение — а перед его осуществлением я не испытывал уже и тени робости — стоит посвященных ему усилий, когда, спустившись по лестнице из библиотеки, внезапно оказался в большой гостиной и попал в самый разгар празднества: оно показалось мне весьма несхожим с мероприятиями, в которых мне прежде доводилось принимать участие, и его особый облик обрел для меня совершенно неожиданное значение. В глубине души я твердо стоял на своем замысле, насколько он был обдуман, но едва я вошел в гостиную, как, будто в театре, произошла развязка, и мое начинание столкнулось с самым грозным из препятствий. Я бы одолел его, конечно, но куда я размышлял об условиях создания произведения искусства, оно сотню раз выдвинуло против меня довод, которым легче всего было повергнуть меня в нерешительность, и мое рассуждение спотыкалось об него то и дело.

Поначалу я никак не мог понять, что мне мешает узнать хозяина, гостей, почему они все, как мне показалось, «корчат рожи» — они как будто напудрились, но от того изменились до неузнаваемости. Приветствуя гостей, принц напоминал

еще добряка — короля феерии, которого он разыгрывал в первую нашу встречу, однако на сей раз и сам подчинился этикету, предписанному гостям, нацепил белую бороду и, волоча свинцовые подошвы на отяжелевших ступнях, являл собой аллегория одного из «возрастов жизни». Его усы были также белы, как будто на них осел иней леса, в котором живет Мальчик с пальчик. Они, похуже, стесняли его негибкий рот; поскольку эффект был произведен, уместнее было их снять. По правде говоря, я не узнал бы его, не приди мне на помощь рассудок и не наведи меня на истинный след некоторое сходство черт, напомнивших принца. Сложно сказать, что Фезансак-младший сотворил со своим лицом, но пока другие белили, иные полбороды, иные только усы, не обременяя себя этими изысками, он взъерошил брови и процарапал в челе морщины; они, впрочем, вовсе не шли ему; лицо его отвердело, забронзовело, в нем проявилось что-то статуарное; теперь этого старичка никто бы не назвал молодым. Куда больше я был удивлен, когда в ту же минуту герцогом де Шательро назвали старика с седыми посольскими усами, — только взгляды он бросал, как юноша, с которым я познакомился на приеме у г-жи де Вильпаризи. Когда я преуспел в опознании первой особы, — закрывая глаза на этот маскарад, восполняя нетронутые природные черты усилиями памяти, — первой моей мыслью (хотя и не второй) было поздравить ее с превосходным гримом, потому что, прежде чем я ее узнал, меня терзала та нерешительность, что вызывают у публики большие

актеры, выйдя на сцену в новой роли: когда зрители, даже осведомленные программой, на секунду замирают в остолебнении, и только затем разражаются аплодисментами.

С этой точки зрения самым удивительным зрелищем был мой старый враг, д'Аржанкур — подлинный «гвоздь» этого утренника. Он не только нацепил на себя, вместо бороды с легкой проседью, неопишное мочало невообразимой белизны, но также (такое количество мелких вещественных изменений способны умалить или возвеличить облик человека, и более того, изменить его видимый характер и личность) этот мужчина, чья торжественная и накрахмаленная непреклонность еще жила в моей памяти, вошел роль старого побирушки, и, не рассчитывая уже ни на какое уважение к себе, придал своему персонажу вид дряхлого маразматика, причем с такой натуральностью, что члены его дрожали, а некогда спокойные высокомерные черты лица лыбились в непрерывном глуповатом блаженстве. На этой стадии маскарадное искусство становится чем-то бóльшим, приводя к безоговорочной трансформации личности. И действительно, с чего это я решил, доверившись каким-то мелочам, что этот уморительный и живописный спектакль разыгрывал именно д'Аржанкур; сколько последовательных состояний данного лица надо было минуть, чтобы увидеть известного мне д'Аржанкура, так мало теперь схожего с самим собой, хотя он по-прежнему располагал лишь собственным телом! Очевидно, то было последней ступенью, на которой он еще

мог сохранять свое напыщенное лицо — но его когда-то выпученная грудь была уже только тряпкой в бумажном вареве, болтавшейся туда-сюда. С трудом припомнив, как прежде улыбался д'Аржанкур, иногда умерявший свою надменность, я бы еще смог признать бывшего д'Аржанкура, с которым я так часто встречался, в теперешнем; но тогда следовало помыслить, что в прежнем приличном джентльмене жил зародыш улыбки старого расслабленного тряпичника. Но даже если принять на веру, что его улыбка выражала тот же смысл, лицо его и самое вещество глаз, в которых она лучилась, изменились до неузнаваемости, и по-иному теперь выглядело и выражение этого лица, и тот, кому оно принадлежало. Я рассмеялся, глядя на этого величественного маразматика; он так же сильно расплылся в своей добровольной карикатуре на самого себя, как, на свой трагический лад, поверженный и любезный г-н де Шарлю. Г-н д'Аржанкур в своей роли умирающего-буфф из Реньяра, утрированного Лабишем, был столь же доступен, столь же приветлив, как г-н де Шарлю — в роли короля Лира, прилежно обнажавший голову перед самыми жалкими людьми. Однако я удержался и не выразил своего восхищения этим необычайным зрелищем. Мне помешала не старая антипатия, ибо теперь он казался совершенно другим человеком — столь же доброжелательным, обезоруженным, безвредным, сколь прежний д'Аржанкур был высокомерен, опасен, гневлив. Настолько другим человеком, что когда я увидел этого персонажа, бесподобно гримасничающего, комического, белого, этого снеговика

в роли генерала Дуракина,¹⁵⁷ впавшего в детство, мне показалось, что человек может претерпеть такие же основательные метаморфозы, как некоторые виды насекомых. Мне казалось, будто на поучительном стенде естественно-научного музея мне показывают процесс развития какого-то жука из тех, что чрезвычайно быстро осваивают новые черты, и я не смог воскресить в себе чувств, которые вызывал у меня д'Аржанкур, перед этой дряблой хризалидой — скорее вибрирующей, чем движущейся. Но я утаил восхищение, я не поздравил г-на д'Аржанкура с его ролью в этом спектакле — казалось, раздвигавшем пределы, определенные трансформациям человеческого тела.

За кулисами театра или на костюмированном балу мы скорее из вежливости сгущаем краски — как сложно, как прямо-таки невозможно узнать переодетого. Напротив, здесь я инстинктивно скрывал это затруднение поелику можно; я понимал, что ничего в этом лестного нет, что эта трансформация носит ненамеренный характер; а затем подумал, хотя в дверях гостиной таких мыслей у меня еще не было, что любой, даже самый простой прием, на котором соберутся хотя бы два-три старых приятеля, если долго не выходить в свет, произведет впечатление наиболее удачного маскарада; мы неподдельно «заинтригованы» другими, но личины, против желания намалеванные годами, не будут смыты с чела, когда кончится праздник. Заинтригованы другими? Увы, не меньше они заинтригованы нами. Потому что эта задача — подыскать

соответствующее имя к лицу, похоже, вставала перед всеми, кто видел мое; они обращали на него не больше внимания, чем если бы оно им не было знакомо, либо старались извлечь из моего теперешнего облика какое-нибудь древнее воспоминание.

Выкинув свой неподражаемый «номер» — безусловно, для моих глаз в этом бурлеске наиболее захватывающий, — г-н д'Аржанкур был подобен актеру, вышедшему на сцену в последний раз, когда, посреди раскатов хохота, падает занавес. Я больше не сердился на него, потому что, обретя младенческую невинность, он едва ли мог помнить о своем презрении ко мне, о том, как г-н де Шарлю внезапно отдернул руку,¹⁵⁸ — либо от этих чувств ничего не осталось, либо, чтобы проявиться, они должны были пройти через какие-то материальные призмы, сильно искажающие их, и лишавшие их по пути всякого смысла: г-н д'Аржанкур стал добряком, у него больше не было физических сил выражать, как раньше, свою злость, подавлять извечную вызывающую веселость. Все-таки, я преувеличил, назвав его актером: в нем уже не было ничего осознанного, он походил на дерганую куклу с наклеенной белой бородой, и я видел, как он, болтаясь и таскаясь по салону, словно по вертепу, разом философическому и научному, словно бы в похоронной речи или университетской лекции, служит напоминанием о тщете всего сущего и экземпляром естественной истории.

Куклы; но чтобы отождествить их с людьми, которых мы знали, следовало прочесть их сразу в нескольких плоскостях, покоящихся за ними и придающих им зримую глубину; когда перед глазами были эти старики-марионетки, следовало поработать умом: требовался взгляд и глаз, и памяти — на кукол, купающихся в невещественных цветах лет, манифестирующих Время, незримое нам обычно, но чтобы проявиться, изыскивающее тела, и везде, где оно находит их, овладевающее ими и освещающее их своим волшебным фонарем. Нематериальный, как Голо на дверной ручке моей комбрейской комнаты, обновленный и неузнаваемый д'Аржанкур стал откровением времени, отчасти делая его доступным для зрения. В новых элементах, составивших облик г-на д'Аржанкура и его персонажа, читалось число лет, проступал символический облик жизни, явленной нам не в постоянном виде, как обычно, а в настоящем — атмосферой настоль изменчивой, что спесивый вельможа на закате предстал карикатурой на самого себя: тряпичником.

Впрочем, что касается других людей, то эти перемены, эти подлинные потери уже выходили за рамки естественной истории; нельзя было не удивиться, услышав чье-либо имя, что одно и то же существо может представлять не только характеристики нового вида, как г-н д'Аржанкур, но также внешний признак иной породы. Много неожиданных возможностей, как в г-не д'Аржанкуре, проявляло время в какой-нибудь девушке, и эти последствия, будь они всецело физиогномическими или телесными,

не исключали, похоже, чего-то духовного. Когда меняются черты лица, когда они собираются вместе иначе, медленно отклоняясь от привычного для нас склада, совокупно с новым обликом они обретают новое значение. И подчас распухшие до неузнаваемости щеки той или иной женщины, о которой было известно одно: она ограничена и черства, непредсказуемое выгибание носа, вызывают у нас такое же приятное изумление, как прочувствованное и глубокое слово, смелый и благородный поступок, — от кого-кого, а от нее мы их вовсе не ждали. Вокруг этого носа, носа нового, открывались горизонты, на которые мы не осмеливались надеяться. Доброту и нежность, некогда немислимые, можно было вообразить с этими щеками. Перед этим подбородком можно было говорить такое, что никогда не пришло бы в голову высказать у предыдущего. Новые линии лица были воплощением иных черт характера: сухая и тощая девица превратилась в огромную снисходительную матрону. Так что не только с зоологической, как в случае г-на д'Аржанкура, но также с социальной и моральной точек зрения можно было говорить, что перед нами — совершенно другая личность.

С этой точки зрения утренняя принцесса де Германт обладал намного большей ценностью, нежели отдельный образ прошедшего; он представлял моему зрению словно бы последовательные образы, в том числе никогда не виданные мной, отделявшие прошедшее от настоящего, и более того — связь между прошлым и настоящим; он чем-то напоминал оптические картинки,¹⁵⁹ как это называлось

раньше, но только оптические картинки лет, а не одного момента или лица, затерянного в искаженной временной перспективе.

Что касается бывшей любовницы д'Аржанкура, то изменилась она не сильно — *если вспомнить, сколько времени прошло*; иными словами, ее лицо не было скрыто до оснований — если говорить о лице человека, по крайней мере, терпящего урон на протяжении всего своего пути в пропасти, в которую он заброшен, направление которой можно выразить лишь в равной степени тщетными уподоблениями, ибо мы заимствуем их в пространственном мире; и когда мы справляемся по ним о высоте, длине, глубине, они, самое большее, дают понять, что эта непостижимая, но осязаемая величина существует. Необходимость угадывать имена, определять их реальное место и на деле восходить вверх по течению времени неминуемо приводила меня к восстановлению тех лет, о которых я уже и думать забыл. С этой точки зрения, и чтобы я не ошибался из-за мнимого пространственного тождества, абсолютно новый облик какого-нибудь человека, к примеру — г-на д'Аржанкура, становился для меня ошеломительным знаменем реальности дат, абстрактной для нас обычно, подобно тому, как карликовые деревья и гигантские баобабы свидетельствуют о пересечении меридиана.

И вот жизнь является нам феерией, в которой на наших глазах, по ходу действия, малютка становится юношей, затем

зрелым мужем, а после клонится в могилу. И поскольку непрерывное изменение делает из людей, взятых через довольно долгие отрезки, нечто иное, мы понимаем, что и сами следуем этому закону, подобно до неузнаваемости преобразившимся созданиям, которые более ничем не напоминают, хотя они ими так и остались — и как раз потому, что они не прекращали ими быть, — тех, кого мы некогда знали.

Когда-то я дружил с девушкой, теперь — побелевшая, втиснутая во вредную старушонку — она словно бы служила свидетельством о необходимости переоблачения в финальном дивертисменте, чтобы никто не узнал актеров. Но поражал ее брат, всё столь же прямой, столь же похожий на себя самого, — и с чего это побелели его усы, торчащие из юного лица? Куски белых бород, доселе абсолютно черны, придавали человеческому пейзажу этого утренника нечто меланхолическое, как первые желтые листья на деревьях, — мы-то думали, что лето еще долго будет стоять на дворе, и не успели насладиться им вдоволь, как вдруг внезапно наступила осень. С детства я жил без забот о грядущем, уже тогда составив о себе, да и о других, определенное представление, — и тут впервые заметил, глядя на метаморфозы во всех этих людях, сколько прошло для них времени; я был потрясен откровением, что столько же прошло для меня. Безразличная сама по себе, их старость приводила меня в отчаяние, ибо предвещала наступление моей. Ее приближение, к тому же, было возведено мне словами, которые, удар за ударом, с интервалом в несколько

минут, повергли меня в ужас, будто судные трубы. Первые произнесла герцогиня де Германт; я только подошел к ней, миновав двойную цепь любопытствующих, — они не улавливали воздействовавших на них ухищрений эстетического порядка и, взволнованные этой рыжей головой, ярко-розовым туловищем, едва испускающим свои черные, кружевные, сдавленные драгоценностями плавники, высматривали в его извилистости наследственные черты, будто то была старая священная рыба, инкрустированная камнями, в которой воплотился Гений — покровитель семьи Германтов. «Как я рада встрече с вами, вы теперь мой самый старый друг», — сказала она. В пору моего комбрейского юношеского самолюбия я не верил, что когда-нибудь войду в число ее друзей, буду принимать участие в реальной волшебной жизни Германтов наравне с ее приятелями, г-ном де Бреоте, г-ном де Форестелем, Сваном и прочими, которых уже не было, и эти слова могли бы быть для меня лестными, но я был скорее опечален. «Самый старый друг! — подумал я, — она преувеличивает; быть может, один из самых старых друзей; но я, стало быть...» Тут же ко мне подошел племянник принца: «Для вас, как старого парижанина...» — сказал он. Затем мне передали записку. Дело в том, что при входе во дворец я встретил младшего Летурвиля; я уже забыл, что он кем-то приходится герцогине, но он-то меня помнил. Он только что окончил Сен-Сир,¹⁶⁰ и я подумал, что он станет для меня, возможно, славным товарищем вроде Сен-Лу, введет в курс армейских дел, произошедших там

перемен; я сказал ему, что разыщу его вскоре, и что мы могли бы вместе поужинать; он с благодарностью принял приглашение. Но я замечтался в библиотеке, и он оставил мне записку, чтобы известить, что больше ждать меня не может и сообщить свой адрес. Записка от этого гипотетического товарища кончалась так: «С уважением, ваш юный друг, Летурвиль». — Юный друг! Ведь именно так я когда-то писал людям, лет на тридцать старше меня — Леграндену, к слову. Что?! Этот младший лейтенант, которого я вообразил уже своим товарищем вроде Сен-Лу, назвался моим юным другом... Видно, с того времени изменились не только военные методы, и для г-на де Летурвиля я был уже не «товарищем», но пожилым месье, и от г-на де Летурвиля, в обществе которого я себя уже представлял, меня словно бы отодвинула стрелка незримого компаса, и так далеко, что для него, назвавшегося моим «юным другом», я стал уже пожилым господином.

Сразу же разговор зашел о Блоке, — я спросил, о сыне или отце речь (о том, что последний скончался во время войны, я не слышал; говорили, что в могилу он сошел от переживаний за Францию, в которую вторглись враги). «Я даже не знал, что у него есть дети, и даже не знал, что он женат, — ответил мне принц. — Но мы, очевидно, говорим об отце, потому что молодым человеком назвать его сложно, — добавил он со смехом. — Если у него есть дети, то они уже вполне взрослые люди». И я понял, что говорят о моем товарище. Впрочем, он тотчас явился. И правда,

я увидел, как на облик Блока наслои­лась расслаб­ленная говорли­вая ми­на, что голова его слег­ка трясется, что иногда ее заклини­вает, — я признал бы в нем ученую усталость добродуш­ных стариков, если бы, с другой стороны, не узнал моего друга, если бы воспо­минания не оживили бес­прерывного юношеского задора, теперь в нем, по­хоже, уже остывшего. Мы дружили с раннего детства, мы встречались регулярно, и для меня он так и остался товарищем и подростком, юность которого, не думая, сколько прошло времени, я бессознательно со­размерял с той, что приписывал самому себе. Я услышал, как кто-то сказал, что для своего возраста он выглядит неплохо, и удивился, заметив на его лице черты, как правило присущие пожилым людям. Это потому, понял я, что он действительно уже немолод, что именно тех подростков, которые прожили много лет, жизнь и делает стариками.

Некто, услышав толки о моей болезни, спросил, не боюсь ли я подхватить испанку, свирепствовавшую в те дни, а другой бла­гожелатель утешил меня: «Нет, это в основном опасно для молодежи. Людям вашего возраста это пустяк». Слуги меня узнали сразу. Они перешептывали мое имя, и даже, как рассказала одна дама, «на своем языке» определили: «Это папаня...» (выражение предшествовало моему имени). Так как детей у меня не было, фраза могла относиться только к моему возрасту.

«Знала ли я маршала? — переспросила герцогиня. — Но я была знакома с намного более представительными особами:

герцогиней де Галлиера, Полиной де Перигор, его преосвященством Дюпанлу».¹⁶¹ Слушая герцогиню, я простодушно досадовал, что не свел знакомства с теми, кого она называла «осколками старого режима». Мне стоило бы вспомнить, однако, что мы называем «старым режимом» времена, уже ускользающие из нашего поля зрения, когда то, что еще видится на линии горизонта, обретает сказочное величие и, в нашем понимании, замыкает рамки мира, который мы не увидим вновь. Но все-таки мы продвигаемся, и уже мы сами на горизонте — для поколений позади нас; горизонт отступает, и мир, который подошел к концу, начинается вновь. «Мне в молодости даже довелось увидеть, — добавила г-жа де Германт, — герцогиню де Дино. Боже мой, да вы же знаете, что мне не двадцать пять». Эти слова меня раздосадовали: «Она не должна так говорить, так говорят старухи». И тотчас я подумал, что она и правда стара. «А вот вы всё такой же, — продолжала она, — вы прямо-таки не изменились», — мне было бы не так больно, заговори она о переменах, потому что нечто необычное в малом их числе свидетельствовало о том, как много времени утекло. «Да, мой друг, — продолжала герцогиня, — не удивляйтесь, но у вас вечная молодость», — сказано это было меланхолически, потому что эта фраза имела смысл только в том случае, если мы действительно, хотя и не внешне, постарели. И она нанесла последний удар: «Я всегда жалела, что вы не женились. Но кто знает, может быть это к лучшему. Ваши сыновья ко времени войны были бы уже

взрослыми, а если бы их убили, как бедного Робера (я еще частенько его вспоминаю), то, с вашей-то чувствительностью, вы бы уже и сами были в могиле». Вот я увидел себя в первом правдивом зеркале — в глазах стариков, считавших себя, как и я, молодыми; но стоило мне, когда мне хотелось услышать уверения в обратном, посоветовать на возраст, и в их взглядах я не встречал и тени несогласия, поскольку они видели меня таким, какими не видели себя, таким, какими я видел их. Мы ничего не знаем ни о собственном облике, ни о собственном возрасте, но каждый, как в зеркале, увидит их в ближнем. И, наверное, мысль о старости многих печалила меньше, чем меня. Это, впрочем, верно и в отношении смерти. Иные встретят их с безразличием — не потому, что они смелее, но потому что им не хватает воображения. К тому же, человек, с детства стремившийся к своей единственной цели, достижение которой его лень и болезни вынуждали его постоянно откладывать на потом, каждый вечер аннулирует день истекший и потерянный, так что недуги, торопящие старение тела, замедляют старение духа, и когда он замечает, что по-прежнему живет во Времени, он изумлен и раздосадован горше, чем тот, кто не часто обращался к своей душе, кто справлялся по календарю, кому не довелось внезапно для себя открыть конечный счет лет, копившихся день ото дня. Но моя тоска объяснялась более серьезными причинами: мне открылось разрушительное действие времени в тот момент, когда

я взялся за прояснение и осмысление вневременной реальности в произведении искусства.

У одних последовательная замена одних клеток другими, совершенная в мое отсутствие, привела к такому полному изменению, к такой целокупной метаморфозе, что я мог бы сто раз ужинать с ними в ресторане лицом к лицу, не в большей мере подозревая, что когда-то мы были знакомы, чем обладая возможностью угадать королевскую власть суверена инкогнито или порок неизвестного. Сопоставление становилось невозможным в том случае, когда мне называли их имя, потому что возможно допустить, что напротив вас сидит преступник или король, тогда как тех-то я знал; вернее, я знал лиц, носящих это имя, — но между ними не было никакого сходства, и я не мог поверить, что это были одни и те же люди. Но если мы составим представление о монаршем достоинстве или пороке, оно незамедлительно придаст новое значение лицу неизвестного, — а ведь с ним так легко, еще с повязкой на глазах, мы могли бы допустить непростительную дерзость или любезность, — причем тем же чертам, где мы различим теперь нечто выдающееся или подозрительное; я изо всех сил вбивал в лицо неизвестной, абсолютно неизвестной особы мысль о том, что она — г-жа Сазра, и в конечном счете восстанавливал давний и известный мне смысл этого лица, но оно теперь так и осталось бы для меня совершенно чуждым, лицом совершенно незнакомой особы, потерявшей все известные мне человеческие атрибуты, подобно человеку, снова ставшему обезьяной, если бы имя

и тождественность не наставляли меня, хотя задача была трудна, на дорогу к истине. Иногда, правда, старый образ возрождался довольно ясно, и я мог устроить им очную ставку; но как свидетель перед лицом обвиняемого, по причине существенной разницы, я нехотя сознавался: «Нет... я не узнаю ее».

Жильберта де Сен-Лу сказала мне: «Если хотите, поужинаем вдвоем в ресторане». Я ответил: «Если вас не скомпрометирует ужин с молодым человеком», — и, услышав хохот вокруг, поспешил добавить: «Или, я хотел сказать, с пожилым». Я почувствовал, что эта фраза могла бы, говоря обо мне, сказать мама — моя мать, для которой я всегда оставался ребенком. И я догадался, что в суждениях о себе я становлюсь на ее точку зрения. Если я, в конечном счете, констатировал, как она, определенные перемены, произошедшие со мной с раннего детства, то теперь это были изменения уже очень давние. Пока что я дошел лишь до того возраста, когда говорят, едва ли не забегая вперед событию: «Теперь он уже почти взрослый молодой человек». Я всё еще так думал, но на этот раз с громадным опозданием. Я не заметил, как я изменился. Но эти люди, которые только что хохотали, по какому признаку они заметили это? я не был сед, мои усы были черны. Мне хотелось спросить у них, отчего эта жуткая вещь становится очевидной.

И теперь я понял, что значит старость, — старость, о которой из всех реальностей жизни, быть может, мы дольше всего

сохраняем абстрактное представление, глядя на календари, датируя письма, отмечая свадьбы друзей, детей друзей, — не понимая, либо от страха, либо от лени, что она значит, пока не встретим незнакомую фигуру, например — г-на д'Аржанкура, и та не возвестит нам, что теперь мы живем в новом мире; пока юноша, внук одного из наших приятелей, когда мы непроизвольно обратимся к нему по товарищески, не улыбнется, словно бы мы решили над ним подшутить — мы ведь сошли бы ему за деда; и я понял, что значит смерть, любовь, радости духа, польза скорби, призвание и т. д. Если имена потеряли для меня неповторимость, то слова раскрыли для меня свой смысл. Красота образов помещена за вещами, красота идей — перед ними. Первая не восхитит, когда мы их достигнем, но мы пойдем вторую, только их миновав.

Но эти последние жестокие открытия в немалой степени будут содействовать мне в разработке вещества моей книги. Поскольку я пришел к выводу, что у меня не получится создать ее исключительно из цельных впечатлений, живущих вне времени среди истин, с которыми, как я считал, они скреплены, то впечатления, времени принадлежащие, — времени, что омывает и изменяет людей, общества, нации, — займут в моем произведении не последнее место. И я исследовал бы не только искажение человеческого облика, чьи новые свидетельства я наблюдал ежеминутно, — потому что, всё еще размышляя о своем произведении, уже набравшем достаточную силу, чтобы я не отвлекался преходящими затруднениями, я здоровался

и болтал со знакомыми. Старение, впрочем, одинаково на всех не сказалось.

Я услышал, как кто-то спросил мое имя, мне сказали, что это г-н де Камбремер. Чтобы показать, что он меня вспомнил, он спросил: «Ну что, вас всё еще мучают удушья?» — и на мой утвердительный ответ продолжил: «Ну, видите, это отнюдь не исключает долголетия» — словно столетие я уже справил. Я говорил с ним, приковав глаза к двум или трем чертам, которые я еще мог заставить своей мыслью вернуться к обобщению, тогда как остаток был совершенно несхож, называемому мной его персоной. На секунду он повернул голову. Я понял, что узнать его было невозможно по той причине, что на его щеки налипли огромные красные мешки, мешавшие ему нормально раскрывать рот и глаза; я одурел, не осмеливаясь смотреть на эту разновидность карбункула, о котором, казалось мне, было бы приличнее ему заговорить первым. Но, как мужественный больной, эту тему он со смехом обходил, а я боялся выказать бессердечие, не расспрашивая, а также невежливость, если бы я спросил, что же это с ним приключилось. «Но разве с годами это не случается с вами реже?» — продолжал он расспрашивать. Я ответил ему, что нет. «Вот оно что! а моя сестра теперь задыхается намного реже, чем раньше», — возразил он, будто мое заболевание не могло отличаться от заболевания его сестры, будто возраст был самым действенным лекарством, и невозможно было представить, что, исцелив болезнь г-жи де Гокур, он не принес мне излечения. Подошла г-жа де Камбремер-Легранден. Я еще сильнее

испугался проявить бесчувственность, не выразив ей своего сожаления в связи с тем, что я углядел на лице ее мужа, — но, тем не менее, я не осмеливался заговорить об этом первом. «Ну, вы рады были с ним повидаться?» — спросила она. — «Да. А... как он сейчас?» — бросил я довольно неопределенно. — «Слава Богу, не так уж плохо, как вы видели». Она не заметила этой болезни, меня ослепившей, ибо заболевание было одной из масок Времени, наложенной им на лицо маркиза, вылепленной потихоньку, утолщенной столь постепенно, что маркиза ничего не разглядела. Как только г-н Камбремер закончил расспросы о моих удушьях, я тихо у кого-то осведомился, жива ли еще его мать. В действительности, в подсчетах истекшего времени сложен только первый шаг. Поначалу сложно представить, сколько воды утекло, затем — что не утекло еще больше. Мы знаем, что XIII век далек, затем с трудом верим, что еще остались какие-то церкви XIII века, — последние, однако, во Франции многочисленны. За несколько секунд я совершил эту серьезную работу — с трудом вспомнив, что человеку, с которым мы познакомились в молодости, было лет шестьдесят, мы с еще большим трудом понимаем, ведь прошло пятнадцать лет, что он еще жив, что ему всего лишь семьдесят пять. Я спросил г-на де Камбремер, как поживает его мать. «Она как всегда прекрасно», — эти слова, в противоположность племенам, где безжалостно обходятся с престарелыми родителями, употребляют в некоторых семьях применительно к старикам, чьи сугубо физические

способности, как то слух, способность пешком отправиться на мессу, умение стойко переносить трауры, впечатлевают в глазах их детей неповторимую духовную красоту.

Иные лица сохранились в целостности, — казалось только, что этим людям неловко, если надо пройти; поначалу мы думаем, что у них болят ноги, а потом понимаем, что старость придавила их ноги свинцом. Других, например, принца д'Агригента, старость украсила. Этому высокому тощему человеку с тусклым взором, волосами, которые, казалось, навсегда должны были остаться рыжеватыми, наследовал — путем метаморфозы, аналогичной тем, что претерпевают насекомые, — некий старик: ярко-рыжие волосы (мы видели их слишком долго), как слишком много времени служивший ковер, сменились белыми. Его грудь приобрела неведомую, неколебимую, почти воинственную дородность, — она, должно быть, и привела к подлинному перерождению известной мне хрупкой хризалиды; его значительность, глубоко им осознанная, наводила поволоку на глаза, в которых светилась новая доброжелательность, на сей раз обращенная ко всем. И поскольку, вопреки всему, между сегодняшним величественным принцем и портретом, оставшимся в моей памяти, сохранилось определенное сходство, я восхитился неповторимой обновляющей силой времени, которое, щадя единство человека и законов жизни, умело изменяет декор, вводит смелые контрасты в следующие друг за другом образы одного персонажа; ибо многих из этих людей можно было отождествить сразу, но лишь в качестве довольно слабых

портретов, собранных на выставке неточного и недоброжелательного художника, ожесточившего черты одного, стершего свежесть лица, легкость стана второй, омрачившего ее взгляд. При сравнении этих образов с теми, что хранились в моей памяти, показанные в последнюю очередь нравились мне меньше. Так приятель предлагает нам на выбор свои фотографии, и одна из них кажется нам не совсем удачной: мы от нее отказываемся; каждому человеку, приближавшему ко мне свое лицо, мне хотелось сказать: «Нет, это не то, это не вышло, это не вы». Я не осмелился бы добавить: «Вместо вашего прекрасного прямого носа у вас тут что-то крючковатое, как у вашего отца, — а у вас на лице я ничего подобного не видел». И правда, этот нос был и нов, и наследственен. Одним словом, художник — Время — «кроил» свои модели так, чтобы они были узнаваемы. Но они не были похожи на самих себя; не потому, что Время льстило им, но потому, что оно их старило. Впрочем, этот художник работает очень медленно. Так копию лица Одетты, едва набросанный эскиз которой — в тот день, когда я впервые увидел Бергота, — я разглядел в Жильберте, время довело до совершенного сходства — в этом оно уподобилось художникам, скрывающим свои полотна, работающим над их завершением из года в год.

Если женщины, подкрашиваясь, признавали свою старость, то на лице мужчин, которых я определенно в том не подозревал, старость напротив проявилась отсутствием румян; и все-таки, думалось мне, они сильно изменились

с тех пор, как оставили свои попытки нравиться и прекратили использование притирок. Среди них был Легранден. Упразднение розоватости губ и щек, об искусственном характере которой я никогда не догадывался, нанесло на его лицо сероватый налет, скульптурную резкость камня, высекло его продолговатые и скорбные черты, как у некоторых египетских богов. Богов? скорее привидений. Он теперь упал духом не только румяниться, но также улыбаться, блестеть глазами, вести замысловатые речи. Удивительно было, отчего он так бледен и подавлен, редко говорит, а речи его невыразительны, будто слова вызванных спиритом умерших. Возникал вопрос, что мешает ему быть оживленным, красноречивым, обаятельным — так вопрошаешь себя перед безликим «двойником» человека, который при жизни славился остроумием, когда на вопрос спирита вот-вот, думаешь, должны посыпаться восхитительные ответы. Затем приходило понимание, что причина, по которой красочный и быстрый Легранден сменился бледным и печальным фантомом Леграндена — это старость.

Многих я, в конечном счете, признал лично, как будто они остались прежними — Ской, например, изменился не больше, чем засохший цветок или высушенный фрукт. Он был бесформенным наброском и подтверждал мои теории об искусстве. (Он взял меня за руку: «Я слушал эту симфонию восемь раз...» и т. д.) Прочие же были не любителями, но светскими людьми. Однако старость

тоже не способствовала их вызреванию — даже осененное первым кругом морщин, шапкой седых волос, их младенческое лицо, не претерпевшее изменений, еще лучилось восемнадцатилетней игривостью. Не старики, это были восемнадцатилетние юноши, увядшие необычайно. Пустяка бы хватило, чтобы изгладить стигматы жизни, и смерти не составит труда вернуть лицу его юность; так немного почистишь ветошью — и портрет, на котором лишь легкий налет пыли, заблестает былыми красками. И я понял, как же мы заблуждались, слушая прославленного старца и заранее вверяясь его доброте, справедливости, мягкости его души, ибо сорока годами прежде все они были жуткими юношами, и с чего им было терять свою суетность, двуличие, спесь и коварство.

Резко контрастировали с ними мужчины и женщины, ранее невыносимые, но постепенно утратившие недостатки, — или жизнь, исполнив или разбив их мечты, лишила их самомнения и горечи. Выгодный брак, после которого уже не нужно хвастаться и задираться, самое влияние жены, постепенная оценка достоинств, неведомых легкомысленному юношеству, позволили им умерить норы и выпестовать положительные качества. Эти-то, старея, представляли совершенно другими личностями, подобно тем деревьям, что меняют осенью цвета и будто приобщаются другим видам. У них старческие свойства проявлялись в полную меру, но как нечто психическое. У других изменения были физического порядка, и это было так непривычно, что та или иная особа (г-жа д'Арпажон,

к примеру) казалась мне и знакомой, и незнакомой. Незнакомой, потому что невозможно было заподозрить, что это она, и против воли я не смог, отвечая на ее приветствие, скрыть умственные потуги, нерешительный выбор из трех или четырех вариантов (среди которых г-жи д'Арпажон не было), стремление понять, кому же это я с теплотой ответил — очень ее, должно быть, удивившей, ибо, опасаясь выказать излишнюю холодность, если то был близкий друг, я компенсировал неискренность взгляда теплотой рукопожатия и улыбки. Но с другой стороны, новое ее обличье было мне знакомо. Этот облик я и раньше нередко видел в крупных пожилых женщинах, не допуская в те годы, что они чем-то могут быть схожи с г-жой д'Арпажон. Это обличье так отличалось от присущего, как мне помнилось, маркизе, словно она была обречена, как персонаж феерии, явиться сначала юной девушкой, затем плотной матроной, которая станет вскоре, наверное, сгорбленной и трясущейся старушонкой. Словно неуклюжая пловчиха, она видела берег где-то далеко-далеко, с трудом расталкивая захлестывающие ее волны времени. Мало-помалу, тем не менее, разглядывая ее неустойчивое лицо, неопределенное, как неверная память, которая уже не хранит былых очертаний, я все-таки что-то в нем обнаружил, предавшись занимательной игре в вычет квадратов и шестиугольников, добавленных возрастом к ее щекам. Впрочем, к женским лицам примешивались не только геометрические фигурки. В щеках герцогини де Германт, неизменных, но разнородных, как нуга,

я различал след ярь-медянки, маленький розовый кусок разбитой ракушки, опухоль, трудную для определения, не столь крупную, как шарик омелы, но более тусклую, чем стеклянный жемчуг.

Мужчины нередко хромали: чувствовалось, что причиной тому был не дорожный инцидент, но первый удар, ибо они уже, что называется, одной ногой стояли в могиле. Приоткрыв свою, уже слегка парализованные, женщины силились вырвать платье из цеплявшихся камней склепа, выпрямиться — опустив голову, они выгибались в кривую, занятую ими ныне между жизнью и смертью, перед последним падением. Ничто не могло противиться движению одолевающей их параболы, и они трепетали, если хотелось подняться, а пальцам не хватало сил, чтобы что-то держать.

А у других даже волосы не седали. И я сразу признал старого лакея, который шел что-то сказать своему хозяину, принцу де Германту. Суровые щетинки торчали из щек и черепа — всё такие же рыжеватые, отливающие золотом, и сложно было заподозрить его в том, что он пудрится, как герцогиня де Германт. Но годов ему то не убавило. Только чувствовалось, что среди мужчин — как в растительном царстве мох, лишайник и многое другое, — есть породы, не меняющиеся с наступлением зимы.

Эти перемены, по правде говоря, обычно были атавистическими, и семья, а подчас даже — особенно у евреев — национальность исправляли то, что время не успело, уходя,

завершить. Впрочем, разве можно поверить, что эти свойства умирают? я всегда считал человеческую особь колонией полипов: глаз, как организм ассоциированный, но независимый, сощурится, если полетит пылинка, хотя сознание не подаст команды, и скрытый паразит — кишечник — инфицируется, вопреки полной неосведомленности разума; подобным образом, на протяжении нашей жизни, дело обстоит с душой, чредой «я», сопоставимых, но отличных, умирающих одно после другого, — или же чередующихся между собой, как те, которые в Комбре сменялись во мне с наступлением вечера. Но также я замечал, что составляющие человека моральные клетки более долговечны, нежели он сам. Я видел пороки и доблести Германтов, проявившиеся в Сен-Лу, его собственные странные, редкие недостатки, семитизм Свана. Я еще столкнулся с этим качеством в Блоке. Несколько лет назад он потерял отца, и когда я ему выразил соболезнование,¹⁶² он поначалу даже не смог мне ответить, поскольку его любовь приобрела форму культа — не только из-за безмерных семейственных чувств, нередко присущих еврейским семьям, но также по причине мысли, что его отец превосходил всех сущих. Ему так тяжело было пережить эту потерю, что он слег на год в больницу. И на мои соболезнования он ответил с глубоким чувством, однако довольно надменно, полагая, видимо, что его близости с этим великим человеком я завидую, — повозку отца с двумя лошадьми он охотно передал бы какому-нибудь историческому музею. Теперь у него за обедом тот

же гнев, что вдохновлял некогда г-на Блока против г-на Ниссима Бернара, вооружал Блока против его тестя. Он устраивал ему за столом те же выходки. Так, слушая Котара, Бришо, многих других, я чувствовал, что благодаря моде и культуре одна-единственная волна разносит по всей протяженности пространства всё те же манеры разговора, мысли; и подобным образом по всей длительности времени большие донные потоки струят из глубей веков, сквозь слои поколений, всё те же гнев и печали, всё те же отваги и причуды; сняв несколько срезов в одной серии, мы обнаружим повторение, словно бы теней на поставленных рядом экранах, одной и той же картины — зачастую, правда, далеко не столь ничтожной, как столкновение г-на Блока-отца и г-на Ниссима Бернара, Блока и его тестя, и многих других, которых я не имел чести знать.

В иных лицах, под ряской белых волос, уже заметно было окоченение, их веки были запечатаны, как у тех, кто вот-вот умрет, а их губы, колеблемые бризом вечности, цедили молитву агонизирующих. Лицу, судя по линиям — прежнему, чтобы казаться другим, хватало и белизны волос — вместо черных или русых. Театральные костюмеры знают, что достаточно напудренного парика, чтобы изменить актера до неузнаваемости. Молодой маркиз де Босержан — я его, лейтенантом, увидел в ложе г-жи де Камбремер, в тот день, когда г-жа де Германт посетила бенуар своей кухни, — по-прежнему отличался совершенно правильными чертами лица, и более того, ибо артериосклерозная одеревенелость еще сильнее разгладила

бесстрастную гладь физиономии денди, придав этим чертам, благодаря их неподвижности, интенсивную, почти гримасничающую ясность, словно в наброске Мантеньи или Микеланджело. Его лицо, когда-то игравшее румянцем, теперь торжественно побледнело; осеребренные космы, легкая полнотца, благородство дожа, усталость, словно бы он желал соснуть, — все эти линии ныне сошлись, дабы ознаменовать на новый и пророческий лад его финальное величие. Замена прямоугольника русой бороды равным прямоугольником белой произвела столь совершенную трансформацию, что, заметив на его форме пять нашивок, моей первой мыслью было его поздравить — не с тем, что его повысили и теперь он полковник, а с маскарадным полковничьим костюмом, который так ему шел, что ради него, мне подумалось, он заимствовал не только униформу, но также степенный, грустный облик своего отца, прославленного офицера. Седая борода другого, сменившая русую, — тогда как лицо осталось живым, улыбающимся и юным, — в моих глазах лишь усилила его краснотцу и воинственность, блеск глаз, придав этой светской юности пророческое вдохновение.

Трансформация, произведенная сединой и прочими элементами, в особенности у женщин, не привлекла бы меня с такой силой, если бы она указывала только на изменение цвета, чарующее наш глаз, а не на изменение личности, волнующее наш разум. И действительно, «узнать» кого-нибудь, особенно после неудачных попыток, или отождествить, — значит помыслить под единым

наименованием два противоположных предмета, значит допустить, что находящийся здесь человек, которого мы помним, больше не существует, и мы с ним уже не знакомы; надо представить мистерию почти столь же волнительную, как мистерия смерти, — для которой данная, впрочем, служит прологом и предвосхищением. Ибо я знал, о чем говорят эти перемены, что следует за этой прелюдией. И потому меня так волновали женские седины, что они явились вкупе со множеством других изменений. Мне называли имя, и я был поражен: ведь оно относилось и к белокурой танцорке, с которой я был когда-то знаком, и к неповоротливой седой матроне, грузно проплывшей мимо. Если оставить в стороне некоторую розоватость ее лица, ее имя, наверное, было единственным связующим звеном между двумя женщинами, которые различались сильнее, — одна жила в памяти, вторая присутствовала на утреннике Германтов, — чем пастушка и барыня из театральной пьесы. Для того, чтобы жизнь наделила танцовщицу этим огромным телом, чтобы она смогла замедлить, как при помощи метронома, эти стесненные движения, чтобы — сохранив, быть может, единственно общую частицу: щеки, более полные, конечно, но сыздетства в розоватых пятнышках, — она смогла подменить легкую блондинку старым пузатым маршалом, ей следовало совершить больше опустошений и разрушений, нежели для того, чтобы взгромоздить купол вместо колокольни, и стоит только представить, что подобная работа произведена не над податливой материей, но над плотью, изменимой

нечувствительно, едва-едва, как потрясающий контраст между настоящим феноменом и девушкой, которую я вспоминал, уносил последнюю в более чем далекое прошлое, в баснословные времена. Сложно объединить два этих облика, помыслить два лица под одним именем; потому что представить, что умерший жил, или что тот, кто жил, сегодня мертв, почти столь же затруднительно (и относится к тому же роду затруднений, ибо уничтожение юности, разрушение человека, полного сил — это первое небытие), как постигнуть, что та, которая была юна — теперь стара; облик этой старухи, наложенный на облик юной, последнюю исключает, и поочередно старуха, затем молодая, потом старуха опять морочат нас наваждением; ни за что не поверишь, что последняя когда-то была первой, что вещество в ней то же, а не улетучилось в далекие края, что милостью умелых манипуляций времени она превратилось в первую, что это та же самая материя, что она наполняет то же самое тело, — если не имя и не свидетельство друзей, правдоподобных только благодаря розе, когда-то затерянной в золотых колосьях, а теперь занесенной снегом.

Впрочем, подобно снегу, степень белизны волос была признаком, указывавшим на глубину истекшего времени, — так горные вершины, которые предстают нашим глазам на одной линии, выдают свою высоту заснеженной белизной. Однако это правило действовало не в каждом случае, особенно у женщин. Пепельные, блестящие как шелк пряди принцессы де Германт, струями сбегавшие

по ее выпуклому лбу, раньше казались мне серебряными, а теперь, потускнев, они матово поблескивали, как шерсть или пакля, и серели потерявшим блеск сальным снегом.

Зачастую на долю белокурых танцовщиц, вкупе с седым париком и ранее недоступной для них близостью с герцогинями, выпадало кое-что еще. Ведь раньше они только и делали, что танцевали, и теперь искусство снизошло на них благодатью. И подобно тому, как в XVII веке великосветские дамы ударялись в религию, отныне они жили в квартирах, увешанных кубистскими полотнами, — кубист работал только на них и вся их жизнь была посвящена ему. На измененных старческих лицах они пытались закрепить, зафиксировать в незыблемом виде одно из тех мимолетных выражений, что на мгновение, когда мы позируем, принимает наше лицо либо в попытке извлечь выгоду из какого-нибудь преимущества нашей внешности, либо для того, чтобы скрыть какой-то изъян; они словно бы бесповоротно стали собственными фотографическими карточками, над которыми перемены не властны.

Все эти люди потратили столько *времени* на облачение в свои маскарадные костюмы, что наряд, как правило, так и не был замечен людьми, жившими с ними. Зачастую им предоставлялась отсрочка, и они до последнего оставались собой. Но тогда отложенное переодевание совершалось стремительно; из всех фасонов лишь этот был неотвратим. Мне никогда не приходило в голову, что между м-ль Х и ее

матерью можно обнаружить какое-то сходство, — с последней я познакомился в бытность ее старухой, похожей на сплюсненную турчанку. И правда, м-ль X всегда для меня была очаровательной стройной девушкой; она довольно долго держалась. Слишком долго, ибо как актриса, которой — пока не наступила ночь — следовало помнить о турецком костюме, она принялась за переодевание с опозданием, и потому поспешно, почти внезапно сплюснулась и покорно воспроизвела облик старой турчанки, в костюме которой выступала ее мать.

Там были люди, чью родню я знал, не предполагая, что у них могут быть общие черты; восхищаясь старым седовласым отшельником, Легранденом, я неожиданно обнаружил (можно сказать — открыл с удовлетворением зоолога) в плоскости его щек конструкцию лица его юного племянника Леонора де Камбремера; последний, однако, вовсе не был похож на дядю; к этой первой общей черте я добавил другую, не отмеченную мной в Леоноре, затем еще несколько, не имевших ничего общего с теми, что виделись мне привычным обобщением его юного облика, — словно бы предо мной была карикатура на него, обладавшая большей схожестью и глубиной, чем точная детально; дядя его теперь мне казался юным де Камбремером, вырядившимся для забавы стариком, а им племянник и действительно когда-нибудь станет, — итак, не только то, чем стали былые юноши, но и то, чем станут сегодняшние, пробуждало во мне глубокое чувство Времени.

Поскольку черты лица, удостоверявший если не юность, то хотя бы красоту, уже исчезли, женщины пытались выяснить — нельзя ли из того лица, которое у них осталось, сделать какое-нибудь другое. Переместив центр пусть не тяжести, но по меньшей мере перспективы лица, составив черты вокруг него сообразно другому характеру, к пятидесяти годам они приспособлялись к новой разновидности красоты — так в старости берутся за новое ремесло, и так на земле, что уже не родит винограда, выращивают свеклу. Среди новых линий, понукаемая ими, цвела новая юность. Эти превращения, впрочем, не подходили женщинам слишком прекрасным — или слишком уродливым. Лицо первых было высечено четкими линиями в мраморе, где уже ничего нельзя было изменить, и они осыпались, как статуи. Вторые, славившиеся своим безобразием, все-таки имели перед красавицами ряд преимуществ. Во-первых, только они были узнаваемы по-прежнему. Было известно, что в Париже не найдется второго подобного рта, и по этому признаку я и примечал их на этом приеме, где не узнавал уже никого. К тому же, даже на вид они не старели. В старости есть что-то человеческое, а они были монстрами, и изменялись не более, чем киты.

Некоторых мужчин и женщин, на первый взгляд, старость не коснулась — стан оставался столь же стройным, лицо — юным. Но стоило в разговоре вплотную приблизиться к их лицу, его гладкой коже и тонким контурам, как оно представало нам в ином свете; этот же процесс происходит с поверхностью растений, каплями воды, крови, если мы

поместим их под микроскоп. Тогда я различал многочисленные сальные пятнышки на коже, которая казалась гладкой, и во мне нарастало отвращение. Не могли устоять перед увеличением и линии. Контур носа ломался вблизи, округлялся, заполненный теми же масляными кружками, что и всё лицо; рядом прятались в мешки глаза, разрушая сходство сегодняшнего лица с бывшим, — которое, казалось бы, мы снова узнали. Так что эти гости были молоды издавек, и их жизненный путь возрастал по мере приближения к их лицу и возможности наблюдать его различные планы; он зависел от наблюдателя, который должен был занять подходящее место, чтобы бросать на эти лица только далекие взоры, уменьшающие предмет подобно стеклу, подбираемому оптиком для дальнотворного; для них старость, как количество инфузорий в капле воды, определялась не столько прогрессом лет, сколько, с точки зрения обозревателя, коэффициентом масштаба.

Я встретил там своего старого товарища — когда-то на протяжении десяти лет мы виделись с ним почти ежедневно. Нас представили друг другу. Я подошел к нему, и вдруг услышал голос, который сразу узнал: «Как я рад после стольких лет...». Но как же я удивлен! Мне показалось, что этот голос был издан усовершенствованным фонографом — хотя он принадлежал моему другу, он исходил из неизвестного мне толстого сидящего добряка, а следовательно, подумал я, только каким-то искусственным механическим трюком можно было засунуть голос моего товарища в этого старого толстяка. Но я знал, что это был

он: человек, который представил нас друг другу, не был мистификатором. Он мне сказал, что я не изменился, — я понял, что нечто подобное он думает о себе. Тогда я присмотрелся к нему внимательнее. В целом, если закрыть глаза на то, как его разнесло, в нем многое уцелело. Однако я не мог поверить, что это он. Тогда я попытался вспомнить его. В юности у него были голубые, смеющиеся, вечно подвижные глаза, искавшие нечто отвлеченное, о чем я и не задумывался, Истину, должно быть, с постоянной ее неопределенностью, — и вместе с тем в них играла шалость и дружественная приязнь. С тех пор, однако, как он стал влиятельным, искусным и деспотичным политиком, его глаза, пусть и не нашедшие, чего искали, замерли, а взгляд стал резче, словно глазам мешали сверкать насупленные брови. И эта веселость, непринужденность и простодушие сменились хитровой скрытностью. И правда, я решил уже, что это кто-то другой, и тут в ответ на какие-то свои слова я вдруг услышал его смех, былой беззаботный смех с лучистой подвижностью взгляда. Меломаны находили, что оркестровка Иксом музыки Зеда изменила ее до неузнаваемости. То были нюансы, неведомые профанам. Но детский приглушенный безрассудный смех под покровом взгляда — острого, как голубой, и хорошо отточенный, хотя и несколько криво, карандаш — это больше разницы в оркестровке. Смех умолк, я чуть было не узнал друга, но, как Улисс в «Одиссее», бросившийся к мертвой матери, как спирт, который никак не может добиться от призрака ответа, кто же он такой,

как посетитель электрической выставки, не верящий, что голос, воспроизведенный фонографом без изменений, тем не менее не был издан кем-то еще, я больше не мог признать моего друга.

Следует, однако, отметить, что для отдельных лиц темпы времени могут быть ускорены или замедлены. Лет пять назад я случайно встретил на улице невестку близкой приятельницы Германтов, виконтессу де Сен-Фиакр. Скульптурная выточенность ее черт, казалось, была порокой ее вечной молодости. Впрочем, она была еще молода. Но сколько бы она мне ни улыбалась и со мной ни раскланивалась, я так и не признал ее в даме с раскромсанными чертами лица, чей контур уже не подлежал восстановлению. Дело в том, что последние три года она принимала кокаин и другие наркотики. В глазах с глубокими черными кругами играло безумие, рот застыл в зловещем оскале. Она встала, рассказали мне, специально ради этого утренника, а так она месяцами не покидала кровати или шезлонга. Так что у времени есть экспрессы и особые скорые поезда, ведущие к преждевременной старости. Но есть у времени и другая дорога, по которой идут почти столь же быстрые поезда в обратном направлении. Я принял г-на Курживо за его сына — он выглядел моложе (он уже, кажется, справил пятидесятилетие, но не выглядел и на тридцать). Он нашел толкового врача, тот наложил запрет на алкоголь и соль; г-н Курживо вернулся к третьему десятку и даже, как в этот день казалось, еще не разменял четвертого. Это объяснялось

также, вероятно, и тем, что сегодня его посетил парикмахер. Однако был там и другой человек, которого, даже когда мне его назвали по имени, я не смог узнать, и я подумал, что это однофамилец, потому что в нем не было никакой связи с человеком, с которым я дружил прежде и даже встречался несколько лет назад. Это, однако, был он, но только побелевший и пожирневший; но он сбрил усы, и этого было достаточно, чтобы он утратил свои личные черты.

Любопытно, однако, что отдельные проявления феномена старения соотносятся с социальными повадками. Иные знатные господа, всегда облачавшиеся в нехитрые альпага, укрывавшие головы старыми соломенными шляпами, от которых отказались бы и мелкие буржуа, старели тем же фасоном, что и садовники, крестьяне, в чьей среде протекала их жизнь. Коричневые пятна испещряли их щеки, их лицо желтело и темнело, как книга.

И я вспомнил тотчас о тех, кого здесь не было, потому что у них уже не осталось сил; их секретари, пытаясь создать видимость их загробного бытия, приносили за них письменные извинения, и время от времени эти депеши передавали принцессе — от имени больных, умиравших уже много лет, более не покидавших постели, не двигавшихся, и если к ним заходили легкомысленные визитеры, заглянувшие из туристического любопытства и по наивности пилигримов, то, закрыв глаза, вцепившись в четки, полуотбросив саванное сукно, те представляли им каменными фигурами, высеченными болезнью,

истончившей до скелета твердую и белую, как мрамор, плоть, кладбищенскими статуями, распростертыми на надгробьях.

Женщины пытались не терять связи с самыми индивидуальными чертами своего бывшего очарования, но зачастую новое вещество лица уже не было для того пригодно. Страшно было представить, сколько времени должно было истечь, чтобы совершилась эта эволюция в геологии лица, чтобы глазам предстала эрозия по всей длине носа, огромные наносы по краям щек — абриса непроницаемых и неподатливых пластов.

Конечно, иных женщин еще можно было признать, их лицо осталось практически прежним — разве что головы, гармонируя с сезоном, увенчались пепельными волосами, словно особым осенним украшением. Но другие, а также мужчины, претерпели трансформацию столь основательную, и отождествить их не представлялось возможным — например, жуира-брюнета, которого мы помним, и этого старого монаха, который перед глазами; подобные баснословные метаморфозы наводили на мысль уже не об актерском искусстве, но о ремесле тех чудесных мимов, что представлено сегодня Фреголи.¹⁶³ Старуха едва не ударялась в слезы, осознав, что туманная и меланхолическая улыбка, секрет ее очарования, уже никогда не залучится поверх гипсовой личины, наложенной старостью. Затем, растеряв охоту к слезам и находя более умным смирение, она использовала новое

лицо как театральную маску, на сей раз — чтобы вызывать смех. Но почти все женщины не давали себе передышки в борьбе с годами и тянули к красоте (удалявшейся, как садящееся солнце, последними отблесками которого им еще страстно хотелось лучиться) зеркало своего лица. Дабы в этом преуспеть, некоторые пытались разгладить его, расширить его белую поверхность, отрекаясь от пикантных, но безнадежных ямочек, строптивости обреченной и уже наполовину обезоруженной улыбки; тогда как другие, видя безоговорочное исчезновение своих прекрасных черт, словно компенсируя искусством дикции потерю голоса, искали прибежища в выражениях — они цеплялись за надутые губки, мягкий прищур, затуманенный взор, иногда улыбку; — впрочем, из-за расстройств координации мышц, более им не служивших, улыбаясь, они словно рыдали.

Впрочем, даже в отношении мужчин, подвергшихся лишь легким и незначительным изменениям, у которых лишь побелели усы и т. п., можно было говорить, что перемена отнюдь не была исключительно материальной. Они виднелись будто сквозь цветную дымку, темное стекло, которое меняло их облик, в особенности же потому, что нагоняло какой-то мути, — вдобавок показывая этим, что доступное нашему зрению «в натуральную величину» в действительности находится очень далеко от нас, в удалении отличном, правда, от пространственного, — и из его глубин, как с другого берега, им так же трудно было узнать нас, как и нам их. Быть может, только г-жа

де Форшвиль, налившись своего рода парафином, раздувшим кожу, но оградившим ее от трансформаций, походила на былую кокотку, как будто заспиртованную навсегда.

«Вы перепутали меня с матерью», — сказала мне Жильберта. Это было правдой. И почти любезностью, впрочем. Исходя из мысли, что люди остались прежними, мы обнаруживаем, что они постарели. Но если отталкиваться от того, что они стары, мы найдем, что дело обстоит не так плохо. В случае Одетты проблема заключалась не только в этом; ее облик, если вспомнить о ее возрасте и приготовиться ко встрече со старухой, казался более чудесным вызовом, брошенным законам хронологии, нежели устойчивость радия — законам материи. Если я ее поначалу не признал, то не оттого, что она изменилась сильно, но оттого, что она не изменилась вообще. Определив за этот час, что представляет слагаемое, прибавляемое временем к человеческому облику, сколько нужно вычесть, чтобы они предстали мне прежними знакомцами, я теперь без труда совершал эти подсчеты, и когда я причислил к былой Одетте сумму истекших лет, полученный мной результат никоим образом не сочетался с особой, стоявшей предо мной, потому что последняя слишком сильно смахивала на былую. Какова была доля румян, краски? с ее золочеными, плоско примятыми волосами — слегка растрепанным шиньоном тяжелого механического манекена, поверх удивленного незыблемого лица, также довольно механического, на которые была нахлобучена

плоская соломенная шляпка, она олицетворяла собой выставку 1878-го года (на этой выставке в ту пору — и особенно если в теперешнем возрасте — она была бы самым невероятным чудом), и мне почудилось, что сейчас она выпалит свой куплетик рождественского ревью; это воплощение выставки 1878-го было вполне свежо.

Мимо нас прошел министр предбуланжистской¹⁶⁴ эпохи, теперь снова вошедший в кабинет, — он посылал дамам мерцающую и далекую улыбку, но, словно опутанный тысячью прошлых связей, как маленький фантом, ведомый невидимой рукой, уменьшился в росте, и, подменив материю, походил на собственную уменьшенную копию, исполненную в пемзе. Бывший председатель правительства, так хорошо принятый в Сен-Жерменском предместье, он когда-то привлекался к суду по целому ряду уголовных дел. Его презирали в народе и в свете. Но обновляются не только особи, составляющие народ и общество, — этот процесс затрагивает даже их страсти и воспоминания, и потому об этом теперь никто не вспоминал: экс-министр пользовался общим уважением. Сколь бы ни было тяжким унижение, должно быть, решиться на него легко, поскольку известно, что по прошествии нескольких лет погребенные грехи будут заметны не более, чем пыль, которой улыбнется ласковое и цветущее спокойствие природы. И силой уравнивающей игры времени когда-то опозоренный человек окажется между двух новых социальных слоев, и они будут испытывать к нему лишь почтительность и преклонение, с ними он может не считаться. Но только

времени доверена эта работа, и ничто не могло утешить его в пору лишений, потому что юная молочница из дома напротив слышала, как толпа, грозя кулаками, кричала ему: «ворюга», когда он забирался в «воронок»; юная молочница не смотрит на вещи во временной перспективе, ей неведомо, что те, кому кадит утренняя газета, некогда были притчей во языцех, что человека, брошенного сейчас в тюрьму — быть может, воспоминание об этой молочнице помешает ему найти смиренные слова и вызвать сочувствие, — когда-нибудь будет чувствовать пресса, его дружбы будут искать герцогини. Схожим образом время растворяет семейные ссоры. У принцессы де Германт присутствовала семейная пара, их дяди — уже, впрочем, почившие — как-то раз не удовольствовались пощечинами: один из них, для пущего унижения второго, послал ему в качестве секундантов консьержа и дворецкого, рассудив, что светские люди в данном случае будут слишком хороши. Но эти истории спали в газетах тридцатилетней давности, и уже никто их не знал. Так что салон принцессы де Германт был светел, забывчив и цветущ, как мирное кладбище. Время не только разрушает старые образования, оно также делает возможными и создает новые.

Вернемся, однако, к нашему политику: вопреки физическому изменению существа, столь же основательному, как трансформация моральных представлений публики на его счет, одним словом, вопреки годам, прошедшим с того времени, когда он был председателем кабинета, он вошел в новый, получив портфель от его главы, — так,

благодаря театральному директору, доверяющему роль одной из своих старых, давно уже сошедших со сцены подружек, чью способность пронизательно войти в роль он ценит намного выше, чем таланты молодых, тем более, что сложность ее материальной ситуации ему небезызвестна, почти восьмидесятилетняя актриса демонстрирует публике целость своего нетронутого таланта, равно продолжение жизни, — в чем еще можно во всеобщему удивлению удостовериться за несколько дней до ее кончины.

Напротив, о г-же де Форшвиль, и это было чудом, нельзя было сказать, что она омолодилась; вернее было сказать, что она снова цвела — всеми своими карминными и рыжеватыми оттенками. На сегодняшней выставке растений она стала бы не просто воплощением Всемирной выставки 1878-го, но главной диковинкой и «гвоздем программы». Впрочем, мне слышалась не «я — выставка 1878-го года», но «я — Аллея акаций 1892-го».¹⁶⁵ Даже сейчас, казалось мне, она могла там прогуливаться. Впрочем, как раз оттого, что она не изменилась, она почти не казалась живой; она напоминала стерилизованную розу. Я поздоровался с ней, и несколько секунд она выскивала мое имя у меня на лице — как студент ответ в лице экзаменатора, хотя проще было бы найти его в собственной голове. Тогда я назвал себя, и тотчас, словно силой магических этих слов утратил нечто присущее земляничнику или кенгуру (этими чертами, вероятно, я был обязан времени), она узнала меня и тотчас перешла на тот особенный тон, когда-то приводивший

мужчин в трепет, — когда они, аплодировавшие ей в маленьких театрах, получали приглашение позавтракать с ней «в городе», и затем ловили эти чудные звуки в каждом слове, на протяжении всей беседы, сколько им было угодно. Даже сейчас волновал этот бесполезно горячий голос с легким английским акцентом. Ее глаза, однако, смотрели на меня словно с далекого берега, а голос был грустен, как стенания плакальщиц и мертвых в «Одиссее». Одетта могла бы играть еще. Я выразил восхищение ее молодостью. Она ответила: «Вы милы, *tu dear*, спасибо», — и, поскольку ей с трудом удавалось избавить выражение даже самых искренних чувств от заботы о «светскости», она несколько раз повторила: «Большое спасибо, благодарю вас». Когда-то я так далеко бегал — в Булонский лес, чтобы встретиться с ней, а в тот день, когда я впервые был у нее в гостях, я ловил этот звук, лившийся с ее губ, как сокровище, но теперь я считал минуты, проведенные с ней рядом, потому что решительно невозможно было представить, о чем с ней говорить, — и мне пришлось удалиться, повторяя себе, что слова Жильберты «вы спутали меня с матерью» были не только правдивы, но к тому же только льстили дочери.

Впрочем, не только в Жильберте проступили родовые черты, доселе незримые в ее облике, словно бы они таились внутри, как частички зернышка, о побеге которого, до того дня, как они покажутся наружу, можно только догадываться. Так в некоторых женщинах несколько чрезмерная материнская крючковатость лишь

к пятидесятилетию перестраивала нос, до сего времени безукоризненный, прямой. У другой, дочери банкира, цвет лица, свежий, как у садовницы, краснел, медянел и отсвечивал золотом монет, над которым изрядно покорпел ее отец. Другие в конечном счете начинали напоминать свой квартал, и несли на себе отсвет улицы Аркад, авеню дю Буа, Елисейских полей. Но обычно они воспроизводили черты своих родителей.

Увы, ей не суждено было навсегда остаться такой же. Не пройдет и трех лет, и я увижу ее на приеме у Жильберты хотя и не в окончательном маразме, но уже в некоторой расслабленности, когда она уже не сумеет скрывать недвижимой маской то, что думает — и думает это сильно сказано, — то, что она чувствует, с трясущейся головой, поджимающей рот, покачивающей плечами от каждого испытанного ощущения, словно пьяница или ребенок, или иные поэты, которые забывают иногда, что вокруг, и испытав прилив вдохновения сочиняют что-нибудь на приеме, хмуря брови и гримасничая, но не отпуская руки удивленной дамы, по-прежнему ведомой к столу. Ощущения г-жи де Форшвиль — если не считать удовольствия от того, что она присутствует на приеме, любви к обожаемой дочери, гордости за ее блестящие вечера, не уменьшавшей, впрочем, грусти, что сама она теперь ничего из себя не представляет, — нельзя было назвать радостными; они лишь побуждали ее к беспрерывной защите от сыпавшихся на нее оскорблений, боязливой защиты ребенка. Кто-то кричал: «Не понимаю,

меня узнала г-жа де Форшвиль? Надо, наверное, еще разок подойти». — «Да бросьте, можете не стараться, — отвечал ему другой гость, не подозревая или не тревожась о том, что мать Жильберты их слышит. — Это бесполезно. Только для собственного удовольствия! Пускай себе сидит в углу. Она уже в маразме». Г-жа де Форшвиль украдкой бросала взгляд на болтливых обидчиков, затем, чтобы не показаться невежливой, быстро прятала свои всё столь же прекрасные глаза; но взволнованная оскорблением, и сдерживая немощное негодование, из-за чего ее голова тряслась, грудь вздымалась, она снова бросала взгляд, уже на другого невежливого посетителя, однако особенно не удивлялась, потому что несколько дней чувствовала себя плохо и намекала дочери, что лучше бы перенести прием, — дочь, однако, отказала. В ее любви к Жильберте это ничего не меняло; присутствие нескольких герцогинь, общее восхищение новым особняком наполняли радостью ее сердце, а когда в гостиную вошла маркиза де Сабра, которая находилась в то время на пике самых неприступных социальных высот, г-жа де Форшвиль подумала, что была доброй и предусмотрительной матерью, что ее материнский долг исполнен. Она вновь метнула взгляд на зубоскалящих гостей, уже на других, и что-то забормотала, сидя в полном одиночестве, если можно назвать речью молчание, которое выражается жестикующей. Всё столь же прекрасная, теперь она стала бесконечно трогательной, чем раньше похвастаться не могла; потому что тогда она обманывала и Свана и других, а теперь сама была обманута миром, и так

ослабла, что уже не смела, так как роли переменялись, защитить себя от людей. Вскоре она не защитилась от смерти. От этого предвосхищения вернемся на три года назад, на утренник принцессы де Германт.

С трудом я признал моего товарища Блока — впрочем, теперь он носил псевдоним, причем утрачена была не только фамилия, но и имя: звался он Жаком дю Розьером, и надо было обладать нюхом моего дедушки, чтобы признать «нежную долину Хеврона» и «цепи Израиля», решительно, как казалось, моим другом сброшенные. И правда, английский шик практически полностью изменил его внешность и как рубанком стесал с нее всё, что поддавалось шлифовке. Некогда курчавые волосы, подстриженные с ровным пробором, блистали от бриолина. Основательный красный нос, правда, остался на месте, но он, как мне виделось, всего лишь опух от некоего хронического катара, — этим же можно было объяснить и носовой акцент, с которым он вяло бросал фразы, ибо как прическу, подобранную к цвету лица, он подыскал к своему голосу особое произношение, и былая назализация приняла оттенок легкого презрительного нажима; это неплохо подошло к распростертым крыльями его носа. Прическа, упразднение усов, модный костюм, общий вид и старание заставили его еврейский нос исчезнуть — так разряженная горбунья кажется нам почти прямой. Но смысл его физиономии особенно сильно был изменен грозным моноклем. Некоторая механизация, внесенная им в лицо Блока, освобождала его от целого ряда непростых

обязанностей, возложенных на человеческую внешность: необходимости быть красивой, проявлять ум, доброжелательность, усилие. Уже само присутствие этого монокля на переносице Блока избавляло, во-первых, от необходимости спрашивать себя, было ли оно милым или нет, — так в магазине, когда приказчик говорит об английских вещах, что это «такой шик», мы уже не осмеливаемся думать, нравится ли это нам самим. С другой стороны, он обосновался за стекляшкой монокля на позиции столь же высокомерной, удаленной и удобной, как за окошком восьмигрессорной кареты, и чтобы лицо гармонировало с волосами и моноклем, его черты не выражали более ничего.

Блок попросил меня представить его принцу де Германт, я не усмотрел в том и тени затруднений, с которыми столкнулся, когда впервые посетил его прием, — мне они тогда представлялись естественными, а теперь я думал, что нет ничего сложного в том, чтобы представить хозяину одного из приглашенных; я не видел никакой сложности в том, чтобы позволить себе подвести к нему и экспромтом представить кого-нибудь из тех, кто приглашен не был. Оттого ли, что в этом обществе, в котором раньше я был новичком, я давно уже стал «своим», хотя меня и несколько «подзабыли», или же напротив, потому что — так как я никогда не был светским человеком в полном смысле этого слова, — всё, что для них представляло сложность, было для меня несущественно, по крайней мере с тех пор, как моя застенчивость рассеялась; или же потому, что мало-

помалу люди отбрасывали передо мной их первую (чаще вторую, и третью) искусственную личину, и я чувствовал за презрительным высокомерием принца ненасытную жажду к людям, даже к тем, к кому он выказывал презрение? Или же потому, что изменился и сам принц, как все эти заносчивые юноши и зрелые мужи, размягченные старостью (тем более, что с новичками, от которых они отбрыкивались, они давно уже перезнакомились, а новые идеи давно вошли в их обиход), особенно в том случае, если в качестве вспомогательного средства она прибегает к какой-нибудь добродетели, тому или иному пороку, расширяющему их связи, если происходит политический переворот, как, в частности, обращение принца в дрейфусарство?

Блок расспрашивал меня — я и сам, во времена моих первых выходов в свет, пускался в такие расспросы, и теперь иногда, — о моих старых знакомых, теперь очень от меня далеких, отстоящих от всего в стороне, подобно тем комбрейским приятелям, место которых в жизни мне частенько хотелось «определить» поточней. Но Комбре был для меня формой столь обособленной и несогласной со всем остальным, что так и остался для меня загадкой, не нашедшей себе места на карте Франции. «Так что же, по принцу де Германту я не смогу составить представления ни о Сване, ни о г-не де Шарлю?» — спрашивал у меня Блок; давным-давно я подражал его манере разговора, а теперь он заимствовал мою. — «Ни в коей мере». — «Но в чем же было отличие?» — «Вам следовало бы поговорить с ними, но это

невозможно: Сван мертв, да и г-н де Шарлю недалек от могилы. Но разница была огромной». И пока поблескивавший блоковский глаз отражал его раздумья о том, каковы были эти удивительные личности, я думал, что удовольствие от общения с ними мной преувеличено, потому что я испытывал его лишь тогда, когда оставался один, поскольку все эти «отличия» существуют лишь в нашем воображении. Блок догадался? «Ты, наверное, несколько их приукрашиваешь, — сказал он. — Я, конечно, понимаю, что хозяйка этого дома, принцесса де Германт, уже не юна, но в конце концов не так уж давно ты мне расписывал ее несравненное обаяние и чудеснейшую красоту. Конечно, я признаю, что она величава, у нее действительно, как ты говорил, необычные глаза, но неслыханным всё это назвать сложно. Порода, конечно, чувствуется, но ничего больше». Я вынужден был объяснить Блоку, что мы говорим о разных людях. На самом деле, принцесса де Германт умерла, а принц, разорившийся после немецкого поражения, женился на экс-госпоже Вердюрен. «Ты ошибаешься, я смотрел “Готский альманах”¹⁶⁶ за этот год, — простодушно признался Блок, — и прочитал там, что принц де Германт живет в этом особняке, а женат на чем-то совершенно грандиозном... погоди немного, дай вспомню... женат он на Сидонии, герцогине де Дюра, урожденной де Бо». Действительно, г-жа Вердюрен вскоре после смерти мужа вышла замуж за старого и разоренного герцога де Дюра, вследствие чего стала кузиной принца де Германта; герцог де Дюра умер через два года после

женитьбы. Это был удачный переходный этап для г-жи Вердюрен, и теперь она, третьим браком, именовалась принцессой де Германт и занимала в Сен-Жерменском предместье исключительное положение, которому сильно удивились бы в Комбре, где дамы с Птичьей улицы, дочка г-жи Гупиль и невестка г-жи Сазра, все те годы, когда г-жа Вердюрен еще не стала принцессой де Германт, повторяли, ухмыляясь: «герцогиня де Дюра», словно то была роль, исполняемая г-жой Вердюрен в театре. Кастовый принцип требовал, чтобы она умерла г-жой Вердюрен, и даже это имя — как представлялось, не даровавшее ей никакого нового влияния в свете, — производило дурной эффект. «Заставить говорить о себе» — выражение, в любом обществе применительное к женщине, у которой есть любовник, в Сен-Жерменском предместье указывало на тех, кто публикует свои сочинения, а в среде комбрейской буржуазии — на вступающих в неравные, с той или иной стороны, браки. Когда она вышла замуж за принца де Германта, там решили, должно быть, что это фальшивый Германт, что это проходимец. Мне же в этом тождестве имени и титула, в результате чего явилась еще одна принцесса де Германт, не имевшая никакого отношения к восхищавшей меня особе, которой здесь больше не было и которая, мертвая, не могла защититься от кражи, виделось что-то скорбное, как в вещах, принадлежавших принцессе Едвиге,¹⁶⁷ ее замке и всем, чем она владела, чем пользовался теперь кто-то другой. В наследовании имен всегда есть что-то грустное, как во всех наследствах, как в любой узурпации

собственности; и из века в век, без остановки, будет набегать волна новых принцесс де Германт, или, вернее, будет одна, тысячелетняя, замещаемая из века в век другими, единственная принцесса де Германт, не знающая смерти, безразличная к переменам и ранам нашего сердца; ибо имя смыкает надо всеми, из века в век тонущими в нем, свое неколебимое древнее спокойствие.

Конечно, внешние перемены в знакомых лицах — это только символ перемен внутренних, совершавшихся день изо дня. Быть может, эти люди вели ту же жизнь, но представление, составленное о себе, о близких, постепенно менялось, и по прошествии нескольких лет под старыми именами были другие вещи, другие любимые люди, и поскольку они изменились, удивительно было, почему это у них прежние лица.

Среди присутствовавших был видный мужчина, только что давший показания на известном процессе, причем ценность его показаний была только в одном — в очень высоком моральном достоинстве свидетеля: перед этими качествами единодушно склонились судьи и адвокаты; показания привели к осуждению двух человек. Поэтому, когда он вошел, послышалось заинтересованное и почтительное оживление. Это был Морель. Только я, наверное, знал, что он был «содержанкой» одновременно Сен-Лу и одного из друзей Робера. Несмотря на эти воспоминания, он приветствовал меня с радостью, хотя и несколько сдержанной. Он вспоминал время наших

бальбекских встреч, память о котором была для него исполнена поэзии юности и грусти.

Впрочем, здесь присутствовали особы, которых у меня не получилось бы узнать только потому, что они не были мне знакомы, ибо как над отдельными людьми, время провело свой химический опыт над публикой этого салона в целом. Я считал особую природу этой среды, притягивающей к себе все значимые царственные европейские имена и отталкивающей, отстраняющей от себя неаристократические элементы, материальным прибежищем имени Германтов, сообщавшим ему последнюю реальность; но внутреннее строение этой среды, в устойчивости которого я не сомневался, теперь и само подверглось глубоким изменениям. Меня еще не так удивляло присутствие публики, знакомой мне по иным слоям общества, хотя я полагал, что сюда-то они никогда не проникнут, как задушевность, с которой здесь их принимали; определенная совокупность аристократических предрассудков, или снобизма, автоматически ограждавшая имя Германтов от всего, что с ним не гармонировало, уже утратила силу.

Иные (Тоссицца, Клейнмихель) во времена моих светских дебютов устраивали званые вечера, куда приглашали только принцессу де Германт, герцогиню де Германт, принцессу Пармскую, и были у этих дам в чести, — они считались лучшими представителями тогдашнего общества, и, возможно, действительно ими были; однако они бесследно

исчезли. Может быть, то были иностранцы из дипломатических миссий, и они вернулись в свои страны? Может быть, скандал, суицид, похищение препятствовали их выходам в свет, может быть, они были немцами. Но их имена отражали лишь светский блеск того времени, больше так никого не звали, никто не понимал даже, о ком это я говорю, если я упоминал их в разговоре — всем казалось, что так звали каких-то проходимцев. Иные, которым согласно статьям старого социального кодекса путь сюда был заказан, к величайшему моему удивлению были в чести у благороднейших по крови особ, последние отправлялись «скучать» к принцессе де Германт исключительно ради своих новых знакомцев. Потому что сильнее всего это общество характеризовала прогрессирующая склонность к деклассации.

Ослабленные или поломанные пружины отталкивающей машины уже не функционировали, и сюда устремились тысячи инородных тел, лишая общество единообразия, фасона, колорита. Как расслабленная дуэрья, Сен-Жерменское предместье кроткими улыбками привечало наглых слуг, наводнивших его салоны, тянувших его оранжад, представлявших ему своих любовниц. Чувство истекшего времени, ощущение, что из моего прошлого исчезла какая-то частица, еще не так живо пробуждалось во мне из-за уничтожения стройного ансамбля, салона Германтов, как от абсолютного неведения тысяч причин, нюансов, благодаря которым тот или иной человек, присутствовавший здесь и теперь, был вхож в этот салон

по праву и находился на своем месте, тогда как другой, его сосед, был подозрительным нововведением. Это незнание касалось не только света, но также политики и всего прочего. Ибо память людская не так долга, как жизнь, а молодежь, не разбиравшаяся, к тому же, в этих причинах (их забыли еще отцы), вступая в общество — вполне легитимно, даже в благородном смысле, — благодаря тому, что начала были забыты или остались неизвестны, воспринимала людей сообразно точке, где они находились, их возвышению или падению, полагая, что так было всегда, что г-жа Сван, принцесса де Германт и Блок всегда занимали исключительное положение, что Клемансо и Вивьяни всегда были консерваторами.¹⁶⁸ И поскольку некоторые события тянут за собой длинный след, смутное презрительное воспоминание о деле Дрейфуса, благодаря рассказам отцов, у них уцелело, но скажи им только, что Клемансо был дрейфусаром, и тебя бы тотчас осадили: «Никак нет, что-то вы путаете, он-то как раз был в другом лагере». Продажные министры и записные публичные девки почитались образцом добродетели. Если вы спрашивали у юноши из знатной семьи, не говорили ли раньше чего-нибудь о матери Жильберты, и молодой дворянин отвечал, что действительно, когда-то в юности она вышла замуж за какого-то авантюриста Свана, но затем все-таки сочеталась браком с одним из самых видных представителей общества, графом де Форшвилем. Наверное, у кого-нибудь кроме меня в этом салоне подобные утверждения вызвали бы смех (в отрицании блестящего

положения Свана в свете теперь мне грезилось что-то чудовищное, но ведь и сам я в Комбре, заодно с двоюродной бабушкой, считал, что Сван не может знаться «с принцессами») — у герцогини де Германт, к примеру, и еще у нескольких женщин, которые, по идее, могли бы здесь присутствовать, но теперь почти не выходили, в частности, у герцогини де Монморанси, де Муши, де Саган, ближайших друзей Свана, знать не знавших этого Форшвиля, нигде не принятого, когда они еще не порвали со светом. Но дело было в том, что прежнее общество, — как лица, претерпевшие к сегодняшнему дню измену, светлые волосы, смененные седыми, — жило только в памяти людей, чье число уменьшалось день ото дня.

Блок «не выходил в свет» во время войны, разорвав таким образом связь со своей былой средой обитания, — там он, впрочем, считался довольно жалкой фигурой. Зато он по-прежнему печатал свои сочинения, и сквозь их софистический абсурд я силился теперь продраться; они были довольно тривиальны, однако на юношей и светских дам производили впечатление редкой интеллектуальной высоты, чего-то гениального. Вот отчего, полностью отказавшись от прежних друзей, в восстановившемся обществе, на новой фазе жизни, он снискал почет и славу, и считался великим человеком. Естественно, юношам едва ли было известно, что его светские дебюты имели место только теперь, тем более, что несколько имен, уловленных им в беседах с Сен-Лу, благоприятствовали неопределенной временной глубине его авторитета. Во всяком случае, он

казался одним из тех талантов, которые во все эпохи цвели в лучах большого света, чье существование в каком-нибудь другом месте просто невозможно представить.

Светские старики твердили, что всё совершенно изменилось, что принимают всякую шваль. Но, как говорится, это и так, и не совсем так. Это не совсем так, потому что они не разобрались во временных изотермах, благодаря которым бывшие новички попали в их поле зрения уже на финишной прямой, пока их воспоминания всё еще топтались на стартовой линии. И когда те, прежние, входили в светское общество, там были люди, которых другие помнили на старте. Для этого изменения хватит и одного поколения, а раньше требовались века, чтобы буржуазное имя Кольберов стало благородным. С другой стороны, это, конечно, так, потому что если люди меняют положение, то меняются и их идеи, и неотъемлемые их привычки (как союзы разных стран, или распри), например — привычка принимать у себя только «шикарную» публику. Снобизм не только меняет свои очертания, он может раствориться в воздухе, как война, и радикалы с евреями с почетом войдут в Жоке-Клуб.

Если для новых поколений герцогиня де Германт «не стоила ломаного гроша», потому что зналась с актрисами и т. п., дамы уже почтенного возраста, имевшие отношение к ее семье, по-прежнему считали ее существом необычайным, — дело в том, что, с одной стороны, им в точности было известно ее происхождение, ее геральдическое первенство,

ее близкие отношения с теми, кого г-жа де Форшвиль называла *royalties*, а с другой стороны — общением с семьей она пренебрегала, ей было скучно с родственниками и на нее никогда нельзя было рассчитывать. Благодаря ее театральным и политическим связям, о которых, впрочем, знали немного, ее исключительность, а следовательно — авторитет, лишь прибавляла в цене. Так что если в политическом и артистическом бомонде ее принимали за «не бог весть что», своего рода расстригу Сен-Жерменского предместья, вращающуюся в среде заместителей министров и «звезд», в самом Сен-Жерменском предместье говорили, если собирались устроить какую-нибудь исключительно изысканную вечеринку: «Стоит ли приглашать Ориану? Она не придет. Только для формы, но не стоит обольщаться». И если к половине одиннадцатого, в блестящем платье, словно обдавая кузин холодным пренебрежением и завораживающим презрением, Ориана появлялась на пороге, если ее посещение длилось более часа, то прием дуэрьи считался «несомненно удавшимся», как в свое время театральные вечера, на который Сара Бернар, неопределенно обещавшая содействие, хотя директор театра на него не рассчитывал, все-таки приходила и с несказанной любезностью и скромностью вместо обещанного отрывка читала двадцать других. Благодаря присутствию Орианы, с которой главы кабинетов говорили свысока, и которая от этого не меньше (дух водителем миром) тянулась к общению с ними, вечер дуэрьи, на котором

присутствовали, однако, исключительно блестящие женщины, получал высочайшую оценку и не шел в сравнение со всеми прочими вечерами великосветских дам этого *season* (как сказала бы опять-таки г-жа де Форшвиль), поскольку иных дам своим посещением Ориана не удостоила.

Как только беседа с принцем де Германт подошла к концу, Блок вцепился в меня и представил молодой особе, одной из изысканнейших дам той поры, уже наслышанной обо мне от герцогини де Германт. Тем не менее, ее имя мне ничего не говорило, — да и она, впрочем, не очень-то разбиралась в именах тех или иных Германтов; прямо при мне она спросила у какой-то американки, на каком основании г-жа де Сен-Лу, как ей показалось, накоротке с самыми блистательными особами, присутствующими на вечере. Эта американка была замужем за дальним родственником Форшвилей, графом де Фарси, которому эта семья казалась величайшим родом на свете. Потому она ответила, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся: «Только потому, что она урожденная Форшвиль. Это самое существенное». По крайней мере, г-же де Фарси, наивно полагавшей, что род Сен-Лу уступает семье Форшвилей, еще было известно, кто такой этот Сен-Лу. Но очаровательной приятельнице Блока и герцогини де Германт это имя не говорило ничего, и поскольку она была довольно легкомысленной особой, девушке, спросившей ее, по какой линии г-жа де Сен-Лу приходится родственницей хозяину дома, принцу де Германт, она

с чистым сердцем ответила: «По Форшвилям», — эти сведения последняя выдала, словно то было известно ей всегда, одной из своих подруг, которая, будучи нервна и вспыльчива, покраснела, как рак, когда какой-то юноша однажды сообщил ей, что отнюдь не по Форшвилям Жильберта связана с Германтами, — в итоге он и сам поверил, что ошибся, усвоил заблуждение и незамедлительно приступил к его распространению. Ужины и светские приемы стали для американки чем-то вроде Школы Берлица.¹⁶⁹ Она повторяла услышанные ею имена, не установив предварительно их цену, не уяснив себе их значения. Если кто-нибудь задавал вопрос, не от отца ли ее, г-на де Форшвиля, Жильберте перешел Тансонвиль, ему объясняли, что он заблуждается, что это фамильная земля ее мужа, что Тансонвиль находится неподалеку от Германта, принадлежал г-же де Марсант, но, будучи заложен, в качестве приданого был выкуплен Жильбертой. Затем кто-то из стариков воскрешал имя Свана — друга Саганов и Муши, и американская подруга Блока спрашивала у него, где же это я со Сваном познакомился, а тот отвечал, что познакомился я со Сваном у г-жи де Германт, и не подозревая о деревенском соседе, молодом друге моего дедушки, кем он был для меня в то время. Подобные промахи совершали и знаменитые люди, но во всяком консервативном обществе они считались самыми тяжкими. Сен-Симон, желая показать, что Людовик XIV был невежествен и из-за этого «несколько раз дошел, на публике, до самых непростительных

нелепиц», приводит только два примера его неосведомленности — по его словам король, не знавший, что Ренель принадлежал дому Клермон-Галлеранд, а Сент-Эрем — дому Монморен, был с ними крайне необходим. ¹⁷⁰ Однако, что касается Сент-Эрема, нас может утешить тот факт, что король не умер в заблуждении, он был разубежден «много позднее» г-ном де Ларошфуко. «Впрочем, — безжалостно добавляет Сен-Симон, — ему следовало бы объяснить, что это были за дома, имя которых ничего ему не говорило».

Это быстрое забвение, столь стремительно смыкающееся над самым недавним прошлым, это всеохватное неведение, которое, как бы рикошетом, ограничивало осведомленность публики, тем более ценную, чем реже встречается, хоронило генеалогии, подлинное положение людей, причину — любовь, деньги или еще что-то, — из-за которой они вступили в тот или иной брак, пошли на мезальянс, — знание, ценимое во всех обществах, где царит консервативный дух, которым, применительно к комбрейской и парижской буржуазии, в самой полной мере располагал мой дедушка, и которое Сен-Симон ценил так высоко, что, чувствуя незаурядный ум принца де Конти, прежде чем говорить о науках, или же, вернее, словно то было первой из наук, он хвалит его за «ум светлый, ясный, справедливый, точный, широкий, бесконечно осведомленный, ничего не забывавший, знавший генеалогии, их химеры и их реальность; он выказывал уважительность сообразно чинам и заслугам, воздавал должное

всем, кому принцы крови обязаны оказывать уважение, и чего они больше не делают; он и сам высказывался о том, и касательно их узурпаций. А почерпнутое им из книг и разговоров позволяло ему сказать что-нибудь любезное о происхождении, положении и т. д.»¹⁷¹ в сведениях, имевших отношение к далеко не столь блестящему обществу, всего лишь к комбрейской и парижской буржуазии, мой дедушка разбирался с неменьшей точностью и смаковал их с тем же гурманством. Эти гурманы, эти любители, осведомленные, что Жильберта не была «урожденной Форшвиль», что г-жа Камбремер не именовалась «Мезеглизской», а в юности — «Валансской», теперь уже встречались редко. Лишь немногие, и представлявшие, быть может, не высшие слои аристократии (так, например, в «Золотой легенде» или витражах XIII в. Не обязательно лучше всех будут разбираться богомольцы и католики), зачастую — аристократию второго порядка, более падкую до того, чего она лишена, на изучение чего у нее тем больше досуга, чем меньше она вращается в высшем обществе, охотно собирались, знакомились друг с другом и, как Общество Библиофилов или Друзья Реймса, устраивали в своем кругу яркие ужины, на которых потчевали генеалогиями. Женщины не допускались, и по возвращении домой мужья рассказывали: «Я был на интересном ужине. Там присутствовал некий г-н де Ла Распельер, — о, это очаровательный человек: он рассказал нам, что г-жа де Сен-

Лу, у которой прелестная дочка, оказывается, вовсе не урожденная Форшвиль. Это целый роман».

Приятельница герцогини де Германт и Блока блистала не только светскостью и красотой, но также умом; говорить с ней было занятием приятным, хотя и несколько затруднительным, потому что для меня новым было не только имя моей собеседницы, но и имена большего числа лиц, упоминаемых ею, — они-то теперь и составляли основу общества. С другой стороны, однако, так как ей хотелось услышать от меня рассказы о былом, имена многих из тех, о ком я ей поведал, абсолютно ничего ей не говорили, все они были погребены в забвении, по меньшей мере те из них, чей блеск объяснялся неповторимостью самой особы, носившей имя, а не ее связью с известной родовой аристократической семьей (титулы она редко знала точно и принимала на веру путанные сведения о фамилиях, услышанные ею краем уха за ужином накануне), — имен большинства из них она даже не слыхала, потому что ее светские дебюты (она была еще юна, недолго жила во Франции и в свете ее приняли не сразу) приходились на то время, когда я уже несколько лет как отделился от общества. Я не помню, в связи с чем я помянул г-жу Леруа, но так получилось, что моя собеседница уже слышала это имя от благосклонного к ней старого приятеля г-жи де Германт. Но слышала, опять же, краем уха, потому что юная снобка раздраженно ответила мне: «Знаю ли я, кто такая г-жа Леруа, старая подружка Бергота», — имелось в виду: «особа, которую я ни за что к себе бы

не пригласила». Я тотчас догадался, что старому другу г-жи де Германт, подлинному человеку света, пропитанному германтским духом, по законам которого аристократическое общество нельзя ставить выше всего, такие слова, как «г-жа Леруа, общавшаяся исключительно с высочествами и герцогинями», показались слишком плоскими и антигермантскими, и потому он рассказал о ней следующим образом: «Она была забавная. Как-то раз она сказала Берготу...». Так или иначе, для людей непосвященных сведения, полученные в беседах, равноценны тем, что простонародье извлекает из прессы, уверяясь попеременно, соответственно точке зрения их газеты, что Лубе¹⁷² и Рейнах воры или великие граждане. Для моей собеседницы г-жа Леруа была чем-то вроде г-жи Вердюрен в ее первой ипостаси — правда, не столь блестящей: ее кланчик ограничивался одним Берготом. Впрочем, эта молодая дама одной из последних, да и то совершенно случайно, слышала имя г-жи Леруа. Сегодня уже никто не знает, кто она такая, — что, однако, закономерно. Ее имя не фигурирует даже в указателе «Посмертных мемуаров» г-жи де Вильпаризи, в мыслях которой г-жа Леруа занимала столь видное место. Маркиза не пишет о г-же Леруа, впрочем, не оттого, что при жизни последняя была с ней не слишком любезна, а потому что после смерти она никого бы не смогла заинтересовать, и это молчание продиктовано не злопамятством светской женщины, но литературным тактом писателя. Мой разговор со светской приятельницей Блока был довольно занятен,

ибо она была умна, но разница в наших словарях его затрудняла — и в то же время сообщала ему нечто назидательное. Мы знаем, что года летят, юность уступает место старости, самые прочные состояния и троны рушатся, что любая слава преходяща, — но эти сведения бесполезны, ибо наши методы познания и, так сказать, способы фотографирования подвижного универса, уносимого Временем, держат эти знания в пассиве. Поэтому люди, с которыми мы познакомились в молодости, навсегда останутся для нас молодыми, и мы ретроспективно украсим старческим благообразием тех, кого узнали в преклонные лета; мы безоговорочно будем доверять кредиту миллиардера и рассчитывать на поддержку короля — умозрительно представляя, но по существу не веря, что завтра они, лишённые власти, могут пуститься в бега. В более ограниченной области, чисто светской, как на более простом примере, вводящем в более запутанные задачи, хотя и того же порядка, сумятица моей беседы с этой девушкой, объяснявшаяся тем, что мы были частицами одного общества, но с двадцатипятилетним промежутком, даровала мне ощущение истории и способствовала укреплению чутья на нее.

Следует всё же отметить, что неведение подлинных положений, за десяток лет проявившее избранных в их теперешнем виде, будто прошлого не существовало, не позволявшее недавно прибывшей американке узнать о том, что г-н де Шарлю занимал блестящее положение в Париже, тогда как в ту же эпоху Блок не имел ровным счетом никакого

положения, что Сван, расстилавшийся перед г-жой Бонтан, был в большой чести, — это неведение было свойственно не только новичкам, но и тем, кто возвращался в сопредельных обществах, и оно — как у тех, так и у других, — было еще одним действием (но в последнем случае приложимом к индивиду, а не к социальной прослойке) Времени. В конечном счете, сколько бы мы ни меняли среду и образ жизни, наша память, держась нити тождественности личности, в последующие эпохи, даже через сорок лет будет связывать с ней воспоминания о тех или иных обществах, в которых мы тогда жили. Блок, посещавший принца де Германт, по-прежнему сохранял совершенное знание своей убогой еврейской среды, где варился в восемнадцать лет, и Сван, разлюбивший г-жу Сван из-за женщины, подававшей чай у того самого Коломбе, посещения которого, как и чайной на улице Рояль, г-жа Сван почитала одно время «шиком», прекрасно помнил о своем месте в свете, о Твикенгеме,¹⁷³ и не питал иллюзий относительно причин, заставлявших его испытывать большее удовольствие от посещений Коломбе, нежели от визитов к герцогине де Брогли, — он прекрасно знал, что если бы он в тысячу раз был менее «шикарен», это ни на йоту не сделало бы его более частым посетителем Коломбе или Отеля Риц: вход туда был доступен каждому за определенную плату. Наверное, друзьям Блока и Свана вспоминался также и узкий еврейский круг, приглашения в Твикенгем, и потому в памяти друзей, среди не сильно разнящихся «я», Свана и Блока, отсутствовали

разграничения между сегодняшним элегантным Блоком и гнусоватым Блоком бывшего, Сваном последних дней в Коломбе и Сваном в Букингемском дворце. Но эти друзья, в известной мере, соседствовали со Сваном в жизни; их собственная проходила по достаточно близкой линии, чтобы в памяти он мог присутствовать цельно; другие же, более далекие от Свана, не обязательно в социальном плане, но в плане близости отношений, которые встречались с ним не так часто, сохранили не так уж много воспоминаний о нем, и их познания не отличались устойчивостью. Спустя тридцать лет эти чужаки уже не помнили ничего определенного, что могло бы обосновываться в прошедшем и изменять ценность человека, находящегося перед глазами. Впрочем, в последние годы жизни Свана я слышал, как светские люди, которым говорили о нем, переспрашивали, словно то было общеизвестным его званием: «Вы говорите о Сване из Коломбе?» Теперь я слышал, как люди, которые, однако, могли бы знать его и ближе, говорили о Блоке: «Блок-Германт? Дружок Германтов?» Эти заблуждения дробили одну жизнь, отделяя ее от настоящего, и делали обсуждаемого человека чем-то другим, сотворенным накануне, — человеком, являющимся конденсатом своих поздних привычек (тогда как он продолжает непрерывность жизни, увязанной на прошедшем), — и они тоже зависят от Времени, но это уже не социальный феномен, это феномен памяти. Мне сразу же представился пример этого забвения, видоизменяющего облик людей, — правда, забвения

несколько иного рода, но не менее от того впечатляющего. Юный племянник г-жи де Германт, маркиз де Вильмандуа, некогда был вызывающе дерзок со мной, и я, в отместку, стал вести себя по отношению к нему столь же оскорбительно; было ясно: мы стали врагами. Пока я, на этом утреннике у принцессы де Германт, раздумывал о Времени, он представился мне, сказал, что, кажется, я знаком с его родней, что он читал мои статьи и ему очень хотелось бы завязать или возобновить знакомство. И действительно, с возрастом, как многие властные нахалы, он утратил свое высокомерие, и к тому же в его среде обо мне вспоминали — хотя и в связи с довольно посредственными статьями. Но эти причины его сердечности и шагов к примирению стояли на втором плане. Самым же главным — или, по меньшей мере, тем, что позволило задействовать остальное, — было то, что, либо обладая более слабой памятью, чем моя, либо в меньшей степени заостря внимание на моих ответных ударах, следовавших за его выпадами (потому что тогда я не представлял для него такого же значения, что он для меня), он совершенно забыл нашу неприязнь. Самое большее, мое имя напомнило ему, что, должно быть, со мной, или с кем-то из моих родственников он встречался у одной из своих теток. Не будучи в точности уверен, знакомимся мы или уже знакомы, он тотчас заговорил со мной о тетке, у которой, в чем он не сомневался, мы должны были пересекаться — вспоминая, что там часто обо мне говорили, а вовсе не о наших перебранках. Нередко имя

— это всё, что оставляет по себе человек, даже если он еще не умер, еще при жизни. Наша представления о нем так смутны или своеобразны, и так мало соответствуют тем, которые были о нем у нас прежде, что мы вспоминаем не о предполагавшейся дуэли, а о чудных желтых гетрах, — он их носил в детстве, когда гулял на Елисейских Полях, но вот как мы играли вместе он, несмотря на наши уверения, уже не вспомнит.

Блок ввалился прыжками, как гиена. Я подумал: «Он вхож в салоны, куда двадцать лет назад путь ему был заказан». Но эти двадцать лет прошли и для него. Он стал ближе к смерти. Что они ему принесли? Вблизи, сквозь просвечивающее лицо, где издалека и при плохом освещении я видел лишь живую юность (то ли там протекало ее посмертное бытие, то ли я ее там воскрешал), проступала почти отталкивающая, тоскливая маска старого Шейлока, ждущего за кулисами выхода на сцену, уже в гриме, уже вполголоса прочитавшего первый стих. Еще десять лет, и в эти салоны, размягченный их вялостью, он вползет на костылях, уже «мэтром», и ему будет тяжело тащиться еще к Ла Тремуям. Что они ему принесут?

Тем больше эти перемены в обществе могли поставить мне важных истин, способных отчасти сementировать мое произведение, что они не были, как я чуть было не поверил в первый момент, присущи только нашей эпохе. В то время, когда я сам, почти что «парвеню», — тогда я был куда более «нов», нежели Блок сейчас, — вошел в среду Германтов,

я мог различить в ней некоторые элементы, хотя и составляющие интегрированную часть этого общества, но абсолютно от него отличные, совсем недавно в него допущенные, отдававшие необычайной новизной для «старейших», хотя тогда я их не отличал от прочих; впрочем, в свое время эти «старейшие» и сами (они, или их отцы, или их деды), хотя герцоги уже считали их неотъемлемой частью Предместья, были выскочками. Одним словом, отнюдь не люди большого света делали это общество столь блестящим, но более или менее полное усвоение этой средой творило из этих людей — пятьдесят лет спустя все они будут на одно лицо — великосветскую публику. Даже в том далеком прошлом, в которое я отодвигал имя Германтов, чтобы придать ему величие, — и не без основания, надо полагать, ибо при Людовике XIV едва ли не царственные Германты занимали более значительное положение, чем сегодня, — происходили те процессы, что были отмечены мной сегодня. В частности, Германты породнились тогда с семьей Кольберов, которая сегодня кажется нам благороднейшей, поскольку какая-нибудь Кольбер для какого-нибудь Ларошфуко — замечательная партия. Но Германты породнились с ними не оттого, что Кольберы (тогда — простые буржуа) были благородны; Кольберы стали благородными только потому, что Германты с ними породнились. Если имя д'Осонвиля угаснет с последними представителями этого дома, то о его славе, быть может, будут судить по тому, что оно идет от г-жи де Сталь, тогда как до Революции г-н д'Осонвиль,

один из первых вельмож государства, кичился перед г-ном де Брогли тем, что знать не знает отца г-жи де Сталь, что он не более способен представить его г-ну де Брогли, чем г-н де Брогли — г-ну д'Осонвилю, не допуская и мысли о том, что их сыновья возьмут в жены — одну дочку, второй внучку автора «Коринны». Со слов г-жи де Германт я мог себе уяснить, что в этом свете мне могло быть доступно положение блистательного нетитулованного лица, и многие бы меня сочли завсегдашним аристократом, — так думали когда-то о Сване, а до него о г-не Лебрене, г-не Ампере,¹⁷⁴ всех этих друзьях герцогини де Брогли, которая сама поначалу не была допущена в большой свет. Как же, должно быть, шокировал я первыми вечерами, проведенными мною у г-жи де Германт, людей вроде г-на де Босерфёя, — не столько даже присутствием, сколько замечаниями, свидетельствовавшими о том, что воспоминания, составлявшие его прошлое и определявшие облик его представлений об обществе, абсолютно мне чужды! Когда-нибудь Блок станет так стар, что, располагая необычайно давними воспоминаниями о салоне Германтов, каким он предстал в этот момент его глазам, испытает то же удивление, то же раздражение от вторжения и от невежества новых лиц. С другой стороны, он усвоит и выкажет по отношению к ним тот особый такт и выдержку, что казались мне исключительной прерогативой людей вроде г-на де Норпуа, ведь они воссоздаются и воплощаются во всех, кому, как мы думали, совершенно недоступны.

Впрочем, представившийся мне случай попасть в общество Германтов я до сих пор нахожу исключительным. Но если бы я отвлекся от собственной персоны и непосредственно окружавшей меня среды, то увидел бы, что этот социальный феномен не столь единичен, как казалось мне поначалу, что из комбрейской котловины, из которой я вышел, из напитавшей нас жидкой массы били многочисленные струи, симметрично поднимавшиеся вверх. Конечно, в обстоятельствах всегда остается нечто особенное, в характерах — неповторимое, и совершенно отличным образом в эту среду (благодаря неожиданной женитьбе племянника) проник Легранден, равно дочь Одетты, сам Сван, а затем я. Я провел свою жизнь как будто взаперти, я смотрел на нее изнутри и не думал, что жизнь Леграндена хоть в чем-то сходна с моей, что она идет по тем же дорогам — так в глубокой лощине река ничего не знает о другой, текущей параллельно, хотя, тем не менее, несмотря на большое расстояние между их руслами, они стремятся к одному потоку. Но с высоты птичьего полета, — так статистика не принимает в расчет эмоциональные причины и неосторожные шаги, приведшие человека к смерти, и подсчитывает только общее число людей, умерших за год, — было видно, что множество людей, вышедших из этой среды, которую я описал в начале моего повествования, достигли другого, ничем не похожего на нее общества, и вполне может статься, — подобно тому, как в Париже за год совершается среднее число браков, — что какая-нибудь другая образованная и состоятельная

прослойка буржуазии смогла поставить приблизительно равное число людей вроде Свана, Леграндена, меня и Блока, впавших в океан «большого света». Впрочем, они были узнаваемы, и когда юный граф де Камбремер изумлял свет своей разборчивостью, утонченностью, своим сумрачным изяществом, я различал в этих качествах — в его прекрасном взгляде и горячем желании занять видное положение — черты, уже проступившие в его дяде Леграндене, старом, сугубо буржуазном, хотя и с аристократическими манерами, приятеле моих родителей.

Доброта и естественное созревание, в конечном счете засахарившие даже такую кислотную натуру, как Блок, встречаются столь же часто, как чувство справедливости, благодаря которому, если дело у нас правое, мы боимся предубежденного судьи не больше, чем беспристрастного. Внуки Блока будут добрыми и сдержанными с пеленок. Сейчас Блока, наверное, таким еще назвать было сложно. Но я заметил, что если раньше он нередко притворялся, будто обязан совершить двухчасовое железнодорожное путешествие, чтобы с кем-нибудь повидаться (хотя этот человек не очень нуждался во встрече с ним), то теперь, когда Блока приглашали все подряд, не только на завтрак или ужин, но и погостить на две недели там-то и там-то, большинству он отказывал, о том не распространяясь, не бахвалясь, что его пригласили, что он отказал. Сдержанность в словах и поступках пришла к нему с социальным положением, как своего рода социальное взросление, если можно так выразиться. Наверное, прежде

Блок был неискренен, чужд сочувствия и доброжелательности. Но определенные качества и недостатки присущи не столько индивидам, сколько тем или иным отрезкам их существования, рассматриваемым с социальной точки зрения. Для индивидов эти качества — нечто внешнее; люди передвигаются в их лучах как под разными солнцестояниями — предсуществующими, всеобщими, неминуемыми. Так результаты анализов, когда медики пытаются понять, усиливает ли, сокращает ли тот или иной препарат кислотность желудка, активизирует ли, умеряет ли он его секреции, будут различаться сообразно не столько желудку, из секреции которого ими взято немного гастрического сока, но сообразно моменту, в большей или меньшей степени последующему за введением лекарства.

Одним словом, имя Германтов на протяжении всей своей жизни, если рассматривать его как ансамбль имен, им и его окружением включенных, не только претерпевало постоянные потери, но и набирало новые элементы, подобно тем садам, где цветы с едва набухшим бутонем, готовясь заступить место тех, что уже отцвели, растворяются в массе, которая кажется нам подобной, но только если мы никогда не видели новых побегов и не сохранили в памяти точного образа тех, кого больше нет.

Далеко не единичные гости этого утренника, либо лица, благодаря ему воскрешенные моим воспоминанием, открыли для меня — чередой обликов, поочередно

явленных ими мне, обстоятельствами несходными и взаимоисключающими, в которых то одни, то другие, они выступали предо мной, проявляя тем различные стороны моей жизни, — перспективные отличия: так пригорок, холм, замок, выглядывающий то слева, то справа, и, как кажется поначалу, возвышающийся над лесом, затем — выскакивающий из лощины, указывает путнику, что изменилось направление и высота дороги, по которой он идет. Взираясь всё выше, в конце концов я обнаруживал, что облики единого человека отделены такими долгими временными промежутками, сохранены столь разными «я» (и эти «я» сами по себе имели столь разное значение), что я уже привычно упустил их из рассмотрения, когда, как мне казалось, охватывал мыслью развитие моих отношений с ними, и даже не думал больше, что они были теми же моими знакомыми, и мне нужна была случайная вспышка внимания, чтобы восстановить связь, как в этимологии, с их первичным значением. М-ль Сван поверх розового куста бросила на меня взгляд, и его смысл мне следовало ретроспективно исправить, ибо он выражал желание. Любовник г-жи Сван, согласно комбрейской хронике, смотрел на меня поверх той же изгороди тяжелым взором, в котором тоже не было приписанного мной смысла; всякий раз, когда на протяжении последующих десяти лет мне случалось о нем вспоминать, — впрочем, так изменившемся с тех пор, что в Бальбеке я вовсе не признал его в господине, рассматривавшем афишу подле казино, — я думал: «Но

неужели это был г-н де Шарлю, как это любопытно!» Г-жа де Германт на свадьбе у доктора Перспье, г-жа Сван в розовом у моего двоюродного дедушки, г-жа де Камбремер, сестра Леграндена, столь изысканная особа, что он испугался, как бы мы не попросили у него рекомендательного письма, этих образов, как и относящихся к Свану, Сен-Лу и т. д., было так много, что меня забавляло, когда я наткнулся на них, помещать их фасад у порога моих отношений с этими различными людьми; но теперь они были только образом, зароненным в меня даже не этими людьми, и никакой связи между ними не было. Дело не только в том, что одни помнят, а другие нет (даже если не уходить в то постоянство забвения, где пребывают жены турецких послов и т. п.), что позволяет людям всегда — былая ли вещь рассеивается за неделю, или следующая наделена даром изгонять ее — найти в душе место для обратного тому, что им говорили прежде; даже в случае равенства памяти, два человека помнят не одно и то же. Один может не уделить внимания факту, который истерзает второго, однако уловит на лету, как симпатичное и характерное проявление, фразу, брошенную вторым бездумно. Желание не допустить ошибки, когда высказываешь ложное предсказание, сокращает длительность памяти о пророчестве и очень быстро позволяет утверждать, что его не было. Наконец, интерес более глубокий и бескорыстный так сильно разнообразит воспоминания, что поэт, забывший почти всё, о чем ему напоминают другие, удерживает в памяти

мимолетное впечатление. Вот и выходит, что по прошествии двадцати лет нашего отсутствия вместо ожидаемой злобы натыкаешься на непроизвольные и едва ли осознанные извинения, и наоборот — ненависть, причину которой (потому что, в свою очередь, забыл произведенное некогда плохое впечатление) объяснить невозможно. Даже в истории жизни самых близких людей, и в той забываешь даты. И потому, что прошло по меньшей мере двадцать лет с тех пор, как она впервые увидела Блока, г-жа де Германт была уверена, что он вышел из самого близкого ей круга, и не иначе как сама герцогиня де Шартр баюкала его на коленях, и было ему тогда два года.

Столько раз эти люди являлись мне на протяжении своей жизни, и казалось, что обстоятельства высвечивали те же самые существа, но в разных обличьях, постоянно для иной цели, и оттого, что точки моей жизни, через которые прошла нить жизни каждого из этих персонажей, были различны, нити, изначально друг от друга далекие, переплелись, словно у жизни было только ограниченное число волокон для исполнения самых разных узоров. Что общего, к слову, в различных моих прошедших, между посещениями дяди Адольфа, племянником г-жи де Вильпаризи, кухни маршала, встречами с Легранденом и его сестрой, бывшим жилетником, другом Франсуазы по двору? а сегодня эти нити сплелись, теперь они уток, здесь — брак Сен-Лу, там — молодая чета Камбремеров, не говоря уже о Мореле и множестве других персон, которые совместно создали такую обстановку, что мне чудилось, будто именно она

была законченным целым, а персонаж — всего лишь ее составной частью. Моя жизнь была достаточно длинна, чтобы в иных краях памяти я для многих существ мог бы подобрать иное существо, чем-то его дополняющее. Даже к Эльстиру, представшему мне здесь увенчанным славой, я мог бы применить самые давние воспоминания Вердюренов, Котаров, разговор в ривбельском ресторане, прием, на котором я познакомился с Альбертиной, и многие другие. Так коллекционер, увидев створку заалтарного образа, вспоминает, в какой церкви, в каких музеях, частных коллекциях находятся другие (и, с помощью аукционных каталогов, бесед с антикварами, он находит в итоге другую часть своего образа, парную ему створку); он может восстановить в уме пределлу,¹⁷⁵ а то и полностью алтарь. Так бадья в колодце каждый раз при подъеме треплет веревку с другой стороны; и в моей жизни не было ни одного человека, и даже единой вещи, которые поочередно не сыграли бы в ней разных ролей. Я видел, стоило по прошествии нескольких лет воскресить в памяти заурядное светское знакомство, даже материальный предмет, что жизнь безостановочно ткала вокруг них различные нити, в конце концов обившие их прекрасным и неподражаемым бархатом лет, словно бы изумрудным футляром, что обволакивает трубопроводы в старых парках.

Но не только внешний вид этих людей наводил меня на мысль о персонажах сновидения. И для них самих жизнь, уже дремавшая в юности и любви, всё больше становилась мечтой. Они забывали свои ссоры, свою ненависть, и чтобы

не усомниться, что именно с этим человеком они не разговаривают последний десяток лет, им пришлось бы обратиться к какому-нибудь реестру; впрочем, эта книга была бы столь же смутна, как сон, в котором нас кто-то оскорбляет, но сложно сказать — кто. Эти видения приводили к контрастным явлениям в политической жизни, и в составе одного правительства могли оказаться люди, ранее обвинявшие друг друга в убийстве и предательстве. Сон становился непроглядным, как смерть, когда старцы предавались любовным утехам. На следующий день президента республики нельзя было ни о чем просить, он сразу же всё забывал. Затем, если ему позволяли отдохнуть недельку, воспоминание об общественных делах возвращалось к нему — нечаянное, как воспоминание о мечте.

Подчас человек являлся мне не в единственном образе, но в отличном от известного мне давно. Долгие годы Бергот представлялся мне спокойным божественным старцем, я столбенел, словно углядев привидение, при виде серой шляпы Свана, фиолетового мантио его жены; волшебство родового имени окружало герцогиню де Германт даже в салоне: почти басенные начала, очаровательная мифология отношений, ставших затем столь обыденными, но тянувших в прошлое, как в чистое небо, свое сверкание, словно сияющий хвост кометы. И даже те, что не начинались волшебством, как мои отношения с г-жой де Сувре, исключительно светские и сухие сегодня, сохранили начальную улыбку, более теплую и спокойную,

широким мазком вписанную в красочность вечернего морского побережья, весеннего заката в Париже, с шумом экипажей, с поднятой пылью и солнцем — подвижным, как вода. Быть может, не так уж и много г-жа де Сувре стоила, если убрать ее из этой рамки, — как те сооружения, Салюте,¹⁷⁶ например, которые не отличаются особой красотой, и всё же восхитительно смотрятся там, где их построили, — но она входила в комплект воспоминаний, и я оценивал их «оптом», не спрашивая себя, сколько же точно принадлежит данной особе, г-же де Сувре.

Но куда больше, чем изменения физические и социальные, меня удивляли перемены в представлениях людей друг о друге. Когда-то Легранден презирал Блока, он не обмолвился бы с ним и словом. Теперь он был чрезвычайно с ним любезен. Совсе не оттого, что к настоящему моменту Блок занял более значительное положение, — тогда этот феномен не заслуживал бы упоминания, ибо социальные перемещения поневоле приводят к сопутствующим переменам в отношениях между претерпевшими их людьми. Дело было в другом, в том, что в нашей памяти люди — точнее то, чем они являются для нас, — не представляют собой некой статичной картины. По мере забвения они эволюционируют. Иной раз мы начинаем их смешивать с другими: «Блок — это тот, кто приезжал в Комбре» (но, говоря о Блоке, имели в виду меня). Напротив, г-жа Сазра пребывала в уверенности, что я написал историческое исследование о Филиппе II¹⁷⁷ (принадлежавшее перу Блока). Не совершая подобных

перестановок, мы забываем о чьих-либо подлостях, недостатках, последнюю встречу, когда мы не подали друг другу руки, но зато вспоминается предпоследняя, когда нам было весело вместе. И либо поведение Леграндена соответствовало, в его приветливости к Блоку, этой предпоследней, либо он утратил память о каких-то отрезках прошлого, либо считал, что оно само утратило силу, и состоит из прощения, забвения и безразличия, которые также — одно из следствий Времени. Впрочем, даже в любви наша память друг о друге не одина. Чудесным образом Альбертина вспоминала ту или иную фразу, сказанную мной во время наших первых свиданий, но совершенно мной позабытую. О чем-то другом, запавшем в мою душу навечно, как камень, у нее не осталось и тени воспоминания. Наши параллельные жизни похожи на те аллеи, где местами симметрично расставлены цветочные вазы, но не строго одна против другой. Если же мы были не так близки в знакомстве с людьми, то мы с трудом вспомним, что они из себя представляют, либо же мы вспомним нечто другое, то, что относится к более давним временам, что мы о них когда-то думали, что было внушено другими людьми, в среде которых мы и познакомились с ними, — причем последние могли быть знакомы с этими нашими друзьями лишь недавно, и наше воспоминание украшено достоинствами и положением, первым не присущее, — однако забывчивый примет всё это на веру без тени сомнения.

Конечно, жизнь, на протяжении которой наши пути нередко пересекались, являла мне этих людей в особых обстоятельствах, они окружали их с разных сторон и ограничивали видимость, не позволяя познать сущность. Те же самые Германты, предмет моих мечтаний, стоило к ним приблизиться, явились мне — одна в обличье старой бабушкиной подруги, второй — господина, смотревшего на меня, как мне показалось, столь нелюбезно в полдень в саду у казино. (Ибо между нами и людьми остается кайма случайностей, подобная той, что, как я понял во времена моих комбрейских чтений, мешает восприятию целокупно сосредоточиться на реальности и духе). Так что только задним числом, когда я называл их этим именем, это знакомство становилось для меня знакомством с Германтами. Но, наверное, по этой причине в моей жизни было больше поэзии, ведь волшебная порода с пронзительными глазами, птичьим клювом, розовый, золоченый, недостижимый род, так часто и так естественно, силой игры различных слепых обстоятельств, оказывалась предоставлена моему созерцанию, была к моим услугам, и когда мне хотелось познакомиться с м-ль де Стермарья или заказать платья для Альбертины, я обращался, как к самым услужливым из моих знакомых, к моим близким друзьям, к Германтам. Конечно, мне было скучно общаться и с ними, как и с прочими светскими людьми, с которыми я познакомился позже. Это относится и к герцогине де Германт (а также к некоторым страницам Бергота), ибо ее очарование ощущалось мной только

на расстоянии и рассеивалось, стоило очутиться подле нее; оно жило в памяти и воображении. Но в конце концов, вопреки всему Германты, да и Жильберта, отличались от других светских людей, потому что их корни глубже проникали мое прошлое, время, когда я больше мечтал, когда я верил в индивидуальность. И печальное достояние, болтовня с той и другой, в моих детских мечтах представлялось мне чем-то самым прекрасным и недостижимым, и я утешался, смешивая — как торговец, запутавшийся в счетах — стоимость обладания с ценой, которую сообщало им мое желание.

Что же касается прочих, то мои прежние отношения с ними раздувались более пылкими, более безнадежными мечтами, в которых так буйно цвела моя тогдашняя жизнь, безраздельно им посвященная, что я с трудом мог понять, отчего же их осуществление стало убогой, узкой и тусклой лентой безразличной и невзрачной близости, где же их волшебство, пылание, нежность. На них не стояло отметки: «получено»; а некоторых не так давно украсило другое слово, хотя и не более важное, — они теперь были мертвы.

«Так что же стало с маркизой д'Арпажон?» — спросила г-жа де Камбремер. — «Как? Она умерла», — ответил Блок. — «Вы перепутали ее с графиней д'Арпажон, которая умерла в прошлом году». В дискуссию вмешалась принцесса д'Агригент, молодая вдова старого, чрезвычайно богатого мужа, носителя известной фамилии, — многие добивались ее руки, и оттого она лучилась уверенностью: «Маркиза д'Арпажон тоже умерла, где-то год назад». — «Ну, год, а я вам говорю, что нет, — ответила г-жа де Камбремер. — я у нее была на концерте, а года-то с того дня уж никак не прошло». Блок, всего лишь один из «жиголо» света, не мог принять полезного участия в дискуссии, ибо все эти умершие особы из числа пожилых были слишком от него далеки — либо из-за огромной разницы в годах, либо из-за недавнего появления (Блока в частности) в новом обществе, достигнутом окольными путями к закату, в сумерках, где воспоминание о неведомом для него прошедшем ничего не могло прояснить. Но даже для людей одного возраста и среды смерть потеряла свое непостижимое значение. Впрочем, что ни день, возникали слухи о таком числе тех, кто был «при смерти», из которых одни выздоровели, прочие «скончались», что никто уже в точности не помнил, поправилась ли такая-то, которую больше не доводилось видеть, от своей грудной лихорадки,¹⁷⁸ или упокоилась.

В этих возрастных регионах смерть размножается и теряет определенность. На стыке двух поколений и двух обществ, которые, в силу различных причин, не расположены четко ее различать, смерть почти что смешивается с жизнью, она обмирщается, становится событием, в той или иной мере характеризующим человека, и по голосу, когда об этом говорят, невозможно догадаться, что с упомянутым происшествием для него всё кончено. Говорят: «вы забыли, что такой-то умер», как сказали бы: «его наградили», «он теперь академик», или, — и это больше всего подходит, поскольку мешает упомянутому участвовать в празднествах, как раньше, — «он проведет зиму на юге», «ему прописали горы». Что касается людей известных, то оставленное ими по себе после смерти еще помогало вспомнить, что их существование подошло к концу. Но разобраться с обыкновенными пожилыми светскими людьми, мертвы ли они или нет, было затруднительно не столько из-за того, что их прошлое осталось неизвестным или было забыто, сколько оттого, что они никоим образом не смыкались с грядущим. И это затруднение, испытываемое каждым при сортировке между болезнями, отсутствием, отъездом в деревню и смертью светских стариков, оправдывало безразличие колеблющихся и увековечивало незначимость покойных.

«Но если она не умерла, почему ее больше не видать, и куда делся ее муж?» — спросила старая дева, равнодушная к остроумию. — «Да говорю же я тебе, — ответила ее мать, которая, несмотря на шестой десяток, не пропускала

ни единого празднества, — потому что они уже старые: в этом возрасте больше не выходят». Похоже, что перед кладбищем есть целое поселение стариков с лампадками, всегда зажженными в тумане. Г-жа де Сент-Эверт положила дебатам конец, объяснив, что графиня д'Арпажон умерла где-то год назад после долгой болезни, а потом маркиза д'Арпажон тоже умерла, причем очень быстро, «без каких-либо особых симптомов», — смерть, схожая со всеми этими жизнями, объясняющая этим то, что прошла незамеченной, и оправдывающая всех сбитых с толку. Услышав, что г-жа д'Арпажон действительно умерла, старая дева бросила на мать встревоженный взгляд, так как боялась, что известие о смерти одной из ровесниц «потрясет мать»; она уже предвосхищала следующее объяснение ее кончины: «Ее *буквально потрясла* смерть г-жи д'Арпажон».

Но напротив, самой матери старой девы всякий раз, когда какая-либо особа ее возраста «уходила», казалось, что она одержала победу в состязании с видными конкурентами. Старая дева отметила, что мать, без какой-либо досады сообщившая, что г-жа д'Арпажон заключена в жилище, откуда редко выходят усталые старики, еще меньше огорчилась, узнав, что маркиза вошла в селение неподалеку, откуда уже нельзя выйти. Безразличие матери позабавило едкий ум старой девы. Чтобы повеселить друзей, она придумала уморительную историю о том, с каким весельем, как она утверждала, ее мать, потирая руки, произнесла: «Боже мой, и правда эта бедная г-жа д'Арпажон умерла». Даже тем, кому не нужна была ее смерть, чтобы насладиться

собственной жизнью, она доставила удовольствие. Потому что каждая смерть упрощает наше существование, избавляя от необходимости выказывать признательность, наносить визиты. Вовсе не так кончина г-на Вердюрена была воспринята Эльстиром.

Одной даме было пора, она спешила совершить другие визиты — на чаепитие к двум королевам. То была записная великосветская кокетка, с которой я когда-то дружил, принцесса де Нассау. Если бы ее рост не уменьшился, в силу чего она (потому что теперь ее голова оказалась куда ниже, чем прежде) словно бы встала, как говорится, *одной ногой в могилу*, никто бы и не сказал, что она постарела. Она так и осталась Марией Антуанеттой с австрийским носом¹⁷⁹ и нежным взглядом — законсервированной, набальзамированной тысячью восхитительно соединенных притирок, ее лицо лиловело. По нему блуждало смущенное и мягкое выражение, ибо она обязана была и уйти, и нежно обещать вернуться, и улизнуть украдкой, что объяснялось сонмом высоких особ, ее ждущих. Рожденная почти на ступеньках трона, замужняя три раза, долго и роскошно содержанная крупными банкирами, не считая тысячи фантазий, в которых она себе не отказала, она легко несла под платьем, сиреневым, как ее восхитительные круглые глаза и накрашенное лицо, несколько спутанные воспоминания об этом не поддающемся счету прошедшем. Убегая *по-английски*, она прошла рядом со мной, и я ей поклонился. Она меня узнала, пожала руку и приковала ко мне круглые сиреневые зрачки, словно говоря: «Как долго

мы не виделись! Мы поговорим об этом в следующий раз». Она с силой сжала мне руку, не помня уже в точности, не произошло ли между нами чего, вечером, когда она отвозила меня домой от герцогини де Германт, в экипаже. На всякий случай, она намекнула на то, чего не было, что было не так сложно, поскольку она придала ласковое выражение земляничному пирогу, и, ведь она была обязана уйти до окончания концерта, отчаянно изобразила тоску разлуки — впрочем, не окончательной. Так как она не была в полной уверенности относительно приключения со мной, ее тайное рукопожатие не замешкалось и она не сказала мне ни слова. Она только задержала на мне, как я уже говорил, взгляд, обозначавший «Как давно!», в котором читались ее мужа, те, что ее содержали, две войны, и звездообразные ее очи, подобные астрономическим часам, высеченным в опале, последовательно отметили все эти торжественные дни былого, столь далекого, что, как только она хотела сказать вам «здравствуйте», это всегда оказывалось «извините». Затем, оставив меня, она засеменила к дверям, чтобы кого-нибудь не побеспокоить, чтобы показать, что если она со мной не поболтала, то только потому, что спешит возместить минуту, ушедшую на рукопожатие, чтобы поспеть как раз вовремя к королеве Испании, с которой у нее чаепитие тет-а-тет, — когда она дошла до дверей, мне показалось, что сейчас она поскачет. Но на самом деле она спешила в могилу.

Крупная женщина поздоровалась со мной, и в это мгновение самые разные мысли вошли в мой ум. Секунду я колебался

в боязни, что, узнавая людей не лучше меня, она меня с кем-нибудь спутала, но затем ее уверенность заставила меня, — поскольку я испугался, что эта особа мне очень близка, — сделать улыбку поелику можно любезной, тогда как мои взгляды продолжали выискивать в ее чертах имя, которое я никак не мог в них найти. Как соискатель степени бакалавра, уставившись в лицо экзаменатора, тщетно пытается обнаружить ответ, который следовало бы поискать в собственной памяти, всё еще улыбаясь ей, я всматривался в черты крупной дамы. Мне показалось, что то были черты г-жи Сван, и моя улыбка оттенилась почтительностью, а нерешительность пошла на убыль. Секундой позже я услышал, как крупная женщина произнесла: «Вы приняли меня за мою мать; действительно, я стала очень на нее похожа». И я узнал Жильберту.

Мы поговорили о Робере. Жильберта упоминала о нем с почтением — как об исключительном человеке, и словно желая мне показать, что она им восхищалась, что она его понимала. Мы напомнили друг другу, что его идеи о военном искусстве (иногда он повторял ей в Тансонвиле те положения, которые прежде излагал мне в Донсьере, а также позднее), в целом ряде пунктов, не раз оказались подтверждены в последней войне.

«Даже не найду слов, насколько простейшие его замечания, высказанные им еще в Донсьере, поражали меня во время войны и удивляют теперь. Последние слова, услышанные мной от него, когда мы расставались, как выяснилось —

навсегда, были о том, что Гинденбургу, как генералу наполеоновского склада, по его мнению, предстоит осуществить одну из баталий наполеоновского типа — разделение двух противников; может быть, добавил он, нас и англичан. Со дня смерти Робера не прошло и года, и в марте 1918-го глубоко чтимый им критик, который, вероятно, серьезно повлиял на его военные идеи, г-н Анри Биду, охарактеризовал наступление Гинденбурга¹⁸⁰ как пример “баталии разделения двух противников, состоящих в союзе, сосредоточенными силами неприятеля, — маневр, который удался у Императора в 1796-м на Апеннинах, но не получился в 1815-м в Бельгии”. А прежде, в разговоре со мной, Робер сравнил битвы с такими пьесами, по которым не скажешь, чего хотел автор, поскольку в процессе сочинения план менялся. Впрочем, что касается этого немецкого наступления в 1918-м году, Робер, наверное, не согласился бы с толкованием г-на Биду. Другие критики полагают, что продвижение Гинденбурга в амьенском направлении, затем вынужденная остановка, продвижение во Фландрию, затем еще одна остановка, сделали Амьен, а потом Булонь случайными целями, заранее Гинденбургом не намечавшиеся. В конце концов, всякий может переделать пьесу в собственном вкусе, и некоторым в наступлении Гинденбурга видится начало молниеносного броска к Парижу, другим — беспорядочные мощные удары, чтобы разбить английскую армию. И даже если распоряжения, отданные командиром, не подходят под ту или иную концепцию, критики всегда могут

повторить слова Муне-Сюлли, который играл “Мизантропа” как пьесе печальную и драматическую, а на слова Коклена, что Мольер, по свидетельству современников, давал ей комическую интерпретацию, ответил: “Следовательно, Мольер заблуждался”».

«А еще помните, что он говорил об авиации (как замечательно он выражался!): “Нужно, чтобы каждая армия стала Аргусом с сотней глаз”? Увы! ему не довелось видеть подтверждения своих слов». — «А как же битва на Сомме? — возразил я. — Он прекрасно о ней знал: она началась с ослепления противника, ему выкололи глаза, уничтожив его самолеты и аэростаты». — «Действительно!» Однако с тех пор, как в ее жизни остались только духовные цели, Жильберта стала немножко педантичной: «Он настаивал, чтобы мы вернулись к старым средствам. Знаете ли вы, что месопотамские походы в эту войну (она, должно быть, прочла об этом в свое время в статьях Бришо) точь-в-точь повторили путь Ксенофонта? Чтобы переправиться из Тигра в Евфрат, английское командование задействовало *баламы*, длинные и узкие лодки, гондолы той местности, — а ими, кстати говоря, пользовались еще древние халдеи». Я почувствовал, благодаря этим словам, что в некоторых краях образуется застой прошлого и, словно от особого тяготения, оно неопределенно долгий срок пребывает там недвижимым, чтобы мы смогли обрести его в исконном виде.

«Мне кажется, он уже начинал замечать, — сказал я, — какую-то человеческую сторону войны, что теперь она растет как любовь или ненависть, ее можно рассказывать как роман, а следовательно, если кто-то возьмется утверждать, что стратегия — дело научное, то в войне он разобраться не сможет, потому что отныне война не стратегична. Врагу не более известны наши планы, чем нам — намерения нашей возлюбленной, и эти планы, быть может, не ясны и для нас самих. Собирались ли немцы, когда они наступали в марте 1918-го, брать Амьен? Мы ничего об этом не знаем. Наверное, они того не знали и сами, и ход событий — их продвижение на запад к Амьену — определил их замысел. Предположив, что война научна, ее всё равно следует изображать, как Эльстир рисует море, но в другом смысле, исходя из иллюзий, постепенно исправляемых верований — как Достоевский рассказывает о жизни. Впрочем, теперь война относится даже не к ведению стратегии, а к медицине, и включает непредвиденные обстоятельства, которых надеется избежать клиницист, вроде русской революции».

Но признаюсь, что благодаря страницам, прочитанным в Бальбеке, когда Робер находился со мной рядом, более сильное впечатление на меня произвело, — как если бы я нашел во французской деревне ров, описанный у г-жи де Севинье, — явившееся к нам с Востока во время осады Кут-Эль-Амары¹⁸¹ («Кут-эмир, как мы говорим Во-ле-Виконт и Байо-л'Евек», — как сказал бы комбрейский кюре, если бы его этимологическая жажда простерлась до восточных

языков), из окрестностей Багдада, имя Басры, о которой так часто заходит речь в «Тысяче и одной ночи», и куда так часто попадает, отправляясь из Багдада или возвращаясь в Багдад, садясь на корабль и сходя с корабля, — задолго до генерала Таунсенда и генерала Горринджера, во времена халифов, — Синдбад-Мореход.

В беседе со мной Жильберта говорила о Робере с почтительностью, которая в большей степени, как я чувствовал, относится к моему старому другу, чем к ее покойному мужу. Она словно бы хотела этим сказать: «Я знаю, как вы им восхищались. Я сумела понять этого исключительного человека, не сомневайтесь». Но любовь, однако, которой она уже определенно не испытывала к своему воспоминанию, послужила отдаленной причиной, быть может, некоторых особенностей ее теперешней жизни. Жильберта была теперь неразлучна с Андре. Хотя последняя, в первую очередь благодаря таланту супруга, а также собственному уму, проникла пусть не в среду Германтов, но в общество намного более изысканное, нежели те круги, в которых она вращалась доселе, было удивительно, с чего это вдруг маркиза де Сен-Лу снизошла до того, чтобы стать ее лучшей подругой. Во многом это, наверное, свидетельствовало о склонности Жильберты к тому, что она считала артистической жизнью, и к некоторому социальному вырождению. Это объяснение вполне вероятно. Однако мне пришло на ум нечто другое, ведь я всегда был убежден в том, что образы, которые мы видим в совокупности, — это, как правило, лишь ответ

и тем или иным образом отзывающийся отголосок первого, довольно отличного от них соединения, крайне удаленного, хотя и симметричного последующим. Я подумал, что если теперь каждый вечер Андре, ее мужа и Жильберту можно было увидеть вместе, то наверное из-за того, что несколькими годами прежде будущий супруг Андре жил с Рашелью, затем оставил ее ради Андре. Вероятно, тогда Жильберта, из своего слишком далекого и высокого общества, не могла этого разглядеть. Но она должна была узнать об этом позже, когда Андре достаточно поднялась, а сама она опустилась, чтобы они смогли друг друга заметить. Тогда, должно быть, на нее и произвел впечатление огромный престиж женщины, ради которой Рашель была брошена человеком — наверное, обольстительным, если Рашель предпочла его Роберу.

(Слышалось, как принцесса де Германт повторяет с некоторой экзальтацией и полязгиванием вставных челюстей: «Да это же наш кланчик! наш клан! как я люблю эту юность, такую умную, такую деятельную, и ах! такую мужикальную!» Она воткнула крупный монокль в круглый глаз, веселый и извиняющийся, что не может сохранять живость надолго, но исполнилась решимости «оставаться деятельной» и «быть в кланчике» до конца.)

Итак, Андре напоминала Жильберте, наверное, о романе ее юности, ее любви к Роберу, и Жильберта не могла не испытывать большого уважения к Андре, в которую с завидным постоянством был влюблен мужчина, любимый

этой Рашелью, а последнюю, и Жильберта это знала, Сен-Лу любил намного больше, чем ее. А может быть напротив, данные воспоминания не сыграли никакой роли в предрасположенности Жильберты к артистической чете, и следовало усматривать здесь, как во многих прочих случаях, две неразлучные склонности светских женщин — и просветиться, и опуститься. Жильберта, скорее всего, забыла Робера, как я Альбертину, и даже если ей было известно, что писатель оставил Рашель ради Андре, то при встречах с ними она никогда не вспоминала об этом, и этот факт вовсе не повлиял на ее пристрастие. Только свидетельство заинтересованных лиц могло подтвердить, было ли мое первое предположение не только возможным, но и истинным, — единственное средство, которое в подобных случаях остается, если бы в их признаниях можно было обнаружить проникательность и искренность. Но первое встречается редко, а второе никогда. В любом случае, встреча с Рашелью, теперь знаменитой актрисой, вряд ли могла доставить удовольствие Жильберте. Поэтому я был огорчен, когда узнал, что на этом утреннике она будет читать стихи, — обещали «Воспоминание» Мюссе и басни Лафонтена.

«Но что вас тянет на такие людные сборища? — спросила Жильберта. — Вот уж не думала, что встречу вас на этой живодерне. Само собой, я рассчитывала встретить вас где угодно, но не на одном из гульбищ моей тетки, раз уж тетка в наличии», — добавила она с лукавинкой, потому что, будучи г-жой де Сен-Лу несколько дольше, чем г-жа

Вердюрен — принцессой де Германт, она почитала себя «одной из Германтов» с рождения и была неприятно поражена мезальянсом дяди, женившегося на г-же Вердюрен, — этот брак, к тому же, был тысячу раз осмеян при ней в семье; само собой, лишь за спиной Жильберты говорилось о мезальянсе, совершенном Сен-Лу при женитьбе на ней. Она испытывала, впрочем, тем больше презрения к этой поддельной тетке, что, в силу той извращенности, что вынуждает интеллигентную публику избегать заурядных манер, а также из потребности пожилых людей в воспоминаниях, и наконец, чтобы растянуть свое новое светское положение на прошедшее, принцесса де Германт любила говорить о Жильберте: «Скажу вам прямо: это для меня не новые знакомства, у меня была такая дружба с матерью этой милашки! а она, понимаете ли, была большой подругой моей кузины Марсант. Это у меня она познакомилась с отцом Жильберты. Что же касается бедного Сен-Лу, то я уже давно знала всю его семью: его дядя еще в Распельере стал моим “верным”». — «Видите, Вердюрены — вовсе не богема, — говорили мне люди, наслушавшиеся подобных речей принцессы де Германт, — они всегда были друзьями семьи г-жи де Сен-Лу». Может быть, один я знал, благодаря дедушке, что Вердюрены и правда не были богемой. Однако они «не были богемой» отнюдь не потому, что дружили с Одеттой. Рассказы о прошлом, уже никому не ведомом, приукрашиваются с той же легкостью, как повествования о странах, куда никто никогда не ездил. «В конце концов, — заключила

Жильберта, — раз уж вы иногда ходите со своего столпа, не лучше ли вам посещать мои скромные вечеринки в узком кругу, на которые я приглашаю симпатичных и умных людей? Такая толчея, как здесь, для вас, всё же, противопоказана. Я видела, что вы болтали с моей теткой Орианой. У нее, конечно, много достоинств, но мы не ошибемся, не правда ли, если скажем, что до мыслящей элиты ей далеко».

Я не мог рассказать Жильберте о мыслях, посетивших меня за прошедший час, однако я подумал, что она могла бы, исключительно для моего развлечения, содействовать моим удовольствиям — которые виделись мне, однако, отнюдь не в разговорах о литературе с герцогиней де Германт или с г-жой де Сен-Лу. Конечно, с завтрашнего дня я намеревался возобновить, и на этот раз не бесцельно, жизнь в одиночестве. В часы работы я запретил бы себя посещать, ибо долг по отношению к произведению возобладал во мне над обязанностью быть вежливым и даже приветливым. Наверное, мои друзья проявят настойчивость, потому что мы не виделись очень долго; а теперь, встретившись со мной, они решат, что я выздоровел; когда дневные или житейские заботы закончатся или прервутся, они потянутся ко мне, как я когда-то к Сен-Лу, потому что — как я догадался об этом уже в Комбре, когда я намеревался было, не отчитываясь родителям, следовать самым похвальным намерениям, и именно в этот момент меня осыпали упреками, — внутренние людские циферблаты не совпадают на одном часе. У одного бьет час

отдыха, у другого — час работы, у судьи — час возмездия, а час раскаяния и глубокого перерождения преступника прозвонил уже много лет назад. Но у меня хватило бы смелости ответить всем, кто придет ко мне или позовет меня, что в связи с самыми существенными делами, в которых следует незамедлительно разобраться, у меня неотложная, архиважная встреча с самим собой. Хотя и мало связи между нашим подлинным «я» и тем вторым, но по причине их омонимии и общности их тела самоотречение, заставляющее нас приносить в жертву нехитрые обязанности и даже радости, представляется другим эгоизмом.

И все-таки, не для того ли я буду жить с ними в разлуке, чтобы заняться ими, сетовавшими, что не видятся со мной, чтобы разобраться в них основательней, чем то было бы возможно в их обществе, чтобы попытаться открыть для них их суть, осуществить их? Какую пользу принесла бы многолетняя трата вечеров, если бы я издавал в ответ на эхо их едва выдохнутых слов столь же тщетное звучание моих, ради бесплодного удовольствия светской беседы, исключаящей всякое проникновение? не лучше ли будет, если я попытаюсь описать кривую их жестов, слов, их жизни, характера, чтобы вывести их закон? к несчастью, мне придется бороться с привычкой ставить себя на место других людей, которая, хотя и благоприятствует разработке произведения, тормозит его исполнение. Мы из излишней вежливости жертвуем друзьям не только своими удовольствиями, но и долгом, и наш долг — даже если он

для того, кто не смог бы принести никакой пользы фронту, заключается в том, чтобы оставаться в тылу, где напротив он будет полезен, — стоит нам поставить себя на чужое место, противу действительности представляется нашим удовольствием.

В отличие от многих великих мужей в жизни без дружбы и болтовни я не находил ничего трагического, я ясно сознавал, что те силы, которые расходуются в дружеской экзальтации, — это лишь ложная дверь личной дружбы, никуда не ведущей, отвращающей нас от истины, к которой эти силы способны были нас привести. Но затем, когда понадобится передышка отдохновения и общества, я, в крайнем случае, подобно той лошади, которая питается исключительно розами, прописал бы своему воображению не столько интеллектуальные разговоры, считаемые в свете особо полезными для писателей, сколько, как отборную пищу, легкие увлечения юными девушками в цвету. Внезапно мне снова захотелось того, о чем я так страстно мечтал в Бальбеке, когда, еще не будучи с ними знаком, я увидал, как по кромке моря шествуют Альбертина, Андре и их подружки. Но увы! у меня уже не получится встретиться с теми, кого в этот момент я так сильно вождедел. Действие лет, изменившее встреченных мною сегодня, саму Жильберту, конечно же сделало бы из уцелевших — в том числе Альбертины, если бы она не погибла, — женщин мало в чем схожих с теми, которые жили в моем воспоминании. Встреча с ними не принесла бы мне ничего, кроме мучения, ибо время, меняющее

людей, оставляет в целости их нетронутый образ. Нет ничего мучительней, чем это несогласие между порчей людей и незыблемостью воспоминания, когда мы понимаем, что девушка, которая так свежа в нашей памяти, уже не будет такой в жизни, что мы не можем приблизиться во внешнем мире к ней, еще столь прекрасной во внутреннем, возбуждающей наше, вопреки всему — столь сокровенное желание еще раз повидаться с нею, что нам приходится искать ее в девушке приблизительно тех же лет, то есть в другой девушке. Я уже не раз догадывался, что неповторимым в женщине, которую мы вождедем, представляется то, что не принадлежит ей. Но истекшее время еще сильнее уверило меня в этой истине, поскольку по прошествии двадцати лет я инстинктивно намеревался искать встречу не с теми девушками, которых знал, но с теми, которые были сейчас такими же юными, как те — тогда. (Впрочем, это не только пробуждение наших плотских желаний, не сообщающихся с реальностью, поскольку они не принимают в расчет истекшее время. Когда-то я терзался страстным желанием, чтобы, благодаря какому-нибудь чуду, ко мне вошли живые — вопреки тому, что мне было известно, — бабушка, Альбертина. Я верил, что увижу их, и мое сердце устремлялось навстречу. Я забывал, однако, что если бы они действительно были живы, Альбертина сейчас выглядела бы, как г-жа Котар в Бальбеке, что я не увидел бы больше красивого, спокойного и улыбающегося лица бабушки, — нынче ей перевалило бы за девяносто пять, — а им я наделял ее по сей

день с тем же самоуправством, благодаря которому Богу Отцу пририсовывают бороду, а гомеровских героев в XVII веке обряжали в дворянские одежды, напрочь забывая об их древности).

Я посмотрел на Жильберту и у меня не возникло желания снова ее увидеть; однако я сказал ей, что она всегда доставила бы мне удовольствие, пригласив меня вместе с юными девушками, небогатыми, если это возможно, чтобы у меня была возможность радовать их скромными подарками, — ничего, впрочем, не требуя от них взамен, кроме возрождения во мне былых мечтаний, бывлой грусти, может быть, в какой-нибудь невозможный день, целомудренного поцелуя. Жильберта улыбнулась и серьезно о чем-то задумалась.

Как Эльстир, с любовью созерцавший воплощенную перед ним, в его жене, венецианскую красоту, которую он нередко воссоздавал в своих полотнах, я извинял себя за то, что меня влечет, из некоторого эстетического эгоизма, к прекрасным женщинам, могущим принести мне страдания, что во мне живет какое-то идолопоклонство перед будущими Жильбертами, будущими герцогинями де Германт, будущими Альбертинами, — я их встречу и они, возможно, вдохновят меня как скульптора, гуляющего среди прекрасных античных статуй. Мне стоило бы, однако, вспомнить, что каждой из них предшествовало омывающее чувство тайны, и было бы проще, вместо того чтобы просить Жильберту познакомить меня с юными

девушками, отправиться в те места, где ничто не может связать нас с ними, где между ними и тобой встает нечто неодолимое, где, в двух шагах, на пляже, пока идешь к воде, ты чувствуешь, что отделен от них невозможностью. Только в этом случае я переживал чувство тайну, которое последовательно могло применяться к Жильберте, герцогине де Германт, Альбертине и многим прочим. Конечно, неизвестное и недостижимое становится знакомым, близким, безразличным или мучительным, но в нем всегда остается что-то от его бывшего очарования.

И как на календарях, которые почтальон, чтобы получить плату,¹⁸² приносит нам на новый год, не было ни одного года, на фронтисписе которого, или затерявшись во днях, не сохранился бы образ женщины, которую я тогда вождедел; образ тем более произвольный, что, бывало, мне так и не доводилось впоследствии с ней повстречаться — как, например, с камеристкой г-жи Пютбю, м-лью д'Орженвиль, той или иной девушкой, чье имя встретилось мне в светской хронике, среди «очаровательного роя вальсирующих девиц». Я угадывал ее красоту, я страстно влюблялся в нее, я лепил ее идеальное тело, возносящееся своей высотой над пейзажем провинции, где, как я узнал в «Ежегоднике Поместий», расположены уголья ее семьи. Что же касается женщин, с которыми я был знаком, то эти пейзажи как минимум были двойными. Каждая из них восставала в разных точках моей жизни, возвышаясь как покровительствующее местное божество, поначалу среди одного из тех вымышленных пейзажей,

что наслаивались на мою жизнь и разграфляли ее, и куда я, мечтая о ней, ее вписывал; затем следовал вид со стороны памяти, окруженной местами, где я впервые ее увидел, или местами, что она напомнила мне, так и оставшись к ним привязанной; ибо если наша жизнь — это кочевье, то наша память ведет оседлый образ жизни, и сколько бы мы, без передышки, ни устремлялись вперед, наши воспоминания, прикованные к уже покинутым местам, всё еще ведут там свою домоседную жизнь, подобно мимолетным друзьям путешественника, которые завелись у него в каком-нибудь городе, где ему и придется их покинуть, когда он оттуда уедет, потому что именно там для них, никогда не выезжающих, кончается странствие и жизненный путь — а он словно бы еще смотрит на них, стоя у подножия церкви, перед гаванью, под деревьями бульвара. Поэтому тень Жильберты падала не только на паперть церкви в Иль-де-Франс, где я представлял ее, но также на аллею парка возле Мезеглиза; а тень г-жи де Германт на влажную тропку, где поднимались в рогозах фиолетовые и красноватые кисти, или на утреннее золото парижского тротуара. И эта вторая особа, порожденная не желанием, но памятью, не была, для каждой из этих женщин, неповторимой. Ибо на каждую из них я смотрел с разных сторон, в разные времена, когда они становились для меня иными, да и сам я менялся, овеваемый мечтами другого цвета. Но закон, управлявший мечтами каждого года, удерживая в связке с ними воспоминания о женщине, которую я узнал; и всё относящееся, например, к герцогине де Германт времен

моего детства было сгущено, силой притяжения, вокруг Комбре, а всё присущее герцогине де Германт, пригласившей меня на обед, вокруг совершенно иного чувства; много было герцогинь де Германт, как, начиная с дамы в розовом, много было мадам Сван, разделенных бесцветным эфиром лет, и перескочить от одной к другой было для меня столь же затруднительно, как отправиться с одной планеты на другую — через эфир. Они были не только разделены, они были отличны друг от друга, украшены грезами разных лет, как особой флорой, немислимой на другой планете; и так мало в них было схожего, что уже решив, что я не пойду обедать ни к г-же де Форшвиль, ни к г-же де Германт, я с трудом мог помыслить, поскольку оказался бы в другом мире, — а если и мог, то только благодаря тому, что какая-то осведомленная моя частица твердила о том, как авторитетный ученый о Млечном пути, возникшем вследствие дробления одной звезды, — что первая не была отлична от г-жи де Германт, ведущей происхождение от Женеьевы Брабантской, а вторая от дамы в розовом. Так и Жильберта, у которой я просил, не отдавая себе отчета в том, позволения дружить с девушками — такими, какой была когда-то она сама, — теперь стала для меня только г-жой де Сен-Лу. Я не помышлял больше, глядя на нее, о том значении, что возымело для моей любви, и оно было забыто и ею, восхищение Берготом, который снова стал для меня лишь автором своих книжек, и уже не помнил, если не считать редких и случайных озарений, о том смятении,

что было испытано мной, когда я был ему представлен, разочаровании, изумлении от особенностей его речи — в гостиной с белой обивкой, украшенной фиалками, куда так рано приносили множество ламп, чтобы расставить их на столики. На деле же воспоминания, составившие первую м-ль Сван, были отрезаны от Жильберты сегодняшней; они удерживались в аромате боярышника тяготением другой вселенной: фразы Бергота, с которой у них было единое тело.

Сегодняшняя фрагментарная Жильберта выслушала мою просьбу с улыбкой. Затем с серьезным видом погрузилась в размышления — к моей глубокой радости, потому что это помешало ей заметить группу людей, встреча с которыми едва ли доставила бы ей большое удовольствие. То была герцогиня де Германт, воодушевленная беседой с жуткой старухой; я разглядывал ее и не мог понять, кто она — она мне никого не напоминала.¹⁸³ На самом деле тетка Жильберты болтала в этот момент с Рашелью, ныне знаменитой актрисой, — та собиралась прочесть на этом утреннике стихи Виктора Гюго и Лафонтена. Герцогиня уже очень давно удостоверилась в том, что у нее самое блестящее положение в парижском обществе (не понимая, что «блестящее положение» существует только в умах тех, кто признает его таковым, что большинство новых лиц, никогда о ней не слыхавших и не встречавших ее имя в отчетах о каких-либо замечательных вечеринках, полагают, что на самом деле она не занимает никакого положения), и как можно реже, с большими промежутками,

превозмогая скуку, посещала Сен-Жерменское предместье, осточертевшее ей, как она выражалась, до смерти, но зато позволяла себе причуды, например, обед с той или иной актрисой, которую она находила восхитительной. В своей новой среде, но так и не изменившись, хотя сама она думала иначе, она по-прежнему считала, что «слегка скучать» свидетельствует об интеллектуальном превосходстве, но это выражалось ею с грубостью, с некоторой хрипотцой. Стоило мне упомянуть Бришо, и она ответила: «Он меня извел за эти двадцать лет», а когда г-жа де Камбремер сказала: «Перечитайте, что Шопенгауэр пишет о музыке», она отметила эту фразу, хмыкнув: «*Перечитайте* — это шедевр! Ну, пожалуй, это будет не просто». Старый д'Альбон улыбнулся, признав проявление духа Германтов. Жильберта, как женщина более современная, осталась бесстрастной. Хотя она и приходилась Свану дочерью, но, подобно утке, высиженной курицей, была девушкой романтической, и потому возразила: «Я нахожу, что это славно; в этом есть истинное чувство».

Я рассказал г-же де Германт о своей встрече с бароном де Шарлю. В ее глазах он «опустился» еще ниже; дело объясняется тем, что в свете отмечают различия не только между умственными способностями отдельных его представителей, — впрочем, они мало у кого различаются, — но даже между умственными способностями отдельного человека в различные периоды его жизни. Затем она добавила: «Он всегда был портретом моей свекрови,

но теперь это сходство поразительно». И в этом нет ничего странного. Иногда сыновья воссоздают черты своих матерей с величайшей точностью, и единственная погрешность заключена, так сказать, в половой принадлежности. Ошибка, о которой не скажешь *felix culpa*, потому что пол отразится на личности, материнская утонченность обернется в мужчине жеманством, сдержанной обидчивостью и т. д. Не важно, на лице ли, будь оно бородато, на щеках ли, даже рдеющих под бакенбардами, но некоторые черты, совпадающие с материнским портретом, отыскать возможно. Найдется ли такой старый Шарлю, такая развалина, в котором мы не обнаружим, изумившись, под слоями жира и рисовой пудры, осколки прекрасной женщины в ее вечной юности?.. В эту минуту вошел Морель; герцогиня была с ним так любезна, что я был смущен. «Я не участвую в семейных ссорах, — сказала она. — Вы не находите, что семейные ссоры — это скучно?»

Если за двадцатилетний отрезок конгломераты кланов разрушались и преобразовывались сообразно притяжению новых светил, в той же мере, впрочем, обреченных на гибель, чтобы затем явиться вновь, то кристаллизации, а затем дробления, следовавшие новым кристаллизациям, происходили в душе людей. Для меня г-жа де Германт была многоликой, а для г-жи де Германт, г-жи Сван и т. д. тот или иной человек был любимчиком в эпоху, предшествующую делу Дрейфуса, а затем фанатиком или слабоумным с началом Дела, ведь оно заставило их переоценить людей и по-иному распределило партии, после заново

разрушавшиеся и воссоздававшиеся. С невероятной силой тому способствует, воздействуя на наше чисто интеллектуальное сродство, ход времени: мы забываем антипатии, ненависть и самые причины, которыми объясняются наши антипатии и нелюбовь. Если рассмотреть под этим углом положение юной г-жи де Камбремер, то мы обнаружим, что она была дочкой торговца из нашего дома, Жюпьена, и если что-то могло способствовать тому, чтобы она стала блистательной светской дамой, то только тот факт, что ее отец поставлял мужчин г-ну де Шарлю. Однако в совокупности эти далекие причины произвели ошеломительный эффект, хотя они остались неведомы не только для большинства новоявившихся фигур, но и более того — уже были забыты теми, кто знал их; последние вспоминали не о былом позоре, но о сегодняшнем блеске, ибо имена воспринимаются в их современном употреблении. Занимательным же моментом в этих салонных трансформациях было то, что они также являлись следствием утраченного времени и феноменом памяти.

Герцогиня еще колебалась в отношении Бальти и Мистенгет, опасаясь взбучки от г-на де Германта, но, хотя она считала их актрисами неподражаемыми, решительно сдружилась с Рашелью. Новые поколения заключили из этого, что герцогиня де Германт, несмотря на свое имя, была, должно быть, чем-то вроде кокетки и никогда к «сливкам» отношения не имела. Правда, г-жа де Германт по-прежнему утруждала себя обедами с суверенами, чья близость с нею

обсуждалась двумя другими знатными дамами. Но, с одной стороны, они приезжали редко, с другой — знали с людьми низкого звания, а герцогиня, из германтского пристрастия к соблюдению архаического протокола (ибо люди просвещенные «изводили» ее, но вместе с тем сама она ценила образованность), указывала, чтобы в приглашениях было означено: «Ее Величество предписали герцогине де Германт, соблаговолили и т. д.». Как же низко пала г-жа де Германт, заключали новые слои общества, незнакомые с этими формулами. С точки зрения г-жи де Германт ее близость с Рашелью должна была нам доказать, что мы заблуждались, когда в ее осуждении светскости находили лишь лицемерие и ложь, когда мы полагали, что из снобизма, а вовсе не во имя духовной жизни она отказывалась посещать г-жу де Сент-Эварт, называя ее тупицей только за то, что маркиза была снобкой напоказ, и ничего этим не добилась. Однако, помимо того, ее дружба с Рашелью означала, что герцогиня действительно не блистала умом, что на склоне лет она не была удовлетворена и, устав от света, испытывала потребность в кипучей деятельности, в силу тотального неведения подлинных интеллектуальных ценностей и игривости воображения, что заставляет иногда знатных дам говорить «как это будет мило» и заканчивать свой вечер просто убийственно: задумав в шутку кого-нибудь разбудить, они в итоге не знают, что тут сказать и, постояв недолго подле кровати в вечернем мантио, удостоверившись, что слишком поздно, в конце концов отправляются спать.

Нужно отметить, что благодаря антипатии, которую переменчивая герцогиня с недавних пор питала к Жильберте, она могла получать дополнительное удовольствие от встреч с Рашелью, — помимо того, это позволяло ей повторить одну из максим Германтов: «нас слишком много, чтобы принимать чью-либо сторону» (чтобы не сказать «носить траур»); эта свобода от «мне не должно» усугублялась политикой, которую пришлось усвоить в отношении г-на де Шарлю — потому что, принимая его сторону, следовало рассориться со всем светом.

Если Рашели стоило больших трудов сойтись с герцогиней де Германт (эти усилия герцогиня не распознала под напускным презрением и намеренной неучтивостью, благодаря которым она увлеклась и создала высокий образ актрисы, совершенно лишенной снобизма), то в целом это объясняется влечением, которое с определенного момента испытывают светские люди к заматерелой богеме, параллельным тому, что сама богема испытывает к свету, — двойная волна, в политической области соответствующая взаимному любопытству и стремлению заключить союз между сражающимися народами. Но желание Рашели можно объяснить и более личными причинами. Именно в доме г-жи де Германт, именно от г-жи де Германт она получила когда-то одно из самых сильных оскорблений в своей жизни. Рашель не забыла его исподволь, и не простила; однако ни с чем не сравнимый авторитет, приобретенный в ее глазах герцогиней, уже не мог быть

изглажен. Однако беседа, от которой мне хотелось отвлечь внимание Жильберты, была прервана; хозяйке дома понадобилась актриса — ей пора было приступить к чтению; и вскоре, оставив герцогиню, актриса показалась на эстраде.

В это время на другом конце Парижа разыгрался иной спектакль. Как я уже говорил, Берма пригласила нескольких лиц на чаепитие в честь дочери и зятя.¹⁸⁴ Приглашенные не торопились. Узнав, что Рашель читает стихи у принцессы де Германт (что возмутило великую актрису — для нее Рашель так и осталась потаскушкой, допущенной к участию в спектаклях, в которых сама она, Берма, играла первые роли, и только потому, что Сен-Лу оплачивал театральные костюмы; еще сильнее ее раздосадовала обещавшая Париж новость, будто приглашения были от имени принцессы де Германт, но в действительности у принцессы принимала гостей сама Рашель), Берма еще раз настойчиво предписала своим друзьям посетить ее полдник, поскольку знала, что они дружат также с принцессой де Германт, известной им еще под именем г-жи Вердюрен. Однако время шло, а никто к Берма не жаловал. Блок, у которого спросили, придет ли он, простодушно ответил: «Нет уж, лучше я пойду к принцессе де Германт». Увы! нечто подобное решил про себя каждый. Берма страдала от неизлечимой болезни, и давно ни с кем не встречалась; она чувствовала, что ей становится хуже, но чтобы удовлетворить чрезмерные потребности своей дочери (болезненный и ленивый зять для этого был непригоден), снова вышла на сцену. Ей было известно, что этим она сократит свои дни,

но она хотела обрадовать дочку, ей она отдала свой огромный гонорар, и зятя, которого ненавидела и которому угождала. Зная, что дочь его боготворит, Берма боялась его рассердить, чтобы он, по злобе, не лишил ее встреч с нею. А дочь Берма, втайне любимая врачом, лечащим мужа, позволила себя убедить, что эти представления «Федры» не представляют большой угрозы для здоровья ее матери. В известной степени, она и вынудила врача сказать эти слова, только их удержав в памяти и оставив предостережения без внимания; но и правда врач сказал, что не видит большого вреда в этих спектаклях. Он сказал так, потому что чувствовал, что доставит этим удовольствие любимой женщине; может быть оттого, что не знал всего и во всяком случае не сомневался, что болезнь Берма неизлечима, ибо мы охотно идем на сокращение мучений больного, когда средства нам на руку; также, может быть, из-за мысли, что этим доставит удовольствие Берма и, следовательно, принесет ей благо; глупой мысли, в истинности которой он удостоверился, когда, получив место в ложе детей Берма, ради чего дернул от своих больных, он увидел, что на сцене она столь же полна жизни, сколь дома близка к смерти. Дело в том, что зачастую привычки позволяют не только нам самим, но даже нашим органам приспособиться к невозможному, на первый взгляд, существованию. Кто не видел сердечника, ветерана манежа, вытворяющего сложные номера, хотя сложно поверить, что его сердце еще способно выдерживать их исполнение? Берма не меньше привыкла к сцене, ее органы

прекрасно приспособились к ней, и она смогла создать, усердствуя с незаметной для публики осторожностью, видимость отменного здоровья, расстроенного исключительно нервной, а то и вымышленной болезнью. И хотя после сцены объяснения с Ипполитом Берма почувствовала, что ей предстоит жуткая ночь, поклонники аплодировали ей изо всех сил, уверяя, что в этот вечер она была как никогда прекрасна. Она вернулась с ужасными болями, но была счастлива, что принесла дочке голубые билеты, которые, из шалости состарившейся дочери актеров, она по привычке спрятала в чулках, — чтобы гордо достать их оттуда, рассчитывая на улыбку, на поцелуй. К несчастью, на эти деньги зять и дочка приобрели новые украшения для своего дома, смежного с особняком матери, и беспрерывные удары молотка не дали великой трагической актрисе забыться сном, в котором она так сильно нуждалась. Согласно велениям моды, и чтобы угодить вкусу г-на де Х и де У, которых они надеялись принимать у себя, перестраивалась каждая комната. Берма знала, что только сон успокоит ее боль, и чувствовала, что он ускользнул от нее; она смирилась с тем, что уже не заснет, но в глубине души затаила презрение к этим изыскам, предвещавшим ее смерть и превратившим в пытку ее последние дни. Возможно, поэтому она презирала их — естественная месть тому, кто причиняет нам страдание, кому мы бессильны противостоять. Но также потому, что, следуя за своим гением и с самых юных лет усвоив безразличие к велениям моды, сама она оставалась

верна традиции, всегда почитала ее и уже стала ее воплощением, судя о вещах и людях по меркам тридцатилетней давности; в частности, Рашель для нее была не модной актрисой, которой она являлась сегодня, а обыкновенной шлюшкой, которую Берма узнала давно. Впрочем, Берма была не лучше дочери, и именно от нее дочь заимствовала — по наследству, от заразительности примера, который по причине более чем естественного восхищения был еще действенной, — ее эгоизм, ее безжалостную язвительность и неосознанную жестокость. Только Берма всё это приносила в жертву своей дочери, и потому была от того освобождена. Впрочем, даже без своих рабочих дочь Берма изводила бы мать, ибо притягательные, жестокие и легкие силы юности утомляют болезнь и старость, для которых изнурительно само желание угнаться за ними. Званные обеды устраивались постоянно; Берма проявила бы эгоизм, как считали некоторые, если бы лишила дочь этих приемов, и если бы сама Берма на них не присутствовала; а ведь с таким трудом удалось залучить недавних знакомых — их приходилось всячески улаживать, — и дочь рассчитывала на обаяние знаменитой матери. Этим знакомым любезно «обещали» ее присутствие на каком-то празднестве вне дома. Бедной матери, основательно задействованной в своем тет-а-тете со смертью, пришлось встать пораньше и выйти. А затем, поскольку примерно в те дни Режан, во всем блеске своего таланта, выступила за границей, где имела ошеломительный успех, зять счел, что Берма должна выйти

из тени, и чтобы на семью снизошло то же изобилие славы, отправил ее в турне. Берма пришлось колоть морфином, что могло привести к смерти из-за состояния ее почек. Те же светские чары — социального престижа, жизни — в этот день словно насосом, силой пневматической машины, вытянули и увели на празднество у принцессы де Германт даже самых верных завсегдатаев Берма; у нее же, напротив, и как следствие, воцарились абсолютная пустота и смерть. Пришел лишь один юноша: он не был уверен наверняка, что прием Берма своим блеском уступит утреннику принцессы. Когда Берма поняла, что время прошло, что все ее оставили, она приказала принести чай, и они уселись вокруг стола, будто совершая тризну. Ничто больше в ее облике не напоминало лицо, фотография которого так сильно взволновала меня на Средокрестье. У Берма была, как говорят в народе, смерть на лице. На сей раз в ней и правда было что-то от статуй Эрехтейона. Затверделые артерии уже наполовину окаменели, видны были длинные скульптурные ленты, сбегавшие с щек, — жесткие, как минералы. В умирающих глазах еще можно было заметить что-то живое, но лишь по контрасту с жуткой окостенелой маской — они блестели едва-едва, как змея, уснувшая среди камней. Молодой человек, из вежливости присевший к столу, поглядывал на часы, ему не терпелось уйти на блистательное празднество Германтов.

Берма и словом не упрекнула покинувших ее друзей, наивно надеявшихся на то, что о причине их отсутствия она не узнает. Она только пробормотала: «Такая женщина,

как Рашель, устроила прием у принцессы де Германт. Чтобы на это посмотреть, стоит съездить в Париж». И медленно, безмолвно, торжественно вкушала запретные пирожные, будто празднуя тризну. Тем тоскливее было на “празднике”, что зять сердился: Рашель, с которой он и его жена были в достаточно близких отношениях, их не пригласила. Червячок заточил сильнее, когда приглашенный юноша сказал ему, что он достаточно близок с Рашелью, и может тотчас отправиться к Германтам, чтобы в последнюю минуту выпросить приглашение для легкомысленной четы. Но дочь Берма отлично знала, как сильно мать презирает Рашель, что она повергла бы ее в смертельное отчаяние, испрашивая приглашение у отставной потаскушки. Так что молодому человеку и мужу она ответила, что это невозможно. Но за себя отомстила, надула губки и всем своим видом во время чаепития показывала, как ее тянет к удовольствиям, и какая скука — лишать себя всего из-за этой гениальной матери. Последняя, казалось, не замечала ужимок дочери и время от времени, умирающим голосом, обращалась с какой-нибудь любезностью к юноше, единственному пришедшему из приглашенных. Но стоило воздушному напору, сметавшему к Германтам всё, унесшему и меня, усилиться, как он встал и ушел, оставив Федру или смерть — было не ясно, кем из них она стала, — вкушать погребальные пирожные с дочерью и зятем.

Нас прервал голос актрисы, вышедшей на эстраду. Ее игра была искусна: подразумевалось, что стихотворения как нечто целое существовали и до этой читки, а мы слышали только

отрывок, будто актриса пришла откуда-то издалека,
но лишь сейчас оказалась в пределах слышимости.

Анонс произведений, известных практически всем, не мог не вызвать удовольствия. Но когда актриса, еще не приступив к чтению, зарыскала повсюду глазами, словно заблудилась, воздела руки, словно молит о чем-то, испустила первое слово, как стон, присутствующие почувствовали себя неловко, без малого покоробленные такой выставкой чувств. Никто не предполагал, что чтение стихов может оказаться чем-то подобным. Мы постепенно привыкаем, то есть забываем первое неловкое ощущение и выискиваем, что здесь может быть хорошего, сопоставляя в уме различные манеры чтения, чтобы решить: это лучше, это хуже. Но услышав такое впервые, — как в суде при рассмотрении простого дела, когда адвокат выступает вперед, поднимает в воздух руку, с которой ниспадает тога, и довольно угрожающе бросает первые слова, — мы не осмеливаемся глядеть на соседей. То, что это комично, представляется нам очевидным, но быть может, в конечном счете, что-то есть в этом величественное, и мы выжидаем, когда обстановка прояснится.

Так или иначе, аудитория была озадачена, поскольку эта женщина, еще не издав ни единого звука, согнула колени, вытянула руки, будто баюкая что-то невидимое, а затем, скрючившись, пролепетала всем известные строки, словно бы кого-то о чем-то умоляя. Присутствующие переглядывались, не очень понимая, как к этому отнестись;

плохо воспитанные юнцы давились глупым смехом; каждый украдкой бросал на своего соседа потаенный взгляд, как на изысканных обедах, когда, обнаружив подле себя новое приспособление — вилку к омару, ситечко для сахара и т. п., предназначение которых, как и способ обращения с ними неведомы, мы следим за более авторитетным соседями, надеясь, что они употребят их прежде и благодаря тому выведут нас из затруднения. Некоторые поступают так, когда цитируется неизвестный стих, желая показать, что на самом деле они его знают, будто пропуская вперед перед дверью, в порядке одолжения, и доставляют удовольствие более осведомленным прояснить, чье же это пера. Так, слушая актрису, присутствующие выжидали, опустив голову, но стреляя взглядами, что другие возьмут на себя инициативу смеяться или критиковать, плакать или аплодировать.

Г-жа де Форшвиль, специально приехавшая из Германта, откуда герцогиню практически изгнали, приняла выжидательное и напряженное выражение — почти решительно неприятное, либо с целью показать, что она дока и присутствует здесь не в качестве светской дамы, либо из враждебности к людям, которые не разбирались в литературе до такой степени, как она, и могли бы осмелиться заговорить с ней о чем-то еще, либо от усилия всей своей личности, пытающейся понять, «любит» она это или же «не любит», либо же, возможно, оттого что всё еще находя это «интересным», она, по меньшей мере, «не

любила» манеру произносить отдельные стихи. Наверное, эта поза в большей степени приличествовала принцессе де Германт. Но поскольку читали в ее доме, а ее новый недостаток был соразмерен ее скупости, она рассчитывала отблагодарить Рашель пятью розами, и по этой причине ударяла в ладони. Она подстрекала общий восторг и «делала прессу», неустанно издавая радостные возгласы. Только в этом она проявлялась как г-жа Вердюрен, — словно бы решив послушать стихи ради собственного удовольствия, словно бы возымев желание, чтобы их прочитали *ей* одной, она ненароком дозволила разделить собственное наслаждение тем пятистам человек, ее друзьям, которые ненароком оказались рядом.

Так или иначе, я заметил, — без какого-либо самолюбивого удовлетворения, впрочем, ибо она была стара и отвратительна, — что актриса строит мне глазки; не без некоторой сдержанности, однако. Во время чтения в ее глазах пробежало мерцание затаенной и проницательной улыбки, той приманки для согласия, которое ей хотелось от меня заполучить. Некоторые старые дамы, тем не менее, не приученные к поэтическим чтениям, спрашивали у соседей: «Вы видели?» — намекая на торжественную, трагическую мимику актрисы; они не знали, как ее истолковать. Герцогиня де Германт, слегка поколебавшись, определила победу, воскликнув: «Это восхитительно!» — прямо в середине чтения; она почему-то решила, что стихотворение уже закончилось. Многие присутствующие отметили ее восклицание одобрительным

взглядом, наклоном головы, чтобы подчеркнуть не столько, быть может, свое притягательство, сколько свою близость герцогине. Когда чтение подошло к концу, а мы были довольно близко от актрисы, она поблагодарила г-жу де Германт и одновременно, пользуясь тем, что я стою рядом с герцогиней, повернулась ко мне и грациозно меня приветствовала. Тогда я понял, что эта особа, по-видимому, знакома мне, потому что, в отличие от пылких взглядов сына г-на де Вогубера,¹⁸⁵ которые я принял за приветствие заблуждающегося на мой счет, то, что мне казалось страстными взглядами актрисы, лишь сдержанно подначивало меня на узнавание и приветствие. Я с улыбкой поклонился ей в ответ. «Я уверена, что он не узнал меня», — сказала чтица герцогине. «Что вы, — ответил я убежденно, — я узнал вас прекрасно». — «И кто же я такая?» Мое положение было щекотливым: ее лицо не говорило мне ничего. К счастью, если во время столь самоуверенного чтения прекраснейших стихов Лафонтена эта женщина думала только о том, либо по доброте, либо по глупости, либо от замешательства, как бы со мной поздороваться, слушая те же прекраснейшие стихи Лафонтена, Блок не мог дожидаться конца чтения, чтобы подскочить, словно осажденный, пытающийся еще один выход, и, пройдя если не по телам, то по ногам соседей, поздравить чтицу, — либо из-за ошибочного понимания, как надо себя вести, либо желая выставиться. «Как странно встретить здесь Рашель!» — шепнул он мне на ухо. Это магическое имя мгновенно разбило чары, придавшие любовнице Сен-Лу форму

неизвестной и отвратительной старухи. Стоило мне услышать, как ее зовут, и я прекрасно ее узнал. «Это было просто замечательно», — сказал Блок и, произнеся эти нехитрые слова и удовлетворив желание, отправился обратно на место, встретив на пути столько же препятствий и произведя столько же шума; Рашели пришлось выждать более пяти минут, прежде чем она смогла приступить ко второму стихотворению. Когда она закончила второе — «Двух голубей», г-жа де Морьянваль подошла к г-же де Сен-Лу и памятуя о ее начитанности, но забыв, что к ней по наследству от отца перешел его острый, саркастический нрав, спросила: «Это ведь басня Лафонтена, не так ли?» — полагая, что все-таки произведение узнала, но не будучи в том абсолютно уверена, ибо басни Лафонтена она знала плоховато, а сверх того считала Лафонтена детским автором, которого в светском обществе не декламируют. Чтобы встретить такой успех, артистка, наверное, пародировала Лафонтена, думала милая дама. Однако Жильберта невольно подтвердила эту мысль, потому что не любила Рашели и, желая только сказать, что ничего от басни в подобном чтении не осталось, ответила слишком остроумно, — так сказал бы ее отец, оставлявший простодушных собеседников в сомнении относительно смысла произнесенной фразы: «На четверть — изобретение актрисы, на четверть — безумие, четверть не имеет смысла, остальное от Лафонтена», — что позволило г-же де Морьянваль утверждать, что стихотворение было вовсе не «Двумя Голубями» Лафонтена, но обработкой, в которой

от Лафонтена не осталось и четверти, и это, по причине экстраординарного невежества этой публики, не удивило никого.

Один из друзей Блока опоздал, и последний имел удовольствие спросить его, не слышал ли тот когда-нибудь Рашель; а потом расписал в ярких красках, не без преувеличений, достоинства ее читки, внезапно почувствовав, при рассказе другому, от этой модернистской манеры какое-то странное удовольствие, не испытанное им и отчасти, когда он ее слушал. Затем Блок с преувеличенным волнением, фальцетом, поздравил Рашель и представил ей своего приятеля, возгласившего, что он никогда еще не испытывал такого восхищения; а Рашель, которая благодаря своим новым связям со светскими дамами переняла, не отдавая себе в том отчета, их манеры, ответила: «О, я так польщена, ваша оценка — большая для меня честь». Приятель Блока спросил ее, что она думает о Берма. «Бедная женщина — она теперь, похоже, в большой нужде. Я бы не сказала, что она была совсем уж бездарна, хотя настоящего таланта у нее никогда не было — она любила только душераздирающие сцены; но в сущности она принесла пользу, и, конечно же, ее игра была поживей, чем у прочих; она была очень хорошим человеком, она была благородна, она просто разрывалась на части ради других. А теперь она не зарабатывает и су, потому что публика давно уже разлюбила ее игру... Впрочем, — добавила она со смехом, — я еще не так стара и помню только недавние события; в то время я во всем этом практически не разбиралась». — «Она

не очень хорошо читала стихи, не так ли?» — отважился спросить приятель Блока, желая заодно польстить Рашели. Та ответила: «Разумеется, стихи ей не давались никогда: это была проза, китайский или волапюк — всё кроме стиха».

Однако я знал, что ход времени не приводит, по необходимости, к прогрессу в искусствах. Тот или иной автор XVII века, ничего не знавший о французской революции, о научных открытиях, о войне, писал, возможно, лучше отдельных современных писателей, и Фагон, быть может, не уступил бы дю Бульбону¹⁸⁶ (в данном случае недостаток знаний компенсируется превосходством гения); так и Берма была, как говорится, на сто голов выше Рашели, и время, выдвинувшее ее в ту же эпоху, что и Эльстира, превознося посредственность, успело увековечить их гений.

Нет ничего удивительного в том, что бывшая любовница Сен-Лу хулила Берма. Она, по-видимому, грешила этим в молодости. Если б она не хулила ее тогда, она поносила бы ее теперь. Если необычайно умная и исключительно добрая светская женщина станет актрисой, обнаружит в новом для себя ремесле большие таланты, снищет на своем поприще исключительно признание, то по простовию «тридцати лет сцены» мы всё равно услышим не былую ее речь, но, к нашему удивлению, язык комедианток, их особые насмешки над товарищами. Для Рашели они прошли, и света она не покидала.

«Можно говорить что угодно, но это потрясающе, изящно, неповторимо, умно, так стихи еще не читали!» — крикнула

герцогиня из опасения, что Жильберта разругает. Последняя удалилась к другой кучке, чтобы не ссориться с теткой, которая, однако, говорила о Рашели только банальности. На склоне лет г-жа де Германт ощутила пробуждение новых интересов. Свет больше не мог ей ничего дать.

Представление о том, что она занимает неколебимое положение, было для нее столь же очевидным, как высота голубого неба над землею. У нее и в мыслях не было, что положение, казавшееся ей несокрушимым, необходимо укреплять. Но читая книги, посещая театры, она испытывала желание, чтобы у этих чтений и спектаклей было какое-то продолжение; так когда-то в тесный садик, где пили оранжад, к ней по-родственному заходили самые видные представители большого света, и среди ароматных вечерних ветерков и облачков пыльцы укрепляли ее вкус к высокому обществу. Теперь, но уже из аппетита иного рода, ей хотелось знать причину тех или иных литературных баталий, водиться с писателями, дружить с актрисами. Ее усталая душа жаждала новой пищи. Ради писателей и актрис она заводила знакомство с женщинами, с которыми ранее не обменялась бы и карточками, а те, рассчитывая ее принимать, ссылались на свое знакомство с директором какого-нибудь ревью. Актриса, приглашенная первой, думала, что ей одной удалось проникнуть в блистательную среду, — для второй актрисы, когда она встречала там свою предшественницу, эта среда изысканной уже не казалась. Герцогиня, так как она по-прежнему иногда принимала суверенов, считала, что в ее

положении ничего не изменилось. И действительно, она, единственная, в чьей крови не было примесей, урожденная Германт, которая могла бы подписываться: Германт-Германт, если бы не писала: герцогиня де Германт, она, которая даже своим золовкам казалась человеком, сделанным из более драгоценной материи, своего рода Моисеем, исшедшим из вод, Христом, скрывшимся в Египте, Людовиком XVII, бежавшим из Тампля,¹⁸⁷ существом чистейшей чистоты, — теперь приносила себя в жертву наследственной, быть может, нужде в пище духовной, уже приведшей к социальному падению г-жи де Вильпаризи; — она и сама стала чем-то вроде г-жизни де Вильпаризи: снобки опасались встретить в ее доме кого-нибудь «не того», а молодые люди, удостоверившись в совершившемся факте, и не ведая, что ему предшествовало, считали ее Германт не лучшего урожая, Германт худшего года, Германт, претерпевшей деклассацию.

Но поскольку даже лучшие писатели с приближением старости или в результате перепроизводства нередко теряют талант, нам следует извинить светских женщин за утрату, к определенным годам, остроумия. Сван уже не нашел бы в очерствелом уме герцогини де Германт «сумасшедшинки» юной принцессы де Лом. На склоне лет, поскольку малейшее усилие вызывало у нее усталость, г-жа де Германт произносила бесчисленные глупости. Конечно, поминутно, и даже много раз за этот утренник, она снова становилась женщиной, которую я знал прежде, и была по-светски умна. Но нередко блестящее словцо, осененное

прекрасным взглядом, которое держало под своим духовным скипетром самых видных людей Парижа на протяжении многих лет, еще исподволь искрясь, так сказать, слетало впустую. Когда приходил момент сказать только что придуманную фразу, она замолкала на те же несколько секунд, что и раньше, будто еще колеблясь и обдумывая ее, но острота уже никуда не годилась. Мало кто, впрочем, об этом догадывался, ибо по причине схожести приемов многие верили в загробное существование ее остроумия, уподобляясь тем людям, которые, суеверно привязавшись к какой-то кондитерской, продолжают заказывать там печенье и уже не замечают, что оно потеряло вкус. Этот спад сказался на герцогине во время войны. Стоило кому-нибудь произнести слово «культура», как она перебивала его и, улыбаясь, освещая своим прекрасным взглядом, бросала: «К-К-К-Kultur!» — и друзья смеялись, им казалось, что они узнали образчик духа Германтов. Конечно, это была та же формовка, та же интонация, тот же смешок, которые восхищали прежде Бергота, — последний тоже, между прочим, держал в уме ударные фразы, междометия, многоточия, эпитеты, но чтобы таким образом не говорить ничего. Светские неофиты, однако, не могли скрыть удивления, и если они не попадали на день, когда она была забавна и «в ударе», то слышалось: «Как же она глупа!»

Герцогиня, впрочем, старалась не пачкать своими низкими связями тех представителей своей семьи, которым она была обязана своей аристократической славой. Если она

приглашала в театр, исполняя роль покровительницы искусств, министра или художника, и те наивно расспрашивали ее, присутствует ли в зале ее золовка или муж, то герцогиня, хотя и была трусихой, отвечала с дерзкой отвагой: «Я ничего об этом не знаю. Стоит мне выйти из дома, и я уже не помню, где моя семья. Для политиков и художников я — вдова». Так она уберегала слишком торопливых выскочек от резкого отпора, а себя — от выговоров г-жи де Марсант и Базена.

«Как же я рада встрече с вами. Боже мой, когда это мы последний раз виделись?» — «У г-жи д'Агригент, мы там часто встречались». — «Естественно, мой мальчик, я нередко ее навещала, потому что тогда Базен был в нее влюблен. В то время меня проще всего было встретить у какой-нибудь его зазнобы, потому что он говорил мне: “Не надо пренебрегать визитами к этой даме”. Поначалу это мне казалось несколько неприличным, эти своего рода “визиты пиццегария”, на которые он меня отправлял “по факту”. Я довольно быстро освоилась, но досадней всего для меня было то, что мне приходилось сохранять отношения после того, как он разрывал собственные. Нередко мне вспоминались стихи Виктора Гюго:

Ты радость унесешь, оставив мне тоску!¹⁸⁸

Как и в этом стихотворении, я “входила с улыбкой”; но на мой взгляд это не совсем честно, следовало бы оставить мне,

по отношению к своим любовницам, право на некоторую ветреность, потому что по причине того, что этих «невостребованных» набралось порядком, я не провожу больше дома ни дня. Ах, старые добрые времена — и более добрые, чем эти. Боже мой, вот бы он снова начал меня обманывать, это только польстит мне, меня это молодит. Я бы предпочла, чтобы он вел себя, как прежде. Мать Божья, как давно он мне не изменял — он забыл, наверное, как это делается! Да!.. Но нам все-таки неплохо вместе, мы говорим друг с другом, мы друг друга любим», — заключила герцогиня, опасаясь, как бы я не подумал, что они уже расстались; так говорят о тяжело больном: «Он еще очень хорошо говорит, я ему читал сегодня утром целый час». Она добавила: «Скажу-ка ему, что вы здесь, он будет рад с вами побеседовать». И она направилась к герцогу, который болтал с какой-то дамой, сидя на канapé. Я был восхищен, что герцог практически не изменился — он только побелел, но был всё столь же величествен и красив. Как только он увидел жену, однако, собиравшуюся ему что-то сказать, он глянул на нее с таким гневом, что та была вынуждена ретироваться. «Он занят, — чем, я не знаю, но вы это сейчас увидите», — сказала г-жа де Германт, рассчитывая, что я выпутаюсь сам.

К нам подошел Блок и от имени своей американки спросил, кем и кому приходится юная герцогиня, которая была на этом приеме; я ответил, что это племянница г-на де Бреоте; поскольку это имя ничего Блоку не говорило, он потребовал разъяснений. «Ах, Бреоте! — воскликнула г-жа де Германт,

обращаясь ко мне. — Вы его помните. Как это старо, как это далеко! Все-таки, он был снобом. Эти люди околачивались возле моей свекрови. Вам это не интересно, господин Блок, всё это забавно только нашему другу, — он-то знаком со всей этой публикой с тех же лет, что и я», — добавила г-жа де Германт, этими словами обозначив для меня, и представив ее с различных точек зрения, долготу истекшего времени. Привязанности и взгляды г-жи де Германт так сильно обновились с тех пор, что ретроспективно она сочла своего «очаровательного Бабала» снобом. С другой стороны, он не только отдалялся во временной перспективе, на нем был также налет провинциальности, — в чем я не отдавал себе отчет, когда, во времена моих первых выходов в свет, почитал его одним из самых видных людей Парижа, столь же глубоко отпечатлевших свои следы в его светской истории, как Кольбер¹⁸⁹ в эпохе Людовика XIV века, — потому что он был деревенским соседом старой герцогини, и именно с таким де Бреоте принцесса де Лом свела когда-то знакомство. Но этот Бреоте, лишенный остроумия, устаревший и высланный в далекие года (что доказывало: с тех пор он был совершенно забыт герцогиней), в окрестности Германта, теперь — во что я никогда не поверил бы тем вечером в Опера Комик, когда он казался мне морским богом, обитающим в морской пещере, — служил связующим звеном между герцогиней и мной, потому что она помнила, что я его знал, а следовательно я был его и ее другом, и даже если я принадлежал

не одному с ней обществу, то по меньшей мере возвращался в одних с нею кругах начиная с namного более давних времен, чем множество сегодняшних фигур; она хранила память об этом, но ее воспоминания были, так или иначе, отрывочными — ведь она забыла другие детали, в то время представлявшиеся мне существенными: что я не посещал Германта и был всего лишь юным комбрейским мещанином, когда она приехала на бракосочетание м-ль Перспье, что она не приглашала меня, несмотря на настойчивые просьбы Сен-Лу, в год, следовавший за ее явлением в Опера Комик. Для меня эти обстоятельства были очень важны, потому что как раз в те времена жизнь герцогини де Германт представлялась мне своего рода раем, в который я не войду. Но для самой герцогини то было лишь ее обыденной жизнью, и поскольку я, с определенного момента, нередко ужинал у нее, а до того даже сдружился с ее теткой и племянником, она уже не помнила, с какого точно времени начались наши отношения, и не понимала, какой чудовищный анахронизм совершает, относя ее истоки на несколько лет раньше. Словно бы я был знаком с недосыгаемой г-жой де Германт из имени Германтов, которую я различал в золоченых слогах, в названии Сен-Жерменского поместья; а я всего лишь ужинал у дамы, ничем уже для меня от других не отличной; она иногда приглашала меня, однако не для того, чтобы спуститься в подводную пещеру nereид, а чтобы провести вечер в бенуаре ее кузины. «Если вам нужны подробности о Бреоте, который, впрочем, не стоит

внимания, — добавила она, обращаясь к Блоку, —
расспросите нашего приятеля (он намного его, кстати,
интересней): он с ним ужинал у меня раз пятьдесят. Не у
меня ли вы с ним познакомились? Во всяком случае, у меня
вы познакомились со Сваном». Меня не меньше удивило ее
мнение, будто я мог познакомиться с г-ном де Бреоте где-
либо вне ее дома, а следовательно, что я посещал это
общество до знакомства с ней, чем ее убеждение, согласно
которому со Сваном я познакомился у нее. Не так лживо,
как Жильберта, которая говорила о Бреоте: «Это наш
давнишний деревенский сосед, мне доставляло
удовольствие беседовать с ним о Тансонвиле», — тогда
как в Тансонвиле он не общался с ее семейством, — я мог бы
говорить о Сване, который в действительности напоминал
мне нечто не связанное с Германтами напрямую: «Это наш
сосед в деревне, он нередко заходил к нам по вечерам».

«Как бы вам это сказать. Это был человек, который мог
заболтаться, если речь заходила о высочествах. У него был
набор довольно забавных историй о членах семьи
Германтов, моей свекрови, г-же де Варанбон, когда она еще
не стала приближенной принцессы Пармской. Но кто
сегодня знает, кто такая г-жа де Варанбон? Вот наш друг, он
действительно всё это знал, но это кончилось, и даже имени
этих людей никто не помнит; к тому же, они
не заслуживают упоминаний». И я понял, отчего в свете —
несмотря на то что он стал един и социальные связи дошли
до максимального стяжения, где всё теперь сообщалось, —
все-таки остаются местности (или, по меньшей мере, то,

что с ними сделало Время), сменившие имя, уже непознаваемые для тех, кто достиг их после изменения рельефа. «Это была добрая баба, только говорила она неслыханные глупости, — продолжила герцогиня, нечувствительная к поэзии недостижимого как следствию времени и извлекавшая из чего угодно забавный элемент, под стать литературе Мейлака,¹⁹⁰ духу Германтов. — Как-то у нее появилась мания постоянно глотать таблетки, которые в то время давали от кашля, — назывались они (она добавила, смеясь над столь известным тогда, столь характерным названием, неизвестным сегодня ни одному из ее собеседников) таблетки Жеродель. “Мадам де Варанбон, — сказала ей моя свекровь, — глотая эти таблетки Жеродель в таком количестве, вы испортите свой желудок”. — “Герцогиня, — отвечала г-жа де Варанбон, — но как же я могу испортить свой желудок, если эти таблетки поступают в бронхи?” Затем, это именно она сказала: “У герцогини есть корова — такая красивая, такая красивая, что все ее принимают за племенного жеребца”». Г-жа де Германт охотно бы рассказывала другие истории о г-же де Варанбон, известные нам сотнями, однако мы чувствовали, что это имя не вызовет в невежественной памяти Блока никакого образа, пробуждающегося в нас, как только заходит речь о г-же де Варанбон, г-не де Бреоте, принце д’Агригенте, хотя, как раз по этой причине, обретет в его глазах притягательность — несколько преувеличенную, но понятную для меня, но не потому, что и сам я когда-то был в ее власти, ибо собственные

заблуждения и глупости редко способствуют, даже когда мы прозреваем их насквозь, чтобы мы стали снисходительнее к недостаткам наших ближних.

Даже несущественные детали тех далеких времен стали неразличимы, и кто-то поблизости спрашивал, не от отца ли ее, г-на де Форшвиля, тансонвильские земли перешли к Жильберте; он получил ответ: «Что вы, эта земля перешла к ней от семьи мужа. Это всё от Германтов. Тансонвиль находится рядом с Германтом. Он принадлежал г-же де Марсант, матери маркиза де Сен-Лу. Только его заложили под большие проценты. Так что на деньги м-ль де Форшвиль его выкупили и отдали в приданое жениху».

Другой раз человек, которому я рассказывал о Сване, чтобы описать остроумие той эпохи, ответил: «Да, герцогиня де Германт пересказывала мне его словца; с этим стариком вы познакомились у нее, не так ли?»

В уме герцогини прошедшее претерпело сильные изменения (или разграничения, существовавшие в моем, у нее попросту отсутствовали, и то, что стало для меня событием, осталось незамеченным ею), и она могла предположить, что я познакомился со Сваном у нее, а с г-ном де Бреоте где-нибудь в другом месте, составив мне, таким образом, прошлое светского человека, — к тому же, она распространяла его на слишком далекие времена. Не только я составил представление об истекшем времени, но и герцогиня, причем с иллюзией, обратной по отношению к моей, — мне оно казалось короче, чем оно

было, а она, напротив, растягивала и отбрасывала его слишком далеко, не принимая в расчет то великое разделение между моментом, когда она была для меня именем, потом — предметом моей любви, и точкой во времени, когда она стала для меня заурядной светской дамой. Однако я встречался с ней только во второй период, когда она стала для меня другим человеком. Но от ее собственных глаз эти отличия ускользали, и в самой возможности моего присутствия в ее доме двумя годами раньше она уже не находила ничего особенного, поскольку не знала, что тогда она для меня была чем-то иным, и потому что ее личность не казалась ей самой, как мне, прерывной.

«Всё это напоминает мне, — сказал я ей, — мой первый вечер у принцессы де Германт, когда я не знал, приглашен я или нет, и боялся, что меня выставят за дверь; вы были в ярко-красном платье и красных туфельках». — «Боже мой, как давно это было», — ответила герцогиня де Германт, усилив этим для меня ощущение истекшего времени. Она грустно посмотрела вдаль, однако ее мысли задержались на красном платье. Я попросил описать его, и она снисходительно согласилась. «Теперь такого не носят. Эти платья носили только тогда». — «Разве они не были хороши?» — спросил я. Она всегда боялась сказать что-то против себя, что ее умалило бы. «Ну, конечно, я так нахожу это очень милым. Этого не носят, потому что сейчас такого больше не шьют. Но когда-нибудь это вернется, все моды возвращаются: и в платье, и в музыке, и в живописи», —

добавила она с нажимом, потому что полагала, что в этой философии есть нечто оригинальное. Но от грусти, что она стареет, лицо ее осенила усталость, тотчас озарившаяся, впрочем, улыбкой: «Вы уверены, что на мне были красные туфельки? Мне помнится, что они были золотыми».

Я подтвердил, что это-то я помню прекрасно, не упоминая об обстоятельстве, которым объяснялась моя уверенность.¹⁹¹

«Как мило с вашей стороны — это помнить», — промолвила она с печалью, ибо женщины называют любезностью воспоминание об их красоте, как художники — восхищение их работами. Впрочем, сколь бы ни было далеко прошедшее, пока существуют женщины с таким умом, как у герцогини, можно избежать забвения. «Помните, — сказала она, словно в благодарность за воспоминание о платье и туфельках, — в тот вечер мы с Базеном отвозили вас домой? к вам должна была прийти девушка, уже за полночь. У Базена вызвала хохот сама мысль, что вас навещают в такой час». И правда, в тот вечер, после приема у принцессы де Германт, ко мне пришла Альбертина.

Я, как и герцогиня, помнил об этом, — я, которому Альбертина теперь была так же безразлична, как г-же де Германт, даже если бы та знала, что девушка, из-за которой я не смог зайти к ним — Альбертина. Дело в том, что по прошествии многих лет, когда наши умершие уже не тревожат нашего сердца, их забытый прах всё еще перемешан, сплавлен с обстоятельствами прошедшего.

И хотя мы больше не любим их, нередко, воскресив комнату, аллею, дорогу, по которой они проходили в такой-

то час, нам приходится, чтобы заполнить занятое ими место, упомянуть их, — уже не сожалея, не назвав даже имени, даже не разъясняя, кем они нам приходились. (Г-жа де Германт едва ли знала, кем была та девушка, которая должна была прийти ко мне тем вечером, она не была с ней знакома и сказала об этом только потому, что час и обстоятельства были загадочны). Таковы последние, незавидные формы бессмертия.

Хотя суждения герцогини о Рашели оригинальностью не блистали, однако они интересовали меня, поскольку тоже показывали новый час на циферблате. Ибо г-жа де Германт не забыла, как и Рашель, о ее выступлении в своем доме, однако воспоминания герцогини претерпели меньшую трансформацию. «Знаете, — сказала она, — мне тем интересней на нее смотреть, слышать такие овации, потому что это ведь я ее откопала, оценила, стала ее пробивать, проталкивать еще в то время, когда никто о ней не знал и она была общим посмешищем. Да, мой друг, не удивляйтесь, но дом, где она впервые выступила на публике — это мой дом! в те времена, когда всё это так называемое передовое общество, вроде моей новой кухни, — сказала она, с иронией кивнув на принцессу де Германт, которая для Орианы так и осталась г-жой Вердюрен, — позволило бы ей умереть с голоду и не соблаговолило бы ее выслушать, я нашла, что она интересна, и устроила ей вечер: мы тогда созвали все сливки общества. Сколь бы глупо и вычурно это ни звучало, потому что в сущности таланту никто не нужен, я могу

сказать, что это я ей сделала имя. Само собой, она-то во мне не нуждалась». Я еле заметно выразил несогласие и убедился, что г-жа де Германт готова всецело разделить противоположную точку зрения: «Как? Вы считаете, что таланту нужно помочь? Чтобы кто-нибудь вывел его на свет? что же, в чем-то вы, должно быть, правы. Любопытно, что когда-то мне говорил об этом Дюма. В таком случае, я крайне удивлена, что я смогла ей чем-то помочь, хотя всё это мелочь, — конечно, помочь не самому таланту, но хотя бы славе подобной артистки». Г-жа де Германт, по-видимому, предпочла расстаться с убеждением, что талант, подобно абсцессу, пробивается самостоятельно, не только потому, что это было для нее более лестно, но также оттого, что, непрерывно встречаясь с новыми людьми, и к тому же устав, она исполнилась некоторого смирения и тербила других, выспрашивала их точку зрения, чтобы создать собственную. «Можно и не говорить, — продолжила герцогиня, — что эта интеллигентная публика, именующая себя светом, абсолютно ничего не поняла. Возмутились, смеялись. Я напрасно говорила им: “Это любопытно, это интересно, такого еще никогда не делали”; меня не слушали — меня вообще никто никогда не слушал. И отрывок, который она читала, что-то из Метерлинка,¹⁹² теперь он очень известен, а в то время все над ним потешались, — я так нашла его восхитительным. Меня даже удивляет, что на этукую крестьянку, как я, на этукую провинциалку, с первого же раза что-то подобное произвело впечатление. Естественно,

я не смогла бы сказать, почему, но мне понравилось, меня это взволновало; представьте: Базен, такой бесчувственный Базен, был просто поражен, как на меня это подействовало. Он сказал: “Я не хочу, чтобы вы слушали эту чепуху, вы от этого заболеваете”. И это правда, потому меня считают сухой женщиной, а я на самом деле мешок с нервами».

В эту минуту произошло непредвиденное событие. К Рашели подошел лакей и сказал, что дочь Берма и ее муж просят позволения переговорить с ней. Мы помним, что дочь Берма воспротивилась желанию мужа выпросить приглашение у Рашели. Но стоило молодому гостю уйти, и чете стало невыносимо скучно с матерью, их мучила мысль, что другие сейчас забавляются; одним словом, улучив момент, когда Берма, харкая кровью, вернулась в свою комнату, они наспех облачились в свои лучшие одеяния, взяли коляску и неприглашенными отправились к принцессе де Германт. Рашель, подозревая в чем дело, и испытывая тайную радость, высокомерно ответствовала лакею, что потревожиться сейчас ей сложно, что пусть они лучше напишут записку и объяснят причину своего странного поступка. Лакей вернулся с карточкой, на которой дочка Берма нацарапала, что они с мужем не устояли перед соблазном послушать Рашель и просят позволения войти. Нелепость этой отговорки, собственное торжество заставили Рашель улыбнуться. Она попросила ответить, что, к своему глубокому сожалению, она уже закончила чтение. В передней, где тянулось ожидание четы, над двумя отваженными просителями уже зубоскалили лакеи.

Устыдясь позора и вспомнив, что Рашель — ничтожество в сравнении с ее матерью, дочь Берма решилась пойти в своих хлопотах до конца, хотя и отважилась на них исключительно из потребности удовольствий. Она попросила узнать у Рашели, словно об услуге — можно ли, если уж не удастся ее послушать, хотя бы пожать ей руку. Рашель как раз болтала с итальянским принцем, плененным, как рассказывали, чарами ее огромного состояния, происхождение которого мало-помалу затенило ее сегодняшнее светское положение; она поняла, что обстоятельства переменялись, и дети знаменитой Берма теперь у ее ног. Рассказав всем, как о чем-то забавном, об этом инциденте, она попросила впустить молодую чету — супруги явились без уговоров, единственным ударом разрушив общественное положение Берма, как прежде — ее здоровье. Рашель понимала это, как и то, что проявив снисходительность и благожелательность, она прослышет в свете более доброй, а молодая чета будет больше унижена, чего сложнее было бы добиться отказом. Так что она встретила их с распростертыми объятьями, разыгрывая роль умиленной благодетельницы, нашедшей в себе силы забыть о собственном величии, восклицая: «Так вот же они! Какое счастье. Принцесса будет в восторге». Она не знала, что в театре укоренилось мнение, будто приглашения раздает сама Рашель, и боялась, наверное, что в случае отказа дети Берма усомнятся не в ее доброте, это ей было безразлично, а в ее влиятельности. Герцогиня де Германт сразу же отошла в сторону — чем больше кто-то стремился

к свету, тем быстрее это лицо теряло ее уважение. Теперь она уважала только добрую Рашель, и она повернулась бы спиной к детям Берма, если бы ей их представили. Между тем Рашель уже обдумывала вежливую фразу, которой завтра она сразит Берма за кулисами: «Меня глубоко опечалило и огорчило, что вашей дочери пришлось ждать в передней. Если бы я знала! Она посылала мне карточку за карточкой». Ей очень хотелось нанести этот удар. Может быть, если бы она знала, что этот удар будет смертельным, она отступилась бы от своего намерения. Приятно смотреть на своих жертв, если мы не испытываем вины, если им оставлена жизнь. Впрочем, в чем была ее вина? Через несколько дней она была вынуждена со смехом отвечать: «Ну, это чересчур, я только хотела оказать любезность ее детям, хотя она никогда со мной не была любезна. Еще немного, и меня обвинят в убийстве. Я привожу в свидетели герцогиню». Возможно, всё плохое, что живет в актерах, вся искусственность театральной жизни переходит по наследству их детям: упорная работа не служит выходом для фальши, как у матерей, и великие трагические актрисы нередко падают жертвами домашних заговоров, что уже нередко случалось с ними в последнем акте сыгранных пьес.

Впрочем, еще одно обстоятельство усугубляло несчастье герцогини, и оно одновременно способствовало деклассации общества, в котором вращался г-н де Германт. Последний, успокоенный преклонным возрастом, хотя был еще довольно крепок, давно уже не обманывал г-жу

де Германт — он страстно влюбился в г-жу де Форшвиль, причем никто не знал, когда зародилась эта связь. (Что может показаться удивительным, если мы вспомним о возрасте г-жи де Форшвиль. Но, наверное, ее легкая жизнь началась еще в ранней юности. К тому же, бывают такие женщины, которые переживают новое воплощение раз в десятилетие — у них новые романы, они сводят с ума брошенных ради них юниц, когда мы смирились с мыслью, что их уже нету в живых).

Страсть была так сильна, что если бы повторилась — с самыми вольными вариациями — моя любовь к Альбертине и любовь Свана к Одетте, то любовь г-на де Германта походила бы на первую; старик, повторяя в этой последней любви особенности своих былых страстей, содержал любовницу в неволе. Он требовал от нее, чтобы она завтракала и обедала только с ним; она хвасталась им перед друзьями, которым иначе никогда не удалось бы завязать отношений с герцогом де Германтом, и которые приходили в ней, чтобы с ним познакомиться, как ходят к кокотке, чтобы быть представленным суверену, ее любовнику. Конечно, г-жа де Форшвиль уже очень давно стала светской женщиной. Но на склоне лет снова став содержанкой, да еще у такого надменного старика, который был все-таки важной персоной в ее доме, теперь она заботилась только о том, чтобы ее новые пеньюары были ему по вкусу, чтобы у нее готовили, как он любит, и льстила друзьям, рассказывая им, что она ему о них говорила, — как когда-то о моем двоюродном деде великому князю, посылавшему ей

папиросы, — одним словом поневоле, силой новых обстоятельств и вопреки годам светского положения, она снова стала той, кем явилась мне когда-то в детстве, дамой в розовом. Конечно, мой двоюродный дед Адольф умер очень много лет назад. Но разве может помешать замена одних лиц другими, чтобы снова начать старую жизнь? Она применилась к этим новым обстоятельствам, вероятно, от алчности, а также потому, что, однажды востребованная обществом, когда у нее была дочь на выданье, а затем забытая, после брака Жильберты и Сен-Лу, она понимала — герцог де Германт, готовый ради нее на всё, приведет в ее дом множество герцогинь, которые не упустят случая сыграть злую шутку с их подругой Орианой; быть может, ее увлекла злоба герцогини, и она была счастлива, что в женском соперничестве взяла над ней верх.

Из-за этой связи, которая была лишь повторением его былых привязанностей, герцог де Германт вторично упустил кресло председателя в Жюке-Клубе и потерял кресло свободного члена Академии изящных искусств, — так общая жизнь г-на де Шарлю и Жюпьяна, получившая огласку, лишила барона председательства в Союзе и Обществе друзей старого Парижа. Два брата, столь несхожие друг с другом в своих пристрастиях, утратили общественное положение по причине той же лености, той же нехватки силы воли, которая ощущалась, хотя и не отталкивающим образом, еще в их деде, герцоге де Германте, члене Французской Академии, и привела к изгнанию двух его

внуков (в результате естественной склонности одного и противоположной другому) из общества.

До самой смерти Сен-Лу исправно водил к ней жену. Скорее всего, эта пара будет наследовать и г-ну де Германт, и Одетте — последняя, в свою очередь, будет основной наследницей герцога. Впрочем, даже чрезвычайно разборчивые племянники Курвуазье, г-жа де Марсант и принцесса де Транья посещали Одетту, рассчитывая, что они будут упомянуты в завещании, и их не тревожили огорчения г-жи де Германт — о ней Одетта, задетая ее презрением, отзывалась плохо.

Старый герцог де Германт больше не выходил в свет, он проводил дни и вечера у Одетты. Он и сегодня зашел сюда, чтобы повидаться с ней, хотя встреча с женой была для него неприятна. Я не заметил его, и наверное не узнал бы, если бы мне не указали на него определенно. От герцога остались только руины, однако руины превосходные, рассыпавшиеся еще не до конца — столь же романтические и прекрасные, как утес в бурю. Со всех сторон исхлестанное волнами страдания, гнева на свое страдание, бушующим приливом очертившей его смерти, лицо, разрыхленное, как глыба, сохранило свой склад и восхитительные изгибы; оно было источено, как антик, которым мы будем счастливы, даже если он разбит, украсить свой рабочий кабинет. Правда, теперь я отнес бы его к более древней эпохе — не только потому, что материал потускнел, пошершавел и загрязнился, но из-за того также,

что плутоватое и игривое выражение сменилось невольным и неосознанным, высеченным болезнью, борьбой со смертью, сопротивлением ей и тяготами жизни. Артерии, утратив пластичность, придали скульптурную жесткость его когда-то сиявшему лицу. Хотя сам герцог не догадывался о том, что-то выглядывало из-за его затылка, щек и лба, это существо остервенело цеплялось, виделось мне, за каждую минуту, уже опрокинутое трагическим шквалом; белые пряди великолепных, поредевших косм хлестали пеной по затопленному отрогу лица. Так одно приближение бури, когда всё вот-вот пропадет во мраке, накладывает на скалы, чей цвет еще только что был инаким, странные и причудливые блики; я понял, что свинцово-серый одеревенелых и изношенных щек, серый до белизны его торчащих волнистых прядей, слабый свет, еще мерцающий в полуслепых глазах — оттенок не ирреальный, но слишком реальный, он только был волшебен и заимствован в другой палитре: в нем виделось что-то от зарева старости, неподражаемого в своей ужасной и пророческой черноте, что-то от близости смерти.

Герцог зашел на несколько минут, и за это время я понял, что Одетта, окруженная более молодыми поклонниками, пренебрегает им. Но вот что любопытно: герцог, который раньше своими ухватками театрального короля казался почти нелепым, теперь стал поистине величествен — как и его брат, сходство с которым, сорвав бутафорию, проявила старость. Как и его брат, когда-то столь высокомерный, хотя и на свой лад, теперь он казался едва

ли не почтительным, но также по-своему. Он не скатился на ту же ступень, на которой стоял теперь де Шарлю, с вежливостью забывчивого больного раскланивавшийся с теми, кого прежде презирал. Но он был очень стар, и когда на пути к выходу ему пришлось пройти через дверь и спуститься по лестнице, старость, как всё же самое жалкое состояние человека, низвергающее нас, как королей греческих трагедий, с вершин, вынудила его остановиться на крестном пути, которым становится увечная жизнь на грани, провести рукой по влажному лбу, ощупать, стреляя глазами, этот путь, уходящий из-под ног, потому что ему требовалась опора для неуверенных шагов, затуманенных глаз, и он будто, не ведая того и сам, кротко и нежно просил о ней других, и более, чем величие, старость проявляла его мольбу.

Он не мог обойтись без Одетты, и у нее дома не выползал из кресла — от старости и подагры он вставал с трудом, — и позволял ей принимать друзей, которым очень хотелось с ним познакомиться, поговорить с ним, услышать его рассказы о старом обществе, о маркизе де Вильпаризи, о герцоге де Шартре.

Так в Сен-Жерменском предместье неприступные, на первый взгляд, положения герцога и герцогини де Германт, барона де Шарлю, утратили былую несокрушимость, поскольку все вещи этого мира меняются под воздействием внутреннего начала, о котором никто поначалу не догадывается: у г-на де Шарлю — любви к Чарли, отдавшей его в рабство

Вердюренам, затем его расслабленности; у г-жи де Германт — склонности к новизне и искусству; у г-на де Германта — необыкновенной любви: такое уже бывало в его опыте, но от старческой немощи она оказалась более властной, и строгий салон герцогини, где герцог не появлялся больше, и который, впрочем, почти уже не функционировал, уже не противопоставлял ей светского искупления. Так меняется облик вещей этого мира, так преобразуется средоточие господства, кадастр судеб и устав положений — всё то, что казалось незыблемым; и глаза человека, прожившего много лет, созерцают целокупные изменения там, где они казались немислимыми.

Иногда, под взглядами старых портретов «коллекционного» собрания Свана, довершавшего старомодный и устарелый характер сцены, с герцогом в стиле «Реставрация», и этой кокеткой в стиле «Вторая Империя», дама в розовом в пеньюаре, пришедшемся герцогу по вкусу, перебивала его болтовней; он запинаясь и пронзал ее разъяренным взглядом. Может быть, он замечал, что, как и герцогиня, она иногда говорит глупости; может быть, в старческой галлюцинации, ему пригрезилось, что то была черта неуместного остроумия Орианы, снова его прервавшей, и он подумал, что опять очутился во дворце Германтов; так хищники в клетках могут вообразить на мгновение, будто они на свободе — в африканской пустыне. Резко вскинув голову, он сверлил ее долгим взглядом, своими круглыми желтыми зрачками, блестящими, как глаза зверя, — когда-то на приемах г-жи де Германт, если та

заговаривалась, это приводило меня в трепет. Теперь герцог бросал этот взгляд на дерзкую даму в розовом. Она, однако, сопротивлялась, и не опускала глаз; по прошествии нескольких мгновений, казавшихся гостям очень долгими, старый укрощенный хищник вспоминал, что он не на свободе, не у герцогини в Сахаре за дверным половиком у входа, но у г-жи де Форшвиль в клетке Зоологического Сада, и втискивал голову в плечи, по которым рассыпалась всё столь же густая грива — сложно было сказать, бела ли она или седа, — и заканчивал свой рассказ. Он как будто не понимал, что г-жа де Форшвиль имела сказать — да и вообще в этом не было большого смысла. Он позволял ей принимать друзей за ужином; из причуды, унаследованной от былых влечений, и не удивлявшей Одетту, которая уже привыкла к этому за время жизни со Сваном, а для меня трогательной, потому что она напоминала мне жизнь с Альбертиной, он требовал, чтобы приглашенные уходили пораньше, чтобы он прощался с Одеттой последним. Стоит ли говорить, что сразу после его ухода она встречалась с другими. Но герцог не догадывался о том, или предпочитал не выказывать подозрений: старческое зрение слабеет, ухо становится туже, пронизательность меркнет, усталость притупляет бдительность. К определенному возрасту Юпитер неминуемо превращается в персонажа Мольера, и не в олимпийского любовника Алкмены, но в смешного Жеронта. Впрочем, Одетта обманывала г-на де Германт, как и заботилась о нем — без обаяния, без благородства.

Как и все прочие свои роли, эту она играла посредственно. Не то чтобы ее жизненные роли не были прекрасны. Просто она не умела их играть.

Впоследствии мне было крайне сложно встретиться с ней — г-н де Германт, потакавая причудам ревности и режима, позволял ей ходить только на дневные приемы — с условием, что то будут не балы. Она откровенно призналась мне, что герцог держит ее в неволе, и при этом руководствовалась следующими мотивами. В основе лежало ее убеждение, — хотя я написал к тому времени лишь несколько статей, а публиковал только заметки, — что я известный писатель; когда она вспоминала, что это я бегал на аллею Акаций, чтобы встретиться с ней на прогулке, и позднее посещал ее, она простодушно восклицала: «Ах! Знала бы я только, что когда-нибудь он станет великим писателем!» и поскольку кто-то рассказал ей, что для писателей общество женщин интересно по той причине, что, слушая любовные истории, они словно бы сверяются с источником, чтобы заинтересовать меня, она снова явилась мне в роли простой кокетки: «Представляете, как-то я встретила мужчину, он влюбился в меня, и я тоже полюбила его без памяти. Мы были на седьмом небе. Его отправляли в Америку, и я должна была поехать вместе с ним. Но накануне отъезда я решила, что будет лучше, если эта любовь не умрет, а ведь она не могла всегда оставаться на этой точке. У нас был последний вечер, когда он еще не знал, что я остаюсь, и это была безумная ночь, я испытала с ним бесконечное блаженство — и отчаяние,

оттого что я не увижу его вновь. Утром я отдала свой билет какому-то пассажиру, я его не знала. Он хотел его у меня, по крайней мере, купить. “Нет, говорю ему, вы будете любезны, если возьмете билет даром, мне не нужны деньги”». Затем следовала другая история: «Как-то на Елисейских Полях г-н де Бреоте, которого прежде я видела только раз, принялся глядеть на меня с такой настырностью, что я остановилась и спросила его, почему он позволяет себе меня рассматривать. Он ответил: “Я смотрю, какая смешная у вас шляпа”. И правда. Это была шляпка с анютиными глазками, тогда моды были ужасны. Но я была разгневана, я ответила ему: “Я не разрешаю вам говорить со мной подобным образом”. Тут начался дождь. Я ему сказала: “Я вас прощу, если у вас есть экипаж”. — “Конечно, у меня есть экипаж, и я с радостью вас провожу”. — “Нет, я хочу ваш экипаж, а не вас”. Я села в этот экипаж, а он ушел под дождем. Но вечером он зашел ко мне. У нас была безумная любовь два года. Приходите как-нибудь ко мне на чай, я расскажу вам, как я познакомилась с Форшвилем. Все-таки, — продолжила она с грустью, — я провела жизнь затворницей, потому что испытывала сильные чувства только к невыносимо ревнивым мужчинам. Я не говорю о г-не де Форшвиле, по правде говоря, он был туповат, а я могла по-настоящему влюбиться только в умных мужчин. Но, видите ли, г-н Сван был так же ревнив, как ревнив наш герцог; а ради герцога я отказываюсь от всего, потому что я знаю, как он несчастен в семье. А ради Свана я так поступала, потому что любила

его безумно, я понимала, что лучше уж лишиться танцев и света, и всего прочего, чтобы порадовать или хотя бы уберечь от волнений того, кто меня любит. Бедный Шарль, он был так умен, так пленителен, он был как раз мужчина в моем вкусе». Это, наверное, было правдой. Было время, когда Сван ей нравился, как раз тогда, когда она не была женщиной «в его вкусе». По правде говоря, женщиной «в его вкусе» она не стала даже позднее. И все-таки он так сильно, так мучительно ее любил. Впоследствии его изумляло это противоречие. Но нас оно не должно смущать, ведь мы помним, сколь велика в жизни мужчин доля мучений из-за женщин «не в их вкусе». Это объясняется, наверное, многими причинами: прежде всего именно тем, что они «не в нашем вкусе»: мы, не будучи влюблены в них, на первых порах позволяем любить себя, и потворствуем привычке, которая не возникла бы с женщинами «в нашем вкусе»; последние, чувствуя, что они вызывают желание, упирались бы, разрешали лишь очень редкие встречи, и не смогли бы поселиться во всех часах нашей жизни, как первые, которые свяжут нас — когда любовь придет и женщина «не в нашем вкусе» внезапно станет нам необходимой, из-за ссоры, путешествия, когда нас оставят без вестей, — не одной нитью, но тысячью. К тому же, эта привычка сентиментальна, потому что в ее основе нет чрезмерного физического желания, и если придет любовь, мозг работает много сильнее: у нас получается не потребность, у нас получается роман. Мы доверяем женщинам «не в нашем вкусе», мы позволяем им любить

нас, и если мы сами потом их полюбим, то в сто раз сильнее, чем других, даже не исполнив и не удовлетворив наших желаний. По этим, да и многим другим причинам тот факт, что самые сильные страдания приносят нам женщины «не в нашем вкусе», объясняется не только насмешкой судьбы, дарующей нам счастье лишь в наименее приемлемом для нас виде. Женщина «в нашем вкусе» не опасна, мы ей не нужны, она нас удовлетворит и быстро покинет, она не водворится в нашей жизни, — опасна и порождает любовные страдания не сама женщина, но ее каждодневное присутствие, интерес, что она делает в эту минуту: опасна не женщина, опасна привычка.

Я малодушно заметил, что с ее стороны это было мило и благородно, но я знал, что она лгала, что ее откровения замешаны на вранье. Пока она углублялась в рассказы о своих похождениях, я с ужасом думал о том, что всё это так и осталось для Свана неизвестным, и принесло бы ему столь сильные страдания, потому что его чувственность была привязана к этой женщине; и он догадывался обо всем этом по ее глазам, стоило ей взглянуть на какого-нибудь незнакомого мужчину, женщину, пришедшихся ей по вкусу. По сути, она болтала только затем, чтобы снабдить меня, как казалось ей, сюжетами новелл. В этом она ошибалась — она конечно же с избытком пополняла кладовые моего воображения, но это совершалось это произвольно, и у истока стоял я сам, — с ее помощью, хотя и без ее ведома, я постигал законы жизни.

Г-н де Германт приберегал свои молнии для герцогини, и г-жа де Форшвиль не упускала случая указать раздраженному герцогу на свободный круг общения его жены. Так что герцогиня была вдвойне несчастна. Правда, г-н де Шарлю, с которым я как-то об этом разговаривался, утверждал, что первые проступки были допущены не его братом, что в действительности миф о верности герцогини прикрывает бесчисленное количество тайных приключений. Я никогда не слышал подобных разговоров. Практически для всех г-жа де Германт была женщиной совершенно иного склада. Мысль о том, что она безупречна, разумелась как нечто очевидное. Я не мог решить, какое из двух этих предположений соответствует истине — истине, которая неизвестна трем из четырех. Мне ведь еще помнились блуждающие голубые взгляды герцогини де Германт в одном из нефов комбрейской церкви. Однако правдой было и то, что ни одно из этих предположений не опровергалось ими, и как тому, так и этому они могли придать иные и столь же приемлемые смыслы. В детском своем неразумии я на мгновение принял их за любовные взгляды, обращенные ко мне. Затем я понял, что то были лишь благожелательные взоры владычицы, которая, как с витражей церкви, рассматривала своих вассалов. Следовало ли теперь признать, что именно первая моя мысль была истинной, что позднее герцогиня никогда не говорила со мной о любви только потому, что скомпрометировать себя с другом тетки и племянника было для нее опаснее, чем завести интрижку с неизвестным

юношей, случайно встреченным в Св. Иларии
Комбрейской?

Герцогиня, должно быть, пережила счастливые мгновения, ощутив, сколь содержательным было ее прошедшее, разделенное мною; но когда я попросил ее рассказать мне, в чем проявлялся провинциализм г-на де Бреоте, которого в свое время я плохо отличал от г-на де Сагана или г-на де Германта, она снова встала на точку зрения светской женщины, то есть хулительницы всякой светскости. Разговаривая со мной, герцогиня провела меня по комнатам. В маленьких гостиных разместились гости, знакомые друг с другом, — чтобы послушать музыку, они предпочли уединиться. В гостиной амбир погружались в слух немногочисленные фраки,¹⁹³ восседавшие на канapé; рядом с псише, поддерживаемом Минервой, виднелось кресло, раскрытое прямым углом, но внутри вогнутое, как люлька, — там сидела девушка. Изнеженность ее позы — она даже не шелохнулась из-за прихода герцогини — контрастировала с чудным сиянием ее амбирного платья алого шелка, перед которым бледнели самые красные фуксии, а броши и цветки так глубоко погрузились в перламутровую ткань, что оставили на поверхности лишь впалые следы. Здороваясь с герцогиней, она слегка наклонила прекрасную каштановую голову. Было еще совсем светло, но для лучшего сосредоточения на музыке она попросила закрыть большие занавеси, и, чтобы публика не спотыкалась, на треножнике зажгли урну, поверх которой разливалось мягкое свечение. В ответ на мой

вопрос, г-жа де Германт сказала, что это г-жа де Сент-Эверт. Тогда я спросил, кем она приходится известной мне Сент-Эверт. Герцогиня ответила, что это жена одного из ее внучатых племянников, высказалась за мысль, что урожденная Ларошфуко, но при этом отрицала, что сама знакома с Сент-Эвертами. Я напомнил ей о приеме (известном мне, по правде говоря, лишь понаслышке), на котором, еще принцессой де Лом, она встретила Свана. Г-жа де Германт утверждала, что такого никогда не было. Герцогиня всегда была врушкой, и с годами эта ее черта усугубилась. Г-жа де Сент-Эверт представляла салон — со временем, впрочем, рухнувший, — который герцогиня предпочитала отрицать. Я не настаивал. «С кем вы у меня могли познакомиться (он был остроумен), так это с мужем упомянутой, а с ней у меня никаких отношений не было». — «Но ведь она не была замужем». — «Вам так кажется, потому что они развелись; он, кстати, был намного приятней супруги». В конце концов я понял, что огромный, необычайно крупный, сильный и совершенно седой мужчина, с которым я почти везде встречался, так и не узнав его имени, был мужем г-жи де Сент-Эверт. Он умер в прошлом году. Что же касается племянницы, то мне так и не довелось узнать, от боли ли в желудке, нервов, флебита, родов — предстоящих, недавних или неудавшихся, но она слушала музыку без движений и, кто бы ни прошел, не шелохнувшись. Скорее всего, восседаая в кресле и гордясь своими прекрасными алыми шелками, она хотела производить на нас эффект своего рода Рекамье. Едва ли она

понимала, что благодаря ей имя Сент-Эвертов заново распускалось во мне и в далеком отстоянии отмечало долготу и непрерывность Времени. И она баюкала Время в челночке, где цвели имя Сент-Эвертов и стиль ампир в шелках красных фуксий. Г-жа де Германт заявила, что ампир всегда внушал ей отвращение; этим она хотела сказать, что она питает к нему отвращение сейчас, и это было правдой, потому что, хотя и с некоторым опозданием, она следовала моде. Не входя в такие сложности, чтобы говорить о Давиде, в котором она не разбиралась, она еще в юности считала Энгра скучнейшим трафаретчиком, затем, ни с того ни с сего — одним из самых «пикантных» мэтров Нового Искусства, и дошла даже до того, что перестала выносить Делакруа. Какими путями она вернулась от своего культа к порицанию, не столь важно, поскольку это нюансы вкуса, отраженные критиками искусства за десять лет до разговоров многоумных дам. Покритиковав ампир, она извинилась за разговор о таких незначительных людях, как Сент-Эверты, и таких пустяках, как провинциализм Бреоте, ибо она была так же далека от понимания, почему меня это интересовало, как г-жа де Сент-Эверт-Ларошфуко, в поисках желудочного успокоения или энгровского эффекта, — по какой причине меня чаровало ее имя, имя ее мужа, а не более славное имя ее родителей, почему я смотрел на нее, в этой символической пьесе, как на баюкающее движение Времени.

«Но зачем говорить об этой чепухе, разве всё это вам интересно?» — воскликнула герцогиня. Эта фраза была

произнесена ею вполголоса, и никто не мог расслышать слов. Но молодой человек (он впоследствии заинтересует меня своим именем, намного более близким мне некогда, чем имя Сент-Эвертов) раздраженно вскочил и отошел подальше, чтобы его сосредоточению не мешали. Потому что играли Крейцерову сонату, но, запутавшись в программе, он решил, что это сочинение Равеля, про которого говорили, что он прекрасен как Палестрина, но труден для понимания. Он так резко вскочил, что сшиб столик, потому что в темноте его не заметил, — большинство присутствующих тотчас обернулось, и это простое упражнение (посмотреть, что там позади) ненадолго прервало мучительное «благоговейное» прослушивание Крейцеровой сонаты. Я и г-жа де Германт, как причина скандальчика, поспешили перейти в другую комнату. «Ну разве эти пустяки могут интересовать человека ваших достоинств? я только что видела, как вы болтали с Жильбертой де Сен-Лу. Это вас недостойно. Лично мне кажется, что она ничего из себя не представляет, эта женщина... это не женщина, это что-то самое фальшивое и буржуазное в свете, — даже свою защиту интеллектуальности герцогиня выстраивала на аристократических предрассудках. — и вообще, зачем вы посещаете такие дома? Сегодня еще я понимаю, потому что здесь читала Рашель, это может вас заинтересовать. Но как бы хороша она сегодня ни была, перед такой публикой она не выкладывается. Как-нибудь вы пообедаете у меня с ней наедине. Тогда вы поймете, что она за человек.

Она на сто голов выше всех, кто здесь. И после обеда она вам почитает Верлена. Вы мне об этом скажете что-нибудь новенькое. Но как вас занесло на эту “помпу” — нет, этого я не понимаю. Если, конечно, вы не хотите изучать...» — добавила она в легком сомнении и с колебанием, однако в тему не углубляясь, ибо не представляла в точности, в чем заключался плохо представимый род деятельности, на который она намекнула.

Особенно она хвасталась тем, что у нее каждый день присутствуют X и Y. Дело в том, что в конечном счете она пришла к концепции «салонной дамы», некогда вызывавшей у нее отвращение (хотя сегодня она это отрицала), и «принимать всех самых», по ее мнению, было огромным преимуществом и печатью изысканности. Если я говорил ей, что та или иная «салонная дама» при жизни г-жи де Хоуланд не говорила о ней ничего хорошего, моя наивность вызывала у герцогини бурное веселье: «Естественно, у нее ведь все и собирались, а вторая хотела всех переманить!»

«Вам не кажется, — спросил я герцогиню, — что г-же де Сен-Лу неприятны встречи с бывшей любовницей мужа?» я увидел, как на лицо г-жи де Германт легла косая складка, связующая какими-то глубокими нитями то, что она услышала, с малоприятными мыслями. Связями глубокими, хотя и не выражаемыми, — но наши тяжкие слова никогда не получают ответа, ни устного, ни письменного. Только глупцы десять раз кряду будут требовать ответа на напрасно

написанное письмо, в котором было что-то лишнее, потому что на такие письма отвечают делами, и корреспондентка, которую вы сочли неаккуратной, при встрече назовет вас господином вместо того, чтобы обратиться к вам по имени. Мой намек на связь Сен-Лу с Рашелью был не столь тяжек и только на секунду мог расстроить г-жу де Германт, напомнив ей, что я был другом Сен-Лу и, возможно, его конфидентом в пору того провала, что выпал на долю Рашели на вечере у герцогини. Но ее мысли на этом не остановились, грозная складка испарилась, и г-жа де Германт ответила на мой вопрос о г-же де Сен-Лу: «Скажу вам, что думаю: ей это безразлично, потому что Жильберта никогда не любила мужа. Она ведь просто чудовище. Ей нравилось положение в обществе, имя, то, что она станет моей племянницей, ей хотелось выбраться из своей грязи, — после чего ей ничего в голову не пришло, как туда вернуться. Знаете, я много страдала за нашего бедного Робера, потому что зорек как орел он не был, но потом разобрался, и в этом, и во многом другом. Не следует так говорить, потому что она все-таки моя племянница, и у меня нет точных доказательств, что она его обманывала, но слухи ходили разные, и — скажу вам, что знаю, — с одним офицером из Мезеглиза Робер хотел стреляться. И поэтому Робер пошел на фронт, война для него была выходом из семейных дрязг; если хотите знать мое мнение, его не убили — он сам пошел на смерть. А она и вовсе не горевала, она даже удивила меня своим неслыханным цинизмом и деланным безразличием, — мне

это было очень обидно, потому что я сильно любила бедного Робера. Вас это удивит, наверное, меня вообще плохо знают, но мне до сих пор случается о нем думать. Я не забываю никого. Он мне ничего не говорил, но понял, что я всё разгадала. Подумайте сами, если бы она хоть капельку любила своего мужа, разве смогла бы она с таким хладнокровием находится в этой гостиной, — ведь здесь присутствует женщина, в которую он был безумно влюблен столько лет? Можно даже сказать — всегда, потому что я уверена, что это не прекращалось даже во время войны. Да она бы ей глотку перегрызла!» — крикнула герцогиня, забывая, что сама она, настаивая на приглашении Рашели, и делая возможной эту сцену, которую она считала неизбежной, если бы Жильберта любила Робера, поступила, наверное, жестоко. «Да она, знаете ли, — заключила герцогиня, — просто свинья». Это выражение стало возможным в устах г-жи де Германт после того, как по наклонной, из среды обходительных Германтов, она скатилась в общество комедианток, потому что подобное, как ей казалось, «в духе» грубоватого XVIII века, а также потому, что, по ее мнению, ей позволено всё. Но в действительности эти слова были продиктованы ненавистью к Жильберте, настоятельной потребностью нанести ей удар, за невозможностью физически — заочно. Помимо того, этим герцогиня хотела оправдать свое поведение по отношению к Жильберте, или, вернее, в пику ей, в свете и семье, исходя из преимущества интересов Робера.

Но поскольку иногда наши суждения приводят к неведомым следствиям, на зримое подтверждение которых мы не могли рассчитывать, Жильберта многое унаследовавшая, конечно, от матери (и, безусловно, эту покладистость — я на нее, впрочем, не отдавая себе в том отчета, и рассчитывал, когда просил ее познакомить меня с очень юными девушками), поразмыслив, вывела из моей просьбы — и, наверное, чтобы семья не осталась не у дел, — заключение более дерзкое, нежели те, о которых я мог догадываться: «Если позволите, я сейчас схожу за дочерью, чтобы ее вам представить. Она внизу, скучает с малышом Мортемаром и другими крохами. Я уверена, что она станет для вас славной подружкой». Я спросил, был ли Робер рад дочке. «Конечно, он ею очень гордился. Но я думаю, вспоминая о его вкусах, — простодушно добавила Жильберта, — что, конечно же, он бы предпочел мальчика». Эта девочка, чье имя и состояние внушали матери надежду, что она соединит свою судьбу с наследным принцем и увенчает работу, восходящую к Свану и его жене, позже вышла замуж за малоизвестного писателя, потому что не была снобкой; семья снова опустилась на тот уровень, с которого поднялась. Представителям новых поколений было крайне сложно толковать, что родители этой безвестной четы занимали блестящее положение. Чудом всплывали имена Свана и Одетты де Креси, и вместе объясняли, что вы заблуждаетесь, что в этом браке нет ничего удивительного. Считалось, что в целом г-же де Сен-Лу досталась куда более выгодная партия, чем то, на что она

могла рассчитывать, что брак ее отца с Одеттой де Креси ничего из себя не представлял и был тщетной попыткой выбиться в люди, хотя дело было в другом: по крайней мере с точки зрения его чувств к Одетте, брак этот был продиктован теми же теориями, которые в XVIII веке вынуждали знатных бар, учеников Руссо, отцов революционеров, «жить жизнью природы», отказавшись от своих благ.

Я был обрадован и удивлен ее словами; но эти чувства быстро сменились (г-жа де Сен-Лу вышла в другую комнату) представлением о прошедшем Времени, которое м-ль де Сен-Лу, хотя я еще не видел ее, тоже даровала мне, пусть и по-своему. Как и большинство людей, впрочем, не была ли она подобна тем указателям на лесных перепутьях, где сходятся дороги, которые вели, как и в нашей жизни, из максимально удаленных друг от друга точек? Мне казалось, что пути, приведшие к м-ль де Сен-Лу, бесчисленны, как и пути, расходящиеся от нее. Прежде всего, к ней вели две больших «стороны» моих прогулок и мечтаний: от отца, Робера де Сен-Лу, сторона Германтов, от Жильберты, ее матери, сторона Мезеглиза, «сторона к Свану». Одна, от матери юной девочки и Елисейских полей, вела меня к Свану, к моим комбрейским вечерам, на сторону Мезеглиза; другая, от отца, к Бальбекским полудням, когда я впервые увидел его у залитого солнцем моря. Уже между двумя этими дорогами обозначились поперечные пути. Потому что в реальный Бальбек, где я познакомился с Сен-Лу, мне захотелось поехать большей

частью из-за рассказов Свана о церквях, в особенности о персидской, и, с другой стороны, благодаря Роберу де Сен-Лу, племяннику герцогини де Германт, я сблизился, еще в Комбре, со стороной Германтов. И ко многим другим точкам моей жизни вела м-ль де Сен-Лу — к даме в розовом, ее бабушке, которую я застал у моего двоюродного деда. Здесь проходит иной поперечный путь, потому что лакей двоюродного деда, который впустил меня в тот день, и позднее, завещав мне фотографию, позволил установить личность Дамы в розовом, был отцом юноши, любимого не только г-ном де Шарлю, но и отцом м-ль де Сен-Лу, что принесло ее матери столько горя. И не дедушка ли м-ль де Сен-Лу, Сван, впервые рассказал мне о музыке Вентейля, как Жильберта — об Альбертине? Но, рассказав Альбертине о музыке Вентейля, я узнал о ее близкой подруге и начал с ней ту особую жизнь, что привела ее к смерти, а мне причинила много страданий. К тому же, именно отец м-ль де Сен-Лу ездил к Альбертине, чтобы ее вернуть. И моя светская жизнь, в Париже, в салоне Сванов или Германтов, или, так далеко от них отстоящем, салоне Вердюренов, выстроила возле двух комбрейских сторон Елисейские поля, прекрасную террасу Распельера. Впрочем, кого из известных нам лиц, при рассказе о дружбе с ними, мы не будем вынуждены последовательно разместить во всех, даже самых несхожих местностях нашей жизни? Жизнь Сен-Лу, изображенная мной, развернулась бы в каждом пейзаже и затронула бы всё мое существование, даже те его части, от которых Сен-Лу более всего был далек, даже

бабушку и Альбертину. Впрочем, сколь бы далеки они ни были, Вердюрены примыкали к Одетте через ее прошлое, к Роберу де Сен-Лу через Чарли; и какую только роль у них не сыграла музыка Вентейля! Наконец, Сван любил сестру Леграндена, тот знал г-на де Шарлю, на воспитаннице последнего женился юный Камбремер. Конечно, если речь идет только о наших чувствах, у поэта есть основание говорить о «таинственных нитях», разорванных жизнью. Вернее было бы сказать, что она безостановочно протягивает их между людьми и событиями, что она скрещивает эти нити, наращивает, сгущая уток, и нужно лишь найти узелок в плотной ткани воспоминаний, чтобы самая малая точка нашего прошлого оказалась сплетенной со всеми остальными.

Можно сказать, даже если бы я не пытался пользоваться этим бессознательно, но вспоминал прошедшее, что нет ничего служившего нам в данный момент, что не обладало бы жизнью, и для нас — личной жизнью, чтобы видоизмениться затем, при употреблении, в простое рабочее полотно. Мое знакомство с м-ль де Сен-Лу произойдет сейчас у г-жи Вердюрен. Сколько очарования таят для меня воспоминания о наших поездках с той самой Альбертиной, заместительницей которой я попрошу сейчас стать м-ль де Сен-Лу, в трамвайчике, к Довиллю, к г-же Вердюрен, той самой г-же Вердюрен, которая связала и разорвала, еще до моей любви к Альбертине, любовь дедушки и бабушки м-ль де Сен-Лу! Все вокруг нас были картинами Эльстира, который представил меня Альбертине.

И чтобы прочнее сплавить мои прошедшие, г-жа Вердюрен, как и Жильберта, вышла замуж за одного из Германтов.

Мы не сможем рассказать о наших отношениях с человеком, даже если мы его плохо знали, не вводя в повествование одно за другим самые разные места нашей жизни. Так что каждый индивид — и сам я был одним из них — определял для меня длительность времени вращением, которое он совершал не только движением по своей орбите, но и движением вокруг других лиц, и в особенности теми положениями, что были последовательно заняты им относительно моей персоны. Конечно, все эти различные плоскости, — сообразно которым Время, стоило только охватить его на этом утреннике, выстроило мою жизнь, заставляя меня думать, что в книге, которая будет рассказывать о ней, в отличие от общеупотребительной планиметрической психологии, следует задействовать своего рода психологию в пространстве,¹⁹⁴ — сообщали свежую прелесть тем воскрешениям, что были произведены моей памятью в библиотеке, пока я в одиночестве предавался размышлениям, поскольку память, без изменений вводя прошлое в настоящее, каким оно было тогда, когда оно было настоящим, упраздняет то огромное измерение Времени, на координатах которого реализуется жизнь.

Я увидел, что ко мне идет Жильберта. Для меня и женитьба Сен-Лу и мысли, тогда меня занимавшие, не менявшиеся вплоть до этого утра, — всё это было словно вчера; и я

с удивлением увидел рядом с ней девочку примерно шестнадцати лет: ее высокая фигурка показывала расстояние, которое мне не хотелось замечать. Бесцветное и неощутимое время материализовалось в ней, чтобы, так сказать, я смог увидеть его, прикоснуться к нему; оно творило ее, как скульптор свой шедевр, тогда как надо мной оно, параллельно, увы, лишь проделало свою работу. Так или иначе, м-ль де Сен-Лу стояла передо мной. У нее были глубоко посаженные подвижные глаза, и ее хорошенький нос был слегка вытянут в форме клюва и искривлен, но не как нос Свана, а как нос Сен-Лу. Душа этого Германта испарилась; но очаровательная голова с острыми глазами летящей птицы красовалась на плечах м-ль де Сен-Лу; и те, кто знал ее отца, глядя на нее, погружались в воспоминания.

Я был поражен, что ее нос, вылепленный словно по мерке носа матери и бабушки, кончался совершенно горизонтальной линией — великолепной, хотя и недостаточно короткой. Черта столь особенная, что увидев лишь ее, можно было узнать одну статую из тысяч, и я восхитился, что именно здесь, как в случае внучки, так и матери, и бабушки, остановилась природа и совершила — как великий и неповторимый скульптор — мощный и точный удар резца. Она казалась мне прекрасной: еще полная надежд, смеющаяся, в тех летах, что были утрачены мной, она напоминала мне мою юность.

Наконец, мысль о Времени обрела для меня свою последнюю ценность и, как стрекало, напоминала мне, что пора

приняться за дело, если я действительно хочу достичь того, что несколько раз предчувствовал в жизни — в коротких озарениях на стороне Германтов, в коляске на прогулках с г-жой Вильпаризи, благодаря которым эта жизнь и казалась мне достойной того, чтобы ее прожить. Сколь более достойной она явилась мне теперь, когда ее, как казалось, едва различимую в сумерках, можно было прояснить, ее, беспрерывно искажаемую, привести к истине, одним словом — осуществить в книге! Сколь счастлив будет тот, подумал я, кто сможет написать такую книгу; какой труд перед ним! Чтобы оформить ее идею, следовало задействовать связи самых разных, самых возвышенных искусств; писатель, который в каждом характере выявил бы самые разные стороны, чтобы придать ему глубину, должен будет подготовить книгу кропотливо, с постоянными перестановками сил, как при наступлении, пережить ее как тяготу, принять как устав, выстроить как собор, соблюсти как режим, преодолеть как препятствие, завоевать как дружбу, напитать как дитя и сотворить как мир, не пренебрегая чудесами, объяснение которых таится, вероятно, в ином свете, и предчувствие которых сильнее всего тревожит нас в жизни и в искусстве. Отдельные части подобных больших книг мы можем лишь набросать, и наверное они никогда не будут закончены, по причине всё той же величины замысла. Сколько великих соборов так и остались незавершенными. Ее вскармливают, укрепляют слабые стороны, ее защищают, но затем она сама растет и указывает на нашу могилу, охраняя ее от молвы и,

какое-то время, от забвения. Возвращаясь же к себе, я о своей книге размышлял более скромно, и едва ли точно будет сказать, что я думал о тех, кто прочтет ее, о читателях. Мне кажется, что они будут не столько моими читателями, сколько читающими в самих себе, потому что моя книга — лишь что-то вроде увеличительного стекла, вроде тех, что выдает покупателям комбрейский оптик; благодаря книге я открою для них средство чтения в себе. Так что я не напрашивался бы на хвалы и хулы, я только хотел бы, чтобы они сказали мне, одно ли это, и слова, что они читают в себе, те же ли, что и написанные мной (к тому же, возможные с этой точки зрения расхождения не всегда следует объяснять моими заблуждениями — иногда причиной будут глаза читателя, если они не из числа тех глаз, для которых моя книга пригодилась бы, чтобы читать в себе). И поминутно меняя оттенки, по мере того как точнее, вещественнее я представлял себе мой труд, к которому я был уже готов, я подумал, что за моим большим белым деревянным столом, за которым присматривала Франсуаза, поскольку неприятельные люди, долго живущие подле нас, интуитивно понимают наши задачи (и я в достаточной мере забыл Альбертину, чтобы простить Франсуазе то, что она ей сделала), я работал бы рядом с ней и мой труд был бы сходен с ее работой (по меньшей мере, как она работала прежде, ибо она стала так стара, что почти ничего не видела), и прикалывая то здесь, то там по листу, я создавал бы свою книгу — не скажу честолюбиво как собор, но как платье. Если бы я не имел

подле себя, как выражалась Франсуаза, всех моих «бумажищ», и недоставало как раз необходимого, кто лучше Франсуазы понял бы мое раздражение: она всегда говорила, что нельзя шить, если нет именно тех ниток и пуговиц, которые ей пригодны. К тому же, она уже долго жила со мной под одной крышей и выработала какое-то инстинктивное понимание литературной работы, более точное, чем у многих эрудитов, и конечно — чем понимание людей заурядных. Так, когда я писал статью для «Фигаро», наш старый дворецкий, со своего рода сочувствием, всегда несколько преувеличивающим тяготы непрacticуемой и непонимаемой работы, даже неведомой привычки, подобно людям, говорящим: «как, должно быть, утомительно вам чихать», выражал свое искреннее сострадание писателям: «Какая же это, поди, головоломка», — Франсуаза же, напротив, догадывалась о моем счастье и уважала мой труд. Она только сердилась, что я раньше времени рассказывал о статье Блоку, опасаясь, как бы он не опередил меня, и говорила: «Вы этим людишкам доверяете, а они борзописаки». Блок и правда, каждый раз, когда мои наброски казались ему интересными, подыскивал ретроспективное алиби: «Надо же! как любопытно, я как раз что-то написал в этом духе, надо бы тебе почитать». (Что было, однако, покамест невозможным, поскольку написать статью ему предстояло сегодня вечером.)

Когда я склеивал бумаги (Франсуаза называла их «бумажищами»), они то и дело рвались. В случае чего, разве не помогла бы мне Франсуаза, скрепив их, как заплаты

на своих изношенных платьях, или, в ожидании стекольщика (пока я ждал печатника), куски газеты вместо разбитого кухонного стекла? Франсуаза говорила мне, показывая источенные, как дерево, тетради, в которых завелись насекомые: «Вот незадача, всё моль истлила, обидно-то как, и весь краешек страницы съели», и, осмотрев ее, как портной, добавляла: «Кажется, починить ее я не смогу, с ней уже всё кончено. Ах, как жаль, может быть, там были самые лучшие ваши мысли. Как говорят в Комбре, моль разбирается в тканях лучше тряпичника. Она заводится в самых лучших отрезах».

Впрочем, поскольку те или иные образы книги, человеческие и иные, составлены из бесчисленных впечатлений, полученных нами от многих девушек, церквей, сонат, и при этом служат для создания одной сонаты, церкви, девушки, то не выстрою ли я книгу, как Франсуаза тушила говядину, по достоинству оцененную г-ном де Норпуа, желе которой пестрело отборными кусочками мяса? и я наконец осуществил бы мечты, посещавшие меня во время прогулок на стороне Германтов, казавшиеся мне несбыточными, — как казалось мне невозможным привыкнуть отходить ко сну, не поцеловав маму, или позднее привыкнуть к мысли, что Альбертина любит женщин, — мысли, с которой я в конце концов сжился, не замечая даже ее присутствия, ибо величайшие наши страхи, равно надежды, не превышают наших сил, и в конце концов мы преодолеваем одни и воплощаем другие.

Итак, что касается этого произведения, мое новое понимание
Времени говорило мне, что пришла пора за него взяться.
Было самое время, но моя тревога, когда я вошел в гостиную
и по лицам в гриме понял, сколько мной было утрачено
времени, была оправданной; достаточно ли его еще,
времени? у духа свои виды, созерцать их позволено
недолго. Я жил как художник, взбиравшийся по тропинке
над озером, пока завеса скал и деревьев прятала вид на воду.
В проеме он видит то, что искал, озеро в целости перед ним,
он берется за кисти. Но вот уже наступает ночь, рисовать
больше нельзя, и вслед за ней никогда не придет день.
И действительно, условие моего произведения, каким я его
задумал только что, в библиотеке, заключалось
в углублении впечатлений, которых следовало прежде
воссоздать памятью. Но и она была изнурена.

Прежде всего, а ведь еще ничего не начато, даже если
я рассчитывал (ведь я был не очень стар) на несколько лет
вперед, меня тревожило, что мой час мог пробить в любую
минуту. Следовало исходить из того, что мне дано тело, —
иными словами, я постоянно подвергаюсь двойной
опасности, внешней и внутренней. Я говорю так только для
удобства выражения. Ибо внутренние болезни, например,
кровотечение в мозге, в той же мере принадлежат телу,
и потому являются внешними. И оттого, что нам дано тело,
дух в большой опасности. О мыслительной жизни человека,
конечно, не столько следует говорить как о чудесном
совершенстве животного и физического развития, сколько
о ее — в пределах организации духовной жизни —

рудиментарной неполноценности, как у колонии полипов, как у тела кита и т. д.; дух заключен в крепости тела, скоро ее осадят со всех сторон, и духу придется сдаться.

Но удовольствовавшись разграничением угрожающей духу опасности на два вида и начав с внешнего, я вспомнил, что нередко мне в жизни уже приходилось, в моменты интеллектуального возбуждения, когда какое-то обстоятельство приостанавливало физическую активность, например, когда я покидал в коляске, слегка навеселе, ривбельский ресторан, отправившись в какое-то казино поблизости, очень четко ощущать в себе подлинный объект моей мысли и понимать, что от случайности зависит не только вхождение этого объекта в мою мысль, но и то, что он не будет тотчас уничтожен вместе с телом. Тогда меня это не сильно тревожило. Мое ликование не было ни осмотровым, ни тревожным. То, что эта радость кончится через секунду и уйдет в небытие, не вызывало во мне волнения. Но теперь напротив; дело в том, что счастье, испытанное мной, шло не от исключительно субъективного напряжения нервов, разобщающего нас с прошедшим, но наоборот, от растяжения моего духа, в котором воссоздавалось, актуализировалось это прошлое, сообщая мне — увы, ненадолго — значение вечности. Я завещал бы последнюю тем, кого обогатит мое сокровище. Конечно, чувства, испытанные мной в библиотеке, которые я пытался укрепить, приносили еще и удовольствие, но в нем не было ничего эгоистического, или, по меньшей мере, эгоизм его был таков (ибо любой плодотворный

естественный альтруизм развивается по эгоистическому пути, а неэгоистический альтруизм человека бесплоден, это альтруизм писателя, прерывающего работу ради встречи с несчастным другом, исполнения общественной задачи, написания пропагандистских статей), что приносил пользу другим. Во мне больше не было этого равнодушия, как на пути из Ривбеля, я ощущал себя побегом своей книги, которую я нес в себе, словно нечто драгоценное, хрупкое, доверенное мне, что мне хотелось вручить в целостности не в свои, но в чужие руки, ведь она предназначалась для них. Теперь я ощущал себя вестником этого произведения, и поэтому происшествие, в котором я встречу смерть, представлялось мне более ужасным, даже (в той степени, в какой эта работа казалась мне необходимой и долговечной) абсурдным, поскольку оно противоречило моему желанию, порыву мысли, — но было возможным из-за того не менее, поскольку происшествия, вызванные материальными причинами, вполне могут произойти и в то время, когда из-за самых разных желаний, которые они, не ведая того, разрушат, мы желаем избегнуть их всеми силами, как то бывает каждый день в простых жизненных ситуациях — мы не хотим будить спящего друга, но графин, поставленный слишком близко к краю стола, падает и пробуждает его. Я очень хорошо знал, что мой мозг — это рудниковое месторождение, что его драгоценные залежи необъятны и разнообразны. Но есть ли у меня еще время воспользоваться ими? Это мог сделать только я. По двум причинам: с моей смертью пропал бы

не только единственной шахтер, способный извлечь эти минералы, но и рудники. Однако сейчас, по пути домой, достаточно столкновения машины, в которую я сяду, с какой-нибудь другой, и мое тело погибнет, а дух, из которого уйдет жизнь, навсегда оставит новые идеи, которые в этот момент, уже не успевая прояснить в книге, он прикроет тоскливо дрожащей плотью, тщетно их заслоняя. Но по странному совпадению, эта обоснованная боязнь опасности родилась во мне в тот момент, когда мысль о смерти стала для меня безразличной. Когда-то мысль, что я больше не буду собой, приводила меня в ужас, и так было в каждой любви, испытанной мною — к Жильберте, к Альбертине, — потому что уже само предположение, что существо, влюбленное в них, когда-нибудь умрет, казалось мне непереносимым, это было каким-то подобием смерти. Но поскольку всё обновляется, эта боязнь естественным образом сменялась доверчивым покоем.

Не даже удар не был обязательным условием. Отдельные симптомы, о которых мне напоминала то пустота в голове, то забвение, когда о многих вещах я мог вспомнить только случайно, — так, прибираясь, мы натываемся на предмет, уже забыв, что его нужно найти, — превращали меня в скопидома, из дырявого сейфа которого потихоньку утекают богатства. Одно время во мне жило какое-то «я», которое оплакивало потерю и противилось ей, но вскоре я почувствовал, что память, уходя, прихватила с собой и его.

И если раньше мысль о смерти омрачала мою любовь, то давно уже воспоминание о любви освободило меня от страха смерти. Ибо я понимал, что смерть для нас не нова, что уже в детстве, напротив, я много раз умер. И даже позже — разве я не дорожил Альбертиной больше жизни? Мог ли я тогда вообразить такое свое «я», в котором не осталось бы любви к ней? Однако теперь я не любил ее, я больше не был человеком, влюбленным в нее, я стал другим, ее не любящим; и когда я стал другим, я потерял любовь. Однако тот факт, что я изменился, что я больше не люблю Альбертину, не причинял мне страданий; и конечно же, мысль о том, что я расстанусь со своим телом, никоим образом не могла мне внушить столь же сильную грусть, как раньше мысль о том, что я разлюблю Альбертину. Однако с каким безразличием я думал теперь, что я больше не люблю ее! Эти последовательные смерти, так сильно страшившие «я», подлежащее уничтожению, и столь безразличные и тихие по исполнению, что тот, кому они грозили, больше не помышляет о них, наставили меня за некоторое время, как глупо страшиться смерти. Однако теперь, когда она стала для меня безразличной, иные страхи вновь овладели мной, но уже в другой форме, поскольку я боялся не за себя, а за книгу, — ведь для ее рождения, по крайней мере, какое-то время, необходима эта жизнь, подверженная многим опасностям. Как говорил Виктор Гюго,

Так пусть трава растет и младость увядает.¹⁹⁵

А я скажу, что это жестокий закон искусства: люди умирают, и мы сами умрем, исчерпав свои страдания, чтобы пробилась трава — не забвения, но вечной жизни, густая трава плодотворных произведений, на которой грядущие поколения, не беспокоясь о тех, кто спит внизу, устроят свой веселый «завтрак на траве».

Я говорил о внешних опасностях; но есть и внутренние. Если несчастный случай не грозил мне извне, то кто знает, не помешает ли мне воспользоваться этой льготой какая-нибудь внутренняя опасность, катастрофа, которая произойдет еще до истечения срока, необходимого для написания книги.

Сейчас я вернусь домой, проехав по Елисейским полям, но что вселит в меня уверенность, что меня не сразит та же болезнь, от которой умерла моя бабушка, когда она, не подозревая о том, вышла на свою последнюю прогулку, пребывая в свойственном нам неведении, что стрелка подошла к нужной точке, что сейчас дернется пружина механизма и прозвонит ее час? Может быть, страх, что минута, предшествующая первому удару часов, уже почти истекла, и они вот-вот зазвонят, может быть, эта боязнь удара, который сейчас пошатнет мой мозг, была каким-то предчувствием неминуемого, будто ответ в сознании шаткого состояния мозга, артерии которого вот-вот дрогнут, — и это в той же степени возможно, как внезапное узнание смерти, когда раненные, хотя медик

и желание жить пытаются обмануть их, говорят, предчувствуя то, что сейчас произойдет: «Я сейчас умру, я готов», и пишут женам последнее «прости».

И действительно, смутное предчувствие того, что должно произойти, было внушено мне необычным событием, когда я еще не взялся за работу, причем в том виде, о котором ранее я не мог помыслить. Однажды я отправился на прием, там мне сказали, что я выгляжу лучше, чем раньше, и удивлялись, что мои волосы черны. А я едва не упал три раза, пока спускался по лестнице. Я вышел только на два часа, но когда вернулся, почувствовал, что у меня теперь нет ни памяти, ни мысли, ни сил, ни жизни. Приди ко мне кто-нибудь, чтобы поболтать, провозгласить королем, схватить, арестовать, — и я не сказал бы и слова, не открыл бы глаз, как люди, пораженные морской болезнью при пересечении Каспийского моря, которые не окажут и малейшего сопротивления, если им сказать, что сейчас их выбросят за борт. Собственно говоря, я ничем не был болен, но я чувствовал, что я уже ни к чему не пригоден, подобно тем старикам, которые еще недавно бодрились, но затем, сломав бедро или заболев несварением, еще делят какое-то время жизнь в своей постели, но уже только в виде более или менее долгого приготовления к отныне неизбежной кончине. Одно из моих «я», посещавшее варварские пиры, именуемые «светскими ужинами», где для мужчин в черном и полуобнаженных оперенных женщин все ценности настолько извращены, что тот, кто, будучи приглашен, пропустит ужин, или придет только к горячему,

совершит нечто намного более предосудительное, нежели те аморальные поступки, о которых с легкостью упомянут на том же ужине, как и о недавних смертях, — и только смерть или тяжкое заболевание извинят ваше отсутствие, при условии заблаговременного предупреждения о смерти, чтобы пригласили кого-нибудь четырнадцатым, — этому «я» по-прежнему были известны угрызания совести, но оно утратило память. Зато вспоминало другое «я», замыслившее произведение. Я тогда получил приглашение от г-жи де Моле и узнал о смерти сына г-жи Сазра. Я решил потратить один из часов, после которых я больше не мог произнести и слова, потому что язык коченел, как бабушка в агонии, да даже выпить молока, на извинения г-же де Моле и соболезнования г-же Сазра. Но спустя несколько мгновений я забыл, что должен сделать. Блажен забывчивый, ибо память о произведении бодрствовала, и в этот час бессмертия, выпавший мне на долю, взялась за закладку первых оснований моего произведения. К несчастью, когда я собрался писать и взял тетрадь, из нее выпала пригласительная открытка от г-жи Моле. Тотчас «я» забывчивое, однако возобладавшее над другим, как то бывает у щепетильных ужинающих варваров, оттолкнуло тетрадь и застрочило г-же Моле (она, впрочем, была бы польщена, узнав, что я предпочел своим архитектурным штудиям ответ на ее приглашение). Какое-то слово из моего письма неожиданно напомнило мне, что г-жа Сазра потеряла сына, я и ей написал, а затем, принеся в жертву реальный долг искусственной

обязанности — быть вежливым и отзывчивым, — упал без сил, закрыл глаза, и еще неделю приходил в себя. Однако, если никчемные обязанности, в жертву которым я был готов принести истину, забывались через несколько минут, мысль о творении не оставляла меня ни на секунду. Я не знал, станет ли это церковью, где верующие постепенно приобщаются к истинам, гармониям и большому общему плану, или же это останется, как друидический монумент на горе какого-нибудь острова, сооружением, куда никто никогда не ходит. Но я решил посвятить этой постройке все мои силы, будто нехотя иссякавшие, словно оставляя мне время, чтобы я смог, когда окружность будет описана, закрыть «гробовую дверь». Вскоре я мог показать несколько набросков. Никто в них ничего не понял. И даже те, кто был снисходителен к моему пониманию истин, которые я наконец решился запечатлеть в своем храме, поздравляли меня с тем, что я нашел их «под микроскопом», — а я использовал телескоп, чтобы разглядеть предметы, которые кажутся крошечными только оттого, что расположены на огромном расстоянии от нас, и все они суть миры. Если я исследовал великие законы, то говорили, что я копаюсь в деталях. Впрочем, к чему я за это взялся? в юности я писал легко, и Бергот называл мои университетские страницы «совершенными».¹⁹⁶ Но вместо того чтобы работать, я жил в праздности, в рассеянии удовольствий, в болезнях, в хлопотах и причудах, и я взялся за работу у гробовой доски, ничего не зная о своем ремесле. Я больше не находил в себе сил, чтобы исполнять светские обязанности, равно

чтобы отдать долг моему замыслу и произведению, и еще менее, чтобы удовлетворять требованиям того и другого. Что касается первых, я забывал писать письма и т. п., и это слегка упрощало мою задачу. Но внезапно, на исходе месяца, что-то ассоциативно напомнило мне о моих угрызениях, и я был удручен чувством собственного бессилия. Меня удивляло мое безразличие, но дело в том, что с того дня, когда у меня затряслись колени на лестнице, я стал безразличен ко всему, я хотел только покоя, я жаждал последнего успокоения, которое придет в конце. И не потому, что я рассчитывал на большой успех, что наверно выпадет на долю моего произведения после моей смерти — я был безразличен к голосам лучших людей нашего времени. Те, кто придут после моей смерти, могут думать что им угодно, меня это беспокоило не больше. В действительности, если я думал о произведении, а не о письмах, ждавших ответа, то вовсе не оттого, что находил существенное отличие между двумя этими вещами, как во времена моей лености и затем, когда я уже приступил к работе, вплоть до того дня, когда мне пришлось схватиться за лестничные перила. Организация моей памяти и интересов была увязана с произведением, и если полученные письма забывались спустя мгновение, мысль о произведении в душе, всегда та же, пребывала в вечном становлении. Заодно она стала мне надоедать. Она словно бы стала сыном, о котором умирающая мать должна еще, тяготясь, беспрестанно заботиться, улучая время между банками и уколами. Может быть, она еще любит его, но ей

об этом напоминает только тягостная обязанность: забота о нем. Мои писательские силы уже не были на той же высоте, что и эгоистические потребности произведения. С того дня на лестнице ничто в этом мире, даже счастье — радости дружбы, успехи работы, надежда славы — не будило меня своими лучами, лишь как большое бледное солнце, которое уже не могло меня согреть, дать силы, вызвать во мне хоть какое-нибудь желание, а еще, каким бы тусклым ни было оно, оно слишком ярко светило для моих глаз — им так хотелось закрыться, что я отворачивался к стене. Мне кажется, в той мере, в какой я уловил движение своих губ, я слегка улыбнулся уголком рта, когда одна дама написала мне: «Я *очень удивилась*, не получив ответа на свое письмо». Тем не менее, это напомнило мне ее послание, и я ей ответил. Мне хотелось, чтобы меня не сочли неблагодарным, довести свою теперешнюю вежливость до уровня той, что была проявлена людьми по отношению ко мне. И я был раздавлен, наложив на свое агонизирующее существование сверхчеловеческие тяготы жизни. В некоторой мере мне помогала утрата памяти, облегчая бремя обязанностей; их подменило мое произведение.

Мысль о смерти окончательно обосновалась в моей душе, как прежде мысль о любви. Не то чтобы я любил смерть — я ее ненавидел. Но, думая о ней время от времени как о женщине, которую еще не любишь, я приобщил ее к самому глубокому пласту моего сознания, и если какой-нибудь предмет еще не пересек идеи смерти, я не мог заняться им; даже если я был свободен и пребывал в полном

покое, мысль о смерти составляла мне столь же неотвязную компанию, как мысль о себе. Я не думаю, что в тот день, когда я омертвел, все эти сопутствующие обстоятельства — невозможность спуститься по лестнице, вспомнить имя, подняться, — каким-то бессознательным действием мысли определили представление о смерти, что я был почти мертв; скорее, всё это явилось совокупно, и огромному зеркалу духа надлежало отразить новую реальность. Однако, я не мог понять, каким же это образом мои болезни, ничем не предуведомленные, могут привести к неотменимой смерти. Но тогда я вспомнил о других, о тех, кто с каждым днем близится к концу, хотя расстояние между их болезнью и смертью не видится нам огромным. Я также подумал, что если некоторые недомогания не казались мне смертельными, то лишь потому (даже если закрыть глаза на искривляющую их призму надежды), что я смотрел на них изнутри, взяв их по-отдельности, хотя и верил в свою смерть — подобно тем, кто знает, что смерть у порога, но с той же легкостью убеждает себя, что если он и не может произнести некоторых слов, то это не имеет никакого отношения к удару, афазии и т. д., но вызвано усталостью языка, нервным состоянием, подобным заиканию, либо истощением, обусловленным несварением.

Я все-таки должен написать нечто другое, более долговечное, книгу, которая послужит не мне одному. Писать придется долго. Днем я, самое большое, старался бы заснуть. Я буду работать только ночью. Но мне понадобится много ночей — может быть, сто, а может и тысячу. И я жил бы, тревожась

по утрам, когда я прерывал бы свой рассказ, что Повелитель моей судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахрияр,¹⁹⁷ не отложит последнюю остановку, что он не позволит мне продолжить повесть в следующий вечер. Не то чтобы я рассчитывал хоть в чем-то повторить «Тысячу и одну ночь» или «Мемуары Сен-Симона», также писавшиеся ночью, или какую-нибудь другую любимую мной книгу, поскольку я в детской наивности привязался к ним, как к любовным чувствам, и не мог без ужаса представить отличное от них произведение. Но так и Эльстир воссоздал Шардена — ведь нельзя воскресить то, что ты любишь, прежде не потеряв. Наверное, мои книги тоже, как моя живая плоть, в конце концов умрут. Надо поклониться смерти. Мы смиряемся с тем, что через десять лет нас самих, а через сто лет наших книг уже не будет. Вечная жизнь отпущена книгам не в большей степени, чем людям.

Может быть, эта книга будет так же длинна, как «Тысяча и одна ночь», только она будет другой. Наверное, влюбившись в произведение, мы хотим создать нечто подобное; но следует жертвовать преходящей любовью и помнить не о своих пристрастиях, но только об истине — ей безразличны наши предпочтения, она запрещает нам помышлять о них. И если мы следуем ей одной, мы когда-нибудь внезапно откроем, что рассказываем то, от чего бежали, и написали, забыв о них, «Арабские сказки» или «Мемуары» Сен-Симона своего времени. Но было ли еще у меня время? не слишком ли уже поздно?

Я спрашивал себя не только о том, есть ли еще время, но и в состоянии ли я еще. Болезнь, что вынудила меня, как жестокий духовник, умереть для света, сослужила мне службу («ибо если зерно пшеницы не умрет после того, как его посеяли, оно останется одно, но если умрет, то принесет много плода»¹⁹⁸), — и теперь она, как раньше лень, охранявшая меня от легкомыслия, быть может, сбережет меня от лени; но заодно она поглощала мои силы, и, как я давно уже заметил, как раз тогда, когда разлюбил Альбертину, силы моей памяти. Но воссоздание памятью впечатлений, которые надлежало затем углубить, осветить, преобразить в умные духовные эквиваленты, — не было ли это одним из условий, если не самой основой произведения искусства, каким оно представилось мне только что в библиотеке? о если б у меня еще были силы, еще нетронутые в тот вечер, воскрешенный моим воспоминанием, когда я взял в руки «Франсуа ле Шампи»! Ведь к тому вечеру, когда мать отступила, восходит медленная бабушкина смерть, закат моей воли и здоровья. Всё определилось в ту минуту, когда, больше не в силах ждать завтрашнего дня, чтобы прикоснуться губами к лицу матери, я набрался решимости, спрыгнул с кровати, и, в ночной рубашке, подбежал и припал к окну, откуда лился лунный свет, а потом услышал, как уходит Сван. Мои родители проводили его, я услышал, как калитка открывается, звенит, закрывается...

Вдруг я понял, что если я найду в себе силы исполнить мое произведение, то этот утренник — как иные комбрейские

дни, оказавшие действие на мою мысль, — на котором я открыл идею моего произведения и узнал страх, что я не успею осуществить его, в этой книге станет несомненным выражением, прежде всего, формы некогда предчувствованной мной в комбрейской церкви, но обычно остающейся для нас незримой, формы Времени.

Конечно, наши чувства подвержены и другим ошибкам, искажающим реальный облик этого мира, и различные эпизоды нашего повествования убеждали меня в этом. В точнейшем переложении, которое я попытаюсь создать, можно было бы, в крайнем случае, не переставляя звуки, воздержаться от извлечения их из причины, к которой рассудок припишет их задним числом, ведь если я отниму у дождя его тихую песню в комнате и волю в потоп на дворе кипение отвара, то, наверное, отвлеку этим не больше, чем живописцы — своими заурядными приемами, когда, сообразно законам перспективы, яркость красок и сперва обманувшийся взгляд покажут нам парус или вершину слишком далеко или слишком близко, чтобы затем рассудок переместил их на безмерные расстояния. И я мог, хотя это более серьезное заблуждение, по-прежнему приписывать какие-то черты лицу прохожей, тогда как вместо носа, щек и подбородка там нет ничего, кроме пустой породы, на которой, самое большее, играет отсвет наших желаний. И даже если у меня не хватит досуга, что гораздо важнее, подготовить сотню масок, которые подошли бы для одного лица, даже если они будут только проекцией смотрящих на него глаз, чувства, прочтенного

ими в чертах, и, для тех же глаз, плодом надежды и страха или, напротив, любви и привычки, скрывающих на протяжении тридцати лет изменение возраста, даже, наконец, если бы я не взялся, без чего, как показала мне связь с Альбертиной, всё искусственно и ложно, за изображение некоторых лиц не извне, но изнутри нас, где их малейшие действия могут привести к смертельной тревоге, и не перекрашивал бы также и цвет морального неба сообразуясь либо с давлением нашей чувственности, либо с нашей безмятежной уверенностью, так умаляющей предмет, тогда как даже простое облачко опасности в мгновение ока умножит его величину, даже если бы я не смог привнести эти и многие другие коррективы (необходимость которых, если мы собираемся изображать реальность, может возникнуть по ходу рассказа) в транскрипцию универса, подлежащего полной переделке, то по меньшей мере я не позабыл бы, прежде всего, описать человека как величину не только телесную, но и временную, и вынужденного — задача всё более и более трудная, которая, в конце концов, сломит его, — в движении волочить за собой годы.

Впрочем, тот факт, что мы занимаем непрерывно расплывающееся по Времени место, чувствуют все, и эта всеобщность могла меня только обрадовать, ибо мне предстояло истолковать истину, о которой догадывается каждый. Мы чувствуем, что нам принадлежит место во времени, и даже самые непритязательные люди определяют его на глаз, как место в пространстве,

и встретив двух незнакомых мужчин (допустим, в их усах нет седины, или они гладко выбриты) скажут, что одному из них двадцать, а второму сорок. Конечно, в этой оценке мы часто ошибаемся, но то, что ее принято считать возможной, свидетельствует: мы воспринимаем возраст как нечто измеримое. И действительно, второй мужчина с черными усами постарел на двадцать лет.

И если теперь я утвердился в своем намерении выразить представление о воплотившемся в нас времени, неотделимых от нас годах, то только оттого, что даже в эти минуты, в гостях у принца де Германта, шум шагов моих родителей, провожающих Свана, мерцающий, железистый, неистощимый, визгливый и бодрый трезвон колокольчика, возвестивший мне наконец, что Сван ушел, что мама сейчас поднимется, что я еще слышал его, слышал тот самый колокольчик, хотя он покоился в далеком прошлом.¹⁹⁹ Между мгновением, когда я услышал его, и этим утренником Германтов поневоле уместилось громадное число событий, и я испугался, вспомнив об этом, потому что это был всё тот же колокольчик, еще звеневший во мне, и я ничего не мог изменить в его прерывистой трели, и поскольку я плохо помнил, как она смолкла, и не мог повторить ее, чтобы расслышать его получше, мне пришлось затворить слух, чтобы мне не мешали все эти маски, болтавшие вокруг меня. Я должен был спуститься вглубь, чтобы слышать его. И так, этот колокольчик всегда звенел во мне, и между его трезвоном и этим мгновением уместилось безгранично развернутое прошедшее, а я

и не думал, что несу его в себе. Когда он зазвенел, я уже жил, и с тех пор, чтобы я по-прежнему мог его слышать, я должен был без какой-либо прерывности думать и существовать, длить мысль о себе, поскольку это давнее мгновение еще держалось за меня и я мог к нему вернуться, но только поглубже опустившись в себя. И именно потому, что они нагружены часами прошлого, человеческие тела могут принести столько зла тем, кто их любит, потому что в них заключены бесчисленные воспоминания о радостях и желаниях, уже бесцветных для их глаз, но слишком ярких для того, кто созерцает и удлиняет в строе времени любимое тело, ревнуемое им так сильно, что он мечтал бы его разрушить. Ибо после смерти Время покидает тело, и незначимые и блеклые воспоминания изгладятся в той, которой больше нет, и изгладятся скоро в том, кого они еще мучат, и погибнут, в конце концов, когда желание живого тела уже не затеплится в них.

Я почувствовал усталость и страх, ощутив, что это долгое время сплошь прожито, продумано, порождено мной, что оно стало моей жизнью, мной самим, что я непрерывно должен был держаться за него, что оно несет меня, взгромоздившегося на его головокружительную вершину, и невозможно сдвинуться, ее не перемещая. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в комбрейском саду, была далека и вместе с тем внутри меня, она была ориентиром в бескрайних величинах, хотя я сам не подозревал, что подобный ориентир существует. У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и при всем том

в себе, — как если бы во мне было много лье высоты, — великое число лет.

И я понял, отчего герцог де Германт, чьей молодостью я восхищался, пока он сидел на стуле, хотя под его ногами было намного больше лет, чем под моими, затрясся, привстав и попытавшись устоять на колеблющихся ногах, как эти старые архиепископы, в которых уже ничего прочного, только металлический крест, когда к ним спешают юные крепкие семинаристы, и не смог и ступить, не дрожа как лист, по непроходимой вершине восьмидесятитрехлетия, будто люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоклен, живых ходулях, и в конце концов их передвижения становятся трудны и опасны, и они падают. (Не от того ли даже несведущим глазам было так трудно спутать лицо человека зрелого возраста и юноши, которое набегало на него, когда тот насупится, лишь своего рода облаком?) я с ужасом вспомнил, сколь высоки мои, и что я еще недолго смогу удерживать это прошлое, опускавшееся так глубоко. И всё же, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мой труд, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на чудовищ, как существ, которые занимают значительное место, подле столь ограниченного, отведенного им в пространстве, место, напротив, безмерно вытянутое, поскольку они синхронно касаются, как гиганты, погруженные в года, самых удаленных эпох, прожитых ими, — и между ними может уместиться столько дней, — во Времени. К о н е ц .

ПРИМЕЧАНИЯ

Посвящение

Этот перевод посвящен Сонечке.

Источники

В переводе использованы издания Жана-Ива Тадье (Библиотека Плеяды, 1989), Тьери Лаже (Робер Лафон, 1987), Пьера Кларака и Андре Ферре (Галлимар, 1954). Комментарии основаны на текстах Брайана Роджерса и Эдмона Робера, Андре Алена Морелло и Эжена Николя, а также собственных сведениях.

Последняя сверка этого текста была произведена по тексту, подготовленному Пьером-Луи Ре и Пьером-Эдмоном Робером (Галлимар, 1990; повторяет текст Библиотеки Плеяды).

Сокращения

НС — *Du côté de chez Swann* («По направлению к Свану»)

СДЦ — *À l'ombre des jeunes filles en fleurs* («Под сенью девушек в цвету»)

Г — *Le côté de Guermantes* («У Германтов»)

СГ — *Sodome et Gomorrhe* («Содом и Гоморра»)

П — *La Prisonnière* («Пленница»)

ИА — *Albertine disparue* («Исчезнувшая Альбертина», она же «Беглянка»)

ОВ — *Le Temps retrouvé* («Обретенное время»)

¹ *Комбре* — небольшой вымышленный городок в центральной Франции, место летнего отдыха семьи повествователя и постоянного проживания его тетки Леонии и ее служанки Франсуазы. *Сторона Мезеглиза* и *сторона Германта* — два «противоположных» направления детских и юношеских прогулок героя (см. прим. 3), которые обретают в романе не только географию, но и метафизическое значение. «Сторона Германта олицетворяет путь духовных и литературных поисков, мечтаний, сторону “аполлоническую”, сторона Мезеглиза (она же “сторона к Свану”) — “дионисическую” сторону чувственного опыта, первого контакта с пороком» (А. Морелло). «*Поездка в Комбре*», «в Тансонвиле, к г-же де Сен-Лу», впервые упоминается на первых страницах «Поисков», в НС, хотя с «г-жой де Сен-Лу» (в НС — Жильбертой Сван) читатель познакомится много позже. ...*если бы именно там, пусть предварительно, не подтвердились мысли...* — букв.: «если бы именно там не произошло верификации определенных идей». Этот фрагмент (от слов *Мне бы и не стоило, впрочем до упрекаю себя больше всего*) открывал роман в издании П. Кларака и А. Ферре, которому мы в этом следуем; в первых и в современных изданиях он заключает ИА. В рукописи Пруста четкого обозначений границы между завершающими романами эпопеи нет. Ниже: ...*в другом направлении...* — повествователь теперь сам «на стороне Мезеглиза», в Тансонвиле. ...*все давно уже спали.* — Тансонвильский распорядок дня согласно НС: «... сиеста, которую после прогулки с г-жой де Сен-Лу я совершал ежевечерне, прежде чем надеть костюм [и выйти к столу]». *Кальварий* — холм, возвышение, гора с крестом. ... *чувства, что я никогда не смогу писать...* — НС:

Эти мечты указывали: пришло время понять, что я буду писать, если я захочу когда-нибудь стать писателем. Но как только я спрашивал себя об этом, пытаюсь найти сюжет, который помог бы мне уловить (tenir) бесконечное философское значение, мой разум переставал функционировать, мое внимание вперялось в пустоту, я чувствовал, что у меня нет гения, или, быть может, некая болезнь мозга препятствует его рождению.

Вивона — вымышленная река, на берегах которой стоит Комбре.

² ...не было соприкосновения... Однако я не разбирался в ее природе... — речь идет о «вневременных реминисценциях», которые играют ключевую роль в теории «непроизвольной памяти» (см. ниже). ...по этой тропке... — НС: «...моя мать нашла меня на крутой тропке (le petit raidillon) близ Тансонвиля, когда я, в слезах, прощался с боярышником...».

³ НС:

...мы никогда не доходили до истоков Вивоны, о которых я часто размышлял и которые обрели для меня существование столь абстрактное и идеальное, что я был удивлен не меньше, когда мне сказали, что они находятся в нашем департаменте, в измеряемом километрами расстоянии от Комбре, чем в тот день, когда узнал, что на земле есть другое точное место, возле которого открывался в древности вход в Ад. И никогда нам не удавалось дойти до предела, о котором я так мечтал, до Германта.

Ниже: ...две эти стороны... — НС:

... было две противоположных «стороны» для прогулок в окрестностях Комбре, и мы выходили через разные калитки, собираясь пойти в том или ином направлении: в сторону Мезеглиза-ла-Винёз, которую также называли стороной к Свану, потому что та дорога проходила мимо

владений г-на Свана, и в сторону Германта... Тогда «идти через Германт в Мезеглиз» и наоборот показалось бы мне выражением столь же нелепым, как «идти на запад через восток».

- ⁴ *Теодор* — НС: «...Теодор, которому его двойная профессия певчего, участвующего в церковных службах, и приказчика бакалейной лавки позволила обрести не только знакомства во всех кругах, но также универсальную осведомленность», «парень, который небезосновательно слыл мерзавцем». ... *мне стыдно до сих пор.* — НС:

...ее долгий взгляд устремлялся ко мне, без особого выражения, словно она меня не видела, но его неподвижность и эту скрытую улыбку я мог истолковать, сообразуясь с полученными мной представлениями о благовоспитанности, только как доказательство оскорбительного презрения; в то же время ее рука очерчивала едва уловимый грубый жест, которому, если он адресуется на обществе незнакомому человеку, тот небольшой словарик приличий, который я носил с собой, давал лишь одно значение: непристойного намерения.

- ⁵ Приписка в рукописи на полях, которая в первых изданиях романа включалась в текст в виде сноски:

Я спросил ее. Это была Леа, переодетая в мужское платье. Жильберта знала, что та дружила с Альбертиной, но ничего к этому не могла добавить. Так некоторые люди снова и снова входят в нашу жизнь, предвещая радость и скорбь.

- ⁶ В первых изданиях «Поисков» далее следовал абзац, теперь исключаемый из основного текста.

Я так и не спросил ее, с кем она шла по Елисейским полям в тот вечер, когда я продал китайский фарфор. Мне стало совершенно безразлично, какая реальность была скрыта

под тем внешним явлением. И все-таки, сколько дней и ночей я страдал, спрашивая себя, кто это был, и разве не приходилось мне с еще, быть может, большим упорством, чем в те комбрейские вечера, чтобы не вернуться прощаться с мамой, унимать биение моего сердца! Известно, и этим объясняют постепенное ослабление отдельных нервных заболеваний, что наша нервная система тоже стареет. Это истинно не только для постоянного «я», сохраняющегося на протяжении нашей жизни, но и для всех наших последовательных «я», которые составляют первое по частям.

(«...в те комбрейские вечера, чтобы не вернуться прощаться с мамой...») — НС: «Когда я поднимался спать, одно меня утешало: что я лягу в постель и мама придет меня поцеловать». «Если я выйду навстречу маме, когда она будет подниматься к себе спать, и если она увидит, что я еще не лег, что я хочу еще раз попрощаться с ней в коридоре, то меня больше дома не оставят, отправят в колледж завтра же, это уж точно».)

⁷ *Бездна Паскаля* — имеется в виду фрагмент «Мыслей» (1671, 166–168), в котором рассказывается о бесконечности универса и малых тел: в каждом атоме можно увидеть свои миры, планеты и земли, со своими животными и т. д. Тот, кто это помыслит, «ужаснется, конечно же, увидав себя будто подвешенным в той массе, которой его наделила природа, между двух пропастей — бесконечности и ничто, удаленным от них в равной мере». ...*мои мечтания на прогулках...* — на стороне Мезеглиза. НС:

«Подчас к моему возбуждению, рожденному в одиночестве, примешивалось другое, которое я не умел четко отделить, — оно было вызвано желанием внезапно увидеть перед собой крестянку и сжать ее в своих объятиях. Мне казалось,

что красота этих деревьев принадлежит и ей, и что душа этого небосклона, деревни Руссенвиля, книг, прочитанных мной в этом году, будет дана мне в ее поцелуе... Бродить по руссенвильскому лесу и не обнять ни одной крестьянки — значит не узнать о спрятанных сокровищах и глубинной красоте этого леса... Увы, напрасно я молил донжон Руссенвиля, напрасно я просил его вывести ко мне какую-нибудь девочку из его деревни, его — единственного конфидента моих первых желаний, когда, с высоты нашего комбрейского дома, в благоухавшем ирисами маленьком кабинете, я видел только его башню в квадратике приоткрытого окна...»

Намного ближе... Жильберта была... к стороне Мезеглиза — то есть к «дионисической стороне порока и чувственного опыта». В черновиках ИА роль «руссенвильской крестьянки» возложена на камеристку г-жи Пютбю: упоминается о романе повествователя с ней в Венеции, о ее тансонвильском происхождении (в черновиках еще «Пенсонвиль»), а также о том, что Теодор приходится ей кузеном.

⁸ *Целый день... на лес Мезеглиза.* Это предложение, которым открываются современные издания «Обретенного времени», вписано Прустом на полях текста о Робере (*На этих прогулках Жильберта рассказывала мне* и т. д.). Рукописи ОВ см. на сайте Национальной Библиотеки Франции: gallica.bnf.fr.
Ниже: ... дали пространств и времен... — НС:

...это полностью отделяло ее от прочего города: здание занимало, если можно так выразиться, пространство четырех измерений — четвертым было Время, — и спускало в века свой корабль, который, от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, осиливал и одолевал не только эти метры, но и века, и выходил из них победителем....

... *якобы из-за других женщин*. — Повествователь узнает о гомосексуализме Сен-Лу (и сразу же — о его романе с Морелем) на последних страницах ИА.

⁹ *Память произвольная* — см. ниже ее противопоставление «памяти сознательной». Ср. тж. НС:

Если бы меня спросили, говоря по правде, то я бы ответил, что в Комбре было что-то еще, что он существовал и в другие часы. Но поскольку то, что я мог об этом вспомнить, было бы предоставлено мне исключительно сознательной памятью (*mémoire volontaire*), памятью рассудка (*mémoire de l'intelligence*), и поскольку сведения, данные ею о прошлом, ничего от прошлого не сохраняют, у меня бы никогда не возникло желания размышлять об этом прочем Комбре. Всё это было для меня, в сущности, мертвым.

...*без опаски может побренчать колокольчиком*... П:

Иногда я засыпал рядом с ней. Комната остывала, надо было подкинуть дров. Я пытался найти колокольчик у себя за спиной, и не находил; я ощупывал медную спинку, на которую его вешали, но там его тоже не было; а Альбертине, уже вскочившей с кровати, чтобы Франсуаза не увидела, что мы лежим рядом, я говорил: «Не вставайте еще минутку, я никак не могу найти колокольчик».

¹⁰ ...*Робер краснел... отделялся...* — Пруст использует имперфект, подчеркивая характерность истории. ... *приглашают... с Берготом*... — очередное возникновение Бергота, которого Пруст похоронил в «Пленнице». Комментаторы рекомендуют считать время эпопеи нелинейным. ...*вошел в роль*... — предложение не закончено Прустом. Бальзаковская тема торжества порока и бездарности (Морель будет уважаемым человеком, а Блок, согласно черновикам, войдет в Академию) получит развитие ниже.

- ¹¹ *Санилон* прислал Марселю письмо о его статье в «Фигаро»: «почерк народный, язык прелестный» (ИА; см. прим. 131). *Теодор*, несколькими страницами выше, «работает аптекарем в Мезеглизе» (см. прим. 4). В рукописи этот фрагмент вписан против абзаца о Мореле и Берготе. Подобные «вставки», как и «бумажища» (см. прим. 149), в первых изданиях романа помещались в сноски, в издании под редакцией Тьерри Лаже (Robert Laffont, 1987) в скобках вводились непосредственно в текст, в последних изданиях Gallimard вводятся в текст без скобок; при этом их место в тексте определяется «по смыслу».
- ¹² *Чарли* — прозвище Мореля. Ниже: *Феодора* — Имеется в виду византийская императрица, жена Юстиниана, бывшая в молодости актрисой необыкновенной красоты.
- ¹³ ...«теткой». — Бальзак, «Блеск и нищета куртизанок» (1838–47). ...«гранд съекль». — Сен-Лу, как и герцогиня де Германт, был поклонником эпохи Людовика XIV.
- ¹⁴ *Битва при Ульме* — 25.09–20.10.1805, между армиями Наполеона и Австрии под командованием барона Карла Макка. Австрийцы капитулировали. *Битва при Люлебургзе* — 29.10.1912, в ходе Первой балканской войны. Болгарские войска отбросили турок к Константинополю.
- ¹⁵ ...кто мог бы вынудить ее сделать то, что им угодно... — речь идет, скорее всего, о г-же Бонтан, по настоянию которой Альбертина покинула повествователя (ИА). (Об этой загадке... особенного смысла.) — Этот абзац, вписанный на полях рукописи, судя по всему, не имеет никакого отношения к «возвратному ходу жизни», о котором шла речь выше. В последних изданиях редакторы пытаются его связать со следующим предложением — репликой Жильберты (таким образом Робер как будто комментирует фразу жены). Ниже:

«Златоокая девушка» (1835) — в этом романе Бальзака рассказывается о любви двух женщин.

¹⁶ *Фурье* — имеется в виду Шарль Фурье (1772–1837), социалист-утопист. *Тобольск* попал в поле зрения писателя во время пребывания там Николая II и его семьи. ...а те считали, что она «не такая»... — о пороках дочери Вентейля Пруст рассказывает в НС, о гомосексуальности Андре — в ИА.

¹⁷ *Гонкуры* — братья Жюль (1830–1870) и Эдмон (1822–1896), их коллективный «Дневник» — монументальный памятник социальной и артистической жизни Франции последней четверти XIX в., изданный полностью только в 1950-е гг. Нижеследующий его фрагмент следует приписать перу Эдмона. *Неизданный том*, вероятно, попал к Жильберте потому, что в нем упоминается ее отец.

¹⁸ *Позавчера сюда влетает Вердюрен...* — Пародии на Бальзака, Флобера, Ренана, Сен-Симона, Гонкуров — *L’Affaire Lemoine* — Пруст публиковал в «Фигаро» в 1900-е гг.; данный гонкуровский пастиш был создан специально для «Поисков». (В первой прустовской пародии на Гонкуров, опубликованной в 1908 г., рассказывалось о самоубийстве некоего Марселя Пруста.) Непосредственно к «Дневнику» Гонкуров восходят необычные словоупотребления пастиша (гонкуровские герои тоже «кидают», «исповедуют», «влетают» и т. д.), неологизмы, диковинные конструкции, предложения с бесконечными инверсиям и прочие особенности «неизданного тома». Помимо лексических и синтаксических средств остранения, Пруст использует грамматические, которые по причине богатства форм французского глагола, увы, передать адекватно возможно не всегда.

Отнести этот «фрагмент» «Дневника» к той или иной эпохе «Поисков» не так просто, как представляется на первый

взгляд. Так, во время первого посещения Вердюренов *Сван* узнает о недавних сложностях на похоронах Гамбетты (1882 г.); при описании рокового вечера с Форшвилем рассказывается, что «целый год Сван ходил только к Вердюренам». Иными словами, Сван не мог присутствовать у Вердюренов после 1883 г. Косвенным образом это подтверждает упоминание романа Э. Гонкура «Актриса *Фостен*», вышедшего в 1882 г., о котором едва ли бы стали говорить у следящих за модой Вердюренов в 1890-е гг.; собственно говоря, Пруст заводит о нем речь для правдоподобия пастыша, и выбор романа, скорее всего, определялся его датировкой. Ниже, однако, речь пойдет об *Эльстире*, с которым Вердюрены уже рассорились, хотя первым из кланчика должен выбыть Сван (уже расставшись со Сваном, Вердюрены путешествуют с Эльстиром по Средиземноморью). Поэтому нельзя исключать, что Сван, изредка посещавший Вердюренов после женитьбы на Одетте, присутствует на их приеме во времена свиданий повествователя с Жильбертой. Косвенное подтверждение этой версии — упоминание романа Стивенсона и, вероятно, уже погибшего кронпринца Рудольфа. С другой стороны, роман Стивенсона даже не назван, о кронпринце говорится довольно неопределенно, а стол Вердюренов украшен хризантемами (в НС, после упоминания о «крупных хризантемах» в вестибюле дома Одетты: «Свана раздражала мода, державшаяся на них с прошлого года...»). Все эти нестыковки, одним словом, следует признать следствием незавершенности романа: Пруст в очередной раз запутался в хронологии отношений своих героев, и Псевдо-Гонкур повествует о райских временах сонаты Вентейля и свиданий на улице Лаперуза.

¹⁹ Джеймс Уистлер (1834–1903) — американский художник, был близок к импрессионистам. О неожиданном *морфинизме* Вердюрена, как и о его книге «Салоны», речь больше нигде не заходит. В черновиках «Поисков» Вердюрен пишет книгу сначала о барбизонцах, затем о Мане. Эжен Фромантен (1820–1876) — художник и писатель, «Мадлен» — героиня его романа «Доменик» (1862), прототипом которой, если верить Вердюрену, послужила его жена; в действительности же под именем Мадлен выведена Леокадия Бери (1817–1844), и, следовательно, ко времени утренника Германтов г-же Вердюрен должно было бы быть не менее 110-ти лет, отмечают французские комментаторы. Книга Фромантена «Старые мастера» (1876) посвящена фламандской живописи; Пруст, как и Вердюрен, оценивал ее невысоко (в отличие от Гонкуров, которые многократно на нее ссылаются). Шарль Блан (1814–1882) — академик, профессор эстетики в Коллеж де Франс. Поль Сен-Виктор (1825–1881) — критик преимущественно театральный, также его перу принадлежат статьи о литературе и живописи. Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804–1869) — критик, с его представлениями о литературе Пруст полемизирует в романе-эссе «Против Сент-Бёва» (опуб. 1954), из которого выросли «Поиски»; Пруст, конечно же, не случайно называет его в ряду литераторов третьего плана. Филипп Бурти (1830–1890) — критик, друг Гонкура, персонаж «Дневника».

²⁰ Дворец венецианских послов, несколько раз упомянутый на страницах «Поисков», выдуман Прустом. Маргелла — каменное, нередко круглое основание, служащее бортом для колодца, фонтана и т. д. Андреа Сансовино (ок. 1467–1529) — флорентийский скульптор, архитектор, работал в Венеции. ... о Салюте на картинах Гварди... — массивный собор Санта

Мария делла Салюте начат в 1631 г. Валтасаром Лонгеной и освящен в 1687 г. Франческо *Гварди* (1712–1793) — венецианский художник-ведутист. ...улицы дю Бак... — бас 'паром'. *Мирамионки* — женская религиозная община конца XVII в., члены которой, однако, не принимали обета — ошибка Псевдо-Гонкура.

- ²¹ ...что за возлюбовь охватывает меня... — неологизм, означающий возвратное явление любви и изобретенный настоящим Гонкуром: «Муж обманут женой и хочет ее перелюбить (гаіmer)», «Дневник», 27.05.1894. ...вывеску “Маленького Дюнкера”... — мелочной парижской лавки на углу улиц Менар и Ришелье. *Габриель де Сент-Обен* (1724–1780) — французский график и рисовальщик. ...к “Устрице и сутягам”... — Лафонтен, IX, 9. Пруст (Гонкур) допускает ошибку: басни Лафонтена в издании «Ферме Женеро» не выходили.
- ²² *Вырабочетский* — Ский. Обстоятельства выстрелов «в упор» русской княгини на -оф (Щербатовой) проясняет запись в черновике: «Рудольф, с которым она была обручена». Кронпринц *Рудольф* (1858–1889) — сын и наследник австрийского императора Франца Иосифа I, его загадочное самоубийство, совершенное вместе с 17-летней баронессой Марией Вечерой, было предметом живого интереса прессы и европейских салонов (и уже упоминалось в СДЦ).
- ²³ *У вас на западе не признают...* — «Дневник», 17.05.1885: «в балтийских странах всякий знакомый с литературой человек, уважающий себя, не ляжет спать... не прочитав страничку “Фостен”». Однако на западе успех Гонкуров не был столь ошеломительным. Ниже об этом: *происки Сорбонны*. Память покровителя учебных заведений *Карла Великого*, французский прообраз дня св. Татьяны, празднуется 28 января.

- ²⁴ *Юн Чин* — имеется в виду Шицзун (1678–1735, он же Инь Член, Юнчжэн, годы правления 1722–1735), третий император из маньчжурской династии Цин. Графиня Мари Жанна *Дюбарри* (1743–1793) — последняя фаворитка Людовика XV. В Лусьене, недалеко от Парижа, находился ее замок. ...*мирты, что признала бы...* — «сплетенные мирты и лавры — клеймо и словно девиз всякого предмета», — пишут Гонкуры о посуде *Дюбарри* (*La Du Barry*, 1860). Ниже: *Жан д'Ор* — аббатство, проданное во время Революции родственникам Гонкуров; братья нередко останавливались там на лето. В описании тарелок, ужина, блюд Пруст довольно близко следует тексту гонкуровского «Дома художника».
- ²⁵ *Леовийское* — разновидность бордо, *г-н Монталиве* — старший министр при Луи-Филиппе. *Чинхонские тарелки* — речь идет о красном китайском фарфоре, использовавшемся для жертвоприношений.
- ²⁶ *Лоренс Томас* (1769–1830) — английский художник. ... *английский парк с благоуханием... с бархатом... с мятвом...* — комментаторы отмечают «маниакальное» пристрастие Гонкуров к данной конструкции (серии определений с предлогом à). *Пьер Гутьер* (1740–1806) — французский чеканщик, резчик и литейщик, работал над бронзовыми украшениями покоев *Дюбарри* в Лусьене.
- ²⁷ ...*сами видали...* — букв.: «в красках вашего воображения». СДЦ: «В Бальбеке я понял, что она [г-жа де Севинье] показывает нам вещи как Эльстир — в том порядке, в котором мы их воспринимаем, вместо того чтобы заведомо объяснять их через причину». Ниже: *Софи Волан* — приятельница и корреспондентка *Дени Дидро* (1713–1784). ...*напомнив мне ту жизнь...* — «исповедует... напомнив».

- ²⁸ В баварском *Нимфенбурге* расположен завод, где с середины XVIII в. выпускают фарфор.
- ²⁹ Анри *Фантен-Латур* (1836–1904) — академический художник, «мастер цветов».
- ³⁰ *Люксембургский* — находившийся в Люксембургском дворце музей, преобразованный в 1939 г. в Национальный музей современного искусства. *Мысль нарисовать Котара во фраке... изобразить женщину не разряженной, но застигнутой в интиме...* — по мнению комментаторов, прототипом семейного портрета Котаров, не раз упоминаемого на страницах «Поисков», послужил портрет мадам Шарпантье с детьми О. Ренуара (1876–78, мужская фигура во фраке там, впрочем, отсутствует, женская не причесывается, а одна из *девочек* в действительности оказывается сыном Шарпантье, хотя и одетым в *дымчатое платье*; см. тж. прим. 35).
Ниже Пруст предскажет его высокую оценку в будущем. Тем не менее, Эльстир остается собирательным образом. *Причесывающиеся женщины* — фигурантки работ и Ренуара, и Дега, причем последний в шутку называл серию своих картин и пастелей «Сюитой обнаженных женщин — купающихся, моющихся, обсыхающих, вытирающихся, причесывающихся или дающих себя причесывать» (Н. А. Дмитриева, «Краткая история искусств», вып. III, М. 1993).
- ³¹ *Нечто подобное уже сочинено* Робертом Луисом *Стивенсоном* (1850–1894) — роман «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886, фр. пер. 1890).
- ³² *Г-жа де Босержан* — выдуманная Прустом мемуаристка, двойник г-жи де Севинье XIX в. Бабушка повествователя говорит о Базене в НС: «Ее восхитил ответ жилетника: “Севинье не сказала бы лучше”, — сообщила она маме; зато

о племяннике г-жи де Вильпаризи, которого она у нее встретила, она сказала: «Ах, доченька, до чего же он зауряден!». ...*светилом в небесах!* — Гюго, «Созерцания», III, XI, последняя строка стихотворения « ? », пер. Э. Линецкой.

³³ ...«*господин Тиш*»... — в НС его прозвище «Биш» (кроме того, в рукописях ОВ Чарли Морель еще зовется Бобби Сантуа); в СДЦ сам Эльстир признается повествователю в том, что именно он был завсегдаем Вердюренов и носил это прозвище. «*Кузина Бетта*» (1846), «*Турский священник*» (1832) — романы Бальзака.

³⁴ *Одно из самых прелестных стихотворений Сент-Бёва* — «Фонтан Буало». Анна де Ноайль (1876–1933) — писательница и аристократка, одна из моделей герцогини де Германт. Комментаторы отмечают, что оценки творчества де Ноайль, данные Прустом в статьях и письмах, «резко контрастируют» с ее реальным значением во французской литературе. Ниже: *эта прослойка* (l'entre-deux — то есть те, кто занимает срединное положение между гениальными Вентейлями и посредственными герцогами де Германтами) — речь опять идет о Вердюренах.

³⁵ Жорж Шарпантье (1846–1905) — издатель «прогрессивной литературы», в том числе натуралистов, его супруга Маргарита-Луиза, ур. Лемонье (1848–1904), — хозяйка одного из самых известных салонов эпохи, покровительствовавшая импрессионистам. Пруст посещал этот салон в 1898 г. во время процесса Золя, близкого друга семьи Шарпантье; там же он мог видеть работу Ренуара «Портрет госпожи Шарпантье с детьми» (1876–78, с 1907 г. в нью-йоркском Метрополитен-музее, см. тж. прим. 30); *торжественный шлейф ее бархата и кружева* (в контексте — г-жи Котар) — безусловно оттуда. Ренуар был обязан этой работе признанием, причем сам

художник был склонен объяснять свой первый успех в Салонах, где ему так долго не везло, не столько «элегантностью» своей живописи, сколько известностью г-жи Шарпантье. Пьер-Огюст Ко (1837–1883) — французский художник, в 1916 г. Пруст пренебрежительно отозвался о его творчестве в письме Монтеスキю. Напротив, Пруст был восхищен портретом графини Эмери де Ларошфуко кисти Шарля-Жосюа Шаплена (1825–1891); правда, по мнению комментаторов, этот восторг был внушен более моделью, чем работой художника. Подборку иллюстраций см. здесь: alekseygodin.wordpress.com/archivvm/proust. ...*поэзию элегантного дома... в салоне издателя Шарпантье кисти Ренуара...* — здесь: в буржуазном салоне Шарпантье в противоположность аристократическим гостиным *Сеган* и *Ларошфуко* — выдуманной Прустом великосветской дамы и модели Шаплена. Ниже: ...*старомодным шаблоном грации* — НС: «Поскольку публике известен лишь тот шарм, та грация, те формы натуры, что были почерпнуты ею через шаблоны постепенно усвоенного искусства (*dans les poncifs d'un art lentement assimilé*), а оригинальный художник начинает с того, что отказывается от этих шаблонов, г-н и г-жа Котар, олицетворявшие в этом публику, не находили в сонате Вентейля и портретах художника ничего, что являло бы для них музыкальную гармонию и живописную красоту».

³⁶ *Директория* — французское революционное правительство, действовавшее до государственного переворота 18 брюмера (11.1795–11.1799). Времени были присущи экстравагантные моды, свобода нравов и излишества досуга.

³⁷ *Г-жа Тереза Тальен* (1773–1835) — жена (1794–1801 гг.) Жана Ламбера Тальена, одного из руководителей термидорианской реакции. Ниже названа *прекрасной королевой Парижа*: одно

время ее салон был центром политической жизни, а сама Тальен — законодательницей парижских мод (именно она положила начало новогреческому стилю). Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826) — французский трагический актер. ...*пояска 75-го*... — см. прим. 103. Виктория (1819–1901) — королева английская с 1837 г. Антонио Пуччо, прозванный Пизанелло (1395–1455), — художник и медальер. По мнению комментаторов, Пруст вспоминает луврский «Портрет княжны [из дома д'Эсте]», однако очевидно, что речь идет о медалях. Пруст мог видеть, в частности, два луврских медальона с изображением Чечилии Гонзага, свадебную медаль Лионелло д'Эсте (1444, Лувр), медаль с изображением Иоанна VIII Палеолога (1438, копия в Лувре) и т. д. Ниже: ... *соединенные силы Европы осадили территорию свободы*. — Фраза из «Описания живописных работ, представленных в Луврском салоне художниками единого сообщества искусств, от 10 августа 1793 г., 2-го года Французской республики, единой и неделимой». Пруст цитирует по Гонкурам.

³⁸ Ср. *Les Élégances parisiennes* («Парижские моды»), n° 7, octobre 1916: «Когда придет победа, мы хотим быть прекрасны!»; n° 10, janvier 1916: «Женщины и пуалю выстоят! Мы хотим быть обворожительны, чтобы улыбаться отпусникам!».

³⁹ Бонтан вместе с социалистами требовал пересмотра дела Дрейфуса и подвергался критике в антидрейфусарской «*Эко де Пари*». Позднее, в 1913 г., он вместе с представителями военного ведомства (поголовно антидрейфусарами) добивался принятия «*закона трех лет*», в соответствии с которым срок военной службы, сокращенный ранее, был увеличен с двух до трех лет. Этот закон был принят вопреки ожесточенному сопротивлению социалистов. Впрочем, во время войны бывшие ревизионисты и социалисты тоже изменили своим

убеждениям, в период «Дела» — подчеркнуто пацифистским, и теперь исповедовали милитаристские идеалы антидрейфусаров. *Терпимость религиозная* «предполагает снисхождение в тех пунктах, которые не представляются существенными» («Словарь Французской Академии», 1935).

12-летнее дело Альфреда Дрейфуса (1859–1935) раскололо французскую нацию и всколыхнуло всю Европу (Мандельштам: «мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса, дено и ноцно»). Капитан французской армии Дрейфус был обвинен в продаже военных секретов немцам, признан виновным и осужден на пожизненную каторгу в 1894 г. Осуждение Дрейфуса, выходца из богатой еврейской семьи, основывалось на недостаточных уликах; после обнародования свидетельств о его невиновности с требованием пересмотра «Дела» выступили журналист Ж. Рейнах, политик Ж. Клемансо, писатели Э. Золя, А. Франс, М. Пруст и др. (*ревизионисты*). Противники пересмотра Дела (*антиревизионисты*) видели в возможном освобождении Дрейфуса попытку дискредитировать французскую армию, подорвать ее моральный дух (официально французская армия признала невиновность Дрейфуса лишь в 1995 г.). «Борьба по поводу Дрейфуса велась не из-за него лично. Его сторонники боролись против привилегированного положения армии, против военных судов, за гласность судопроизводства, против антисемитизма» («Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»). Дело было пересмотрено лишь в 1899 г.; Дрейфус снова был признан виновным, однако тотчас помилован. Только в 1906 г. гражданский апелляционный суд снял с капитана все обвинения.

⁴⁰ ...ветерок, исполненный запаха резеды... — «Замогильные записки» виконта Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848),

кн. III, гл. 1 и кн. VI, гл. 5. Шатобриан пишет об аромате не резеды, но гелиотропа; ниже Пруст процитирует этот фрагмент правильно. ...*чем-то... этот предмет... им...* (quelque chose... qui... il...) — речь идет о вневременных реминисценциях, эта тема получит развитие ниже. ... *бесконечно выше* — не самих событий, имеется в виду, но вдохновленных ими страниц Шатобриана. Ниже: *санкюлоты, шуаны, синие* — политические и социальные силы времен Французской революции (Пруст возвращается к метафоре Директории).

- ⁴¹ *Гогенцоллерны* — бранденбургские курфюрсты в 1415–1701 гг., прусские короли в 1701–1918 гг., германские императоры в 1871–1918 гг. *Вильгельм II* Гогенцоллерн (1859–1941) — германский император и прусский король с 1888 по 1918 гг. Ниже: «*упертые*» (jusqu'au-boutistes) — то есть 'идущие до конца'; выражение впервые было употреблено в 1917 г. и используется во французской прессе по сию пору. *Г-н д'Осонвиль* (1843–1924) — правнук г-жи де Сталь. В «*партию герцогов*» входили все академики-аристократы.
- ⁴² *Леви-Мирпуа* — старинная французская аристократическая фамилия, история которой начинается в XII в. (именно в ее генеалогическом древе Пруст нашел фамилию де Шарлю), зд.: представители именитой семьи, играющей очень важную роль в политике. *СВГ* — «Ставка Верховного Главнокомандующего» (*Grand Quartier Général*) — орган генерального командования французских армий, в который входили генералы Ж. Ж. Жоффр, Р. Нивель, А. Петен. «*Тино*» — Константин I (1868–1923; коронованный, однако, под именем Константина XII, что было призвано символизировать преемственность истории Византии, последним императором которой был Константин XI Палеолог), родственник

Вильгельма II и германофил, по причине чего *Греция*, состоявшая в союзе с Сербией, долго не могла занять сторону в конфликте, см. тж. прим. 88. «Фонфонс» — Альфонс XIII (1886–1941), король Испании из династии Бурбонов.

⁴³ Гастон *Галифе* (1830–1909) — французский генерал, помимо особого фасона брюк, введенного им для кавалеристов, прославившийся жесткими действиями при подавлении Парижской Коммуны (1871 г.); он исполнял обязанности военного министра (1899–1900) в правительстве, выступавшем за пересмотр дела Дрейфуса, и потому подвергался критике не только слева, но и справа.

⁴⁴ «*В пролете*» — имеется в виду Октав, персонаж СДЦ:

С видом равнодушным и бесстрастным, что в его понимании представляло высшую степень благовоспитанности, он поздоровался с Альбертиной. “Вы с гольфа, Октав? — спросила она его. — Ну что, вы в форме?” “Что вы, просто кошмар, я в пролете (je suis dans les choux)”, — ответил он. “А Андре была?” “Да, у нее семьдесят семь”. “Ну, это рекорд”. “Я вчера сделал восемьдесят два”. Он был сыном очень богатого промышленника, который должен был сыграть довольно важную роль в организации предстоящей Всемирной выставки. Меня поражало, до какой степени у этого молодого человека и других не столь многочисленных юношей, приятельствовавших с девушками, знание всего, что касалось одежды, манеры ее носить, сигар, английского алкоголя, лошадей, которым он владел, входя в мельчайшие детали, с той горделивой непогрешимостью, что была близка немногословной скромности ученого, развилось само по себе, не сочетаясь с какой-либо интеллектуальной культурой. [...] и так как полная бездеятельность приводит к тому же эффекту, что и непосильная работа, как в области морали, так в жизни тела и мускулов, неизменное интеллектуальное

ничтожество, обитавшее за задумчивым челом Октава, в конце концов, несмотря на его холодный вид, пробудило в нем бездейственный зуд мысли, что мешал ему спать по ночам, словно переутомленному метафизику.

В «Пленнице» и ИА Октав неожиданно является в новом качестве — как талантливый сочинитель скетчей и поклонник Альбертины, ищущий знакомства с повествователем. После смерти Альбертины он женится на Андре. Прототипом второй ипостаси Октава послужил Ж. Кокто; Пруст, конечно же, не имел его в виду, когда писал СДЦ, и комментаторы ставят под сомнение единство двух персонажей.

⁴⁵ Мелькиор *маркиз де Полиньяк* (1880–1950) — меценат и горячий поклонник новых веяний в искусствах. Лев Самуилович *Бакст* (1866–1924) — художник, график, член «Мира искусства», в числе прочих парижских балетов оформлял «Шехеразadu» Римского-Корсакова (1910), «Мученичество св. Себастьяна» (1911) и «Прелюдию к послеполуденному отдыху фавна» (1912) Дебюсси. Гильом *Дюбуф* (1853–1909) — художник и декоратор, оформлял Елисейский дворец, Сорбонну и «Комеди Франсез». «*Мюнхенский*» *модерн* — стиль архитектуры и мебели, пользовавшийся большим успехом в Германии (реакция на греко-римские реминисценции эпохи «безумного короля» Людвига II Баварского). *Белые квартиры* — с белыми стенами, согласно моде тех лет; ниже будут упомянуты *ромбовидные стены ослепительной белизны* в новом отеле Вердюренов. О *Жюльетте* в других местах «Поисков» речь не заходила.

⁴⁶ *Зазернили* — то есть цензура не пропустила текст. Командовать войсковыми операциями около Лиможа Ж. Жоффе (см. прим. 57) отправлял тех генералов, чьи способности казались ему посредственными, отсюда этот неологизм: *лиможнуть*.

47 ...*лишенные поступлений*... — в начале войны постановлением правительства были приостановлены выплаты по кредитам и аренде земель. Ниже: *Мажестик* — парижский отель.

48 На *бульваре Османа*, в доме 102, Пруст поселился в 1906 г.

49 НС:

Справа за хлебами прорезывались две сельские колоколенки Святого Андрея в Полях — заостренные, шелушащиеся, с чешуйками черепицы, гильошированные, желтенькие и шероховатые, как два колоска. [...] до чего же то была французская церковь! Над дверью святые, рыцари-короли с лилиями в руках, сцены свадеб и похорон были представлены так, как их вообразила бы Франсуаза. [...] Чувствовалось, что понятие средневекового художника и средневековой крестьянки (дожившей до XIX века) о древней или христианской истории, отмеченное неточностью и простодушием, было усвоено ими не из книг, но из традиции древней и прямой, непрерывной, переданной из уст в уста, искаженной, неузнаваемой, и живой.

50 *Канкан* — прозвище г-на Камбремера (маркиза Говожо в переводах Н. М. Любимова).

51 *Эдуард VII* (1841–1910) — король Великобритании. Во время войны здоровье *Вильгельма II* (умершего в 1941 г. 82-х лет от роду) было предметом особой заботы французской прессы. 11 декабря 1914 г. газета «Эко де Пари», в частности, сообщала, что германский император, к немалой озабоченности своих подданных, страдает тяжелой формой пневмонии, отягченной нервным истощением. Ниже: «*заграница растет*» — имеются в виду испанские акции. Пруст был хорошо осведомлен о положении дел на бирже; от принадлежащих ему испанских ценных бумаг он избавился в мае 1916 г.

- ⁵² *Карусель* — праздничное кавалерийское состязание, заменившее средневековый турнир (Ушаков).
- ⁵³ В *битве на Марне* (05–12.09.1914) войска союзников под командованием генерала Ж. Жоффра (см. прим. 57) остановили наступление немцев на Париж.
- ⁵⁴ Хельмут Карл *Мольтке* (старший) (1800–1891) — герой войны 1871 г. и начальник германского генштаба в 1871–1888 гг.; он предугадывал франко-российский альянс и рекомендовал, в отношении Франции, затягивание боевых действий.
- ⁵⁵ *Директор бальбекского Гранд-Отеля* — «космополит», «уроженец Монако», употреблявший «выражения неправильные, но казавшиеся ему изысканными» (СДЦ). *Десант японцев и казаков*: на стороне Франции воевала не только Россия, но и Япония. Ниже: *общественные власти «пролиняли» в Бордо...* — 2-го сентября 1914 г., когда позиции немцев позволяли им взять Париж, президент Франции и правительство были эвакуированы в Бордо; они вернулись во французскую столицу только в декабре. Ниже: *... помощь в прояснении вопроса* — о мимолетном романе *лифтера* и Сен-Лу повествователю рассказал Эме в ИА.
- ⁵⁶ *Де Шарлю* выражал сомнение в гомосексуальности «богатого молодого человека» в разговоре с повествователем и Бришо на страницах «Пленницы»; *приглашение от товарища богача* повествователь получил в СДЦ. Ниже: *... племянника?»* — эти слова произносит Сен-Лу. *Сен-Жозеф* — выдуманный Прустом генерал.
- ⁵⁷ Раймон *Пуанкаре* (1860–1934) — президент Франции в 1913–1920 гг. Граф Клод-Филибер Бартело *де Ранбуто* (1781–1869), занимавший множество видных общественных постов в первой половине XIX в., начал перестройку Парижа; именно

ему приписывается инициатива устройства кабинок. Ниже: Жозеф Жак Сезер *Жоффр* (1852–1931) — маршал, в 1911–14 гг. — начальник Генерального штаба, главнокомандующий французской армии в 1914–16 гг.

- ⁵⁸ *Tauben* («голуби») — немецкий авиационный отряд, бомбивший Париж.
- ⁵⁹ Бригадный генерал Ив Мари Шарль *Жеслен де Бургонь* (1847–1910), генерал Оскар де *Негрие* (1839–1913), генерал Поль Мари Сезар Жеральд *По* (1848–1932), маршал Фердинанд *Фош* (1851–1929), генерал Эдуард де *Кастельно* (1851–1944), маршал Анри Филипп *Петен* (1856–1951, лишен звания в 1945 г.) — практики и теоретики военного искусства. Ниже: пулю — рядовые французской армии (букв. ‘косматые’ или ‘небритые’), участвовавшие в войне 1914–18 гг.; «ребята с огоньком в глазах» (*Le Petit Robert*).
- ⁶⁰ Аристид *Майоль* (1861–1944) — французский скульптор. *Ромен Роллан* в серии статей, напечатанных в женеvской газете в начале войны, говорил о том, что, всем сердцем желая французской победы, он сохраняет, тем не менее, уважение к немецкой культуре, в частности к Гете; отдельные французские журналисты сочли эти слова предательством. Полковник *дю Пати де Клам* (1853–1916) одним из первых обвинил Дрейфуса в шпионаже. *Пьер Кийар* (1864–1912) — журналист и дрейфусар, в мистерии «Безрукая девушка» (1886, пост. 1891) обрисовал конфликт Целомудрия и Инстинкта. «*Этот возвышенный Siegfried*» — в начале войны, на волне антигерманской истерии, с критикой искусства Вагнера со страниц «Эко де Пари» выступил композитор Камиль Сен-Санс.
- ⁶¹ *Вальми* — французское селение, возле которого в 1792 г. французская армия разбила австро-прусскую и роялистскую.

Знатоки вымышленной прустовской географии (см. A. Ferré, *Géographie de Marcel Proust*) утверждают, что в этом фрагменте Пруст «переместил» Комбре в зону боевых действий; «*битва за Мезеглиз*» своими особенностями (продолжительность, потери) напоминает одно из самых важных сражений Первой мировой войны — Верденскую операцию (1916 г.), пишут Ж. Робише и Брайен Г. Роджерс.

- ⁶² *Die Wacht am Rhein* — название патриотического стихотворения Макса Шнекенбургера, написанного в 1840 г. и положенного на музыку Карлом Вильгельмом в 1854 г.; эта песня во время франко-германской войны 1870-71 гг. была популярна в прусской армии. Ниже: «*Полет валькирий*» — тема из оперы Р. Вагнера «Валькирия» (1857, пост. 1870).
- ⁶³ Франсуа *Феррари* — светский хроникер «Фигаро». Пруст также публиковал в «Фигаро» светскую хронику. Ниже: в ресторане *отеля Риц* Пруст встречался с друзьями после 1917 г. «*Дом свободной торговли*» — водевиль Фейдо (пост. 1894), персонажи участвуют в ряде ночных приключений. Жан Батист Проспер *Брессан* (1815–1886) и Луи Арзень *Делоне* (1826–1903) — актеры, последний — социетарий Комеди-Франсез.
- ⁶⁴ Пауль фон *Гинденбург* (1847–1934) — генерал-фельдмаршал (1914), с августа 1916 г. начальник германского генштаба. Генерал Шарль *Манжен* (1866–1925) был сторонником использования африканских соединений во французской армии. ... *черногорить*... — в 1915 г. англо-французские войска высадились в Салониках, однако к решительным действиям не приступили, и в 1916 г. Черногория была оккупирована Австрией. *Соединенные Штаты помогли*, объявив Германии войну 6 апреля 1917 г. Чтобы вывести *Италию* из Тройственного союза и вовлечь в войну на стороне союзников, ей были обещаны отдельные территории Австро-

Венгрии; 23 января 1915 г. Италия объявила Австро-Венгрии войну. На *Венском Конгрессе* (09.1814–06.1815), собравшем глав и представителей почти всех европейских государств, Шарль Морис *Талейран* (1754–1838), французский дипломат, представлял Францию в качестве министра Людовика XVIII. *Папа* (Бенедикт XV) в первые месяцы войны был сторонником «центральных империй» (чему способствовал австрийский католицизм). Артур *Мейер* (1846–1924) — журналист и издатель. Согласно поговорке, можно «молчать как *карп*», он же недотепа, глотать же карпов значит проглатывать пилюлю; *скатов* же Сен-Лу припелл исключительно для красного словца: слово рифмуется с «карпами» (*carpes — escarpes*). Де Шарлю, верный памяти графа де Шамбор (1820–1883), последнего представителя старшей ветви Бурбонов, поддерживал отношения с графиней *де Моле* и *Артуром Мейером*, в монархической ипостаси последнего; бывает и говядина *по-шамборски*, пишет Дюма. *Из ненависти к триколору*, то есть к республиканской Франции, он готов *встать под тряпку «Красного колпака»* (так называлась, в память о фригийском колпаке революционеров 1789 г., антимилитаристская французская газета, которую обвиняли в измене), а под *белым стягом* (флаг Бурбонов) он шествовал бы в качестве *монархиста*. Робише и Роджерс пишут о некоторой общей абсурдности предложений и аналогий Сен-Лу (явственной и сегодня, в частности, на примере проекта *христианизации Турции* — в 1916 г., впрочем, греки еще не были изгнаны из Анатолии).

⁶⁵ «Балкон» из «Цветов зла» Бодлера. Перевод К. Бальмонта.

⁶⁶ *Арколь* — деревня близ Венеции, около которой Наполеон разбил австрийцев в 1796 г. *Экмюль* — еще одна победа Наполеона над австрийцами, в 1809 г.

Далее в тексте романа следует абзац, который по смыслу повторяет предыдущий. В различных изданиях приводятся либо оба вместе, либо один из них.

Я спросил Сен-Лу, подтвердила ли эта война то, что он говорил мне во времена наших донсьерских бесед о сражениях прошлого. Я напомнил ему его слова, о которых он уже забыл, — например о том, что в будущем генералы повторят ход развития баталий прошлого. «Военные хитрости, — сказал я ему, — практически невозможны в операциях, подготовленных загодя с применением артиллерии. И то, что ты сейчас говорил об авиационной разведке, а этого ты, очевидно, не мог предвидеть, препятствует использованию наполеоновской тактики». — «Как же ты ошибаешься! — воскликнул он. — Эта война, конечно, отличается от других и сама по себе состоит из цепи последовательных войн, каждая из которых отлична в чем-то от предыдущих. Мы усваиваем новый вражеский прием, чтобы себя от него обезопасить, а противник снова берется за новации. Но подобным образом дело обстоит во всех искусствах, и то, что было создано прекрасным, останется прекрасным навечно, и, как и в любой другой области человеческой деятельности, приемы, проверенные опытом, всегда будут пользоваться успехом. Не далее чем вчера была напечатана статья одного из самых толковых военных обозревателей Франции: “Чтобы освободить восточную Пруссию, немцы начали операцию с мощной отвлекающей атаки далеко на юге, около Варшавы, пожертвовав десятью тысячами солдат для обмана противника. Когда в начале 1915 г., чтобы вывести из-под угрозы Венгрию, готовилась наступательная группировка кронпринца Евгения, они распустили слух, будто эти силы будут задействованы в операции против Сербии. Подобным образом, например в 1800 г., армия, которая должна была выступить против Италии, обычно упоминалась в качестве резервной и, как говорили, предназначалась не для перехода через Альпы, а для

поддержки армий, сражающихся на севере. Уловка Гинденбурга, атаковавшего Варшаву, чтобы замаскировать свое наступление на Мазурском Поозерье, соответствует наполеоновскому плану 1812 г.”. Как видишь, г-н Биду слово в слово повторяет то, что я говорил раньше. И поскольку война не кончена, эти уловки будут повторяться постоянно; предугадывать действия армий практически невозможно, ибо то, что однажды сработало, оказалось целесообразным и, следовательно, приведет к успеху в будущем».

И действительно, когда после этого разговора с Сен-Лу прошло много времени, и внимание союзников было приковано к Петрограду, столице, на которую, как ожидалось, немцы начнут наступление, они готовили мощную группировку, чтобы выступить против Италии. Сен-Лу привел мне целый ряд других примеров военных «стилизаций», или, если считать войну не искусством, но наукой, примеров применения постоянных законов. «Не знаю, можно ли назвать военное искусство наукой, здесь крылось бы противоречие, — добавил Сен-Лу. — Но если есть военная наука, то мнения ученых расходятся, они спорят и препираются между собой. Это многообразие — отчасти временное явление. То есть оно свидетельствует не о заблуждениях, но о развитии истины. Обрати внимание, как во время этой войны менялась точка зрения на возможность прорыва. Поначалу все верили в возможность прорыва, затем пришли к доктрине неуязвимости фронтов, затем к положению, согласно которому прорыв возможен, но опасен, что ни в коем случае нельзя производить передвижений вперед, не уничтожив предварительно цель (один радикальный журналист даже заявлял, что обратное утверждение есть самая большая глупость, какую только можно вообразить). Затем напротив все приходило к выводу, что возможно продвижение с весьма слабой артиллерийской подготовкой. а в итоге все сходится на том, что необходимо пересмотреть доктрину неуязвимости фронтов в войне 1870 г., что для настоящей

войны эта концепция ошибочна, а следовательно ее истинность имеет относительный характер. Ошибочна в этой войне из-за того, что войск стало больше, техника стала лучше (см. статью Биду от 2-го июля 1918 г.), хотя поначалу эти положения внушали мысль, что война долго не продлится, затем — что она будет весьма долгой. В конечном же счете они вынудили нас поверить в возможность решительных побед. В пример Биду приводит действия союзников на Сомме и немцев под Парижем. Когда немцы наступали, то говорили так: местности и города не имеют значения, надо сокрушить боевую мощь противника. Затем, в свою очередь, немцы перенимают эту теорию в 1918 г., и тогда Биду неожиданно утверждает (2-го июля 1918 г.), что взятие некоторых жизненно важных пунктов предопределяет победу. Он, впрочем, нередко этим грешит: подобным образом он утверждал, что если Россию запрут у моря, она будет разбита, и что окруженной армии, как в своего рода тюремном заключении, уготована гибель».

Анри Биду (1873–1943) — военный обозреватель и журналист.

Отметим, что собеседники встретились в 1916 г., за несколько дней до смерти Сен-Лу.

⁶⁸ *Гота* — немецкие самолеты *Gotha*, превосходившие в скорости истребители союзников. Первый их рейд был совершен, однако, только в январе 1918 г. *Время* же впервые «перевели» летом 1916 г. Ниже: *хватает безумия для своих революций* — непереводаемая игра слов: *вращение (révolution) земли / собственные революции (leurs révolutions)*.

⁶⁹ Витторе *Карпаччо* (ок. 1455–ок. 1526) — венецианский художник.

⁷⁰ *Инвертиты* (ниже тж. *инверсия*) — зд.: извращения.

- ⁷¹ Смерть де Моле, оскорбленной газетными заметками Мореля, в которые де Шарлю вставлял отрывки из ее писем, описана в «Пленнице»; впрочем, Пруст забыл об этом сразу же: де Моле «воскресает» страницей ниже. Ниже: *Durchlaucht* (нем.) — светлость; этим титулом имели право именоваться германские курфюрсты и князья.
- ⁷² Поль Дешанель (1856–1922) — президент Франции с февраля по сентябрь 1920 г.
- ⁷³ Аллеманда — популярный при французском дворе с XVI в. танец, которому во Франции приписывали немецкое происхождение, о чем свидетельствует его название ('германская'). Анастасия — в 1914–1918 гг. условное обозначение цензуры во французской прессе. Ниже: об *особой манере речи, присущей Берготу*, рассказывается в СДЦ.
- ⁷⁴ «Остров Мечты» — спектакль «Опера Комик», автор которого, Рейнальдо Ханн, был близким другом Пруста. *Дети Марию* — католический приют для девочек. Ниже: *Котар умер...* — в романе «Пленница» Пруст уже похоронил Котара, а затем его «воскресил»; через несколько страниц он оживет опять.
- ⁷⁵ *Художник «галантных празднеств»* — в первую очередь Ватто; *Мулен де ла Галетт* — открытое кафе на Монмантре, увековеченное Ренуаром в картине «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876). «Это подлинно народный веселый бал под открытым небом — в монмартрском “Мулен де ла Галетт”, тогда только что открывшемся, собиралась молодежь из рабочих семей, студенты, продавщицы. Ренуару очень нравилась атмосфера, которая там царилась, — “свобода обращения, которая никогда не переходит в распутство, и непосредственность, никогда не граничащая с вульгарностью!” (слова художника, записанные его сыном)» (Н. А. Дмитриева, «Краткая история искусств», вып. III, М. 1993).

- ⁷⁶ Фердинанд I Кобургский (1861–1948) — царь Болгарии (1908–1918).
- ⁷⁷ ...*хотя и приостановленная...* — «кровавым барьером» из следующего абзаца. Люди, *не задумывающиеся о возможности отмены этиолирующего* (затеняющего) *воздействия* — это упомянутый выше, прежде Вердюренов, г-н де Шарлю, а уповающие на *мнимую незыблемость солнца* — упомянутые за де Шарлю Вердюрены. ... *деление инфузорий...* — имеется в виду размножение инфузорий из предыдущего абзаца; к сожалению, естественно-научную подоплеку этого высказывания французские комментаторы обходят стороной. Философский подтекст — «бездна Паскаля» (см. прим. 7). Ниже: «Лузитания» — британское гражданское судно, следовавшее из Нью-Йорка в Ливерпуль, на борту которого находилось около 2 тыс. человек; было торпедировано немецкой подлодкой у берегов Ирландии 7 мая 1915 г. Этот эпизод способствовал вступлению США в войну.
- ⁷⁸ «Промывание мозгов» (bourrage de crâne, ‘набивка черепа’) — пропаганда. «Берта» — «Grosse Bertha», дальнобойная пушка Круппа, названная в честь его дочери; начиная с марта 1918 г. немцы обстреливали Париж с расстояния 100 км.
- ⁷⁹ *Такого де Шарлю* повествователь *открыл для себя* в СГ.
- ⁸⁰ ...*немцы не проявили.* — подтекст этого абзаца не совсем ясен. Ниже: ...*обязан своему «шарлизму»* — т. е. гомосексуальному пороку.
- ⁸¹ Генерал *Буадеффер* — начальник генерального штаба, который дал ход делу Дрейфуса. Полковник *дю Пати де Клам* — см. прим. 60. Полковник Юбер Жозеф *Анри* (1846–1898) — одна из ключевых фигур дела Дрейфуса. Фальсифицировал новые доказательства вины Дрейфуса, был уличен, в тюрьме

покончил с собой. Карл Шпиттелер (1845–1924) — швейцарский немецкоязычный писатель. Ноб. пр. 1919.

⁸² *Вокуа* — место постоянных боев с 1914 по 1918 гг. в 25 км от Вердена; потери в ходе Верденской операции 1916 г. с обеих сторон составили около миллиона человек. ...kolossal *только* *через* k... — слово colossal на немецкий лад: ироническое отношение французов к немецкой мегаломании. ...*вы не встречали Мореля?* — ниже барон опять «неожиданно» вспомнит о Мореле, и автор укажет, что до этого речь о Мореле не заходила.

⁸³ ...*эти фигуры речи...* — СДЦ, пер. Н. М. Любимова:

... Норпуа вполне мог бы ограничиться фразами, которые он, выбрав для них наиболее подходящее место, вставлял в свои статьи: «Сент-Джеймский кабинет один из первых зачуял опасность», или: «Крайне обеспокоенный Певческий мост тревожным взглядом следил за эгоистической, но ловкой политикой двуглавой монархии», или: «Монтечиторио забил тревогу», или, наконец: «... двойная игра, которую постоянно ведет Бельплац». По этим выражениям читатель непосвященный сразу узнавал и приветствовал старого дипломата. [...] а некоторые даже подумали, что ему место во Французской Академии, когда, стремясь доказать, что мы можем прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он решительно заявил в печати: «Пусть знают на Орсейской набережной, пусть теперь же восполнят пробел во всех учебниках географии, пусть с треском проваливают всякого, кто претендует на степень бакалавра, если он не скажет: Все дороги ведут в Рим, но кто едет из Парижа в Лондон, тому не миновать Петербурга».

... *оплакать довелось!* — ироническая перифраза стиха Гюго. «*Германо-туранцы*» — зд.: дикие люди, носители неведомых языков.

- ⁸⁴ Жозеф *Кайо* (1863–1944), занимавший пост министра финансов и премьер-министра, был сторонником мирного договора с Германией, в 1918 г. был арестован и впоследствии осужден за переписку с вражескими подданными. Джованни *Джолитти* (1842–1928) неоднократно занимал пост премьер-министра Италии, выступал против союза с Англией и Францией. ... *постановления, способные ущемить интересы Франции...* — речь идет о послевоенных разногласиях в стане победителей по вопросам выплаты репараций, конституции Рейнской демилитаризованной зоны и т. д.
- ⁸⁵ *Двуглавая монархия* — Австро-Венгрия. *Мазурское Поозёрье* — местность в Восточной Пруссии, в которой в 1914 г. потерпели поражение российские войска. *Нейтралистские выборы* — имеются в виду выборы в греческий парламент, прошедшие весной 1916 г., которые Венизелос (см. прим. 88) проиграл.
- ⁸⁶ Италия была участницей Тройственного союза (с Германией и Австрией) с 1882 г.; после долгой внутренней политической борьбы объявила войну Германии в 1916 г. (три года — преувеличение со стороны де Шарлю), почти одновременно с Румынией, связанной с Германией экономическими обязательствами, и объявившей войну Австрии. Греция, как и Россия, была связана договором о взаимопомощи с Сербией, заключенным после войны с Болгарией (2-я балканская война). Ниже: ... *этого дела...* — дела Дрейфуса.
- ⁸⁷ *Высочка Гогенцоллерн* — Габсбурги правили в Австрии с 1282 г., были императорами Священной Римской империи, а также королями Испании, тогда как Гогенцоллерны впервые стали королями только в 1701 г.
- ⁸⁸ Элефтериос *Венизелос* (1864–1936) — греческий политик, неоднократно занимавший пост премьер-министра, настаивал на соблюдении договора о взаимопомощи, заключенного

с Сербией по окончании 2-й балканской войны; *государствами-«гарантами»* этих договоров были союзники по Антанте; в 1915 г. они выражали протест *Константину I* (см. прим. 42) в связи с тем, что тот дважды, после убедительных побед Венизелоса, распускал Палаты. См. тж. прим. 86. В 1917 г. (барон пророчествует) союзники вынудят Константина I передать власть сыну Александру, Венизелос же будет исполнять обязанности премьер-министра. В 1920 г., впрочем, после смерти Александра и проигрыша Венизелоса на выборах, Константин I вернется в Грецию, чтобы в 1922 г., после ряда драматических неудач (в частности — окончательной потери Малой Азии), отречься от престола навсегда. *Болгария* встала на сторону «*центральных империй*» (Австрии и Германии) в октябре 1915 г. *Царю Болгарии* в 1918 г. это будет стоить трона. О его гомосексуальности ранее сплетничала герцогиня де Германт («У Германтов»). Ниже: *диадок* ('преемник') — зд.: наследник престола. *Принцесса Христиана* — Ж. Робише и Б. Роджерс полагают, что речь идет об Александрине, жене принца Христиана Датского. *Император Николай* — Романов.

⁸⁹ НС:

Кроме того, он [Сван] принадлежал к той категории умных людей, которые живут в праздности и изыскивают утешение и, быть может, оправдание в мысли, что их праздность дает уму объекты, столь же достойные интереса, как искусство или наука, что в «Жизни» больше интересных и романтических ситуаций, чем во всех романах.

Ниже: орден *св. Иоанна Иерусалимского* был основан в Палестине в 1058 г.

⁹⁰ *Институт* — Французский Институт. *Кювье* — скорее всего, Бришо процитировал Жоржа Кювье (1769–1832), зоолога.

Ниже: *Le Temps* — вечерняя газета Третьей республики. Жюль Мишле (1798–1874) — французский историк. Ломака — прозвище Бришо времен Распельера.

⁹¹ *Habent sua fata libelli* — у книг своя судьба (лат.). Эмиль Комб (1835–1921) — премьер с 1902 по 1905 гг., проводил антиклерикальную политику, к его книге *Une campagne laïque* написал предисловие Анатоль Франс. ...“я” всегда отвратительно — Паскаль, «Мысли» (1671, 270; Gallimard 1977, fr. 509). *Уже не скрыть правду...* — образцом для этого пастиша послужили статьи Рейнаха (см. прим. 152) в «Фигаро». Ниже: Карл фон Клаузевиц (1780–1831) и Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жомини (1779–1869) — теоретики военного искусства. Аполлоний Тианский (I в. н. э.) — неопифагореец, маг, чудотворец.

⁹² Анри Дидо (1840–1900) — доминиканский проповедник. Бульонные Дюваля — рестораны быстрого обслуживания. Кларисса — Пруст написал предисловие к книге Поля Морана (1888–1976) *Tendres Stocks* в 1921 г., в эту же книгу входила и новелла *Кларисса, или Дружба*. В произведениях Морана нет упоминания об этом анекдоте, действительно приключившемся с Августом II Сильным (1670–1733, он же Фридрих Август I), королем польским и курфюрстом саксонским; вероятно, Пруст ссылается на устный рассказ писателя. Ниже: *огромные ливрейные лакеи* — см. «У Германтов».

⁹³ ...за последние четыре года... — встреча повествователя и барона произошла в 1916 г.; подобных нестыковок слишком много, чтобы оговаривать их всякий раз. Морис Баррес (1862–1923) — писатель и политический деятель, в его книге «Лишенные корней» (1897, *Les Déracinés* — ‘беспочвенные’) рассказывается о провинциалах, обосновавшихся в Париже. «*Песни о подвигах*»

— «жесты». Св. *Фирмин* († 287 или 303) — первый амьенский епископ. И реймский, и амьенский *соборы* Нотр-Дам (оба XIII в.) пострадали во время Первой мировой войны, но уничтожены не были. О портике со св. *Фирмином* на амьенском Нотр-Даме Пруст писал раньше в «Пастишах». Ниже: Поль *Дерулед* (1846–1914) — основатель и президент «Лиги Патриотов», на этом посту его сменил Баррес, который в период войны организовывал символические «паломничества» к *Страсбургской статуе* (работы Жама Прадье на пл. Согласия в Париже; в 1870 г., после аннексии Эльзаса Германией, в знак траура была украшена черным крепом) и *могиле Деруледа*. *Бельфор* — единственный район Эльзаса, который не был аннексирован Германией по Франкфуртскому договору 1871 г.

⁹⁴ *Добрая Франция* (или 'нежная': la douce France) — выражение встречается в старофранцузской литературе и, в частности, в «Песни о Роланде». Ниже: *Будьте искренни* — игра слов: *Soyez franc, mon cher ami...* Упоминаний о *теории вечно возобновляемого творения мира*, восходящей к идеям Декарта, в диалогах повествователя с бароном нет. М. К. Мамардашвили вспомнил в этой связи выражение «красота спасет мир», которое вскользь бросает героиня романа Достоевского; однако в романе «У Германтов» герой излагает ее применительно к эстетическому восприятию:

В свое время легко было признать предметы, писанные Фромантенон, но с трудом — если их писал Ренуар. [...] и вдруг мир (сотворенный не единожды, но столько раз, сколько было оригинальных художников) является нам в совершенно новом и ясном виде. [...] Такова новая, только что сотворенная и преходящая вселенная. Она будет существовать лишь до ближайшей геологической катастрофы, которая вызовет к жизни нового самобытного

художника или писателя.

- ⁹⁵ Жорж *Пикар* (1854–1914) — генерал, дрейфусар, первым обвинил Эстерхази. *Эме де Квани* (1769–1820) — монархистка, «заставившая Талейрана предать Наполеона и служить монархии» (*Larousse*), автор «Мемуаров», опубликованных в 1902 г.; этой книге посвящена статья *Шарля Морраса* (1868–1952) — писателя и одного из основателей «Аксён Франсез» (см. прим. 107).
- ⁹⁶ Габриель *Сиветон* (1864–1904) — депутат-националист, который дал пощечину военному министру, а затем покончил с собой. Анри *Бека* (1837–1899) — драматург; де Шарлю, вероятно, намекает на циничную героиню его драмы «Парижанка» (1885). Ниже: *Несчастный царь* — Николай II — созвал *Гаагскую мирную конференцию* в 1899 г. «12 августа 1898 г. министр иностранных дел граф Муравьев обратился к представителям России за границей с циркулярной нотой, в которой говорил, между прочим: “Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений являются, при настоящем положении вещей, целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств. [...] Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных средств истребления [...]. Если бы такое положение продолжалось, оно роковым образом привело бы к тому именно бедствию, которого стремятся избежать и перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека”. [...] Циркуляр гр. Муравьева произвел сильное впечатление, но далеко не однородное [...]; большинство европейских газет консервативного и либерального направления восхваляли заключающийся в нем “великодушный почин миролюбивого государя”, но считали его непрактичным и неосуществимым» («Словарь Брокгауза и

Ефрона»). ...на каком основании... — скорее всего, барон имеет в виду отречение Николая II. Время «Обретенного времени» совершенно условно: герои в 1916 г. обсуждают русскую революцию, г-же Вердюрен уже около сотни лет (если верить утверждениям ее мужа, который назвал ее прототипом героини «Доменик» Фромантена).

⁹⁷ *Венсен* — резиденция французских монархов недалеко от Парижа, затем тюрьма для государственных преступников. *Герцог Луи Антуан Анри Энгиенский* (1772–1804) — принц, последний представитель дома Конде, расстрелянный по приказу Наполеона на основании ложного доноса о заговоре.

⁹⁸ *Мария Антуанетта* (1755–1793) — королева, жена Людовика XVI, казненная после свержения монархии. *Сен-Валье или Сен-Мегре* — персонажи соответственно произведений Гюго («Король забавляется», 1832) и Дюма-отца («Генрих III и его двор», 1829).

⁹⁹ «*Новые светила*» — цитата из стихотворения Эредиа (*Les Conquérants*).

¹⁰⁰ ...со скрытой мощью искажающего ее исполнения... — то есть смерти наблюдателя. Ниже: ...ласковое магниевое свечение... — магний использовался для вспышек, и французские комментаторы недоумевают, каким образом его можно называть (букв. перевод) «продолженным и ласковым», «позволяющим напоследок запечатлеть образы». Отметим, что у Пруста эстетическое созерцание нередко сопровождается метафорой фотографии (и противопоставляется ей); ниже эта тема будет развита. См. тж. прим. 130.

¹⁰¹ Вульгата: *super aspidem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem et draconem* (Пс. 90:13), «на аспиде и василиска

наступишь; попить будешь льва и дракона».

Щитодержатели (геральд.) — фигуры, обычно животных, поддерживающие щит, герб и т. п. Ниже: П. Г. — Паламед Германт (?).

¹⁰² *Амбрин* — крем из амбры искусственной, благовонной смеси парафина и янтарной смолы. Ниже: ...*мутона-ротшильда или сент-эмильона*... — речь идет о винах.

¹⁰³ *Унтер-ден-Линден* — центральная улица в Берлине. Ниже: *Deutschland über alles* («Германия прежде всего») — слова из стихотворения Гофмана фон Фаллерслебена, написанные для музыки Гайдна; с 1922 г. «*Deutschlandlied*» — национальный гимн Германии. «76-го» — скорее всего, ошибка Пруста: модели «76» (то есть 1876-го года) не существует. *Mea culpa* (моя вина, лат.) — покаянная формула католиков.

¹⁰⁴ Александр Габриель *Декан* (1803–1860) — живописец и график, картины на восточную тему. *Не одалиска* — сенегалец.

¹⁰⁵ *Крестная* — женщина, опекающая солдата. *Олимпия* — трактир. *Кот* — сутенер.

¹⁰⁶ *Я заметил... z-na de Шарлю*. Приписка Пруста в рукописи: «Постановке подобного рода сцен, свидетелем которых я то и дело становлюсь, всегда присуще нечто легкомысленное и неправдоподобное». Подобным образом повествователь наблюдает за дочерью Вентейля и ее любовницей, первой встречей де Шарлю с Жюльеном, общением Мореля с принцем де Германтом и т. д. Ниже: ...у *Жюльена, с его умом литературского склада*... Г: «...вскоре я признал в нем редкий ум, один из самых литературных по своей природе, который мне доводилось знать, в том смысле, что, по-видимому, не получив образования, он знал или заучил, поспешно просмотрев несколько книг, замысловатые обороты языка.

Самые одаренные люди, которых я знал, умерли в юности. Поэтому я не сомневался, что жизнь Жюльена кончится быстро. Он был добр и сострадателен; в его чувствах была утонченность и великодушие».

- ¹⁰⁷ «*Аксьон Либераль*» — католическая организация, вошла в Национальный Блок в 1919 г. Ниже: *Сен-Пьер-де-Шайо* — церковь в Париже. «*Аксьон Франсез*» — крайне правая монархическая группа, выпускавшая одноименную газету. *Леон Доде* (1868–1942) — журналист и писатель, сын Альфонса Доде. И Моррас, и Доде принимали активное участие в деятельности «Аксьон Франсез».
- ¹⁰⁸ *Бельвиль* — парижский пригород. *Фрезна* — тюрьма недалеко от Парижа. *Лимпопо* — bat'd'Af — штрафной африканский батальон. ... *по вине дяди м-ль д'Олорон*... — то есть Жюльена.
- ¹⁰⁹ *Наградной крест* (croix de guerre) — награда, учрежденная в 1915 г., которую присуждали за выдающуюся отвагу. *Левен* — бельгийский город, в разрушении которого обвиняли немцев в 1914 г. ... *ручки*... — имеются в виду слухи о немецких зверствах на оккупированных территориях (действительно имевших место, хотя впоследствии эта информация подтвердилась лишь отчасти). Ниже: «*Человек в цепях*» — газета Клемансо, получившая это название после запрета предыдущего издания — «*Человека свободного*».
- ¹¹⁰ *Сара Бернар* (1844–1923) — актриса, прототип Берма. *Буасье* и *Гуаш* — парижские поставщики.
- ¹¹¹ ...«*святой*») *ангел*». — Против ожиданий повествователя, кюре процитировал Мольера.
- ¹¹² *Кармелиты* — монашеский орден, *милостью порока живет добродетель* — имеются в виду *обычные постояльцы*. Ниже: «*Паяцы*» — оперетта Луи Ганна на текст Мориса Ордонно

(1899).

- ¹¹³ ...стал бы для барона бедой... не помышлял писать... — речь идет о необходимости страданий для создания произведения искусства; повествователь вернется к этой теме ниже.
- ¹¹⁴ *Пандемониум* — «вымышленная столица ада» (*Larousse*). Излагая сюжет сказки «Тысячи и одной ночи», повествователь вносит в него некоторую путаницу: *женщина бьет собак*, в которых были *превращены* ее сестры, *халиф* — невольный свидетель зрелища. «*Сезам и лилии*» — работа Рескина, на название которой намекает Жюльен, действительно переведенная Прустом (опуб. в 1906 г.).
- ¹¹⁵ ...*айсберг*. — намек на судьбу «Титаника», по мнению комментаторов.
- ¹¹⁶ *Сила, Скала* — образы «Прикованного Прометея» Эсхила.
- ¹¹⁷ *Железяка-строгач* (*barre de justice*) — понятие из морского дела: железная перекладина, к которой виновного приковывали кандалами в наказание за страшный проступок. Ниже: *крест-строгач* (*croix de justice*) — смысл выражения утрачен (и не фиксируется в каких-либо словарях, отмечают комментаторы), но ясен из контекста. *Комната 43* — описка по Фрейду: в этой комнате останавливался повествователь. Прототипом «дома Жюльена» послужило заведение на улице Аркад, которое финансировалось Прустом. Нельзя, впрочем, не отметить, что для отождествления автора с его персонажем де Шарлю, характерного для популярных биографий писателя, конечно же, нет никаких оснований.
- ¹¹⁸ *Изгнание монахинь* (как и монахов) началось еще во времена Французской революции и достигло кульминации в начале XX в.: религиозные конгрегации обязывались получить «предварительное разрешение», которое им последовательно

не предоставлялось.

¹¹⁹ «Крестник» — то есть солдат, которому она приходилась «крестной» (см. прим. 105).

¹²⁰ *Константин I* — см. прим. 42 и 88.

¹²¹ *Берри-о-Бак* — деревня недалеко от Реймса, бои с 1914 г. по 1918 г.

¹²² *Ларивьеры* — кузены Селесты Альбаре, экономки Пруста, после смерти писателя написавшей о нем книгу (*Monsieur Proust*, Paris 1973). ...*таким французским именем* — *Larivière: la rivière* ('река'). Ниже: *Общее чтение (Lectures pour tous)* — иллюстрированный журнал, выходивший ежемесячно с 1898 г.

¹²³ ...*феодалная башня вернулась к войне*. — СДЦ:

[...] Робер, который с трудом мог усидеть на месте, скрывал под улыбкой придворного жажду действий солдата, и чем больше я присматривался к нему, тем становилось мне очевидней, что энергичный каркас его треугольного лица, как и у его предков, куда больше предназначался пылкому лучнику, нежели утонченному эрудиту. Из-под тонкой кожи проглядывала смелая конструкция, феодальная архитектура, а его голова напоминала те башни древних донжонов, с зияющими неиспользуемыми бойницами, которые переделаны теперь под библиотеки.

¹²⁴ ...*великую княгиню Владимир*... — имеется в виду жена вел. кн. Владимира Александровича (1847–1909), брата Александра III, Мария Павловна (1854–1920). Вел. кн. Павел Александрович (1866–1919), брат вел. кн. Владимира и Александра III, в 1902 г. женился на Ольге Валерьяновне Карнович (1866–1929), последняя стала графиней *Гогенфельсен* только в 1904 г., и, с точки зрения «вел. княгини Владимир», Карнович «вел. княгиней Павел» не была. Морис-Жорж *Палеолог* (1859–1944) — посол Франции в России с 1914 по 1917 гг. Оставил подробные

и увлекательные мемуары.

¹²⁵ ...«*святому*» *семейству*... — Saint-Loup, «Святой Волк». Фамилия героя встречается в генеалогиях, топонимике и т. д. Артур *Мейер* — см. прим. 64. *Палата авиаторов* — имеются в виду ветераны (хотя «авиатор» в Палате был только один). *Национальный Блок* получил на выборах в ноябре 1919 г. три четверти мест Палаты. *Сомнительный блок* — отсылка к басне Лафонтена (кн. 3, басня 18), «Кот и старая крыса»: *Se bloc enfaîné...* («куль с мукой»); выражение стало фразеологизмом, смысл которого отражен в переводе). Стоимость *акций де Бирс* — 11.12.1914 — 255 франков, 13.12.1919 — 1275. ... *жертвы большевизма*... — конкретного источника у этого предложения нет, Пруст пересказывает известные ему статьи и слухи. *Те, которым удалось сбежать, появились*... — предложение не закончено Прустом.

¹²⁶ ...*прошло немало лет*... — Робише и Роджерс отмечают, что «наивный» вопрос, когда именно происходят описываемые в последней части «Поисков» события, безусловно имеет ответ: много после второго визита повествователя в Париж в 1916 г. «Утренник у принцессы де Германт» состоялся то ли в конце 1920-х, то ли в 1930-х, когда повествователь был уже стар (он пережил, таким образом, автора). Более определенное указание, однако, можно найти в тексте ОВ: дочери Сен-Лу и Жильберты к моменту встречи с повествователем около шестнадцати лет.

¹²⁷ *Потель* и *Шабо* — хозяева нескольких парижских ресторанов. *Бернхейм-младший* — коллекционер и торговец полотнами.

¹²⁸ «*Черное домино*» — спектакль в Опера Комик, *Федру* же играла Берма (отсюда *философская тцета* — зд.: тцета страсти юного повествователя к актрисе, см. СДЦ).

¹²⁹ Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) — писатель, епископ. Описание г-на де Шарлю в предыдущем абзаце переключается с «Похоронной речью» Боссюэ на смерть Генриетты Английской. Ниже: *Аврани* — реальный городок в Нормандии, расположенный, по-видимому, недалеко от Бальбека.

¹³⁰ ...словно попал на выставку фотографий... — Г: «Меня поразило в ее [герцогини] словах непонимание того, каким образом формируются в нас артистические впечатления, и ее предположение, что наш глаз — какой-то простой аппарат, регистрирующий снимки». См. тж. прим. 100.

¹³¹ ...тронувшейся повозки и на крик водителя... — вероятно, имеется в виду автомобиль старой конструкции (Пруст использует слово *wattman* 'вагоновожатый'). Колокольни *Мартенвиля* — первый творческий успех повествователя. НС:

У меня не было в мыслях, что скрытое за этими мартенвильскими колокольнями обладает аналогом в красивой фразе, но поскольку оно явилось мне в форме слов, переполнявших меня радостью, я потребовал у доктора карандаша и бумаги и, не обращая внимания на тряску экипажа, чтобы облегчить сознание и покориться воодушевлению, сочинил нижеследующий отрывок, который впоследствии обнаружил и почти никаким изменениям не подверг:

«Одинокие, поднятые над равниной и словно бы потерянные в лысом поле, вздымались к небу две колокольни Мартенвиля. Вскоре мы увидели третью: запоздалая вёвекская колокольня присоединяется к их дерзкому танцу. Проходят минуты, мы движемся стремительно, но три колокольни всё еще далеки от нас, словно три птицы, сидящие в поле, недвижные и зримые в солнечном свете.

Но вот вёвекская колокольня удаляется и держится поодаль, и колокольни Мартенвиля брошены в одиночестве, озаренные закатом, который даже издалека, на их скалах, играет

с улыбкой. Мы так долго близились к ним, что я думаю: сколько же нам еще до них мчаться, как вдруг экипаж сворачивает и они оказываются перед нами; так резко выросли впереди, что мы едва успеваем придержать коней, чтобы не въехать на паперть. Но мы движемся дальше; вот уже несколько минут, как мы покинули Мартенвиль, и деревня, провожавшая нас все эти мгновенья, исчезла; на горизонте остались одни, следя наше бегство, колокольни Мартенвиля и Вьёвека, кивая еще в знак прощанья своими блестящими на солнце шпилями.

Подчас одна из них отступала в сторонку, чтобы две другие могли еще мгновение в нас всмотреться; но дорога петляла, и они вертелись в свете, словно три золотых вертлюга, и скрывались из вида. Но чуть позже, когда мы были почти у Комбре, а солнце село, я увидел их в последний раз, и издалека они выглядели как три цветка, начертанных на небе поверх низкой линии полей.

Теперь они напоминали мне трех девушек из легенды, брошенных в одиночестве, в сгущающейся тьме; и вот мы удаляемся галопом, а они всё еще робко ищут дорогу, и, несколько раз неуклюже споткнувшись, их возвышенные силуэты теснятся один к другому, прячутся один за другим, и на розовом еще небе сливаются в темное очертание, очаровательное и покорное, которое растворяется в ночи».

Этому отрывку было уготовано большое будущее: повествователь отправит его в «Фигаро», где по прошествии многих лет, уже после бегства Альбертины и ее смерти, он все-таки будет опубликован (ИА); потрясенный прочитанным, повествователю напишет Теодор Санилон (см. прим. 4). Мадлен (вероятно, от имени Магдален Палмье, хозяйки парижской кулинаруи) — «небольшое пирожное овальной формы, верхняя часть которого вздута и покрыта бороздками, а нежное тесто обладает изысканным запахом» (*Trésor de la Langue Française des XIXe et XXe siècles*). Эпизод НС о вкусе

мадленки стал самым хрестоматийным фрагментом «Поисков». НС:

Прошло уже много лет, и от всего Комбре во мне осталась только сцена и драма моего отхода ко сну; но как-то зимой я вернулся с улицы, и, заметив, что я замерз, мать предложила мне, против моего обыкновения, выпить чаю. Я поначалу отказался, а потом, не знаю почему, передумал. Она попросила принести одно из тех небольших и плотных пирожных, прозванных «мадленками», что выпекают, как можно подумать, в желобчатых створках, отделенных от раковины моллюска. И вскоре я машинально, удрученный сумрачным днем и предощущением грустного завтрашнего, поднес к губам ложку с чаем, в котором я размочил кусочек мадлен. Но в то мгновение, когда чай, в котором плавали крошки бисквита, коснулся нёба, я вздрогнул — мое внимание было приковано чем-то необычайным, произошедшим во мне. Меня охватила и отгородила от мира чудесная радость, хотя причин ее я не ведал. По ее воле превратности жизни тотчас стали для меня безразличны, ее бедствия — безвредны, ее краткость — иллюзорна, словно бы любовь переполнила меня драгоценной сущностью: вернее, эта сущность была не во мне, она была мной самим. Я забыл о своей посредственности, случайности, смертности. Откуда пришла ко мне эта властная радость? Я подозревал, что она как-то связана со вкусом чая и бисквита, но бесконечно его огромней, что она некоей иной природы. Откуда пришла она? что значила? как ее постичь? Я сделал еще один глоток, но он не открыл мне ничего нового, сделал третий, и он принес еще меньше, чем второй. Пора было остановиться: напиток терял силу. Было ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но она не была ему ведома, он мог лишь каждый раз повторять, с убывающей силой, всё тот же знак, который мне не удавалось истолковать, и который хотелось мне вытребовать у него

целиком, в свое распоряжение, и тотчас, чтобы решительным образом его разъяснить. Я поставил чашку и снова обратился к своему сознанию (esprit). В нем я должен найти истину. Но как? Тяжкая неуверенность, всякий раз, когда сознание чувствует, что вышло за свои рамки; когда оно — искатель, и множество неведомых стран, в которых должно искать, в которых всё, что у него уже есть, ни к чему не пригодно. Искать? не только: творить. Оно стоит перед чем-то таким, чего еще нет, что только оно может осуществить, а потом вывести к свету.

Я снова спрашивал себя, что за неведомое состояние доставило мне не логические основания, но лишь очевидность своего блаженства, своей реальности, затмевающей все остальные. Мне захотелось вынудить его явиться ко мне вновь. Я двинулся обратно к мысли, родившейся в тот момент, когда я попробовал первую ложку чая. Это состояние снова возникло во мне, и всё столь же неясное. Я приказал сознанию совершить еще один рывок, снова вывести ко мне ускользающее ощущение. И, чтобы ничто не разбило мой порыв, благодаря которому я надеялся вновь овладеть этим чувством, я отогнал все помехи, всякую чуждую мысль, я затворил слух и внимание от звуков, которые доносились до него из соседней комнаты. Затем я понял, что мой дух утомлен, а всё еще ничего не добился, и я наоборот, хотя только что ему в этом отказывал, попросил его развлечься, подумать о чем-то другом — чтобы набраться сил перед последней попыткой. И вот, уже второй раз, я снова его оставил наедине с еще осязаемым мной вкусом первого глотка; и тут ощутил, как что-то содрогается во мне, как что-то сдвигается с места, хочет подняться, как будто бы сняв якорь с огромной глубины; я еще не знал, что это, а оно уже медленно двигалось вверх; я чувствовал сопротивление пересекаемого пространства, я слышал его гул.

Конечно, в итоге этот трепет в глубине души предстанет мне неким образом, зрительным воспоминанием, которое, будучи связанным с этим вкусом, тщится за ним следовать и меня достичь. Но слишком далеко оно барахтается, там, где ничего не различишь, где если я и могу увидеть смутный отсвет — неосязаемый водоворот красок в смещении, то с трудом; там не получится рассмотреть форму, вызвать ее, как единственно возможного переводчика, чтобы она преложила для меня свидетельство своего современника, своего неразлучного спутника — этого вкуса, чтобы она рассказала мне, о каком же именно обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идет речь.

Выйдет ли к чистой поверхности моего сознания память о прежнем мгновении, только что из дальнего далека востребованная, приведенная в движение, поднятая из глубин моего «я» тождественным ей мгновением? не знаю. Теперь я не чувствую ничего, оно остановилось, и снова, наверное, уходит вглубь; кто скажет, суждено ли ему подняться из своей ночи? Десять раз я возобновлял попытки, снова склонялся к нему. И каждый раз малодушие, которое отвращает нас от сложной задачи, от всякого важного труда, советовало мне сдать, пить свой чай и думать о сегодняшних бедах, завтрашних заботах — обо всем том, что можно пережевывать без труда.

Но вдруг воспоминание явилось. Это был вкус небольшого кусочка мадлен, который в Комбре, по утрам в воскресенье (а в этот день до мессы я сидел дома), когда я шел поздороваться с теткой Леонией к ней в комнату, она давала мне, обмакнув в свой настой на чае или липовом отваре. Вид мадленки ничего во мне не пробуждал, пока я ее не попробовал; наверное потому, что с тех пор я нередко видал ее, хотя и не пробовал, на полках кондитерских лавок, — образ разлучился с комбрейскими днями, чтобы установить связь с другими, недавними; может быть потому,

что от этих мыслей, давно заброшенных, не вспоминаемых, ничего не уцелело, они были уничтожены, и формы — в том числе этой маленькой кулинарной ракушки, такой жирной и чувственной под своим суровым и благочестивым плиссажем — упразднились, или, в беспробудном сне, потеряли способность к росту, которая воссоединила бы их с сознанием. Но когда от самого далекого прошедшего ничего не остается, после смерти людей, после разрушения покинутых ими вещей, что куда хрупче, но живучей, — более невещественные, более стойкие, более верные, еще долго живы вкусы и ароматы, словно бы души, чтобы напоминать о себе, ждать и надеяться на руинах всего остального, и нести, не покоряясь, на почти неосязаемой капельке, безмерное сооружение памяти.

И стоило мне признать вкус ломтика мадлен, размоченного липовым настоем, который мне давала тетка (хотя я еще не знал и был вынужден отложить на потом выяснение вопроса — почему это воспоминание доставляло мне такое счастье), как тотчас старый серый дом, где была ее комната, словно бы театральная декорация, вырос за небольшой беседкой у входа в сад, — его построили на задворках для моих родителей, и только этот фрагмент доселе я мог припомнить; — а вместе с домом город, с раннего утра до позднего вечера, в любую погоду, площадь, куда меня отсылали перед завтраком, улицы, которыми я бегал за покупками, дороги, по которым мы ходили, когда погода была хороша. Как в той японской игре, когда в фарфоровую чашу, наполненную водой, опускают небольшие бесформенные кусочки бумаги, что сразу же раскрываются в воде, изгибаются, наливаются красками, обретают различия — теперь они цветы, дома, столь разные, но узнаваемые персонажи, — так все цветы нашего сада, цветы парка г-на Свана, нимфеи Вивоны, благодушные жители окрестных деревень и их небольшие жилища, церковь, Комбре, соседние села — всё обрело форму

и прочность, выскочив, город и сады, из чашки чая.

¹³² ...от всякой незаконченности во внешнем восприятии... — букв.: от всего имперфектного во внешней перцепции.

¹³³ ...единообразной памяти... единообразная картина жизни... — uniforme: «все части которого идентичны или воспринимаются таковыми» (*Le Grand Robert*). ... музыкальные фразы... как плечи ундины... — имеются в виду утренние концерты на набережной. СДЦ: «А если я засну, то всё равно через два часа меня разбудит симфонический концерт».

¹³⁴ Потому что мне придется... и розовом. — части этого предложения разнесены (АВСВА); в предыдущих изданиях редакторы «компоновали» их иначе:

Потому что мне придется осуществить его последовательные части всякий раз в особенном веществе. Оно бы сильно отличалось, если бы подходило воспоминаниям об утреннем берегу моря, от того вещества, что подобало воспоминаниям о венецианских днях, вещества четкого, нового, прозрачного, звучащего особо, ёмкого, освежающего и розового, и кроме того оно было бы другим, если бы я взялся за изображение ривбельских вечеров, когда в столовой, открытой на сад, жара падала, распадалась и скрадывалась, когда последние отблески еще освещали розы у стены ресторана, а в небесах еще светились последние акварели дня.

Далеко не единственный пример, отражающий состояние текста (см. тж. прим. 149).

¹³⁵ ...зрелища сознательной памяти — les spectacles de la mémoire volontaire: см. прим. 9.

¹³⁶ ...перешагнуть через деревянную раму... — СДЦ: «... большие раздвижные окна, не выше дамбы, были открыты. Оставалось только перешагнуть тонкую деревянную раму, и оказаться

в большой столовой зале...».

- ¹³⁷ *Только то исходит от нас... след пересеченных нами сумерек.* — Два этих предложения, которые выпускаются в последних изданиях, ниже будут приведены в несколько ином виде.
- ¹³⁸ *«Хватит стили... дайте жизни!»* — Пруст намекает на Ромена Роллана. ...*кинематографическим дефиле вещей.* — Мысль Пруста созвучна идеям «Творческой эволюции» Бергсона, однако Пруст, скорее всего, имеет в виду Анри Бордо (1870–1963) и его концепцию «фильма-романа».
- ¹³⁹ *«Франсуа ле Шампи»* («Франсуа-найденш», 1848) — роман о *беррийских* крестьянах (в Берри писательница провела юность). Ниже: *в сюжете... что-то казалось мне необъяснимым* — НС: «И когда мама читала мне вслух, к лакунам, которые оставались в повествовании от моей рассеянности, добавлялись любовные сцены — их она опускала».
- ¹⁴⁰ *В самом крохотном... погодой.* — еще один «бродячий» фрагмент, который ниже будет повторен в несколько измененном виде; в последних изданиях из текста его исключают.
- ¹⁴¹ *...к подножию Сан-Джорджо Маджоре...* — церковь и монастырь XVI в., начата Андреа Палладио (1508–1580) в 1566 г., закончена в 1610 г. Винченцо Скамоцци (1552–1616). Церковь расположена на острове Сан-Джорджо Маджоре против Сан-Марко. *...не уступят этим «книгам с поличиями»...* — то есть с миниатюрами. Жан Фуке (ок. 1420–между 1477 и 1481) — художник, миниатюрист. Ниже: *... навсегда останется погребен в забвении.* — Ср. этот текст в несравненном переводе А. А. Ахматовой (конечно же, читавшей ОВ): «Людьми моего поколения не грозит печальное возвращение — нам возвращаться некуда... Иногда мне кажется, что можно

взять машину и поехать в дни открытия Павловского вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врваться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас».

- ¹⁴² ...«народное искусство»... — Пруст опять полемизирует с Роменом Ролланом. *Жоке-Клуб* (произношение по словарю Литтре) — собрание, учрежденное в 1834 г. «Обществом совершенствования конских пород», членами которого были исключительно представители высшей аристократии. Ниже: *Всеобщая конфедерация труда* — крупнейший французский профсоюз, основанный в 1895 г. *Баррес* в 1916 г. в очерках писал о *Тициане*: «на доме, в котором он родился, начертано: Тициану, чье искусство помогло родине обрести независимость». Морис Кантен де *Латур* (1704–1788) — французский живописец. Роман «*Опасные связи*» Пьера *Шодерло де Лакло* (1741–1803) написан в 1782 г.
- ¹⁴³ *Этому взгляду... постоянный орган*. — Три этих предложения, которые по смыслу будут повторены в следующем абзаце, включаются в текст ОВ только в последних изданиях.
- ¹⁴⁴ *Давидов, Шенаваров, Брюнетьеров* — Пруст обобщает эстетические воззрения живописца Поля *Шенавара* (1807–1895), которого критиковал Бодлер, и художника Жака Луи *Давида* (1748–1825) с концепциями Фердинанда *Брюнетьера* (1849–1906), теоретика и издателя *Revue des Deux Mondes*; в первом случае с натяжкой, во втором — произвольно, отмечают французские комментаторы.
- ¹⁴⁵ ...*полоумны...* — ne sont que de demi-esprits: поскольку *обречены на пристрастия*. *Пор-рояльская самокритика* — средоточие янсенистской активности, монастыри *Пор-Рояль*, один

из которых находился в Париже, а второй в его окрестностях, стали одним из важнейших центров французской культуры и просвещения XVII в. Близки к монастырю были Паскаль, Декарт и Расин. Говоря о «критике», Пруст вероятно имеет в виду Антуана Арно (1612–1694), автора знаменитой «поррояльской» «Общей и рациональной грамматики» (1660, с К. Лансло) и «Логики, или Искусства мыслить» (1662, с П. Николем). Ниже: ...«миллион слов»... — Мольер, «Ученые женщины», акт III, сцена II. ... *остаётся только мысль Лабрюйера* ... (или: он остаётся только мыслью Лабрюйера) — а именно фр. 16 из «Характеров», гл. «О сердце». ... *опись наблюдений* ... — la littérature de notations, букв.: литература заметок.

- ¹⁴⁶ *Номенклатура* — «совокупность слов, используемых для обозначения различных объектов той или иной науки или искусства» (*Littre*), спец. терминология.
- ¹⁴⁷ *Достигнутая скорость* — термин из школьного курса физики: скорость, обретенная телом в данный момент ускорения.
- ¹⁴⁸ *Искусство длительно, жизнь коротка...* — знаменитое гиппократовское изречение (*vita brevis, ars longa* в лат. переводе), подвергнутое инверсии, вероятно, под влиянием бодлеровской строки: *L'Art est long et le Temps est court*.
- ¹⁴⁹ *Бумажища* (*paperoles*) — прустоведы обозначают этим словом длинные и узкие листы бумаги, которые Пруст вставлял в свои рукописи (очень редко указывая, к какому месту их отнести). См. тж. прим. 11.
- ¹⁵⁰ ИА, пер. Н. М. Любимова:

Доказательством того, что «забота о славе» — далеко не самое дорогое для Федры, служит то, что она простила бы Ипполиту и пренебрегла бы наставлениями Энона, если бы она в этот момент не узнала, что Ипполит любит Арисию.

Ревность, равносильная утрате счастья, ощутимее утраты доброго имени. Вот когда Федра дает возможность Энону (который представляет собой не что иное, как худшую часть ее души) оклеветать Ипполита, освобождая себя от «заботы его защищать», и таким образом отдает того, кто ею пренебрегает, на волю судьбы, превратности которой для нее, однако, отнюдь не утешительны, ибо за смертью Ипполита следует ее самоубийство. Именно вследствие того, что Расин преуменьшил все эти «янсенистские», как сказал бы Бергот, угрызения совести, которыми Расин наделил Федру, чтобы она считала себя менее виноватой, мне и представлялась эта сцена чем-то вроде предсказания любовных перипетий моей жизни.

- ¹⁵¹ ...*паломничество на Киферу*... — картина Ватто, а тж. стихотворение Бодлера.
- ¹⁵² Жозеф *Рейнах* (1856–1921) — дрейфусар, журналист, депутат. Ниже: *обучение у конгрегатов* — имеются в виду религиозные и монастырские школы (см. прим. 118). *Желтая порода* — японцы, о которых заговорили как о новой угрозе после их победы в русско-японской войне в 1905 г.; *реабилитация* же имела место, когда Япония объявила войну Германии (в 1914 г.).
- ¹⁵³ *Внутреннее действие* (l'acte) — в ранних изданиях «внутреннее озеро» (lac); выше этот «термин» был использован в рассказе о русских клиентах Жюльена: Пруст говорил о «неизвестном озере», в котором живут такие выражения, как «в конце концов наплевать». Вероятно, речь идет о подсознании.
- ¹⁵⁴ Пьер Огюст *Роке* (1856–1920) — генерал, командир 1-й армии, министр обороны в 1916 г. Морис *Саррай* (1856–1929) — генерал, командовавший экспедиционным корпусом союзников на Балканах (см. тж. прим. 64). Роке посетил Салоники в ноябре 1916 г., чтобы провести расследование

деятельности Саррая.

- ¹⁵⁵ *Ретрофлексия* — термин из хирургии; повествователь, вполне возможно, наделял его особым значением.
- ¹⁵⁶ Из *Замогильных записок* приводятся фрагменты кн. III, гл. 1 и кн. VI, гл. 5 (Шатобриан вспоминает *Комбург*, где провел детские годы). «*Сильвия*» *Жерара де Нерваля* (1808–1855) — одна из повестей сборника «Дочери огня» (1854). Стихотворения *Бодлера*, процитированные Прустом, входят в «Цветы зла» (XXII и XXIII); перевод второго фрагмента принадлежит В. Брюсову. Ниже: ... *аллегория одного из «возрастов жизни»*. — «Четыре возраста жизни: детство, юность, зрелость, старость» («Словарь Французской Академии», 1935).
- ¹⁵⁷ Жан-Франсуа *Реньяр* (1655–1709) — драматург, автор фарсов; Эжен Марен *Лабии* (1815–1888) — комедиограф; оба автора оставили комедии о наследниках. *Генерал Дуракин* — персонаж одноименного романа (1866) графини де Сегур (1799–1874), урожденной Ростопчиной, — старик, переходящий от гнева к смеху, не имея на то причин.
- ¹⁵⁸ ...*де Шарлю внезапно отдернул руку...* — после посещения повествователем г-жи де Вильпаризи (см. Г). Ниже: ...*Голо на дверной ручке...* — эпизод из НС.
- ¹⁵⁹ *Оптические картинки* — модное развлечение XVIII в.: «в коробку с зеркалом и увеличительным стеклом помещались раскрашенные эстампы, прозванные “картинками оптическими” (как правило, с изображением архитектурных памятников), благодаря тому обретавшие иллюзорную перспективу» (*Larousse*). Ниже: *любовница д'Аржанкура* — упоминается в II; *меридиана* — Пруст имеет в виду широту.

- ¹⁶⁰ *Сен-Сир* — военное училище, учрежденное Наполеоном в 1803 г. и в 1808 г. перемещенное в небольшой городок Сен-Сир, который расположен неподалеку от Версаля.
- ¹⁶¹ Пандемия *испанки* (то есть гриппа) была в 1918–19 гг. *Маршалом* до 1918 г., когда это звание получили Жоффр, Петен, Фош, называли Патриса Мак-Магона (1808–1893), президента республики в 1873–1879 гг.; «более *представительные особы*»: *герцогиня де Галлиера* (1811–1888) — представительница, в ее честь назван музей, *Полина де Перигор* (1823–1895) — светская дама, *его преосвященство Дюпанлу* (1802–1878) — орлеанский епископ. «*Старый режим*» — монархия (до 1789 г.).
- ¹⁶² *...выразил соболезнование...* — противоречит тому, что говорилось выше (повествователь не знал о смерти Блока-отца). Прочие нестыковки повествования: принц знаком с Блоком / Блок просит представить его принцу; Блок входит в салон три раза; повествователь дважды здоровается с Жильбертой; говорит с Одеттой / принимает за нее Жильберту; здоровается с д'Арпажон / слушает толки о ее смерти; узнает / не узнает Рашель; описывает дородность д'Агригента / его молодую вдову и т. д. Отметим, что в нефактографической части рассказа Пруст сохраняет удивительную последовательность. Ниже: *... историческому музею...* — путешествия покойного в этой коляске описаны в СДЦ. *Серия* геологическая — толща такого рода, что охватывает объемы той или иной эпохи.
- ¹⁶³ Леопольдо *Фреголи* (1867–1936) — итальянский актер и мим. В первое десятилетие XX в. несколько раз приезжал с гастролями во Францию.
- ¹⁶⁴ Жорж *Буланже* (1837–1891) — генерал, воен. министр (1886–1887), возглавлял движение, которое едва не положило конец

Третьей республике. Ниже: «*ворюга*» — в оригинале «*chequard*», слово, употреблявшееся применительно к фигурантам Панамского скандала (1879).

- ¹⁶⁵ ...не просто воплощением Всемирной выставки... — В программе Всемирной выставки 1878 г. было выступление актрисы, изображавшей «Выставку» («и ее прическа изображала две башни Трокадеро», гласил современный отчет). *Аллея акаций 1892-го*. — НС: «... [Булонский] Лес... был Садам Женщин... и по Аллее акаций прогуливались Знаменитые Красавицы».
- ¹⁶⁶ «*Готский Альманах*» — справочник, издававшийся с 1763 г. в германском городе Гота. Представлял широкий набор сведений, в том числе информацию о знатных европейских родах.
- ¹⁶⁷ Принцессу де Германт звали Мари-Едвиг, а также Мари-Жильбер, по мужу, чтобы не путать с другой родственницей, носившей то же имя (Г).
- ¹⁶⁸ *Тоссица, Клейнмихель* — видные представители парижского света 1910-х годов, существовавшие реально. *Г-жа Сван* — имеется в виду г-жа де Форшвиль. *Жорж Клемансо* (1841–1929) — премьер-министр Франции в 1906–1909 и 1917–1920 гг., в его газете *Aurore* был напечатан дрейфусарский памфлет Золя. *Рене Вивьяни* (1863–1925) — министр труда (1906–1910), председатель правительства (1914–1915).
- ¹⁶⁹ *Школы Берлица* — популярные в светском обществе начала века школы изучения иностранных языков.
- ¹⁷⁰ ...был с ними крайне необходим. — «Мемуары», изд. Библиотеки Пляеды, т. V, стр. 478. Необходимо отметить, что сословные предрассудки Сен-Симона не играли той роли «связи времен», которая им здесь приписывается: «за всем этим для Сен-Симона стояли идеи аристократических

прерогатив, политического достоинства, в его время достаточно уже, впрочем, иллюзорного» (Лидия Гинзбург). Маркиз де Ренель (1630–1677) на самом деле принадлежал семье Клермон д'Амбуаз. Сен-Симон пишет: «...де Клермон-Галлеранд или д'Амбуаз...», Saint-Simon, *Memoires*, т. 2, стр. 161, М. 1976. *Сент-Эрем*, маркиз де (ок. 1640–1701).

- ¹⁷¹ Saint-Simon, *Memoires*, т. 1, стр. 259–260, М. 1976. Франсуа-Луи де Бурбон, *принц де Конти* (1664–1709) — «великий Конти» и племянник «великого Конде», прославившийся умом и нерасположением Людовика XIV (назвал его в письме «театральным королем», письмо было перехвачено); одно время претендовал на польский трон. Между словами «ничего не забывавший» и «знавший генеалогии» Пруст выпустил большой кусок. Ниже: ... *Камбремер не именовалась «Мезеглизской»*... — Легранден незаконно присвоил титул графа де Мезеглиза. «*Золотая легенда*» — средневековый текст, начальная версия была составлена Иаковом Ворагинским (Якопо из Варацце), епископом Генуэзским (ок. 1230–1298).
- ¹⁷² Эмиль Лубе (1838–1929) — президент Франции в 1899–1906 гг.
- ¹⁷³ *Коломбе* — кондитерская-кафе. *Твикенгем* — английская резиденция графа Парижского. Сван, как сообщалось в НС, получал его приглашения.
- ¹⁷⁴ Пьер-Антуан *Лебрэн* (1785–1873) — поэт. Жан-Жак *Ампер* (1800–1864) — историк и писатель, сын физика.
- ¹⁷⁵ *Пределла* — «в католических, преимущественно средневековых церквах — продолговатая невысокая надставка над задним краем престола во всю его длину. Обыкновенно она украшается с лицевой стороны живописным или скульптурным изображением какого-либо религиозного сюжета и служит подножием для шкафика, в котором хранятся

Св. Дары, для подсвечников и прочих украшений престола, или же составляет фриз, над которым непосредственно возвышается запрестольный образ» («Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»).

- ¹⁷⁶ Имеется в виду уже упомянутая Псевдо-Гонкуром венецианская Santa Maria della *Salute* Балтасара Лонгены, построенная в 1632 году в благодарение за избавление от чумы.
- ¹⁷⁷ *Филипп II* (1527–1598) — король Испании с 1556 из габсбургской династии.
- ¹⁷⁸ «Жиголо» — «молодой человек приятной внешности, которого манеры, однако, и средства к существованию кажутся подозрительными» (*Le Grand Robert*). *Грудная лихорадка* — пневмония. О *маркизе д'Арпажон* см. прим. 162.
- ¹⁷⁹ *Мария Антуанетта* Австрийская (1755–1793) — королева Франции, жена Людовика XVI, казнена по решению революционного суда.
- ¹⁸⁰ ...*наступление Гинденбурга...* — Эту статью Биду Робер, когда до его смерти оставалось несколько дней, цитировал в 1916 г. Наступление Германии, отброшенной к октябрю на исходные позиции, в конечном счете привело к ее поражению. Ниже: на *Апенниннах в 1796-м*, 12 апреля, Наполеон *разделил* и *разбил* австрийскую и сардинскую армии. ...*в 1815-м в Бельгии*, у Ватерлоо, 18 июня; *два противника* — англо-голландские и прусские войска. ... *не намечал* — мнение *других критиков* в настоящее время не оспаривается. Жан *Муне-Сюлли* (1841–1916) — французский актер. Бенуа *Констан Коклен* (1841–1909) — актер и теоретик. «*Мизантроп*» (1666) — пьеса Мольера. *Битва на Сомме* — первая битва на Сомме (01.07–13.11.1916), прославившаяся кровопролитием. *Месопотамские походы* —

британские военные действия 1914–1917 гг. против турок в районе Персидского залива. *Ксенофонт* (431–ок. 350) — древнегреческий историк и писатель. В его «Анабазисе» рассказывается об отступлении после смерти Кира-младшего десяти тысяч греков-наемников, которыми руководил Ксенофонт, из Персии к Черному морю, а оттуда в Грецию.

¹⁸¹ *В Бальбеке повествователь читал «Тысячу и одну ночь».* Маркиза *де Севинье* (1626–1696) — автор знаменитых «Писем», обращенных к дочери; *ров* фигурирует в письме от 27 апреля 1689 г.: «В четверти лье отсюда лагерь цезаря: еще сохранились рвы». *Кут-Эль-Амара* — поселение в Ираке, где с 08.12.1915 по 29.04.1916 были осаждены турками части англичан и индийцев (все они потом попали в турецкий плен). *Во-ле-Виконт* — усадьба неподалеку от Мелёна в Иль-де-Франс, *Байо-л'Евек* — нормандское село («евек» — ‘епископ’, «виконт» — ‘виконт’). *Басра* — около современной Басры действительно находятся развалины Басры из «Тысячи и одной ночи». *Генерал Таунсенд* — точнее Чарльз Таунсенд (1861–1924), вместе с генералом Горринджером руководивший английскими войсками, осажденными в Эль-Куте.

¹⁸² ...получить плату ... — форма оплаты почтовых услуг.

¹⁸³ *Затем с серьезным видом... она мне никого не напоминала.* — Два этих предложения, похожие на пересказ сновидения, логически связаны друг с другом и логически друг другу противоречат — повествователь не узнал Рашели, но хотел бы отвлечь от нее внимание Жильберты, потому что Рашель была любовницей ее мужа. См. тж. прим. 162. Ниже: ... *мужчин г-ну де Шарлю.* — обычно повествователь называет ее племянницей Жюльена; см. тж. рассказ о ее смерти в П. Луиза *Бальти* (1869–1925) и Жанна *Мистенгет* (1875–1956) — актрисы и певицы.

- ¹⁸⁴ В тексте: в честь сына и невестки. Далее они упоминаются только как *дочь* и *зять*. Ниже: Габриэль *Режан* (1856–1920) — актриса. Именно она послужила прототипом Берма в этом фрагменте; описка не случайна, указывают комментаторы: Пруст жил в одном доме с семьей Режан и мог быть свидетелем описанных событий. *Эрехтейон* — храм Афины и Посейдона в Акрополе, *статуи* — имеются в виду статуи портика кариатид, с ними Бергот сравнивал Берма на страницах СДЦ.
- ¹⁸⁵ *Тогда я понял, что эта особа...* — автор еще не узнал Рашели, согласно этому отрывку. *...сына г-на де Вогубера...* — его похороны описаны в письме Сен-Лу.
- ¹⁸⁶ Ги Крессан *Фагон* (1638–1718) — врач Людовика XIV. *Дю Бульбон* — врач, придуманный Прустом (Г). «*Тридцать лет сцены*» — название благотворительной организации, оказывавшей поддержку пожилым актерам.
- ¹⁸⁷ *Людовик XVII* (1785–1795) — номинальный король Франции с 1793 г., после казни родителей умер от чохотки в замке Тампль.
- ¹⁸⁸ *...оставив мне тоску!* — Гюго, «Созерцания», IV, у Гюго «нам» (стихотворение написано по случаю замужества дочери поэта). Ниже: «*входила с улыбкой*» — у Гюго: «уйди в слезах, войди с улыбкой».
- ¹⁸⁹ Жан Батист *Кольбер* (1619–1683) — генеральный контролер финансов с 1665 г.
- ¹⁹⁰ Анри *Мейлак* (1831–1897) — автор драм.
- ¹⁹¹ См. «У Германтов» и «Содом и Гоморра». По настоянию герцога герцогиня была вынуждена сменить туфли сразу после того, как Сван сообщил ей о своей смертельной болезни.
- ¹⁹² *...из Метерлинка...* — «Семь принцесс». Г:

«Семь принцесс» — о, какой снобизм!» — воскликнул г-н д'Аржанкур. [...] «Как, вам знакомы “Семь принцесс”?» — ответила герцогиня д'Аржанкуру. — «Мои поздравления. Мне известна только одна, и охоту знакомиться с остальными она у меня отбила». [...] Тупица! думал я, раздраженный ее ледяным приемом. Мне доставляла горькое удовлетворение констатация ее полного непонимания Метерлинка.

¹⁹³ ...погружались в слух немногочисленные фракы... — комментаторы отмечают, что на утреннем приеме фраков быть не могло, и эта редакция отражает первоначальный замысел Пруста, согласно которому прием состоялся вечером.

¹⁹⁴ ...о «таинственных нитях»... — очередная цитата из Гюго. ... психологию в пространстве... — Автор пишет в письме Жаку Ривьеру (28.04.1919): «Одна из моих забот, когда я пишу (хотя, по правде говоря, не из самых важных), — это попытка работать сразу в нескольких плоскостях, чтобы избежать плоскостной психологии (psychologie plane)».

¹⁹⁵ Гюго, «Созерцания», кн. IV.

¹⁹⁶ ...«гробовую дверь». — Гюго. ...«совершенными». «Имеется в виду первая книга автора, “Утечи и дни”». — прим. Пруста.

¹⁹⁷ *Султан Шахрияр* — муж Шахеразады, первый человек, ознакомившийся с «Тысяча и одной ночью».

¹⁹⁸ Ин. 12:24.

¹⁹⁹ НС, пер. Н. М. Любимова:

Но с некоторых пор, стоит мне напрячь слух, я отлично улавливаю рыдания, которые я нашел в себе силы сдержать при отце и которыми я разразился, как только остался вдвоем с мамой. В сущности, рыдания никогда и не затихали, и если теперь я слышу их вновь, то лишь потому, что жизнь вокруг меня становится все безмолвнее —

так монастырские колокола настолько заглушает дневной
уличный шум, что кажется, будто они умолкли,
но в вечеровой тишине они снова звонят.